

КЛОД  
ЛЕВИ-СТРОСС



ПЕЧАЛЬНЫЕ  
ТРОПИКИ



КЛОД  
ЛЕВИ-СТРОСС



ПЕЧАЛЬНЫЕ  
ТРОПИКИ

МОСКВА АСТ  
ЛЬВОВ  
ИНИЦИАТИВА  
1999

УДК 159.9  
ББК 88.5  
Л 36

Серия основана в 1999 году

*Научный консультант кандидат искусствоведения  
О. Н. Кошевой*

*Перевод с французского Г. Е. Сергеева*

**Леви-Стросс К.**

Л 36 Печальные тропики/Пер. с французского. — Львов: Инициатива; М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. — 576 с., 32 илл. (Классики психологии).

ISBN 996-7172-11-2 («Инициатива»)

ISBN 5-237-00160-2 («АСТ»)

Одна из самых популярных в 50-е годы, эта книга Клода Леви-Стросса представляет собой этнографические заметки, в которых собран уникальный фактический и иллюстративный материал об исчезающих племенах индейцев Бразилии. Это живой, заинтересованный рассказ очевидца и одновременно глубокое научное исследование, размышление о судьбах народов и культур, о направлении развития цивилизации, о тех проблемах, которые спустя 45 лет не утратили актуальности.

УДК 159.9  
ББК 88.5

© Перевод, подготовка текста, примечания,  
оригинал-макет. «Инициатива», 1999

*Посвящается Лорен*

Ибо запас вещества поколениям нужен грядущим,  
Но и они за тобой последуют, жизнь завершивши,  
И потому-то, как ты, они сгинули раньше и сгинут.

*Лукреций. О природе вещей, III, 966-969.*



**Часть первая**

**Конец путешествиям**



# Глава 1

## Отъезд

Я терпеть не могу путешествия и путешественников. И вот, пожалуйста, — собираюсь рассказать о моих странствиях. Но как же много потребовалось времени, чтобы на это решиться! Пятнадцать лет прошло с того момента, когда я в последний раз покинул Бразилию. С тех пор у меня неоднократно возникала идея написания этой книги, но каждый раз меня сдерживали чувства смущения и недовольства собой. Я раздумывал, следует ли подробно рассказывать о таком множестве бессмысленных случайностей и маловажных событий. Профессия этнографа не предполагает приключения; они сами навязываются ему и обременяют его непосредственную работу грузом недель или месяцев, растраченных в пути, грузом многочасовой бездеятельности, когда нет никакого доступа к информации, грузом голода и усталости, иногда болезни и всегда — грузом тысяч проблем, которые поглощают целые дни без какого-либо результата и делают из опасной жизни в сердце девственной сельвы какое-то подобие армейской службы. Тот факт, что достижение целей наших исследований требует стольких усилий и, часто ненужных, действий, не поднимает им цену, и это следовало бы отнести к негативной стороне нашей профессии. Истины, которые мы ищем, забираясь так далеко, приобретают свою значимость только после очищения их от этого осадка. Разумеется, можно посвятить шесть месяцев изнуряющего пути, лишений и смертельной ску-

ки тому, чтобы заполучить неизвестный миф, новый брачный устав или полный перечень названий кланов (причем сама работа займет всего несколько дней, иногда несколько часов), но разве эти выцветшие страницы памяти: *В 5 часов 30 мин утра мы вошли в порт Ресифи<sup>1\*</sup>, кричали чайки, флотилия торговцев экзотическими фруктами осаждала судно...* — разве эти убогие воспоминания заслуживают того, чтобы браться за перо и запечатлевать их?

Тем не менее, этот жанр повествования всегда встречает неизменно доброжелательное отношение, что для меня остается загадкой. Амазонка, Тибет, Африка просто затопили книжные магазины лавиной книг о путешествиях, отчетов об экспедициях, фотоальбомов, в которых желание добиться эффекта настолько преобладает, что читатель не в состоянии оценить степень значимости проведенных наблюдений. У него не возникает желания отнестись к ним критически; наоборот, он требует все больше подобной пищи и поглощает ее в огромных количествах. В наше время путешественник — это профессия, причем суть этой профессии не в том, чтобы — как можно было предположить — после долгих лет обучения открывать до сих пор не известные факты, а лишь в том, чтобы преодолевать бесчисленные километры и накапливать бесконечное множество фотоснимков или кинокадров — разумеется, лучше всего цветных. Все это потом позволит несколько дней подряд собирать полный зал слушателей, которым пустые фразы и банальности покажутся чудесными откровениями лишь по той простой причине, что их автор, вместо того чтобы записать их, не сходя с места, преодолел для этого двадцать тысяч километров.

---

\* Цифрой обозначены примечания редакторов данного издания, размещенные в конце книги. — Ред.

Что же мы слышим на этих лекциях и вычитываем в этих книгах? Подробности о содержимом походных чемоданов, о проделках щенка на палубе, а также обрывки поблеклых сведений, которые уже сто лет, в перемешку с анекдотами, повторяются на страницах учебников. Весь этот поток с изрядной долей цинизма использует наивность и невежество потребителей такого рода продукции, представляя ее как свидетельства и даже как оригинальные открытия. Несомненно, существуют исключения; каждая эпоха знала выдающихся путешественников, и я охотно процитировал бы одного или двух из тех, которые и ныне пользуются успехом у публики. Однако я не склонен заниматься разоблачениями или раздавать лавры; мне просто хочется понять это духовное и общественное явление, столь характерное для Франции, а теперь захватившее и нас.

Каких-нибудь двадцать лет назад вообще не путешествовали, а тех, кто рассказывал о своих путешествиях, не принимали по пять-шесть раз в заполненном до отказа Зале Плейель<sup>2</sup>. Единственным местом в Париже для такого рода выступлений был маленький, холодный и неудобный амфитеатр в старом павильоне в глубине Ботанического сада. Там Общество друзей “Музеума”<sup>3</sup> раз в неделю организовывало — а может быть, организовывает и до сих пор — природоведческие лекции. Проекционный аппарат с маломощной лампой посылал на слишком большой экран невыразительные тени; докладчик, уткнувшись носом в стену, сам едва угадывал контуры, а публика не отличала их от пятен сырости на стене. Через четверть часа после объявленного времени начала лекции собравшиеся все еще с тревогой ожидали, появятся ли новые слушатели, кроме немногочисленных завсегдатаев, одинокие силуэты которых маячили на ступенях амфитеатра. И когда уже была потеряна всякая надежда, зал наполовину заполнялся детьми под присмотром мамаш и гувернан-

ток: детей привлекало бесплатное развлечение, а опекуны были утомлены шумом и пылью улицы. Перед этой аудиторией — смесью извлеченных из нафталина фигур и непоседливой детворы — реализовывался закон высвобождения казалось бы навсегда замороженных сокровищ памяти — и это наивысшая награда за все страдания и труды: было такое чувство, будто воспоминания отрываются и падают, как камни в глубину колодца.

Таким было наше возвращение, не менее унылое, чем торжество в честь отбытия: банкет, устроенный Французско-Американским Комитетом в роскошном отеле на улице, которая сегодня называется проспект Франклина Рузвельта. Владелец ресторана прибыл за два часа до начала и разместился со своим фарфором и жаровнями в необжитых помещениях, спешное проветривание которых не смогло устранить запах затхлости.

Не привыкшие ни к такой роскошной обстановке, ни к скуке окружающего нас пропыленного запустения, сидя за столом, который казался слишком маленьким в этом огромном салоне, где кое-как удалось подмести лишь центральную часть, занятую гостями, мы познакомились друг с другом — молодые ученые, только начинающие свою карьеру в наших провинциальных лицеях. Судьбе было угодно, чтобы странный каприз Жоржа Дюма<sup>4</sup> неожиданно извлек нас из сырых, холодных меблированных комнат, принадлежавших префектуре, пропитанных запахом грога, подвала и охлажденного вина, и перенес на просторы тропических морей и палубы комфортабельных судов, туда, где нас ожидало нечто, мало напоминающее оказавшуюся обманом — роковое свойство всех путешествий — картину, которую мы уже нарисовали в своем воображении.

Я был учеником Жоржа Дюма в эпоху его “Трактата по психологии”. Раз в неделю (не помню, в четверг или в воскресенье утром) он собирал студентов философского

факультета в зале св. Анны, где вся противоположная окнам стена была покрыта забавными рисунками душевнобольных. Уже там мы чувствовали атмосферу какой-то особой экзотики. На подиуме возвышалась фигура Дюма с шишкообразной головой грубой лепки, похожей на большой корнеплод, побелевший и отшлифованный пребыванием в морских глубинах. Его лицо цвета воска сливалось с седыми волосами, коротко остриженными “под ежик”, и бородкой, такой же седой и торчащей во все стороны. Этот любопытный образчик растительного мира, вдобавок ошетилившийся своими “корешками”, вдруг обретал человеческий облик благодаря черным как угли глазам, которые еще больше подчеркивали его седину; контраст еще раз повторяли белая рубашка с крахмальным отложным воротником и неизменно черные широкополая шляпа, галстук, завязанный бантом, и костюм.

Вряд ли можно было многому научиться на его лекциях; он никогда к ним не готовился, прекрасно сознавая силу воздействия на аудиторию своей неординарной внешности, выразительной игры губ, подергивающихся в тике, а главное, хриплого и мелодичного голоса, поистине голоса сирены, удивительные интонации которого не просто напоминали его родной *lanque d’oc*<sup>5</sup>, но выражали нечто большее, чем региональные особенности, — архаичную мелодику французского языка. Голос и лицо, в двух формах чувственного восприятия имели один и тот же стиль: они были неприметными, крестьянскими и в то же время выразительными, что характерно для гуманистов XVI века, врачей и философов; казалось, что и своим внешним обликом, и своими духовными качествами он обязан их племени.

Второй, а иногда и третий час посвящался осмотру пациентов; в этом случае мы были ассистентами, свидетелями и участниками невиданных спектаклей, разыгрывающихся между маститым специалистом и субъектами,

которых за долгие годы пребывания в клинике хорошо выдрессировали для таких демонстраций; они отлично знали, чего от них ожидают, по команде проявляли симптомы болезни и сопротивлялись “укротителю” ровно настолько, чтобы дать ему возможность выступить с блеском. У аудитории не было никаких иллюзий на этот счет, и тем не менее ее удавалось увлечь этими виртуозными трюками. Если пациент сумел заслужить доверие профессора, в награду тот проявлял свое расположение, приглашая пациента на специальную беседу. Никакое столкновение с дикими индейцами не смогло испугать меня так, как то утро, проведенное с пожилой дамой, укутанной в свитера, которая уподобляла себя гнилой селедке, замороженной в ледяную глыбу: она кажется неповрежденной, но ей грозит мгновенное разложение, если вдруг растает ее защитная оболочка.

Дюма, этот ученый и немного мистификатор, побуждающий нас к синтетическим работам, широкие горизонты которых укрепляли вполне профессиональный критический позитивизм, был в высшей степени благородным человеком. Он доказал мне это незадолго до своей смерти, когда буквально на следующий день после объявления перемирия<sup>6</sup>, в то время почти уже совсем слепой, написал мне из затишья своего родного Лединьона письмо, полное участия и такта, несомненно, с единственной целью высказать свою солидарность с первыми жертвами событий.

Я всегда сожалел, что не мог знать Дюма в его молодые годы, когда смуглый, загорелый, как конкистадор, и окрыленный научными перспективами, которые открывала психология XIX века, он устремился на интеллектуальный штурм Нового Света. Та разновидность любви с первого взгляда, которой предстояло вспыхнуть между ним и бразильским сообществом, была загадочным проявлением встречи, взаимопознания и почти слияния двух фрагментов, характерных для Европы последних четы-



рехсот лет; определенные черты этой Европы сохранились, с одной стороны, в протестантской семье юга Франции, а с другой — в рафинированном и несколько декадентском мещанском обществе, в замедленном темпе живущем в тропиках. Заблуждение Жоржа Дюма состояло в том, что он так и не осознал чисто археологического характера этой связи. Он сумел охватить только Бразилию землевладельцев, постепенно переводящих свои капиталы в промышленные предприятия с участием зарубежных инвесторов и ищущих идеологической опоры в грешном парламентаризме (они так быстро захватили власть, что создалось впечатление, будто это и есть истинная Бразилия). Наши студенты, происходящие из семей иммигрантов или мелких фермеров, связанных с землей и разоренных ввиду изменения ситуации в мировой торговле, с неприязнью называли их *grão fino*, что значит “сливки”. Любопытная вещь: основание университета в Сан-Паулу, великое дело жизни Жоржа Дюма, должно было позволить людям скромного происхождения начать продвижение вверх посредством получения дипломов, которые открывали им доступ к постам в администрации; таким образом, наша университетская миссия внесла свой вклад в создание новой элиты — но эта элита отдалялась от нас, по мере того как Дюма, а вслед за ним и *Quai d’Orsay*<sup>7</sup> отказывались понимать, что это было наше главное достижение, даже если эта элита намеревалась вытеснить землевладельцев, которые, по сути, и пригласили нас в Бразилию для того, чтобы мы были им и поддержкой, и развлечением.

Но в тот вечер, когда был устроен французско-американский торжественный обед, ни мои коллеги, ни я, ни наши жены еще не подозревали, какую роль мы, сами того не желая, должны будем сыграть в развитии бразильского общества. Мы были слишком заняты тем, что присматривались друг к другу и пытались предугадать

наши возможные промахи, так как Жорж Дюма предупредил, что нам предстоит вести образ жизни наших новых покровителей, то есть посещать клубы автолюбителей, казино и бега. Это казалось невообразимым для молодых преподавателей, которые до сих пор зарабатывали по двадцать шесть тысяч франков в год, даже если умножить эту сумму на три (столь скромным было число кандидатов в экспатрианты).

“Прежде всего, — сообщил нам Дюма, — надо будет одеться с иголочки.” И, чтобы позабавить нас, добавил с трогательной наивностью, что все необходимое можно купить неподалеку от Центрального рынка в магазине под вывеской “У креста Жанетты”, который его вполне устраивал, когда он был еще молодым человеком и изучал медицину в Париже.

## Глава 2

# На корабле

Мы никогда не предполагали, что в течение следующих четырех или пяти лет наша небольшая компания будет едва ли не единственной публикой первого класса на пассажирско-торговых судах "*Compagnie des Transports Maritimes*", обслуживающих Южную Америку. К нашим услугам был или второй класс на единственном корабле типа "люкс", курсирующем на этой линии, или первый класс на более скромных судах. Карьеристы выбирали первое предложение, доплачивая разницу из собственного кармана; они надеялись, что таким образом окажутся среди дипломатов и смогут извлечь из этого довольно сомнительную выгоду. Мы выбирали смешанные суда, но были на них самыми важными пассажирами; эти суда были в пути на шесть дней дольше и останавливались в большем количестве портов.

Как бы мне хотелось теперь, чтобы двадцать лет назад я мог по достоинству оценить те неслыханные убытки, ту королевскую привилегию, когда палуба, каюты, курительный и обеденный залы первого класса на корабле, рассчитанном на сто — сто пятьдесят человек, отдавались в распоряжение всего лишь восьми — десяти пассажиров. В море в течение девятнадцати дней это пространство принадлежало только нам и казалось почти безграничным, корабль был нашей страной, наши владения плыли вместе с нами. За два-три путешествия мы изучили наши суда, мы привыкли к ним; еще до того, как взойти на палубу, мы знали по имени всех этих замечательных марсельских

стюардов, с усами и в тяжелых башмаках, стюардов, от которых разило чесноком, когда они заботливо раскладывали по нашим тарелкам блюда из индейки или куриные котлеты. Обеды, задуманные как пантагрюэлевские, тем более становились таковыми, поскольку готовились на корабельной кухне в небольшом очаге<sup>8</sup>.

Закат одной цивилизации и начало новой, внезапное открытие, что наш мир, вероятно, становится слишком тесным для людей, которые его населяют, — эти истины стали для меня очевидны не столько благодаря цифрам, статистическим данным и демографической революции, сколько вследствие ответа, полученного мною несколько недель тому назад, когда, вдохновленный мыслью вновь обрести свою молодость и вернуть время на пятнадцать лет назад, совершив для этого новое путешествие в Бразилию, я принял телефонное уведомление, что теперь место на пароходе необходимо заказывать за четыре месяца. А я-то думал, что с тех пор, как налажены пассажирские перелеты между Европой и Южной Америкой, лишь немногие чудаки путешествуют кораблями! К сожалению, вера в освобождение одной стихии вследствие освоения другой — это еще одно заблуждение. Из факта существования прекрасных самолетов не следовало, что море обрело покой, точно так же, как массовая продажа участков на Лазурном Побережье не вернула деревенского облика окрестностям Парижа.

Однако между чудесными путешествиями 1935 года и тем, от которого я тут же отказался, в 1941 году состоялась еще одна экспедиция; я тогда еще не догадывался, что она станет поистине символом будущего. На следующий день после окончания войны, благодаря дружеской заинтересованности Роберта Г.Лоуи<sup>9</sup> и А.Метро<sup>10</sup> моими этнографическими трудами, а также стараниям моих родственников, живущих в Нью-Йорке, я получил через Фонд Рокфеллера в рамках программы спасения европейских ученых, которым в случае германской оккупации

угрожала опасность, приглашение в *New School for Social Research* в Нью-Йорке. Надо было туда ехать — но каким образом? Мне сразу пришла в голову мысль отправиться в Бразилию, чтобы продолжить мои довоенные исследования. В маленьком одноэтажном здании в Виши, где размещалось бразильское посольство, разыгралась короткая и печально завершившаяся для меня сцена. Когда я обратился туда с просьбой о продлении визы, посол Луиш ди Соуза-Данташ, которого я хорошо знал, но который поступил бы точно так же, даже если бы мы не были знакомы, поднял печать, чтобы приложить ее к моему паспорту, — и в этот момент учтивый и холодный как лед советник остановил его, напомнив, что новые правила лишают его этого права. На несколько секунд рука посла зависла в воздухе. Робким, почти умоляющим взглядом посол пытался склонить своего сотрудника, чтобы тот отвернулся на мгновение, пока печать опустится, позволяя мне выехать из Франции, а быть может, и въехать в Бразилию. Однако ничто не помогло, взгляд советника оставался прикованным к руке, которая в конце концов опустилась рядом с документом. Я не получил визы, паспорт был возвращен мне с жестом отчаяния.

Вернувшись в свои Севенны, где я поселился благодаря счастливому стечению обстоятельств, поскольку был демобилизован неподалеку, в Монпелье, я отправился в Марсель. Здесь, бродя по городу, я услышал, что вскоре отходит судно на Мартинику. Переходя с корабля на корабль, из кабинета в кабинет, я в конце концов выяснил, что это судно принадлежит той самой "*Compagnie des Transports Maritimes*", верными и практически единственными клиентами которой в предыдущие годы были члены нашей французской университетской миссии в Бразилии. В зимнюю стужу февраля 1941 года в неотапливаемых и на три четверти запертых кабинетах я отыскивал чиновника, который когда-то приходил нас приветствовать от имени мореходной компании. Да, такое судно

есть, да, оно должно вот-вот отплыть, но у меня нет никакой возможности туда попасть. Почему? Он не знает, он не может мне этого объяснить, но теперь все не так, как было прежде. А как же? О, все это очень сложно, очень жаль, но он даже не представляет себе, как мне попасть на судно. Бедняга все еще видел во мне некоего посланца французской культуры, а я уже чувствовал себя зверем в клетке концентрационного лагеря. Ко всем прочим бедам, два последних года я сначала был загнан в чащу девственного леса, а потом пытался с позиции на позицию в безумном отступлении от “линии Мажино” до Безье через Сарту, Коррэз и Аверон<sup>11</sup>, когда возможность ехать в вагонах для скота казалась удачей, — поэтому щепетильность моего собеседника показалась мне чем-то не от мира сего. Я уже представлял себе, как в океане возобновится моя жизнь путешественника, как я буду допущен к работе и скромной пище горстки моряков, брошенных на произвол судьбы на затерявшемся судне, как в течение долгих дней я буду лежать на палубе, предаваясь благодатному общению с морем.

В итоге я получил билет на пароход “Каптиан Поль-Лемерль”, однако глаза мои открылись лишь в день посадки, когда я проходил сквозь строй жандармов в касках и с карабинами наготове: они оцепили трап и отделяли пассажиров от провожающих их родственников и друзей, сокращая проводы при помощи толчков и проклятий; это совсем не походило на приключение одинокого путешественника; скорее, это было отплытие галеры. Но гораздо больше, чем то, как с нами обращались, меня удивило количество пассажиров. Около трехсот пятидесяти человек набилось в маленький пароход, который — как это вскоре выяснилось — имел всего две каюты на семь коек. Одна из этих кают была занята тремя дамами, вторая — четырьмя мужчинами. Я оказался среди них; это была неслыханная привилегия, которую я получил благодаря тому, что г-н Б. (за что я ему до сих пор благодарен) считал невозможным перевозить

своего постоянного пассажира каюты “люкс” в условиях, годящихся разве что для перевозки скота. Все остальные участники путешествия — мужчины, женщины и дети — ютились под палубой без света и свежего воздуха. Плотники разместили там наспех сколоченные многоярусные лежанки, покрытые сенниками. Из четырех привилегированных пассажиров-мужчин, кроме меня, один был австралийским торговцем металлом, который, судя по всему, прекрасно знал, во что ему обошлась эта привилегия; вторым был молодой *béké*, богатый креол, отрезанный войной от его родной Мартиники и заслуживающий особого отношения, так как он был единственным на этом судне, кого нельзя было заподозрить в том, что он еврей, гражданин чужой страны или анархист; наконец, последний, североамериканец, весьма странная личность, утверждал, что едет в Нью-Йорк всего на несколько дней (весьма экстравагантный план, если учесть, что само путешествие должно было длиться три месяца); он вез в своем чемодане картину Дега и, хотя, как и я, был евреем, похоже, считался *persona grata* у полиции, органов безопасности и жандармерии всех колоний и протекторатов — удивительная загадка, которую мне так и не удалось разгадать.

Среди прочего “сброда”, как выражались жандармы, были Андре Бретон и Виктор Серж. Андре Бретон, который очень плохо себя чувствовал на этой галере, прохаживался по редким островкам свободного пространства на палубе, похожий на медведя в своем лохматом одеянии. Наша многолетняя дружба началась с обмена замечками, которые мы писали для себя во время этого бесконечного путешествия, с дискуссией о соотношении между эстетической традицией и самобытностью.

Что же касается Виктора Сержа, то меня отпугивало его прошлое друга и соратника Ленина, хотя мне было крайне трудно совместить этот образ с тем, что я видел: он скорее напоминал старую деву с принципами. Лицо, лишенное растительности, нежные руки, высокий голос в

сочетании с напыщенными и вместе с тем осторожными манерами указывали на тот тип почти асексуального характера, с которым мне впоследствии довелось столкнуться у монахов-буддистов на бирманской границе, характера, который был так далек от мужского темперамента и бьющей через край витальности, с чем французская традиция связывает так называемую подрывную деятельность.

Культурные типы, достаточно схожие и повторяющиеся в любом обществе, поскольку возникают вокруг очень простых конфликтов, используются отдельными группами для выполнения различных общественных функций. Тип Сержа мог сделать революционную карьеру в России, но чем бы он был в другом месте? Вероятно, взаимоотношения между обществами были бы упрощены, если бы можно было с помощью определенного рода сетки определить систему эквивалентов между способами использования каждым из этих сообществ аналогичных человеческих типов для выполнения разнообразных общественных функций. Вместо того чтобы ограничиваться, как это делается обычно, сравнением врачей с врачами, промышленников с промышленниками, преподавателей с преподавателями, может быть, следовало бы обратить внимание, что существуют более тонкие связи между индивидуумами и их общественными ролями.

Кроме человеческого груза, судно перевозило какой-то неизвестный мне таинственный товар; мы потратили необычно много времени в Средиземном море и у западного побережья Африки, скрываясь от порта к порту, чтобы, как мне показалось, избежать таможенного досмотра английского флота. Обладателям французских паспортов время от времени позволялось сойти на берег, другие же оставались зажатыми на своих нескольких десятках квадратных сантиметров палубы, которая в жаре, возрастающей по мере приближения к тропическим странам и делающей невозможным пребывание в глубине судна, превратилась в нечто среднее между столовой, спальней, детскими



яслями, прачечной и солярием. Но самым печальным было то, что мы называем гигиеническими удобствами.

Команда корабля смастерила две пары будок без света и воздуха, симметрично размещенных вдоль бортов; с правой стороны судна — для мужчин, с левой — для женщин; в одной будке помещалось несколько душей, работавших только утром; в другой находилось длинное, обитое жостью, со стоком прямо в океан, деревянное корыто, о предназначении которого нетрудно было догадаться; у противников бесцеремонности, испытывающих отвращение к коллективному сидению на корточках да еще при угрозе потерять равновесие из-за качки, не было другого выхода, как просыпаться очень рано; на протяжении всего путешествия проходило нечто вроде соревнования между этими эстетами, так что в итоге только в третьем часу утра можно было надеяться на относительное одиночество. Дошло до того, что некоторые вообще не ложились спать. С разницей в два часа та же ситуация повторялась в душе; здесь дело было даже не в стыдливости, а в том, чтобы заполучить себе место в этой толчее — воды было недостаточно, и она как бы распылялась от столкновения с таким количеством потных тел и почти не доходила до кожи. И здесь, и там царила спешка — лишь бы побыстрее закончить и выйти, поскольку будки, лишенные воздуха, были сколочены из свежих смолистых сосновых досок: эти доски, пропитанные грязной водой, мочой и морским воздухом, на солнце начали выделять смолу, и в воздухе стояла липкая, сладковатая, доводящая до головокружения вонь, которая в сочетании с другими испарениями быстро становилась непереносимой, особенно при бурном море.

Когда после месяца пути мы увидели в ночи огни маяка Фор-де-Франс, сердца путешественников переполнились надеждой не на съедобную пищу, не на кровать с чистой постелью, не на спокойную ночь. Все эти люди, которые вплоть до самой погрузки на судно пользовались

тем, что англичане так метко называют “благами” цивилизации, куда больше страдали от того, что были вынуждены в течение месяца терпеть грязь, к тому же усугубленную жарой, чем от голода, усталости, бессонницы, толчеи и отвращения. На корабле были молодые и красивые женщины, возникали симпатии, люди сближались. Для этих девушек возможность перед расставанием показаться, наконец, в хорошей форме была не просто кокетством: это был вексель к оплате, обязательство, выполнить которое было делом чести, доказательство, что они были действительно достойны того внимания, которое, как они с трогательной деликатностью считали, оказывалось им в кредит. Поэтому в возгласе, вырвавшемся из каждой груди: “Ванна! наконец ванна! завтра ванна!”, возгласе, который заменил собой традиционный возглас: “Земля, земля!” из морских рассказов, было не только нечто гротескное, в нем была также изрядная доля пафоса; этот возглас слышался со всех сторон, по мере того как люди лихорадочно приступали к осмотру своего нехитрого инвентаря: последнего кусочка мыла, самого чистого полотенца, блузки, припрятанной для этого важного момента. Основанием для этой гидротерапевтической мечты было слишком оптимистическое представление о цивилизаторском влиянии Франции, которого можно было ожидать после четырех веков колонизации (поскольку ванны комнаты в Фор-де-Франс были редкостью); очень скоро пассажиры убедились, что их грязный и битком набитый корабль был идиллическим местом проживания по сравнению с тем приемом, который по прибытии в порт устроила им солдатня, охваченная массовым психозом, достойным внимания этнолога, если бы он не мобилизовал все ресурсы своего интеллекта исключительно для того, чтобы избежать печальных последствий этой одержимости.

Большинство французов пережило “странную” войну; однако военные переживания офицеров гарнизона острова Мартиники невозможно передать даже самыми сильными

выражениями. Их единственная задача: охрана золота Французского Банка, превратилась в некое подобие кошмара. Ответственность за это лишь частично можно возложить на злоупотребление пуншем; намного более коварную, но не менее существенную роль сыграла изолированность, удаленность от метрополии, а также историческая традиция, сохранившая память о пиратах; считалось, что североамериканская разведка или тайная миссия немецкого подводного флота без труда вербовали в свои ряды добровольцев с золотыми серьгами, выбитым глазом или деревянной ногой. На этом фоне развилась лихорадочная навязчивая идея, которая, без малейшего к тому повода — поскольку врага нигде так и не обнаружили — породила у большинства панические настроения. Что касается островитян, то их высказывания выявляли в более прозаической форме умственную озабоченность того же типа: “Уже не хватает трески, остров погиб”, — эти слова слышались довольно часто, в то время как другие считали Гитлера чуть ли не Иисусом Христом, который спустился на землю, чтобы покарать белых за то, что на протяжении двух тысяч лет они плохо исполняли Его заветы.

С момента окончания войны офицеры, далекие от того, чтобы вступить в “Свободную Францию”<sup>12</sup>, чувствовали себя связанными с режимом метрополии. Они должны были по-прежнему оставаться “в стороне от событий”; их физическая и моральная стойкость подрывалась на протяжении долгих месяцев, что сделало их неспособными к бою, если бы им вдруг пришлось в нем участвовать; их большой разум обретал определенное успокоение, заменяя подлинного врага, но такого далекого, что он стал невидимым и почти абстрактным, — немцев — на врага вымышленного, но имеющего те преимущества, что был близок и осязаем, — то есть на американцев. К тому же, два военных корабля США постоянно кружили у входа в порт. Проворный адъютант коменданта французских войск

ежедневно завтракал на борту корабля, в то время как его шеф занимался тем, что разжигал среди своих солдат ненависть к англосаксам.

Для роли врагов, на которых можно было выплеснуть гнев, нараставший в течение долгих месяцев, пассажиры нашего судна были идеально подобранной коллекцией людей, ответственных за катастрофу, к которой сами островитяне были непричастны, ибо находились вдали от военных действий, что, с другой стороны, порождало в них смутное чувство вины. (Разве не они явили собой самый яркий пример предельной беззаботности, самообмана и пассивности, жертвой которых, по крайней мере частично, стала Франция?) Создавалось впечатление, что чиновники Виши, позволив нам выехать на Мартинику, выслали этим господам козлов отпущения, чтобы умирить их злобу. Вооруженные солдаты в шортах и в касках разместились в комендантуре; казалось, что, приступив к допросу каждого из нас в отдельности, они скорее упражнялись в оскорблениях, которые мы обязаны были выслушать. Тот, кто не был французом, узнал о том, что он враг, французам отказывали в их национальности, а всех вместе обвиняли в том, что, выехав, они тем самым позорно бежали из страны: упрек не только противоречивый сам по себе, но, к тому же, довольно странный в устах людей, которые с момента объявления войны фактически жили под защитой доктрины Монро<sup>13</sup>...

Прощай, ванна! Было решено всех интернировать, поместив в лагерь, называемый Лазаретом, который находился на противоположной стороне залива. Только троим позволили сойти на берег: *béké*, относительно которого не было никаких сомнений, загадочному тунисцу на основании представленного им документа и мне, благодаря особо любезному отношению морской таможни к коменданту; с ним мы встретились как старые знакомые, поскольку он был вторым офицером на судах, пассажиром которых я был до войны.

## Глава 3

# Антильские острова

В два часа пополудни Фор-де-Франс превращался в мертвый город; можно было подумать, что никто не живет в домах, которые окружают широкую площадь, усаженную пальмовыми деревьями и покрытую дикорастущей травой; в центре возвышалась, как будто кем-то забытая, позеленевшая статуя Жозефины Таше де ла Пажери, впоследствии Богарне<sup>14</sup>. Как только тунисец и я, еще находясь под впечатлением событий этого утра, разместились в полупустом отеле, мы сразу бросились к нанятому нами автомобилю и поехали в направлении Лазарета, чтобы ободрить наших товарищей по путешествию, в особенности двух молодых немок, которые за время пути сумели создать у нас впечатление, что, как только умоются, будут тут же готовы изменить свои мужьям. В этом смысле ситуация с Лазаретом лишь углубила наше разочарование.

Пока старый “форд” тащился на первой передаче вверх по неровной дороге, я с восторгом обнаружил многие виды растений, хорошо знакомые мне по Амазонии; однако здесь я должен был научиться называть их по-другому: *caimite* вместо *fruta do conde* — нечто вроде артишока внутри груши, *corrosol*, а не *graviola*, *papaye* вместо *mamão*, *sapotille* вместо *mangabeira*. Я вспоминал неприятные сцены, свидетелем которых только что был, и пытался связать их с другим своим опытом подобного рода. Моим товарищам, которые, в основном, до этого вели спокойную жизнь и были впервые брошены на

произвол судьбы, эта смесь злобы и глупости казалась чем-то неслыханным, единственным в своем роде, исключительным; ударом, который обрушился на них самих и на тех, кто держал их под стражей, вследствие невиданной в истории катастрофы. Но для меня, человека, повидавшего мир и в прошлом не раз оказывавшегося в ситуациях по меньшей мере неординарных, подобный опыт не был чем-то совершенно чуждым. Я знал, что медленно, но непрерывно этот опыт просачивается как предательская течь в человечестве, изнемогающем от собственной многочисленности и от возрастающей с каждым днем сложности проблем, словно его кожа потеряла свой защитный покров от трения в процессе материального и интеллектуального обмена, который расширяется в результате интенсивного общения. На этой французской территории война и поражение только ускорили ход повсеместно протекающего процесса, облегчили проникновение стойкой инфекции, которая никогда не исчезнет с поверхности земли, поскольку, ослабевая в одном месте, она тут же вспыхивает в другом.

Я не впервые встретился с теми проявлениями глупости, ненависти и легковерия, которые, как зловонной гной, выделяют человеческие сообщества, когда им становится тесно.

Еще не так давно, перед объявлением войны, на обратном пути во Францию я прогуливался в Баии<sup>15</sup> по верхней части города и заходил в храмы, которых, как говорят, насчитывается 365, по одному на каждый день года; они построены в разных стилях, а их внутреннее убранство соответствует дням и временам года. Я был полностью поглощен фотографированием элементов архитектуры. Следом за мной бежала группа полуголых негритят, которые умоляли: *"Tira o retratol Tira o retratol"* ("Сфотографируй нас!"). В конце концов, тронутый этим милым попрошайничеством: не дать монетку, а сделать фотографию, которую они никогда не увидят, — я согла-

сил ся заснять их, чтобы доставить детишкам удовольствие. Не прошел я еще и ста шагов, как почувствовал чью-то руку на своем плече; два агента, которые следовали за мной по пятам с самого начала прогулки, сообщили мне, что я совершил враждебный акт по отношению к Бразилии: эта фотография, использованная в Европе, без сомнения, может подтвердить легенду о том, что существуют черные бразильцы и что детишки в Баии бегают босиком. Меня арестовали, но, к счастью, ненадолго, так как мой корабль отплывал.

Этот корабль был для меня каким-то злым роком; несколькими днями раньше со мной приключилась еще одна история, на этот раз при посадке, еще на портовой набережной в Сантусе<sup>16</sup>. Едва я ступил на палубу, комендант бразильского военно-морского флота, в парадном мундире, сопровождаемый двумя морскими пехотинцами со штыками на карабинах, арестовал меня в моей каюте. Потребовалось около четырех-пяти часов, чтобы выяснить, в чем же дело: было введено новое правило, согласно которому французско-бразильская экспедиция, которой я руководил в течение года, должна была разделить свою этнографическую коллекцию между этими двумя странами. Раздел должен был происходить под контролем Национального Музея в Рио-де-Жанейро, который тут же дал указание всем портам в стране любой ценой задержать меня, как будто я злонамеренно пытался скрыться с добычей: стрелами, луками, головными уборами и перьями, — намного превышающей часть, принадлежащую Франции. Правда, в момент отбытия экспедиции Музей в Рио изменил свои планы, и решено было уступить часть, принадлежащую Бразилии, научному институту в Сан-Паулу; мне сообщили, что по этой причине вывоз французской части необходимо произвести из Сантуса, а не из Рио, но поскольку власти знали, что год назад этот вопрос был урегулирован иначе, меня записали в преступники на основании уста-

ревшего предписания, о котором забыли даже его авторы, но хорошо помнили органы, обязанные его выполнять.

К счастью, в те времена в каждом бразильском чиновнике было что-то от мечтательного анархиста, удерживающегося на плаву благодаря тем отрывкам из Вольтера и Анатоля Франса, которые даже в глубине джунглей являются ниточкой, связывающей с французской культурой. (“Ах, мсье, так вы француз! Ах, Франция! Анатоль, Анатоль!” — обнимая меня, восклицал взволнованный старичок из маленького городка в глубине страны; он никогда прежде не встречал ни одного моего соотечественника.) Именно поэтому, имея достаточный опыт, чтобы посвятить необходимое время демонстрации уважения к бразильскому государству в целом и к морским властям в частности, я старался задеть определенные струны, и мне это удавалось. Проведя несколько часов в состоянии, близком к паническому (этнографические коллекции были смешаны в ящиках с моими собственными, а также с библиотекой, так как я покидал Бразилию навсегда; поэтому я опасался, что в какой-то момент ящики разбросают по набережной, а тем временем корабль снимется с якоря), я продиктовал моему визави резкое заявление, в свете которого он, позволяя мне уехать с багажом, выглядел спасителем отечества, предотвратившим международный скандал и унижение национального достоинства.

Может быть, я и не проявил бы такой смелости, если бы в памяти моей не было свежо воспоминание о событии, которое дискредитировало полицию южноамериканских стран. Двамя месяцами ранее я должен был сделать пересадку с самолета на самолет и в ожидании рейса застрял на несколько дней в большом селении в нижней Боливии вместе с моим спутником доктором Ж.А.Веларом. Авиация в 1938 году мало напоминала то, чем она является сейчас. В далеких странах Южной Америки самолет, миновав определенные этапы развития цивилизации, закрепился в роли телеги для крестьян, которые



прежде, при отсутствии дорог, тратили несколько дней на пеший переход или конную поездку на ярмарку, расположенную по соседству. Теперь перелет в несколько минут (правда, иногда затягивающийся на несколько дней ожидания) позволял им перевозить кур и уток; путешествовать чаще всего приходилось, скрючившись где-нибудь в углу, так как маленькие самолеты были перегружены пестрой смесью босых крестьян, домашних животных, всяких мелочей и ящиков, слишком тяжелых или слишком громоздких для транспортировки по лесным тропам. Итак, мы бесцельно слонялись по улицам Санта-Крус-дела-Сиерра, превратившихся в эту пору дождей в грязевые потоки и действительно непроходимых для экипажей; мы преодолевали водные потоки по огромным камням, уложенным поперек улиц через равные промежутки, словно по уличным переходам, размеченным огромными гвоздями; патруль тут же обратил внимание на наши незнакомые лица — достаточный повод, чтобы нас арестовать и до выяснения обстоятельств запереть в одном из залов старинного дворца губернатора провинции; зал был меблирован со старомодной пышностью, вдоль обшитых деревом стен размещались застекленные библиотечные шкафы, заполненные толстыми томами в дорогих переплетах; между ними, также за стеклом, виднелась странная каллиграфическая надпись, которую я привожу здесь в переводе с испанского: “Запрещается под страхом сурового наказания вырывать страницы из архива для личных или гигиенических целей. Кто нарушит этот запрет, будет строго наказан”.

Должен сознаться, что улучшением моего положения на Мартинике я обязан вмешательству одного высокого чиновника “Управления дорог и мостов”, который, несмотря на свою холодную наружность, был настроен совершенно иначе, нежели большинство официальных лиц; быть может, причиной тому были мои частные визиты в редакцию религиозного еженедельника, в кабинетах кото-

рой “святые отцы”, уж и не знаю какого вероисповедания, собрали ящики, заполненные археологическими находками времен индейского владычества, и я в свое свободное время проводил инвентаризацию их содержимого.

Однажды я посетил зал суда присяжных во время слушания дела; это был мой первый и до сих пор единственный визит в суд. Судили крестьянина, который во время драки откусил часть уха у своего противника. Обвиняемый, пострадавший и свидетели говорили на креольском языке, чистота и свежесть которого создавали впечатление чего-то сверхъестественного в этом окружении. Их показания переводились трем судьям, едва живым от жары, облаченным в красные, отделанные мехом мантии, которые утратили свою форму от повышенной влажности и свисали с их тел, как окровавленные перевязочные бинты. В течение пяти минут вспыльчивый негр был осужден на восемь лет тюрьмы.

Справедливость всегда у меня ассоциировалась со щепетильностью, с сомнениями, с уважением. Возможность распорядиться судьбой человека за такое короткое время и с такой уверенностью привела меня в замешательство. Я не мог смириться с тем, что все это произошло на самом деле. По сей день ни один фантастический или гротескный сон не вызывал у меня такого чувства нереальности происходящего.

Что касается моих товарищей по путешествию, то они были освобождены благодаря конфликту между морскими властями и торговцами. Первые считали их шпионами и изменниками, вторые же видели в них источник собственной выгоды, получить которую было невозможно из-за пусть даже платного интернирования их в Лазарете. Аргументы последних оказались более весомыми, и через пятнадцать дней всем разрешили потратить последние французские банкноты под очень активным контролем полиции, которая опутала каждого, а в особенности женщин, сетью искушений, провокаций и давления.

Тем временем мы хлопотали о визах в консульстве Сан-Доминго и собирали ложные слухи о прибытии каких-то кораблей, которые должны были всех нас отсюда вызволить. Ситуация изменилась с того момента, когда сельские торговцы, позавидовав городским, дали понять, что и они имеют право на беженцев. День за днем всех принудительно расселяли по деревням в глубине страны; и на этот раз меня это не коснулось, но поскольку я пожелал составить компанию моим прекрасным спутницам в их новом месте проживания у подножия Монтань-Пеле<sup>17</sup>, я был обязан этой новой полицейской махинации незабываемыми прогулками по этому острову с его намного более аутентичной экзотикой, чем экзотика южноамериканского континента: весь остров был подобен темно-зеленому агату в оправе из серебра песчаных берегов, а его долины, окутанные молочным туманом, позволяли разве что угадать — скорее на слух по постоянному шуму, чем на взгляд — перистую и нежную пену гигантских древесных папоротников над живыми окаменелостями их стволов.

Хотя до сих пор я находился в привилегированном положении по сравнению с моими товарищами, меня все же беспокоил один вопрос, о котором здесь следует упомянуть, так как написание этой книги зависело от его разрешения, причем, как оказалось, с этим были определенные трудности. Весь мой скорб составлял чемодан с документами моих экспедиций: лингвистическими карточками, дневниками, путевыми заметками, картами и киноплёнками — тысячи страниц, карточек и негативов. Столь подозрительная коллекция пересекла демаркационную линию ценой серьезного риска для перевозчика, который за это взялся. Прием, с которым мы столкнулись на Мартинике, привел меня к выводу, что я не могу позволить таможенникам, полиции или Второму Бюро Администрации даже мельком взглянуть на все это, так как они, без всякого сомнения, решили бы, что словари

языков аборигенов — это “зашифрованные инструкции”, а карты, схемы и фотоснимки связаны с расположением воинских частей или с планом вооруженного нападения. Я решил написать в декларации, что чемодан следует транзитом, поэтому его опломбировали и отправили прямо на таможенный склад. По этой причине, как мне потом сообщили, я должен был покинуть Мартинику на иностранном судне, на которое мне доставят мой чемодан (склонить власти к этому компромиссу стоило мне больших усилий). Если бы я намеревался отправиться в Нью-Йорк на палубе “Д’Омаль” (настоящем “корабле-призраке”, которого мои товарищи ожидали месяц, после чего он в одно прекрасное утро материализовался, как огромная, заново выкрашенная игрушка прошлого века), чемодан следовало сначала ввезти на Мартинику, а затем оттуда вывезти. Об этом не могло быть и речи. Поэтому я выехал в Пуэрто-Рико на ослепительно былом шведском судне с грузом бананов; на протяжении четырех дней я упивался, как воспоминанием былых времен, спокойным путешествием практически в полном одиночестве, поскольку на судне было лишь восемь пассажиров. Я хорошо сделал, что воспользовался этой возможностью.

После французской полиции — встреча с полицией американской. Высадившись в Пуэрто-Рико, я совершил два открытия: за два месяца, прошедших с того момента, как я оставил Марсель, изменились правила, касающиеся иммиграции в Соединенные Штаты, и документы, которые я получил из *New School for Social Research*, уже не соответствовали новым предписаниям; второе и самое главное состояло в том, что американская полиция полностью разделяла подозрения полиции на Мартинике по поводу моих этнографических документов, которые до сих пор я столь искусно оберегал. Если в Фор-де-Франс я считался жидомасоном на содержании у американцев, то теперь мне пришлось с горечью констатировать, что для североамериканцев я имел все шансы стать эмиссаром

Виши, если не самой Германии. Я должен был ждать того, чтобы *New School* (куда я послал срочную телеграмму) уладила все формальности, а также того, чтобы специалист из ФБР, умеющий читать по-французски, прибыл в Пуэрто-Рико. (Зная, что мои записи были на три четверти сделаны не по-французски, а на почти неизвестных диалектах племен Центральной Бразилии, я содрогался при мысли, сколько еще придется ждать, пока найдут нужного эксперта.) Иммиграционные власти приняли решение о моем интернировании, поселив меня, наконец-то за счет судоходной компании, в угрюмом отеле испанского типа, где меня кормили вареной говядиной и мамалыгой, а двое полицейских-аборигенов, очень грязных и небритых, поочередно сменяя друг друга у моих дверей, следили за мной днем ночью. Я вспоминаю, что именно в холле этого отеля Бертран Гольдшмидт, позднее директор Комиссии по атомной энергетике, который прибыл тем же самым пароходом, выложил мне принципы атомной бомбы и объяснил (это было в 1941 году), что великие державы ведут научную гонку, выигрыв в которой обеспечит окончательную победу.

Мои товарищи по путешествию в течение нескольких дней решили свои вопросы и отплыли в Нью-Йорк. Я один остался в Сан-Хуане с двумя полицейскими под боком; они сопровождали меня по первому требованию к одному из трех мест, которые мне позволялось посещать: французскому консульству, банку и иммиграционному управлению. Если я хотел пойти куда-нибудь еще, я должен был спрашивать разрешения. Однажды я получил такое разрешение на посещение университета; мой надзиратель был столь деликатен, что не вошел за мной, чтобы пощадить мои чувства, и остался ждать меня у ворот. Поскольку и он, и его товарищ изнывали от скуки, они иногда нарушали предписание и по собственной инициативе позволяли мне сходить в кино. Только в те сорок восемь часов, которые оставались между моим освобожде-

нием и отъездом, я смог обследовать остров в любезном сопровождении г-на Кристиана Белле, в то время генерального консула; в этих странных обстоятельствах я с изумлением обнаружил в нем коллегу-американиста, который рассказал мне множество историй о своих морских путешествиях вдоль южноамериканского побережья. Несколько ранее я из прессы узнал о прибытии Жака Сустеля<sup>18</sup>, который объезжал Антилы, чтобы объединить французских резидентов\* под знамя генерала де Голля; мне, конечно же, требовалось разрешение на то, чтобы увидеться с ним.

Таким образом, в Пуэрто-Рико я впервые встретился с Соединенными Штатами; первый раз я почувствовал запах нагретой лакированной кожи и *wintergreen* (называемого еще канадским чаем)\*\*, двух обонятельных полюсов, между которыми помещается вся гамма американского комфорта — от автомобиля до туалета, включая радио, леденцы и зубную пасту; я старался разгадать скрытые под маской грима мысли рыжеволосых, в лиловых платицах, девушек из *drug-stores*\*\*\*. Здесь, в довольно специфической обстановке Антильских островов, я усвоил типичные черты американского города, всегда похожего — благодаря легкости конструкций, эффектности и усвоению заимствованного — на какую-то постоянную экспозицию; причем казалось, что в данном случае представлена, скорее, испанская секция.

---

\* Здесь *резидент* (фр. *resident*) — официальный представитель колониальной державы в протекторате. — Прим. перев.

\*\* *Wintergreen* — небольшое вечнозеленое растение (*Gaultheria procumbens*) с ароматическими листьями, из которых изготавливают парфюмерное масло; растет на востоке Северной Америки, называется также ягодным чаем (по красным плодам-ягодам) или галльским (то есть, французским, поэтому, вероятно, канадским). — Прим. перев.

\*\*\* *Drugstore* — аптечный магазин (англ.). — Прим. перев.

В путешествиях часто возникают такие смещения. Поскольку первые недели в США я провел в Пуэрто-Рико, теперь я всегда обнаруживаю американское в испанском. Подобное же произошло много лет спустя; первым английским университетом, который я посетил, был университет, расположенный в неоготических зданиях в Дакке, в Восточной Бенгалии. Теперь Оксфорд кажется мне Индией, которая сумела покорить болота, трясины и чрезмерную буйность своей растительности.

Инспектор ФБР прибыл через три недели после моего прибытия в Сан-Хуан. Я спешу на таможенный склад, открываю свой чемодан — волнующая минута. Подходит приятный молодой человек, наугад вынимает пару страниц, его взгляд становится суровым, и он грозно обращается ко мне: “Это по-немецки!”. Действительно, здесь есть ссылка на классический труд “*Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens*” (Berlin, 1894) фон ден Штейнена<sup>19</sup>, моего знаменитого и далекого предшественника в Центральном Мату-Гросу<sup>20</sup>. Эксперт, которого я так долго ждал, тут же удовлетворяется этим объяснением и теряет всякий интерес к этому делу. Отлично, *o’key*, мне разрешается въезд в США, я свободен.

Здесь надо бы остановиться. Каждое из этих мелких приключений вызывает в моей памяти другие. Те, о которых я сейчас рассказываю, связаны с войной, другие, описанные до этого, произошли раньше. Я мог бы добавить сюда свой недавний опыт, если бы обратился к азиатским путешествиям последних лет. Что касается моего любезного инспектора ФБР, то сегодня его бы не удалось так легко уговорить. Повсюду атмосфера все более накаляется.

## Глава 4

# В поисках силы

Незначительное событие, оставшееся в моей памяти как знамение будущего, впервые столкнуло меня с той атмосферой, с теми ветрами, порывы которых предвещают более глубокое волнение. Я решил не возобновлять договор с университетом в Сан-Паулу и полностью сосредоточиться на экспедиции в глубь страны. Опередив своих коллег, я на несколько недель раньше сел на судно, идущее в Бразилию. Впервые за четыре года я был единственным университетским работником на корабле, в первый раз в путешествовал в компании с таким количеством пассажиров, зарубежных предпринимателей, а главное, с военной миссией в полном составе, направляющейся в Парагвай. Хорошо мне знакомая атмосфера на судне, когда-то такая спокойная, на этот раз была совершенно иной. Офицеры и их жены не отличали трансатлантического путешествия от колонизаторской экспедиции, а уставной армейской службы — все-таки довольно скромной — от оккупации поверженной страны, оккупации, к которой они, по крайней мере морально, готовились, превратив корабельную палубу в армейский плац. Роль аборигенов выпала на долю гражданских пассажиров. Они не знали, где укрыться от этого нахальства, столь разнузданного, что беспокойство достигло даже капитанского мостика. Поведение руководителя миссии было совершенно противоположным; он и его жена были людьми очень тактичными и любезными; однажды они подошли ко мне в малопосещаемом уголке судна, где я пытался спрятаться от шума, расспрашивали о ранее напи-



санных мною книгах и при помощи намеков дали мне понять, что они — всего лишь бессильные, хотя и отдающие себе отчет во всем, свидетели происходящего. Контраст был столь разительным, что мне показалось, будто здесь кроется какая-то тайна; спустя три или четыре года я припомнил это событие, когда в газете прочитал фамилию этого старшего офицера, положение которого во время того нашего разговора было действительно парадоксальным; это был полковник Петит<sup>21</sup>.

Может, именно тогда я впервые понял то, в чем впоследствии окончательно убедила меня столь же деморализующая обстановка в других частях света? О, путешествия, волшебные ларцы, обещающие исполнение всех желаний, уже не получить ваших сокровищ в их первоизданном виде! Расширяющаяся и беспокойная цивилизация навсегда нарушила покой моря. Запах тропиков и нетронутая девственность их обитателей испорчены брожением с выделением подозрительных испарений, которое убивает наши стремления и вынуждает нас собирать наполовину искаженные воспоминания.

Сегодня, когда полинезийские острова, залитые бетоном, превращены в аэродромы, грузно осевшие в глубине южных морей, когда вся Азия представляет образец зараженной зоны, когда бензохранилища обезобразили Африку, а военная и гражданская авиация оскверняет чистоту американской или меланезийской пуши еще до того, как лишить ее девственности, — разве сегодня так называемое бегство в путешествие не является свидетельством жалкой участи нашего исторического существования? Великая западная цивилизация, сотворившая чудеса, которыми мы умиляемся, не сумела создать их, не нарушая гармонии. Так же, как и ее самое замечательное изобретение — колонны, на которых зиждется вся архитектура с ее несказанным богатством и разнообразием, западные порядок и гармония требуют удаления огромной массы отходов, побочных и вредных продуктов, которыми сегодня заражена

земля. И нашим первым впечатлением от путешествия оказывается ком грязи, брошенный в лицо человечеству.

Теперь я понимаю страстность, безумство и обман историй о путешествиях. Они создают иллюзию, будто нечто, уже не существующее, где-то еще продолжает существовать, иллюзию, которая нужна, чтобы мы могли убежать от гнетущего осознания того, что у нас за плечами двадцать тысяч лет человеческой истории. Все напрасно: цивилизация — уже не тот нежный цветок, который с большим трудом оберегали и выхаживали в укромных уголках земли, среди грубых людей, быть может, опасных в своей животной дикости, но обеспечивших разнообразие и жизнеспособность посева. Человечество ограничилось монокультурой и готовится производить массовую цивилизацию, как свеклу. Его меню будет состоять исключительно из одного этого блюда.

Когда-то давно люди, отправляющиеся в Индию или Африку, подвергали жизнь опасности, чтобы привезти оттуда товары, которые сегодня кажутся нам смешными: древесину секвойи (*bois de braise*, отсюда — Бразилия), пурпур или перец, который при дворе Генриха IV был изысканным лакомством, и зернышко перца подавали к столу в *бонбоньерках*\*. Эти зрительные или обонятельные впечатления, это радующее глаз тепло, эта щекочущая нёбо пикантность создавали дополнительную гамму чувственных ощущений на клавиатуре цивилизации, которая даже не предполагала, насколько она слащава. И не вправе ли мы сказать, что наши современные Марко Поло привозят из тех же краев, на этот раз в виде фотографий, книг и историй, нравственные колониальные приправы, которых наше общество алчет тем сильнее, чем острее чувствует, что погружается в трясину скуки?

Другое сравнение кажется мне более значимым, так как эти современные приправы — хотите ли вы этого или

---

\* *Бонбоньерка* (фр. *bonbonnière*) — небольшая украшенная шкатулка. — Прим. перев.

нет — являются фальшивками. Разумеется, не потому, что они чисто психологического свойства, а потому, что рассказчик, пусть даже самый добросовестный, не может, не в состоянии передать эти истории в их подлинной форме. Для того, чтобы мы согласились принять эти подделки, их надо подвергнуть определенным манипуляциям, что происходит подсознательно даже у самых правдивых людей; надо отбирать и просеивать воспоминания и вместо переживания предлагать шаблон. Открываю рассказы путешественников: вот племя, описанное как дикое и сохраняющее до сегодняшнего дня традиции даже неизвестно какой первобытной эпохи, карикатурно изображенные в нескольких легковесных главах. В свои студенческие годы я неделями занимался комментированием работ, в которых люди науки пятьдесят лет назад, а иногда даже совсем недавно, исследовали обычаи, существовавшие у этих племен до того, как встреча с белыми и — как следствие этого — болезни не превратили их в горстку убогих скитальцев. Вот рассказ о другой группе, которую молодой путешественник будто бы обнаружил и изучал в течение сорока восьми часов, — оказалось, что он встретился с этой группой в тот момент, когда она находилась вне своей территории (а это не одно и то же), на временной стоянке, по наивности принятой им за постоянное поселение. При этом старательно скрываются те средства, с помощью которых они сюда добрались, а именно, небольшая моторная флотилия, которая сразу бы обнаружила деятельность миссионеров, уже двадцать лет поддерживающих постоянные контакты с аборигенами. Однако опытный глаз открывает существование миссии по мелким деталям, поскольку не всегда удастся заретушировать на фотографиях заржавевшие котелки, в которых это девственное племя варит пищу.

Пустопорожность этих притязаний и наивное легковесие, с которым их принимают и даже подпитывают, признание, санкционирующее столько ненужных (если не разрушительных) усилий, — все это указывает на мощ-

ные психологические стимулы как у авторов, так и у публики, причем изучение, в основном, вполне определенных туземных установлений может пролить свет на природу этих побуждений. Поэтому этнография должна помочь понять эту моду, являющуюся причиной столь вредного для нее сотрудничества.

У многих племен Северной Америки общественный престиж личности зависит от обстоятельств, сопутствующих испытаниям, которым молодые юноши должны подвергнуть себя в возрасте созревания. Некоторые из них отправляются в одиночку в путешествие на плоту, не беря с собой пищи; другие ищут уединения в горах, подвергая себя испытаниям среди диких зверей, дождя и холода. Они отказываются от пищи на целые дни, недели и даже месяцы, добывают пропитание самым примитивным способом или голодают долгое время и даже усугубляют свое физиологическое истощение, употребляя экстракт рвотного корня. Все это: длительное купание в ледяной воде, членовредительство, отрубание пальцев, разрывание сухожилий путем прокалывания спинных мышц острыми колышками, привязанными веревками к грузам, которые человек пытается тащить за собой, — является предлогом для того, чтобы бросить вызов потустороннему миру. Даже если человек не доходит до таких крайностей, он изнуряет себя бесцельными действиями: вырыванием по одному волосков из тела, обрыванием иголок с сосны, пока та не останется совершенно голой, дроблением камней.

В состоянии помраченности, ослабленности или безумия, в которое погружают их эти упражнения, они надеются установить связь со сверхъестественным миром. Тронутый глубиной их страданий и силой молитв, им явится магический зверь, видение укажет им духа, который с тех пор будет их стражем и, к тому же, откроет им имя, которое они будут носить, и особая сила, полученная от покровителя, позволит им в своей общественной группе обрести привилегии и влияние.

Можно ли утверждать, что эти аборигены ничего не ожидают от общества? Установления и обычаи кажутся им чем-то вроде механизма, однообразное функционирование которого не оставляет никакой надежды на случай, везение или талант. Единственная возможность изменить судьбу — это броситься в тот опасный водоворот, где исчезают требования и гарантии группы, а значит, общественные нормы теряют свой смысл; дойти до границ безопасного существования, до пределов физиологической выносливости или физического и нравственного страдания. Оказавшись на этой ненадежной грани, можно либо исчезнуть по ту сторону, чтобы уже никогда не вернуться, либо, наоборот, в безмерном океане незадействованных сил, окружающем упорядоченное общество, добыть для себя могущество, благодаря которому общественный порядок, незыблемый для других, перестанет быть обязательным для смельчака.

Однако такая интерпретация была бы слишком поверхностной. Ведь у этих племен, живущих на равнинах или плоскогорьях Южной Америки, индивидуальные верования противопоставляются общей доктрине. Обычаи и философия группы пронизаны диалектикой. Группа прививает знание индивидуумам, вера в духов-покровителей является верой группы, само общество учит своих членов, что у них нет шансов в рамках общественного устройства — разве что ценой абсурдных и отчаянных усилий выйти за эти рамки.

Даже невооруженным глазом видно, до какой степени эта “погоня за силой” вновь оказалась в почете в современном французском обществе, что в наивной форме проявляется в отношении публики к “ее” исследователю. Молодым юношам в возрасте созревания разрешается дать волю своим побуждениям, от которых окружение охраняет их с раннего детства, и тем или иным способом на время сбросить с себя путы цивилизации. Это может быть путь наверх — покорение вершины горы, или путь вниз — нисхождение в пропасть, или путешествие в далекие края. Наконец, это стремление переступить грань может быть

чисто моральным, как, например, у тех, кто по собственной воле ставит себя в столь трудные ситуации, в которых, казалось бы, благоприятный исход практически невозможен.

Общество совершенно равнодушно к достигнутым результатам, которые ему хотелось бы назвать рациональными. Речь идет не о научных открытиях либо вкладе в поэзию или литературу в целом, поскольку такие достижения обычно поразительно редки. Здесь важно само усилие, а не объект его приложения. Как и в нашем случае с аборигенами, молодой человек, который на несколько недель или месяцев отрывается от группы (иногда искренне и убежденно, а иногда с лукавой осмотрительностью — эти различия известны и в обществах аборигенов), чтобы пережить необычный опыт, возвращается в блеске силы, что в нашем обществе выражается в хвалебных статьях в прессе, огромных тиражах книг, докладах в переполненных залах. В процессе самомистификации группы подтверждается магический характер этой силы, что и становится объяснением этого явления во всех его формах. Эти странные люди, которым достаточно забраться на заснеженную вершину, спуститься в пещеру, забрести в лесную чащу или посетить святыню, источник высоких откровений, чтобы затем вернуться в ореоле славы, по разным причинам считаются врагами общества, и общество разыгрывает для себя комедию посвящения их в рыцари каждый раз, когда пытается от них избавиться. Но то же самое общество относилось бы к ним со страхом и отвращением, если бы они действительно были его противниками. Бедное животное в ловушке механизированной цивилизации — дикари амазонских лесов, кроткие и бессильные жертвы, — я могу посочувствовать вам и понять вашу трагическую судьбу, но не могу позволить обмануть себя этими чарами, более слабыми, чем ваша магия, этим потрясанием перед алчущей публикой фотографиями, подменяющими ваши уже исчезнувшие образы. Неужели эта публика думает, что при помощи таких трюков она присвоит себе ваше непов-

торимое очарование? Еще не насытившаяся, даже не отдающая себе отчета в том, что уничтожает вас, она лихорадочно стремится использовать ваши тени, чтобы утолить ностальгический голод каннибализма истории, жертвой которого вы уже пали.

Разве только я один, поседевший предшественник этих завсегдатаев джунглей, не смог удержать в своих руках ничего, кроме пепла? Разве только мой голос будет свидетельствовать о том, что бегство не удалось? Как герой индейских мифов, я зашел так далеко, как простирается земля, я изучал людей и вещи и дошел до края света лишь для того, чтобы прийти к такому же разочарованию: “Залился он слезами, моля и стеная. Но не услышал ни одного таинственного голоса; не был погружен в сон и перенесен в святыню магических животных. Не могло быть никаких сомнений: на него ниоткуда не снизошла никакая сила...”.

Мечта о “божестве дикарей”, как говорили миссионеры прошлого, подобно ртути ускользала из пальцев. Осталось ли еще где-нибудь хотя бы несколько ее сверкающих капель? Быть может, в Куябе, где земля когда-то была богата золотыми слитками? Или в Убатубе, ныне опустелом порте, где двести лет назад грузились галионы<sup>22</sup>? Во время полета над пустынями Аравии, розовыми и зелеными, как жемчужная масса *галиотид*<sup>23</sup>? Может быть, в Америке или в Азии? На побережье Ньюфаундленда, где-нибудь на боливийских плоскогорьях или на взгорьях бирманской границы? Выбираю наугад место, еще и по сей день овеванное легендой, — Лахор.

Аэродром в незнакомом предместье, усаженные деревьями аллеи, которым не видно конца, виллы по обе стороны, на огороженной площадке отель, напоминающий конюшни в Нормандии, состоящий из нескольких одинаковых зданий; двери, выстроившиеся в один ряд, ведут в такие же комнаты, напоминающие стойла: впереди салон, сзади ванная, посередине спальня. Аллея, длиной около

километра, ведет на площадь подпрефектуры, откуда расходятся другие улицы с редкими магазинами: аптекаря, фотографа, букиниста, часовщика. Человеку, увязшему в этом безликом окружении, моя цель кажется непостижимой. Где же этот древний, этот настоящий Лахор? Чтобы добраться до него через это неумело застроенное, уже превращающееся в развалины предместье, надо еще миновать километр базара, где дешевая бижутерия, вырезанная механической пилой из золотых бляшек, соседствует с косметикой, лекарствами и импортными изделиями из пластмассы. Разыщу ли я его на тенистых улочках, где приходится уступать дорогу стадам овец с помеченным голубой и розовой краской руном и буйволам, по размеру вдвое превосходящим корову, которые дружески проходят в притирку со мной? Ведь еще чаще мне приходится обходить грузовики. Может, это деревянная обшивка стен, испачканная и почти уничтоженная временем? Я мог бы различить кружевную, тонкую резьбу, если бы дорогу не преграждала металлическая паутина электропроводов, опутавших стены старого города. Наверное, время от времени, на несколько секунд, на узком пространстве в несколько метров из глубины веков появляется какой-то образ, какое-то эхо — на улице, где куются изделия из золота и серебра, спокойный и чистый звук, подобный звуку ксилофона, в который, как бы от нечего делать, ударяет какой-нибудь тысячерукий божок. Дальше я сразу оказываюсь на широких улицах, заслоняющих жалкие руины (следы разрушения) домов пятисотлетней давности, которые уничтожают и отстраивают заново так часто, что их почтенную древность установить уже невозможно. Я чувствую себя путешественником, археологом пространства, напрасно старающимся воссоздать экзотику места по обломкам и следам.

Однако иллюзия начинает коварно расставлять свои сети. Я хотел бы жить в эпоху “настоящих” путешествий, когда видение представало во всем своем величии, еще не испорченное, не искаженное, не проклятое. Я уже не



самостоятельно преодолеваю этот барьер, а лишь вслед за Бернье, Тавернье, Мануччи<sup>24</sup>... Мысль, однажды пришедшая в голову, возникает вновь и вновь. Когда следовало посетить Индию? В какую эпоху изучение дикарей Бразилии могло бы дать самое чистое, приносящее наибольшее удовлетворение, незамутненное знание о них? Быть может, было бы лучше посетить Рио в XVIII веке с Бугенвилем<sup>25</sup> или в XVI веке с Лери<sup>26</sup> и Теве<sup>27</sup>? Каждые пять лет, отвоеванные у прошлого, позволяют мне сохранить какой-то обычай, познакомиться с каким-то праздником, найти еще одно верование. Однако я слишком хорошо знаю опубликованный материал, чтобы понимать, что, удалившись на сто лет назад, я одновременно лишился бы тех сведений и достопримечательностей, которые могут обогатить мои размышления. Вот и замкнутый круг: чем меньше человеческие культуры могли общаться между собой, а следовательно, уничтожать друг друга во взаимных столкновениях, тем меньше их представители были способны замечать богатство и значение этого разнообразия. В результате, я обречен на альтернативу: быть путешественником в далеком прошлом, перед которым открывалась невиданная картина, однако почти все, что он видел, было для него непостижимым и, что печальнее всего, вызывало у него насмешку или отвращение, — или же быть современным путешественником, разыскивающим следы исчезнувшей реальности. В обоих случаях я проигрываю, причем больше, чем мне кажется, поскольку, оплакивая тени, разве не являюсь я слепцом, не видящим истинную картину, которая формируется в этот самый момент, ибо на моем уровне знаний о человечестве я еще не готов к ее пониманию? Через несколько сотен лет на этом самом месте другой путешественник с тем же отчаянием будет оплакивать исчезновение того, что я мог еще видеть, но чего не смог заметить. Я уязвим вдвойне: меня ранит все, что я вижу, и в то же время я укоряю себя, что мой взгляд недостаточно внимателен.

Меня долго обезоруживала эта дилемма, однако мне кажется, что частицы взвеси, наконец, начинают оседать. Неясные контуры становятся все выразительнее, смятение постепенно отступает. Что же произошло? Прошли годы. Забвение не только уничтожало и хоронило мои воспоминания, оно сделало нечто большее. Огромное сооружение, построенное из фрагментов этих воспоминаний, придало уверенность моим шагам и обострило мое зрение. Тональность воспоминаний изменилась. Годы, которые уничтожали мои воспоминания, теперь начинают заново составлять обломки между этими двумя рифами — моим впечатлением и его предметом. Острые грани стираются, целые территории исчезают бесследно, сталкиваются времена и пространства, выстраиваясь в ряд или превращаясь в свои противоположности, как осадок, поднимающийся при встряхивании старой бутылки; внезапно всплывает какая-то мелкая деталь, в то время как целые пласты моего прошлого исчезают бесследно. На поверхности появляются события, внешне не имеющие между собой ничего общего, относящиеся к разным периодам и разным источникам, наползают одно на другое и внезапно застывают в виде сооружения, план которого разработал архитектор, более предусмотрительный, чем моя личная история. “Каждый человек, — говорил Шатобриан, — носит в себе мир, составленный из всего, что он видел, о чем думал и что любил, мир, к которому он всегда возвращается, даже тогда, когда убегает и, казалось бы, живет в чужих краях.”\* Теперь переход возможен. Неожиданным образом время проложило мост между мной и жизнью: потребовалось двадцать лет забвения, чтобы состоялась встреча с тем, что я когда-то давно пережил. Погоня за этим переживанием, долгая, как жизнь самой земли, некогда лишила меня возможности понять его смысл и отняла у меня его непосредственность.

---

\* “Путешествие в Италию”, под датой 11 декабря.

**Часть вторая**

# **Путевые записки**



## Глава 5

# Взгляд в прошлое

Судьба моей карьеры решилась в одно осеннее воскресенье 1934 года в девять часов утра во время короткого телефонного разговора. Звонил Селестен Бугле, в то время директор *Ecole Normale Supérieure*<sup>28</sup>. Несколько последних лет он проявлял ко мне благосклонность, но с некоторой примесью холодности и отстраненности, потому что, во-первых, я никогда не был воспитанником *Ecole Normale*, а во-вторых, что гораздо важнее, даже если бы я им и был, то не принадлежал к его “конюшне”, к которой питал весьма специфические чувства. Наверняка у него не было другого, лучшего, выбора, поскольку он сразу, без всякого вступления, спросил меня:

— Вы все еще хотите работать на поприще этнографии?

— Конечно!

— В таком случаеставляйте свою кандидатуру на кафедре социологии в Сан-Паулу. В предместьях много индейцев, им вы посвятите свои выходные. Но необходимо, чтобы вы дали ответ Жоржу Дюма сегодня до полудня.

Бразилия и Южная Америка не особенно интересовали меня. Однако до сих пор перед моими глазами стоят картины, которые явила моя фантазия в ответ на это неожиданное предложение. Экзотические страны казались мне полной противоположностью нашим краям, а в понятие “антиподы” в моем сознании вкладывался более богатый и более наивный смысл, чем его действительное содержание. Я был бы очень удивлен, если бы мне сообщили, что

какой-то вид животных или растений может выглядеть одинаково по обе стороны земного шара. Каждое животное, каждое дерево, каждый стебелек травы должен быть совершенно другим и с первого взгляда обнаруживать свое тропическое происхождение. Бразилия представлялась моему воображению пальмовыми зарослями, заслоняющими постройки удивительной архитектуры, и все это было пронизано ароматом ладана — обонятельная деталь, коварно вкравшаяся в общую картину благодаря подсознательно отмечаемому консонансу между словами *Brésil* и *grésiller*<sup>\*</sup>, деталь, которая, тем не менее, лучше, чем весь приобретенный опыт, объясняет тот факт, что еще и сегодня, думая о Бразилии, я прежде всего вспоминаю запах ладана.

Воспроизведенные ретроспективно, эти картины не кажутся мне уже столь произвольными. Я пришел к убеждению, что правда об определенной ситуации складывается не из ежедневных наблюдений, а скорее из последующего кропотливого и поэтапного отбора: применить этот метод на практике меня, вероятно, склонила ассоциация с запахом — невольный каламбур, содержащий в себе символический смысл, который я не смог бы ясно сформулировать. Исследование — это скорее раскопки в глубинах, чем преодоление пространства: мимолетная сцена, фрагмент пейзажа, вдруг пришедшая в голову мысль — только они помогают понять и объяснить перспективы, простое созерцание которых остается бесплодным.

В тот момент странное замечание Бугле относительно индейцев меня несколько озадачило. Откуда у него убеждение, что Сан-Паулу был индейским городом, даже если речь идет о предместьях? Вероятно, по аналогии с Мехико-Сити или Тегусигальпой. Этому философу, который написал когда-то работу о кастовой системе в Индии<sup>\*\*</sup>, не утруждая себя вопросом о том, не следовало ли сначала

---

<sup>\*</sup> Grésiller — хрустеть, потрескивать (франц.). — Прим. перев.

<sup>\*\*</sup>С. Bouglé. Regime des Castes.

ла туда поехать (“из водоворота событий возникает интуиция” — торжественно провозгласил он в предисловии, написанном в 1927 году), даже не пришло в голову, что судьба аборигенов должна была бы серьезно отразиться на этнографических исследованиях. Впрочем, известно, что среди официальных социологов не он один являл собой пример того равнодушия, которое мы наблюдаем до сих пор.

Во всяком случае, тогда я был еще слишком невежественным, чтобы опровергнуть эти заблуждения, столь способствующие моим планам, тем более, что у Жоржа Дюма по этому поводу были столь же неопределенные представления; он соприкоснулся с Южной Бразилией в ту пору, когда искоренение аборигенов еще продолжалось. А главное, то общество землевладельцев и меценатов, которое он себе избрал, ничем не могло помочь ему в этом вопросе.

Итак, я был очень изумлен, когда во время завтрака, на который меня привел Виктор Маргерит<sup>29</sup>, из уст посла Бразилии прозвучало официальное заявление: “Индейцы? К сожалению, милостивый государь, прошли годы с тех пор, как они исчезли. О, это очень печальная и позорная страница в истории моей страны. Португальские колонисты XVI века были людьми алчными и грубыми. Можно ли упрекать их в том, что они действовали в соответствии с господствующими в то время жестокими нравами? Они ловили индейцев, привязывали их к жерлам пушек и выстрелом разрывали их на куски. Таким образом они уничтожили их до последнего. Вам как социологу встретится в Бразилии много интересного, но оставьте мысль об индейцах: вы не найдете ни одного”.

Эта речь по сей день кажется мне невероятной даже в устах *grão fino* в 1934 году, хотя я помню, какое отвращение у тогдашней бразильской элиты (к счастью, с тех пор она изменилась) вызывало любое упоминание об аборигенах и вообще о первобытных условиях внутри

страны, за исключением, быть может, тех случаев, когда речь шла о том, чтобы признать — и даже внушить, — что едва заметные экзотические черты унаследованы от индейской прабабушки, поскольку теперь (в отличие от эпохи завоеваний) хороший тон требовал забыть о каплях или литрах негритянской крови. Происхождение Луиша ди Соузы-Данташа от индейских предков не подлежало сомнению, и он мог с уверенностью им гордиться. Однако как “экспортированный” бразилец, с юности живущий во Франции, он уже с трудом представлял себе истинное положение вещей в своей стране, которая преобразилась в его памяти в некий шаблон полной благопристойности. Кроме того, сохранившиеся воспоминания заставляли его, как мне кажется, чернить бразильцев XVI века, чтобы отвлечь внимание от излюбленных развлечений людей поколения его родителей и даже времен его собственной молодости, которые собирали в больницах инфицированную одежду жертв венерических заболеваний и развешивать ее вместе с другими “подарками” вдоль троп, где еще появлялись племена аборигенов. Это дало превосходный результат: в штате Сан-Паулу, по площади равном Франции, на картах которого еще в 1918 году две трети территории были обозначены как “неизвестные земли, заселенные исключительно индейцами”, в 1935 году, когда я туда прибыл, не было ни одного индейца, кроме нескольких семей, живущих на побережье. В воскресенье они приходили на пляж в Сантусе продавать какие-нибудь диковинные вещицы. К счастью, исчезнув из предместий Сан-Паулу, индейцы все же сохранились в трех тысячах километров от него, в глубине страны.

Я не могу перейти к последовательному изложению событий того периода, не упомянув, хотя бы мимоходом, другой мир, оставивший у меня теплые воспоминания, с которым я мимолетно соприкоснулся благодаря Виктору Маргериту (это он привел меня в бразильское посольство). Этот человек сохранил ко мне дружеское отноше-



ние с той поры, когда в последние годы учебы я короткое время работал у него секретарем. Моя роль заключалась в том, что я распространял его книгу “Человеческая родина”\*, посетив около сотни парижских знаменитостей и вручив им экземпляр книги, который Мастер — для него очень важно было называть себя так — подписал для них лично. В мои обязанности также входило редактирование отзывов о книге, чтобы подтолкнуть критиков к соответствующим комментариям. Виктор Маргерит остался в моей памяти не только потому, что относился ко мне с чрезвычайной деликатностью, но и по причине (как это всегда случается со всем, что вызывает у меня устойчивый интерес) противоположности между человеком и его творением. Последнее кажется наивным и шероховатым, несмотря на благородные побуждения, но человек заслуживает долгой памяти о себе. Его черты обладали притягательностью и немного женственной утонченностью готического ангела, а весь его облик был преисполнен столь естественным аристократизмом, что недостатки, из которых лень была далеко не самым меньшим, не удивляли и не раздражали, поскольку казались еще одной привилегией происхождения или интеллекта.

Он занимал огромную квартиру в XVII округе, мешанскую и старомодную, где, уже почти слепой, жил, окруженный заботливой опекой жены; возраст (исключающий гармонию физических и духовных качеств, возможную только в молодости) превратил в ней в некрасивость и живость то, что, вероятно, когда-то с восхищением воспринималось как “пикантность”.

Принимал он у себя очень редко, и не только потому, что считал себя известным в среде молодого поколения и непризнанным официальными кругами, но прежде всего потому, что, поместив себя на столь высокий пьедестал, он с трудом находил достойное общество. До сих пор не

---

\* Victor Margeritte. La Patrie humaine.

знаю, по воле случая или намеренно, он стал одним из основателей международного братства сверхлюдей, в которое входило пять или шесть человек: он сам, Кайзерлинг<sup>30</sup>, Владислав Реймонт<sup>31</sup>, Ромен Роллан и, как мне кажется, какое-то время Эйнштейн. Основным принципом их деятельности было то, что каждый раз, когда один из членов группы издавал книгу, остальные, разбросанные по миру, бурно приветствовали ее как одно из высших достижений человеческого гения.

Но наибольшее восхищение в Викторе Маргерите вызывала та простота, с которой он стремился стать воплощением всей истории французской литературы. Эту задачу облегчало ему то обстоятельство, что он вырос в литературной среде: его мать была двоюродной сестрой Малларме; анекдоты и воспоминания выдавали это его бремя. У него можно было фамиллярничать по поводу Золя, Гонкуров, Бальзака и Виктора Гюго, говорить о них как о дядюшках и дедушках, которые передали ему свое наследство. И когда он рассерженно восклицал: "Говорят, я пишу без стиля! А разве у Бальзака был стиль?", — могло показаться, что вы видите перед собой потомка королей, который приписывает одну из своих выходок горячему темпераменту какого-то предка; тому славному темпераменту, проявление которого вызывает дрожь восхищения у простых смертных, ибо для них это не личностное качество, но официально признанное объяснение какого-то великого потрясения в современной истории. У других писателей было больше таланта, но, определенно, мало кто из них сумел бы с таким изяществом создать столь аристократический образ своей профессии.

## Глава 6

# Как становятся этнографами

В то время я готовился к публичной защите диссертации по философии, к чему меня подтолкнуло не столько истинное призвание, сколько разочарование другими предметами. Когда я поступил на факультет философии, я был преисполнен своего рода рационалистическим *монизмом* и готовил себя к тому, чтобы придать ему большей основательности и утвердиться в нем; поэтому я всеми силами старался попасть в группу, которую вел преподаватель, считавшийся наиболее “прогрессивным”. Действительно, Гюстав Родрик был активистом партии S.F.I.O.\*, но в области философии его доктрина была смесью *бергсонизма* и *неокантианства*, что основательно обмануло мои ожидания. Исповедуя сухой догматизм, он проявлял горячность, которая выливалась в неожиданную деструктивность во время лекций. Я никогда не встречал такой наивной убежденности в сочетании со столь минимальными рассуждениями. Он совершил самоубийство в 1940 году, когда немцы оккупировали Париж.

Здесь, на философском факультете, я начал понимать, что любая проблема, серьезная или не очень, может быть сведена на нет при помощи одного неизменного метода, который состоит в противопоставлении двух традицион-

---

\* S.F.I.O.— Société française de l'Internationale ouvrière — наиболее влиятельная группировка социалистического толка во Франции.— Прим. перев.

ных взглядов на данный вопрос, затем в предпочтении одного из них, обосновывая его аргументами здравого смысла, а далее — в уничтожении этих аргументов при помощи другого взгляда и, наконец, — в отрицании обоих этих взглядов в пользу третьего, который выявляет их односторонний характер и благодаря словесным фокусам сводит их к обобщающим аспектам той же самой реальности: форма и содержание, сосуд и его содержимое, бытие и явление, связность и прерывность, существо и существование и т.д. Эти упражнения вскоре переходят в словесную плоскость, основой их становится искусство каламбура, подменяющее собой мысль. Ассонансы между терминами, созвучия и двусмысленности постепенно превращаются в исходный материал для этого спекулятивного театрального действия, и то, насколько эти каламбуры удачны, является критерием ценности философского труда.

Пять лет в Сорбонне свелись к упражнениям в этой гимнастике, опасность которой совершенно очевидна. Впервые, эта техника так проста, что не существует вопроса, к которому нельзя было бы ее применить. Готовясь к конкурсу и к тому главному испытанию, каковым является доклад (процедура заключается в том, чтобы изложить выбранную по жребию тему, на что дается несколько часов подготовки), мы с коллегами предлагали для обсуждения самые немыслимые вопросы.

Я вызывался в течение десяти минут подготовить часовую лекцию, содержащую в себе основательную диалектическую конструкцию, на тему превосходства автобусов над трамваями, и наоборот. Эта методика не только давала универсальный ключ, но и побуждала к тому, чтобы в размышлениях на самые разнообразные темы вычленять одну-единственную, всегда ту же самую форму с условием включения в нее нескольких элементарных поправок: это как бы музыка, которую достаточно свести к одной мелодии, чтобы стало ясно, в мажоре или в миноре она написана. С этой точки зрения изучение философии тренировало интеллект и одновременно иссушало разум.

Еще большую опасность я вижу в отождествлении прогресса в области знания с возрастающей сложностью мыслительных конструкций. Нас призывают к созданию динамического синтеза, предлагая брать за точку отсчета наименее адекватные теории, чтобы затем выстраивать все более замысловатые конструкции. Одновременно (проявляя заботу об истории, приверженцами которой были все наши преподаватели) следовало объяснить, каким образом одно порождает другое. По сути дела, речь шла не столько о том, чтобы найти истину или раскрыть ложь, сколько о том, чтобы понять, каким образом люди постепенно преодолевали противоречия. Философия была не *ancilla scientiarum*\*, служанкой и помощницей научного исследования, а разновидностью эстетического самосозерцания сознания. Она воспринималась создающей на протяжении веков все более легкие и все более смелые конструкции, разрешающей проблемы уравнивания или объединения понятий, изобретающей все более утонченные логические нюансы. А все вместе считалось тем значительнее, чем большим техническим совершенством и внутренней обусловленностью обладало; изучение философии можно было сравнить с изучением истории искусства, которая бы утверждала, что готическое искусство превосходит романское, а поздняя готика более совершенна, чем ранняя, но никто не задавался бы вопросом, что красиво, а что нет. Обозначающие понятия никак не соотносились с тем, что они означали, между ними не существовало никакой связи. Ремесло заменило собой стремление к истине. После нескольких лет этих упражнений я оказался обладателем немногих наивных убеждений, мало отличающихся от тех взглядов, которые у меня были в пятнадцатилетнем возрасте. Возможно, я лучше стал понимать недостаточную пригодность этих инструментов; они имеют только прикладную ценность и годятся только для тех целей, которые я перед ними ставил; я

---

\* Служанка наук (лат.). — Прим. перев.

был защищен от того, чтобы быть обманутым их внутренней сложностью, а также от того, чтобы забыть об их прикладном характере и раствориться в созерцании их чудотворного действия.

И все же я обнаруживал более личные причины внезапного отвращения, которое отдалило меня от философии и вынудило ухватиться за этнографию как за спасительную соломинку. После счастливого года пребывания в лицее в Мон-де-Марсан<sup>32</sup>, где одновременно я готовил курс своих лекций и преподавал, я вернулся в Лион, получив туда назначение; и тут я с ужасом открыл для себя, что всю остальную жизнь я буду вынужден повторять одно и то же. Дело в том, что мой разум обладает особым свойством, которое, вероятно, можно считать изъяном: мне трудно сосредоточиться повторно на том же самом предмете. Публичная защита диссертации обычно считается сверхчеловеческим усилием, после которого — если только пожелаешь — можно устроить себе полный отдых. Со мной было все наоборот. Я был зачислен на курс после первого же конкурса как самый младший в группе и, не чувствуя усталости, прошел эту гонку сквозь доктрины, теории и гипотезы. Мои страдания должны были начаться позднее: чтение лекций было бы для меня физически невозможным, если бы каждый год я не пересматривал свой курс заново. Эта неспособность к преподавательской деятельности еще более отягощала, когда я оказывался в роли экзаменатора: наугад задавая вопросы, включенные в программу, я уже не знал, какой ответ должен мне дать экзаменуемый. Мне казалось, что даже самый слабый студент отвечал правильно. Было такое чувство, как будто темы распадаются на моих глазах от одного факта, что когда-то я уже размышлял над ними.

Сегодня я задаю себе вопрос, не притягивала ли меня этнография, хотя я об этом и не догадывался, по причине определенного структурного родства между цивилизация-

ми, являющимися предметом ее изучения, и моим собственным мышлением. У меня отсутствует способность благоразумно обрабатывать поле, с которого я ежегодно мог бы собирать урожай. Мой интеллект неолитичен. Подобно пожару в джунглях, он зачастую охватывает своим пламенем неизученные пространства и оплодотворяет их, быть может, лишь для того, чтобы поспешно собрать урожай и оставить после себя опустошенную территорию. Но в то время я не отдавал себе отчета в этих глубинных мотивациях. Я ничего не знал об этнологии, никогда не посещал никаких курсов, и когда сэр Джеймс Фрэзер в последний раз посетил Сорбонну и произнес свою памятную речь — кажется, это было в 1928 году, — мне даже не пришло в голову посетить его лекцию, хотя я знал о том, что она должна состояться. Хотя я и занимался с раннего детства коллекционированием экзотических диковинок, это было увлечение антиквара, сосредоточенное на предметах, доступных моему кошельку. В годы юности мои взгляды были столь неустойчивы, что Эрне Крессон, мой преподаватель философии на первом курсе лицея, который первым поставил диагноз, посоветовал мне изучать право как наиболее соответствующее моему темпераменту; я храню о нем благодарную память за ту полуправду, которую таила в себе эта ошибка.

Таким образом, я отказался от учебы в *Ecole Normale* и поступил на отделение права, одновременно готовясь к получению ученой степени по философии, — просто потому, что это было очень легко. Странный рок тяготеет над теми, кто изучает право. Казалось, что эта дисциплина, зажата между теологией, к которой в то время была близка по духу, и журналистикой, к которой подталкивала ее недавняя реформа, не в состоянии опереться на солидное и объективное основание, что она утрачивает одно из своих достоинств, когда старается заполучить или сохранить другое. Правовед, если его рассматривать как объект

для ученого, напоминал мне подопытное животное, которому хотелось бы продемонстрировать волшебную лампочку зоологу. В то время к вступительным экзаменам на факультет права, к счастью, можно было подготовиться в течение двух недель при помощи конспектов, которые заучивались наизусть. Еще больше, чем бесплодность обучения праву, меня отталкивал студенческий контингент. Существует ли сегодня подобное разделение? Вряд ли. Но тогда, около 1928 года, студенты первого курса делились на две категории, можно даже сказать, на две различные расы: право и медицина, с одной стороны, гуманитарные и естественные науки — с другой.

Хотя термины *экстраверты* и *интроверты* малопривлекательны, однако они лучше всего объясняют это противостояние. С одной стороны — молодежь (в том значении этого слова, в котором его используют в традиционном фольклоре: для обозначения определенной возрастной группы), шумная, агрессивная, стремящаяся самоутвердиться даже ценой самой низкопробной вульгарности, политически ориентированная на крайне правые взгляды (в ту эпоху); с другой — преждевременно состарившиеся молодые люди, скромные, одинокие, обычно левых взглядов, прилагающие все усилия к тому, чтобы их допустили в круг взрослых, которыми они так стараются стать.

Это различие легко объяснимо. Первые готовятся к профессиональной деятельности и своим поведением выражают радость по поводу освобождения от школы и уже сделанного выбора своего места в социальной системе. Находясь в промежуточном положении между неопределенным состоянием ученика и профессиональной деятельностью, к которой они готовятся, они чувствуют, что подошли к пограничной полосе, и присваивают себе противоречащие друг другу привилегии и того, и другого положения.

На отделениях гуманитарных и естественных наук обычный рынок труда иного рода: профессура, научная работа и еще несколько неопределенных занятий. Сту-



дент, который выбирает подобные занятия, не расстается с миром детства, а скорее, старается в нем остаться. Разве учеба — не единственное доступное взрослым средство, позволяющее им оставаться в школе? Студентов на гуманитарных и естественнонаучных отделениях характеризует определенное противодействие требованиям группы. Почти естественная реакция побуждает их к временному или окончательному уходу в науку, к усвоению и распространению вечных ценностей; что же касается целей будущих ученых, то они распространяются, пожалуй, на всю историю вселенной. Поэтому нет ничего бесполезнее, чем попытка убедить их, что им следует занять какую-то социальную позицию; даже если они думают, что делают это, их позиция состоит не в том, чтобы принять данный порядок вещей, или отождествить себя с какой-либо функцией этого порядка вещей, или же взять на себя ответственность за обусловленные этим порядком возможности и риск, но в том, чтобы судить о нем извне, так, как будто они сами не имеют к нему отношения; их позиция — это еще один способ обеспечить себе свободу. С этой точки зрения обучение и исследовательская работа не имеют ничего общего с овладением профессией. Их величие и их беда в том и состоят, что это либо миссия, либо убежище.

В этой антиномии, которая противопоставляет профессии занятие двойственное, колеблющееся между миссией и убежищем, а чаще всего включает в себя оба элемента с перевесом в ту или в другую сторону, этнография, безусловно, занимает особое место. Это крайняя форма бегства. Не исключая себя из общества, этнограф, вместе с тем, старается понять и оценить человека с достаточно возвышенной и отдаленной точки зрения, избегая случайных черт, связанных с определенным обществом или с определенной культурой. Условия жизни и работы этнографа физически отрезают его от его социальной группы на долгое время. Резкие перемены, на кото-

рые он себя обрекает, приводят к тому, что он часто оказывается оторванным от своей среды, нигде и никогда не может чувствовать себя дома и в каком-то смысле становится психически изувеченным. Как математика или музыка, этнография является одной из тех редких дисциплин, которые требуют истинного призвания. Его можно открыть в себе и не посещая лекций.

Индивидуальные качества и общественные позиции должны опираться на дополнительные мотивации чисто интеллектуального характера. Период 1920-1930 гг. был временем широкого распространения во Франции психоаналитических теорий. Благодаря этим теориям я узнал, что статичные антиномии, вокруг которых нам рекомендовалось строить наши диссертации по философии, а потом и лекции: рациональное и иррациональное, интеллектуальное и эмоциональное, логическое и дологическое, — сводились к праздному развлечению. Во-первых, прежде категории рационального существовала более важная и более значимая категория — категория смысла, которая является высшей формой рационального, но о которой наши преподаватели (сосредоточившиеся, скорее, на осмыслении “Непосредственных данных сознания”<sup>33</sup>, чем на учебнике лингвистики Ф. де Соссюра<sup>34</sup>) даже не упоминали. Кроме того, труды Фрейда открыли мне, что эти противоречия в действительности не являются противоречиями, поскольку именно поступки, кажущиеся наиболее эмоциональными, действия, наименее рациональные, признаки, считающиеся проявлениями дологического мышления, как раз и являются самыми важными. Я убеждался, вопреки положениям веры или *petitiones principii*\* бергсонизма, где размывались границы сущностей и вещей, чтобы еще больше подчеркнуть их невыразимую природу, — что сущности и вещи могут сохранять присущую им

---

\**Petitio principii* (лат., *предвосхищение основания*) — логическая ошибка в доказательстве, когда вывод сделан на основании положения, которое само требует доказательства. — Прим. перев.

ценность, не утрачивая выразительности контуров, которые отделяют их от других и наделяют каждую из них ясной структурой. Познание основывается не на отрицании или спекулятивной подмене, а на отборе подлинных аспектов реальности, то есть на выборе тех, которые соответствуют особенностям моего мышления. И не потому, что мое мышление неизбежно влияет на вещи, как утверждают неокантианцы, но, скорее, потому, что оно само является объектом. Будучи “от мира сего”, оно обладает той же природой, что и мир.

Однако интеллектуальная революция, которую я пережил вместе с другими людьми моего поколения, была окрашена особым, свойственным только мне, нюансом: огромным интересом, который я с детства проявлял к геологии. Поиск линий раздела геологических пластов на холмах Лангедока является для меня более ценным воспоминанием, чем путешествие в девственный район Центральной Бразилии. Это было нечто гораздо большее, чем просто прогулка или обычное обследование территории; эти поиски, которые непосвященному наблюдателю могли бы показаться беспорядочными, мне видятся наиболее точной метафорой познания: трудностей, которые я сам себе создавал, радостей, которых я мог ожидать.

Любой пейзаж кажется поначалу совершенно неупорядоченным и оставляет свободу выбора значения, которое можно ему приписать. Но разве над размышлениями об обработке земли, географических характеристиках, исторических и доисторических изменениях не преобладает высший смысл, который всегда предвеляет, определяет и объясняет все остальное? Какая-нибудь неясная и запутанная линия, какое-то не всегда заметное различие в форме и консистенции скальных обломков свидетельствуют, что там, где сегодня видна лишь сухая земля, некогда разливались воды двух сменивших друг друга океанов. Когда пытаешься найти следы их тысячелетнего существования, преодолевая для этого все препятствия: крутые склоны,

заросли и пашни, — не обращая внимания ни на тропинки, ни на преграды, создается впечатление бессмысленности всех этих действий. Следовательно, единственная цель этой непоследовательности состоит в том, чтобы постичь самое важное: тот скрытый смысл, частичным или искаженным вариантам которого являются все другие смыслы. Если случается чудо, как это иногда бывает, если по обе стороны скрытой расселины рядом растут два зеленых растения разных видов, каждое из которых выбрало себе наиболее подходящую почву, и если в тот же самый момент в скале обнаруживаются два *аммонита*<sup>35</sup> с разным строением раковин, по характеру которого можно определить, что их разделяют десятки тысячелетий, тогда внезапно пространство и время становятся одним целым, а живое многообразие мгновения — вековой преемственностью. Мысль и чувства обретают новое измерение, где каждая капля пота, каждое сокращение мышц, каждый вздох являются символами истории, собственное движение которой повторяет мое тело, в то время как моя мысль постигает ее значение. Мне открывается иное понимание, в глубинах которого века и пространства разговаривают друг с другом и, наконец прийдя к соглашению, начинают говорить на одном и том же языке.

Когда я познакомился с теорией Фрейда, она показалась мне совершенно органичным применением к отдельному человеку методов, образцом которых служит геология. В обоих случаях исследователь вначале видит перед собой явления, на первый взгляд совершенно непознаваемые; в обоих случаях, чтобы собрать и сопоставить элементы этой сложной ситуации, необходимо обратиться к тем же самым вещам: впечатлительности, интуиции и вкусу. И все же порядок, который вносится во все это, кажущееся поначалу беспорядочным, не является ни случайным, ни произвольным. В отличие от истории историков, история геолога, как и история психоаналитика, пытается спроецировать на экран времени, иногда при

помощи живых образов, определенные основополагающие характеристики физического или психического мира. Эта психоаналитическая игра в “обмолвки” является наивным отражением того нового направления, в котором каждое действие истолковывается как развитие во времени неких вневременных истин; обмолвки пытаются воссоздать конкретные аспекты этих истин в области морали, но в других сферах эти истины называются законами. Во всех этих случаях эстетическое любопытство прокладывает путь непосредственно к познанию.

Когда мне было около семнадцати лет, я был посвящен в марксизм молодым бельгийским социалистом, с которым познакомился на каникулах и который сейчас является послом своей страны за границей. Я увлекся чтением Маркса, так как это позволило мне впервые познакомиться с философским учением от Канта до Гегеля: мне открылся целый мир. С той поры ничто не омрачило моего восхищения, и редко случается мне приступать к изучению какой-либо социологической или этнологической проблемы без того, чтобы не оживить моих мыслей несколькими страницами из его работ “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” или “К критике политической экономии”. Дело вообще-то не в том, правильно ли Маркс предвидел развитие истории. Вслед за Руссо и в форме, которая кажется мне завершенной, Маркс учил, что общественные науки не создаются последовательностью событий, так же, как точкой отсчета в физике не являются данные органов чувств: цель состоит в построении модели, в изучении ее особенностей и различных способов ее реагирования в лабораторных условиях, чтобы затем использовать эти наблюдения в интерпретации того, что происходит в опыте и что может оказаться весьма далеким от любых предвидений.

На другом уровне реальности метод марксизма казался мне подобным методу геологии и психоанализа в том значении, которое придавал ему его создатель: все три

системы указывают, что понимание основано на приведении определенного типа реальности к иному типу, что истинная реальность никогда не бывает явной и что характер истины проявляется уже в том усердии, с которым она старается остаться скрытой. Во всех случаях существует одна и та же проблема: отношение между постигаемым и рациональным; не изменяется и цель поисков: некая разновидность “сверхрационализма”, стремящаяся интегрировать постигаемое и рациональное, не пожертвовав при этом ни одним из их качеств.

Таким образом, я выработал в себе иммунитет против наметившихся новых тенденций в метафизической мысли. Феноменология отталкивала меня своим постулатом о непрерывности между переживанием и реальностью. Соглашаясь признать, что переживание охватывает и объясняет реальность, я, благодаря трем вышеназванным источникам, уяснил для себя, что переход от одной категории к другой предполагает дискретность; то есть для достижения реальности надо сначала отбросить переживание, чтобы потом суметь воплотить его в объективном синтезе, очищенном от любого чувственного восприятия. Что же касается интеллектуального движения, которому суждено было развиваться в экзистенциализм, то оно казалось мне противоположностью оценочной рефлексии, поскольку опиралось на субъективные иллюзии. Это вынесение личных забот на уровень философских проблем создает большой риск опуститься до метафизики для домохозяек, прости-тельной в качестве дидактического метода, но очень опасной, если с ее помощью можно будет манипулировать миссией, которая возложена на философию до тех пор, пока наука не станет достаточно сильной, чтобы заменить ее миссией, основанной на понимании бытия как такового, а не моего представления о нем.

Между марксизмом и психоанализом — гуманитарными науками о перспективах общества в первом случае и о перспективах индивидуума во втором — и геологией, фи-

зической наукой, но одновременно матерью и кормилицей истории, благодаря своим методам и своему предмету, — помещается этнография, создавшая свое собственное королевство: ибо человечество, перед лицом которого мы предстаем с единственным ограничением — ограничением пространства, придает новый смысл изменениям на земном шаре, которые оставила нам в наследство геологическая история; это непрерывная работа, которая многие тысячелетия осуществляется тайным обществом — союзом теллурических сил и человеческой мысли — и преподносит психологу множество исключительных случаев. Этнография доставляет мне интеллектуальное удовольствие: как история, связывающая два берега — берег мира и мой, — она одновременно раскрывает присущую им обоим истину; предлагая мне исследовать человека, она освобождает меня от сомнений, ибо рассматривает различия и изменения, одинаково значимые для всех, за исключением людей, приспособленных к одной-единственной цивилизации, которым грозит разрушение, если они вдруг окажутся вне этой цивилизации; и наконец, она утоляет упомянутую мной беспокойную и разрушительную жажду, обеспечивая моей мысли практически неисчерпаемый объект, богатый разнообразием обычаев, традиций и установлений. А стало быть, мой характер находится в согласии с моей жизнью.

После этих рассуждений может показаться удивительным тот факт, что я так долго оставался глухим к призыву, который, начиная с моих философских штудий, посылался мне в работах метров французской социологической школы. Настоящее откровение снизошло на меня только в 1933 или 1934 году при чтении старой, случайно попавшейся мне на глаза книги “Первобытная социология” Роберта Г. Лоуи\*. Произошло это потому, что здесь я обнаружил не сведения, заимствованные из книг и тут же преобразованные в философские концепции, а знание о

---

\* Robert H. Lowie. Primitive Sociology.

туземных обществах, основанное на личном опыте преданного своему делу автора. Моя мысль освободилась от той затхлости закупоренного сосуда, к которой привела ее практика философских размышлений. Вырвавшаяся на свежий воздух, она почувствовала новый оживляющий порыв ветра. Как горожанин, оказавшийся на воле в горах, я упивался пространством и, счастливый, поглощал взглядом все богатство и разнообразие объектов. Так начался мой продолжительный роман с англо-американской этнологией, завязавшийся заочно, благодаря чтению литературы, и поддерживаемый посредством личных контактов, роман, которому суждено было стать причиной столь серьезных недоразумений — и прежде всего в Бразилии, где университетские профессора ожидали, что я приму участие в чтении курса по дюркгеймовской социологии. В этом направлении их подталкивала традиция позитивизма, прекрасно сохранившаяся в Южной Америке, а кроме того, желание создать философскую базу для умеренного либерализма, который обычно используется как идеологическое оружие олигархии в борьбе против диктаторской власти. Я прибыл с настроением открытого бунта против социологии Дюркгейма и против любой попытки использовать социологию в метафизических целях. Всеми силами я старался расширить мои горизонты, и конечно же у меня не было намерения способствовать восстановлению старых стен. С тех пор меня очень часто называют неким вассалом англосакской мысли. Что за ерунда! Помимо того, что я на сегодняшний день, пожалуй, самый верный последователь традиции Дюркгейма — на этот счет за границей никто не сомневается, — авторы, которым я многим обязан: Лоуи, Крёбер<sup>36</sup>, Боас<sup>37</sup>, на мой взгляд очень далеки от устаревшей американской философии, вроде философии Джемса или Дьюи (и от нынешнего так называемого логического позитивизма). Сфера интересов европейцев по происхождению, людей, учившихся в Европе или у европейских



учителей, совершенно иная: это своего рода синтез в области познания, для которого за четыре века до этого Колумб создал объективные условия; в данном случае это синтез здорового научного метода и единого экспериментального пространства в Новом Свете в эпоху, когда, воспользовавшись лучшими библиотеками, можно было затем оставить свой университет и переместиться в среду аборигенов с той же легкостью, с какой мы посещаем страну басков или Лазурное Побережье. Я воздаю почести не интеллектуальной традиции, а исторической ситуации. Ведь все преимущество момента заключается в возможности добраться до народов, незатронутых серьезными исследованиями и сохранившихся благодаря тому, что их уничтожение продолжалось не слишком долго. Один анекдот помогает хорошо понять это: история индейца, единственного, который чудом спасся во время массового уничтожения тогда еще диких калифорнийских племен и годами жил, никому не известный, вблизи больших городов, выделывая из камня стрелы для охоты. Однако постепенно дичь исчезла, и однажды индеец был найден голым и умирающим от голода на окраине предместья. Потом он спокойно доживал свои дни, работая извозчиком в университете в Калифорнии.

## Глава 7

# Закат солнца

Эти размышления, может быть, слишком простран-  
ные и необязательные, подводят меня к тому февральско-  
му утру 1934 года, когда я прибыл в Марсель, чтобы  
оттуда отправиться в Сантус. Позже мне суждено было  
пережить другие мгновения прощания, и все они смеша-  
лись в моей памяти, оставив лишь несколько картин.  
Самая яркая из них — это та особенно радостная зима на  
юге Франции; под ясным голубым небом, еще более  
нематериальным, чем обычно, бодрящий воздух достав-  
лял немыслимое наслаждение, какое доставляет изнываю-  
щему от жажды питье холодной воды быстрыми глотка-  
ми. Резким контрастом были тяжелые испарения в недрах  
неподвижного и раскаленного солнцем корабля — смесь  
запахов моря, кухни и свежей краски. И наконец, мне  
вспоминается удовлетворение и покой, я сказал бы даже  
тихое счастье, которое начинаешь чувствовать, когда сре-  
ди ночи слышишь приглушенный стук машин и шум воды  
вокруг корпуса корабля, будто движение позволяло дос-  
тичь постоянства, более совершенного в своей сущности,  
чем неподвижность, которая, напротив, внезапно на ноч-  
ных стоянках пробуждает ото сна и вызывает неуверен-  
ность, плохое самочувствие и раздражение тем, что нару-  
шился ход вещей, ставший уже привычным и естественным.

Наши суда часто заходили в порты. По существу,  
первая неделя путешествия почти полностью проходила на  
суше, пока загружался и разгружался товар; корабль плыл  
только ночью. Просыпаясь каждое утро, мы обнаружива-

ли, что находимся в каком-то пору: Барселона, Таррагона, Валенсия, Аликанте, Малага, иногда Кадис или же Алжир, Оран, Гибралтар, перед самым длинным этапом до Касабланки и, наконец, до Дакара. Только тогда начиналось большое морское путешествие: прямо до Рио или Сантуса либо, что бывало реже, мы под конец освобождались от грузов в еще одном каботаже вдоль бразильского побережья, с задержками в Ресифи, Баии и Витории. Воздух постепенно становился более горячим, испанские сьерры медленно проплывали на линии горизонта, а миражи в виде небольших утесов и скал дополняли пейзаж в течение всех дней, проведенных у побережья Африки, слишком низкого и болотистого, чтобы его можно было разглядеть с моря. В этом состоял парадокс нашего путешествия. Корабль был для нас не средством передвижения, а скорее, домашним очагом и жилищем, у входа в которое вращалась сцена мира, каждый день меняя декорации. Однако этнографическое чутье было у меня настолько неразвито, что я и не помышлял об использовании этих возможностей. Позднее я убедился, что первый взгляд на город, местность или культуру полезен для тренировки внимания и иногда позволяет — благодаря интенсивной сосредоточенности, просто необходимой, если учесть краткость предоставленного тебе мгновения, — уловить определенные качества предмета, которые при иных обстоятельствах могли бы долгое время оставаться скрытыми. Меня притягивали другие картины. С наивностью новичка я, стоя на пустой палубе, страстно наблюдал те сверхъестественные катаклизмы, возникновение, развитие и завершение которых в течение нескольких минут ежедневно представляли восходы и закаты солнца при открытом с четырех сторон горизонте, горизонте такой широты, какую мне ни разу в жизни не приходилось видеть. Мне казалось, если бы я подыскал слова для того, чтобы увековечить эти мимолетные явления, упорно не поддающиеся перу писателя, если бы я был способен передать стадии и

детали этого единственного в своем роде события, которое никогда не повторяется в той же самой форме, я постиг бы все тайны профессии. Тогда в моих этнографических поисках меня не приводили бы в замешательство странные или ни на что не похожие переживания, смысл и значимость которых я не смог бы никому объяснить.

Сумею ли я после стольких лет вернуть это ощущение благодати? Смогу ли вновь пережить те лихорадочные мгновенья, когда с блокнотом в руке я записывал секунда за секундой впечатления, которые, быть может, могли бы помочь мне запечатлеть эти текущие и постоянно обновляющиеся формы? Эта игра до сих пор увлекает меня, и я часто ловлю себя с поличным на новых попытках.

Записи, сделанные на корабле.

*Для ученых утренняя и вечерняя заря — это одно и то же событие. Так же думали и греки, определяя их одним словом, значение которого изменялось в зависимости от того, о вечере или об утре шла речь. Это смешение понятий указывает на преобладающее увлечение теоретическими размышлениями и удивительное пренебрежение к конкретному положению вещей. Можно понять, что какая-то точка на земле постепенно перемещается, находясь на линии соприкосновения с солнечными лучами, до которой свет этих лучей еще не доходит или к которой возвращается. Но в действительности ничто так не различается между собой, как вечер и утро. Восход солнца является прелюдией, закат — увертюрой, исполняемой не в начале, а в конце, как в старых операх. Солнечный лик возвещает о будущем: он хмурый и бледный, если первые утренние часы должны быть дождливыми, и розовый, легкий, игривый, если день будет ясным. Но утренняя заря не предсказывает, что ожидается в течение дня. По восходу только метеорологи могут определить, дождливым или ясным будет день. Совсем другое дело*

закат: это целый спектакль — с введением, основной частью и заключением. И это зрелище представляет собой как бы краткое изображение борьбы, побед и поражений, которые разыгрывались на протяжении двенадцати часов, — более впечатляющее, чем дневное замедленное действие. Утренняя заря — это лишь начало дня, вечерняя — его повторение.

Вот почему люди наблюдают заходящее солнце внимательнее, чем восходящее: утренняя заря дает им только намеки, дополняющие показания термометра и барометра или, у менее цивилизованных народов, наблюдения фаз Луны, полета птиц, колебаний приливов и отливов. Закат же солнца создает возвышенное настроение, сплетает в таинственные комбинации изменчивые ветра, холод, жару и дождь, которые воздействуют на их физическое естество. В этих неустойчивых сочетаниях можно прочесть игру сознания. Когда отблески заката начинают освещать небо (как в некоторых театрах внезапно вспыхнувший яркий свет сценической рампы, а не традиционные три звонка, возвещает о начале спектакля), крестьянин останавливается на пашне, рыбак перестает грести в своей лодке, а дикарь прищуривается, сидя у тускнеющего огня. Воспоминания — это огромное наслаждение для человека, если только память не становится буквальной, ибо немногие согласились бы заново пережить страдания и невзгоды, о которых они, тем не менее, любят вспоминать. Воспоминания — это тоже жизнь, но жизнь иного рода. Поэтому когда солнце склоняется над зеркальной гладью воды, как сребреник небесного скряги, или когда солнечный диск высекает горный склон, делая его похожим на жесткий резной лист, — потрясенный этой мимолетной фантасмагорией человек оказывается лицом к лицу с проявлениями неведомых сил, туманов и бурь, тайную борьбу которых он смутно ощущал в своей душе на протяжении всего дня.

Видимо, мрачные битвы должны были происходить в душах, ибо незначительные внешние изменения не могли

вызвать такого буйства в атмосфере. Этот день не отличался ничем особенным. Около четырех часов полудни — как раз тогда, когда солнце, находясь в середине своего пути, становится менее выразительным, но еще не утрачивает своей яркости, когда все тонет в густом золотистом свете, как бы намеренно заливающим все вокруг, чтобы скрыть какие-то приготовления, — “Мендоса” изменил курс. Усиление жары чувствовалось при малейшем отклонении, вызванном легкими волнами, однако изменение курса было столь незначительным, что его можно было принять за небольшое увеличение качки. Впрочем, никто этого не заметил; путешествие в открытом море ничем не напоминает перемещение по геометрической прямой. Здесь нет пейзажа, который бы подтверждал постепенную смену географических широт, изотерм и плювиометрических кривых. Пятьдесят километров пути по суше могут создать впечатление переселения на другую планету, но пять тысяч километров в океане сливаются в неизменную картину, по крайней мере для неопытного глаза. Никакого интереса к маршруту, направлению, каким-либо признакам невидимой суши, которая, конечно же, существует за выпуклой линией горизонта, — такие вопросы не занимали умы путешественников. Они принимали свое заточение между двумя бортами судна на определенное количество дней даже не как необходимость преодолеть некоторое расстояние, а как плату за привилегию переместиться с одного конца земли на другой, не утруждая собственные мышцы; они слишком отяжелели от постоянного сна и обильной пищи, которая уже давно не доставляла чувственного наслаждения — просто обеды были единственным заранее предусмотренным развлечением на фоне пустых и однообразных дней, и можно было лишь максимально продлить это удовольствие.

Впрочем, ничто не указывало на какое-либо усилие. Все знали, что где-то внутри этого корпуса находятся машины, а вокруг них люди, которые приводят их в

действие. Однако эти люди и не помышляли о том, чтобы принимать гостей, а пассажиры — о том, чтобы наносить визиты, офицеры же не собирались представлять их друг другу. Пассажирам только и оставалось, что бродить по судну, где работа одинокого матроса, подкрашивающего трубу вентилятора, да скудные жесты стюардов в темно-синих тиковых униформах, которые протирали влажной тряпкой коридоры первого класса, были единственным свидетельством равномерного преодоления миль под постоянный плеск воды у поржавевшей нижней части судна.

В семнадцать часов сорок минут всю западную часть неба, казалось, заполнило огромное сооружение с основанием, идеально параллельным линии моря, от которого оно будто оторвалось, необъяснимым образом поднявшись над горизонтом или же отделившись от моря толстой и невидимой хрустальной плитой. На вершине строения нагромождались и вытягивались в направлении зенита под воздействием какой-то силы антигравитации подвижные конструкции, устремленные ввысь пирамиды, архитектурные украшения, напоминающие карнизы, которые были бы похожи на облака, если бы сами облака не производили впечатления отшлифованной выпуклой поверхности позолоченного деревянного рельефа. Эта хаотическая масса, заслоняющая солнце, была темной, с редкими проблесками, и лишь наверху вспыхивали огни.

Еще выше в небе свивались в небрежные завитки светлые ленты, как будто лишенные материальности и сотканые из чистого света.

С северной стороны горизонта основной мотив слабел, вздымался плюмажем облаков, за которыми, очень далеко, обозначилась более высокая стена, огненная вверху; со стороны, самой близкой к солнцу, все еще невидимому, свет окружал выпуклости более широким ореолом. Ближе к северу исчезали резные формы и оставалась только матовая плоская стена, утопающая в море.

*Та же стена вырисовывалась и на юге, но над ней возвышались слои облаков, которые опирались на дымящиеся вершины основания, создавая некое подобие космологических дольменов<sup>38</sup>.*

*Отвернувшись от солнца и глядя на восток, можно было видеть две группы облаков, одна над другой, тянущихся вдоль неба как бы к свету солнечных лучей на фоне стены, грудастой и брюхастой, но вместе с тем легкой и яркой от розовых, лиловых и серебристых блесков.*

*Тем временем солнце медленно садилось за этими небесными рифами, закрывающими запад; по мере его снижения одинокие лучи пробивали непроницаемую массу или прокладывали себе дорогу, которая в момент, когда пробивался луч, разрезала препятствия из округлых фрагментов, различных по толщине и световой насыщенности. Иногда свет сжимался, как пятерня в кулак, и сотканное из тумана покрывало позволяло проникнуть сквозь него только одному или двум сверкающим и окостеневшим пальцам. Или же раскаленный осьминог выходил из дымящегося грота, прежде чем исчезала вся картина.*

*Существуют две совершенно различные фазы заката. В начале солнце — архитектор, потом же (когда его лучи становятся не прямыми, а лишь отраженными) оно превращается в художника. С момента, когда оно скрывается за горизонтом, свет тускнеет и образует все более сложные и замысловатые пятна. Полный свет — враг перспективы, но между днем и ночью есть место для архитектуры, преходящей, но от этого не менее фантастической. С наступлением темноты вся картина вновь становится плоской, подобно чудесной цветной японской игрушке.*

*Ровно в семнадцать часов сорок пять минут началась первая фаза. Солнце уже было низко, но еще не касалось горизонта. Когда оно вынырнуло из-под нагромождения туч, казалось, что оно лопнуло, как яичный*



желток, и залило светом формы, с которыми было еще сцеплено. Этот прилив света быстро отступил, все окружающее приобрело матовый оттенок, и в пустоте между верхней границей океана и нижним срезом облаков виднелась полоса туманов, еще мгновение назад освещенная, а сейчас темная и резко очерченная, сначала плоская, а теперь становящаяся все более выпуклой. Мелкие объекты, упругие и темные, лениво передвигались на фоне красного диска, который — торжественно открывая цветовую фазу — медленно плыл к линии горизонта.

Постепенно расплывались плотные конструкции, созданные в течение вечера. Масса, которая на протяжении всего дня занимала западную часть неба, была будто из жести, как металлический лист, освещаемый с внутренней стороны сначала золотым, потом терракотовым и, наконец, вишневым огнем. Этот огонь уже расплавлял, слизывал с поверхности и увлекал в вихре своих искр частицы скрученных, постепенно свивающихся облаков. Небо опутала бесконечная сеть, сплетенная из тумана; казалось, она тянется во всех направлениях: горизонтально, наискось, вертикально и даже по спирали. По мере того как садилось солнце, солнечные лучи (подобно скрипичному смычку, движущемуся вниз или вверх в зависимости от того, с какой струной он соприкасается) поочередно освещали ячейки этой сети гаммой цветов, которые казались исключительной и независимой особенностью каждой ячейки. В момент, когда освещался какой-нибудь участок сети, он обретал четкость, выразительность и хрупкую твердость тонкого стекла, но потом все это начинало медленно развеиваться, будто материя, из которой была соткана вся конструкция, раскалившись на небесном пламени, темнела, утрачивала свою особую консистенцию, растекалась и становилась все тоньше, пока не исчезала вовсе, открывая взору другой свежесотканный участок сети. В конечном итоге остались только мутные, будто смешанные в чаше, краски разной густоты, которые сначала располагались слоя-

ми, а затем постепенно проникали друг в друга, несмотря на внешне устойчивую разделенность.

Потом уже было все труднее следить за этим спектром, который, казалось, повторяется ежеминутно, а иногда и каждую секунду на разных участках неба. На востоке, едва солнце коснулось противоположной стороны горизонта, высоко в небе неожиданно проявились невидимые до этого ярко-лиловые облака. Панорама быстро разворачивалась во всем богатстве деталей и оттенков, а затем картина начала исчезать, будто кто-то невидимый стирал ее тряпкой медленными, но уверенными движениями, справа налево. Через несколько секунд осталась чистая стальная гладь неба, возвышающаяся над стеной тумана, который приобретал белый и серый цвет, в то время как небо розовело. Со стороны солнца, за плотной, цементного цвета полосой поднималась новая, в первый момент огненная, лента. Когда ослабела яркость ее пурпурного пламени, многоцветная зона зенита, которая до сих пор не участвовала в действии, стала более рельефной. Ее нижняя часть засияла позолотой, а верхняя, прежде искрящаяся, окрасилась в коричневые и фиалковые тона. Теперь вся их структура просматривалась, как под микроскопом, обнажился остов из тысячи волокон, скрепляющих пышные формы.

В этот момент прямые солнечные лучи совершенно исчезли. Небо окрасилось всеми оттенками желтого и розового — цветами креветок, лосося, льна и соломы, но было видно, что и эта неяркая гамма блекнет. Небесный пейзаж возрождался в сочетании белого, голубого и зеленого, однако на небольших участках горизонта еще продолжалась короткая независимая жизнь. С левой стороны появилась невидимая до сих пор завеса, причудливо сотканная из таинственного смешения зелени, переходящей в ярко-красный цвет, который затем потемнел и превратился в фиолетовый и черный, после чего остался лишь нечеткий след, будто линия, проведенная углем по шероховатой бумаге. В глубине небо уже приобрело

зелено-желтый цвет альпийских лугов, а полоса все еще оставалась плотной, с резко очерченными контурами. На востоке тяжелые золотые горизонтальные слои с минуту еще искрились, но на севере уже почти воцарилась темнота: от разбухшей стены остались только белые выпуклости под известковым небом.

Нет ничего более таинственного, чем процесс — всегда один и тот же и всегда непредсказуемый, — благодаря которому ночь приходит на смену дню. Признаки ночи появляются на фоне неба, вселяя неуверенность и страх. Никто не в состоянии предугадать форму, в которую выльется наступление именно этой ночи. Средствами непостижимой алхимии каждый цвет может приобрести любой оттенок, хотя хорошо известно, что пришлось бы открыть не один тюбик, чтобы получить на палитре тот же результат. Но для ночи не существует невозможного сочетания цветов, ибо она создает иллюзию: цвет неба вдруг переходит от розового к зеленому, но ведь я просто не заметил, что некоторые облака стали ярко-красными, и теперь по контрасту небо кажется зеленым, хотя оно розовое, только его бледный оттенок не может противостоять яркому качеству нового цвета, который я не заметил лишь потому, что переход от золотистого к красному был менее неожиданным, чем превращение розового в зеленый. Так, с помощью иллюзии, ночь обретает свою власть.

И вот теперь ночь начинает превращать поток золота и пурпура в его противоположность, теплые тона сменяются белизной и серостью. Экран ночного неба медленно разворачивает над океаном морской пейзаж; толстый слой облаков разделяется на фоне неба, превращаясь в некое подобие симметричных полуостровов; это похоже на плоский песчаный берег, наблюдаемый с низко летящего самолета, наклонившегося на бок и касающегося крылом воды. Иллюзию усиливали последние отблески дня; скользящий свет выделял контуры облаков и придавал им формы массивных скал,

которые и прежде — в иную пору — высекались светом и тенью. Казалось, что солнце уже не могло обрабатывать своим резцом порфиры и граниты и перешло на более податливые, воздушные материалы, но даже на закате оно все же сохранило свой стиль.

На фоне облаков, в которых угадывался пейзаж побережья, по мере того как небо очищалось, появлялись пляжи, лагуны, рассеянные островки и мели, а разрывы в массе облаков, словно фиорды и озера, заливал неподвижный океан неба. И поскольку небо, окружающее эти скопления облаков, уподоблялось океану, а море обычно отражает цвет неба, небесная картина воссоздавала пейзаж, на фоне которого будто бы вновь заходило солнце. Но стоило присмотреться к настоящему морю, как мираж исчезал: это была уже не блестящая водная гладь, как в полдень, и не та благодатная, слегка подернутая рябью, предвечерняя поверхность моря. Почти горизонтальные лучи освещали лишь обращенные к ним гребни мелких волн, в то время как все остальное уже потемнело. На воде появились выразительные тени, углубления и выемки, будто в металле. Ее прозрачность полностью исчезла.

Наступал обычный, но как всегда неуловимый и внезапный переход — вечер сменялся ночью. Все изменилось. На небе, матовом на горизонте, бледно-желтом чуть выше и переходящем в голубое к зениту, распростерлись последние облака, появившиеся на исходе дня. Очень скоро от них не осталось ничего, кроме слабых, истонченных теней, которые напоминали остовы декораций после спектакля на темной сцене: вдруг замечаешь их убожество, непрочность и недолговечность и понимаешь, что реальность, иллюзию которой они создавали, обусловлена не их собственной природой, а лишь эффектом освещения и перспективы. Только что они были живыми и изменялись каждую секунду, теперь же казались неподвижно застывшими в неестественных болезненных позах в небе, сгущающаяся тьма которого вскоре поглотит их.

**Часть третья**  
**Новый Свет**



## Глава 8

# Ловушка

В Дакаре мы распрощались со Старым Светом и, миновав острова Зеленого мыса, доплыли до того рокового седьмого градуса северной широты, где во время своего третьего путешествия в 1498 году Колумб, выйдя в правильном направлении к Бразилии, уклонился на северо-запад и только благодаря чудесной случайности через пятнадцать суток достиг Тринидада и побережья Венесуэлы.

Мы приближались к “ловушке”, когда-то наводившей ужас на путешественников. Ветры обоих полушарий ослабевают, не достигая этой зоны, паруса обвисают здесь на целые недели — их не колеблет даже малейшее дуновение ветра. Воздух настолько неподвижен, что нам кажется, будто мы находимся в замкнутом пространстве, а не в открытом море; темные тучи, равновесие которых не нарушается даже легким ветерком, лишь снижаются под действием собственной тяжести и медленно рассеиваются почти у самой воды. Своими волочащимися хвостами они подметали бы гладкую поверхность, если бы не были столь инертны. Океан, освещенный скрытым за тучами солнцем, дает монотонный и маслянистый отблеск, более яркий, чем цвет чернильного неба; изменяется обычное соотношение освещенности воздуха и воды. Если наклонить голову, можно увидеть более правдоподобный морской пейзаж, в котором небо и море меняются местами. По небосводу, ставшему совсем близким из-за пассивности стихий и слабого света, время от времени лениво проплывают грозовые облака, проливая короткие, беспорядоч-

ные дожди, которые, подобно колоннам, еще более скрадывают расстояние от моря до потолка из облаков. Между этими сблизившимися поверхностями судно скользит с боязливой поспешностью, как бы не желая быть раздавленным. Иногда ливень приближается, расплывается, овладевая пространством, и хлещет палубу мокрыми плетями. Перевалив за борт судна, он восстанавливает свою видимую форму, но утрачивает звук.

Жизнь на море замерла. Впереди уже не видно плещущейся черной стаи дельфинов, грациозно опережающих бег белых волн волной более плотной и ритмичной, чем атаки пены на нос нашего судна. Фонтан воды, выпущенный дельфином (*tursiops tursio*), уже не рассекал горизонт, в темно-синем море скрылись и флотилии наutilusов<sup>39</sup> с нежными перепончатыми парусами, лиловыми и розовыми.

Неужели по другую сторону “лужи” нас ожидают все те чудеса, о которых рассказывали мореходы далекого прошлого? Путешествуя неизведанными путями, они более интересовались проверкой древнего прошлого, чем открытием Нового Света: подтверждались легенды об Адаме и Улиссе. Возможно, Колумб, подплывая к побережью Антильских островов, думал, что добрался до Японии, но еще больше он верил, что нашел земной рай. Четыре столетия, отделяющие нас от того времени, не могли уничтожить громадную пропасть, тысячелетиями отделявшую Новый Свет от бурных исторических событий, сотрясающих Старый Свет. Какие-то особенности этого разрыва еще сохранились, хотя и на другом уровне. Вскоре мне предстояло узнать, что Южная Америка уже не была Раем до грехопадения, но все еще оставалась Золотым Веком, по крайней мере для тех, кто имел деньги. Райская безмятежность, казалось, тает как мартовский снег. Что от этого рая осталось сегодня? Он сузился до масштабов богатой страны, в которую могут попасть лишь избранные, он изменил свою извечную



историческую и метафизическую природу на природу социальную. Рай на земле, каким его увидел Колумб, одновременно существовал и погибал в комфорте жизни, предназначенном только для богатых.

Небо цвета сажи и тяжелый воздух “ловушки” — это не только признаки приближения к экватору. Они как бы отражают тот климат, в котором два мира — Старый и Новый — встретились лицом к лицу. Эта разделяющая их угрюмая стихия — мертвый штиль, где будто накапливаются злые силы, — является последним мистическим барьером между двумя мирами, которые еще вчера были противоположными планетами: сравнивая их, первые европейцы не могли поверить, что обе предназначены для людей. Континент, едва затронутый человеком, открывался перед людьми, алчность которых уже не мог удовлетворить их собственный мир. Этот второй смертный грех заставлял заново пересмотреть все ценности: веру, нравственность, закон. Все требовалось подтвердить в отношении фактов и отменить в отношении права. Подтвердить существование библейского Рая, Золотого Века древних, источника молодости, Атлантиды, садов Гесперид, Аркадии и Островов Блаженных — и одновременно поставить под сомнение откровение, спасение души, свои традиции и законы при столкновении с народом, более чистым и счастливым (который в действительности не был ни более чистым, ни более счастливым, но который из-за тайных укоров совести таковым виделся). Никогда человечество не было и уже никогда не будет подвергнуто столь страшному испытанию, разве что в один прекрасный день где-нибудь на расстоянии миллионов километров будет обнаружен другой мир, населенный мыслящими существами. Сейчас мы знаем, что эти расстояния теоретически можно преодолеть, но мореходы прошлого больше всего боялись, что встретились с небытием.

Чтобы оценить абсолютный, тотальный, непримиримый характер дилемм, который стояли перед челове-

ством XVI века, следует припомнить некоторые события. В эту Эспаньолу (или Санто-Доминго, теперь Гаити), где в 1492 году туземное население насчитывало сто тысяч человек, а через сто лет от него осталось двести человек, умирающих скорее от страха и отвращения к европейской цивилизации, чем от венерических болезней и побоев, колонизаторы посылали комиссию за комиссией с целью установить происхождение этих существ. Если они действительно были людьми, то не следовало ли их признать потомками десяти пропавших колен Израиля? А может, это монголы, добравшиеся сюда на слонах, или шотландцы, прибывшие несколько веков назад с королем Медоком<sup>40</sup>? Были ли они изначально язычниками, или же потомками бывших католиков, окрещенных святым Фомой, которые вернулись к язычеству? Не было даже уверенности, что они были людьми, а не порождением дьявола или животными, как, видимо, полагал король Фердинанд<sup>41</sup>, поскольку в 1512 году он импортировал белых рабынь в Западную Индию, чтобы уберечь испанцев от браков с туземными женщинами, “которые не являются сколько-нибудь разумными существами”. Когда Лас Касас<sup>42</sup> попытался покончить с принудительными работами, колонизаторы были скорее удивлены, чем возмущены: “Что же, теперь нельзя пользоваться и вьючными животными?”.

Комиссия монахов ордена св.Иеронима — безусловно, самая известная из этих комиссий — вызывает трогательные чувства как своей скрупулезностью, о которой забыли все колонизаторы после 1517 года, так и тем, что она пролила свет на умонастроения эпохи. В настоящей психо-социологической анкете, составленной в соответствии с самыми современными правилами, колонизаторам задавались вопросы с целью определить, “способны ли, по их мнению, индейцы самостоятельно достичь уровня кастильских крестьян”. Все ответы были отрицательными: “В крайнем случае — их внуки, но туземцы настоль-

ко порочны, что даже это сомнительно, а доказательством является хотя бы то, что они избегают испанцев, не хотят работать без вознаграждения и, к тому же, настолько лицемерны, что отказываются от своей собственности и не соглашаются изгнать своих товарищей, которым испанцы отрезали уши". И, следовательно, вывод только один: "Для индейцев лучше стать рабами, чем оставаться животными".

Отчет, сделанный несколькими годами позже, представляет все точки над *i*: "Они едят человеческое мясо, не имеют судов, ходят совершенно нагими, едят блох, пауков, живых червей... не носят бороды, а если она случайно у кого-то из них вырастает, то они тут же вырывают ее" (Ортис. Перед Советом Индии, 1525 г.). Впрочем, в это же самое время на соседнем острове (Пуэрто-Рико, по свидетельству Овиедо<sup>43</sup>) индейцы хватали белых и топили их, а потом неделями наблюдали за всплывшими телами, чтобы убедиться, что белые подвержены тлению. Сравнивая эти отчеты, можно сделать два вывода: белые полагались на общественные науки, в то время как индейцы, скорее, склонялись к наукам естественным; белые утверждали, что индейцы являются животными, индейцы же считали белых богами. Принимая во внимание обоюдное невежество, позиция индейцев была явно более достойной людей.

Испытания разума придавали еще больший пафос смятению души. Все было загадкой для наших путешественников: в "Образе мира" Пьер де Айи<sup>44</sup> рассказывает об открытии *gens beatissima*, счастливейшего народа, состоящего из карликов, великанов и даже людей без головы. Педро Мартир<sup>45</sup> собирает описания ужасных чудовищ: змей, похожих на крокодилов; животных с телом быка и хоботом, как у слона; четырехногих рыб-людоедов с головами быков и телом, покрытым бородавками и черепашьим панцирем; "хоботов" (*tyburonç*), пожирающих людей. Оказалось, что это всего лишь питоны боа,

тапиры, ламантины или же гиппопотамы и акулы (португальски *tubarão*). В то же время, загадочные явления были признаны само собой разумеющимися. Разве Колумб для обоснования внезапного изменения курса, вследствие чего он не попал в Бразилию, не сослался в своих официальных отчетах на необычайные обстоятельства, которые никогда не наблюдались в этой зоне высокой влажности: жара была такой сильной, что нельзя было сойти в трюм корабля, бочки с водой и вином взорвались, загорелось зерно, солонина и мясо спеклись в течение недели, солнце было таким жгучим, что команда боялась сгореть заживо. Счастливей век, в котором все было возможно — быть может, точно так же, как и теперь, благодаря летающим тарелкам!

Не в этих ли водах, по которым мы сейчас плывем, Колумб повстречал сирен? На самом деле он видел их в конце первого путешествия в Карибском море, но мог бы их увидеть и около дельты Амазонки. “Тела трех сирен, — рассказывает он, — появились на поверхности океана, они не были столь прекрасны, как их представляют на картинах, но их округлые лица имели определенно человеческую форму.” Действительно, у ламантинов округлая голова и соски на груди, они кормят своих детенышей, как женщины, прижимая их ластой к себе. Такое отождествление не должно удивлять, если учесть, что в то время могло появиться описание (и даже рисунок) хлопчатника, названного “бараньим деревом”: на нем, как плоды, висели целые бараны, с которых можно было стричь шерсть.

Точно так же, когда Рабле в четвертой книге “Пантагрюэля”, видимо, опираясь на сообщение возвратившегося из Америки мореплавателя, впервые представил карикатуру на то, что этнологи называют сегодня системой родства, он явно ткал ковер без основы, поскольку не существует такого родства, чтобы старик мог называть “отцом” маленькую девочку.<sup>46</sup> Во всех этих случаях сознанию XVI в. недоставало одного элемента, более суще-

ственного, чем просто знание, — уровня, необходимого для научного мышления. У людей той эпохи еще не сформировался образ мира; подобно тому, как в наши дни какой-нибудь примитивный человек, уловивший только внешние признаки итальянской живописи или негритянской скульптуры, но не присущую им внутреннюю гармонию, неспособен отличить подделку от подлинного Боттичелли или предмет, купленный на рынке, от фигурки *пангве*<sup>47</sup>. Сирены и баранье дерево — это не только объективные ошибки; с интеллектуальной точки зрения, это скорее ошибки вкуса; разум тех людей, несмотря на всю гениальность и утонченность в других областях, был неспособен к наблюдению, что, впрочем, вызывает не осуждение, а скорее, уважение к результатам, достигнутым ими вопреки этим изъясам.

Корабль, плывущий в Америку, является для современного человека лучшим местом для молитвы, чем афинский акрополь. С этой поры мы не возносим тебе хвалу, о анемичная богиня, повелительница цивилизаций, огороженных стенами! Моя мысль обращается — помимо тех героев-мореплавателей, исследователей и покорителей Нового Света, которые (в ожидании путешествия на Луну) стали участниками единственного доступного человечеству тотального приключения, — к вам, индейцы, потомки арьергарда, заплатившего такую страшную цену за честь открыть двери. Ваш пример, через Монтеня, Руссо, Вольтера, Дидро, обогатил ту субстанцию, которой вскормила меня школа: Гуроны, Ирокезы, Караибы, Тупи — я прибыл к вам!

Первые огоньки, которые заметил Колумб, приняв их за огни на берегу, были светящимися морскими червячками, откладывающими свои яйца после захода солнца и перед восходом луны; на таком расстоянии он не мог увидеть темную землю. Но в ту бесконечную ночь, которую я провел на палубе, высматривая, не появится ли Америка, я уже угадывал ее огни.

Со вчерашнего дня присутствие Нового Света уже чувствуется, хотя он еще невидим, потому что земля все еще слишком далеко; наш корабль изменил курс и теперь будет следовать на юг параллельно берегу, от Кабу-Сан-Агостину до самого Рио. По меньшей мере два, а может быть, и три дня, мы будем плыть вдоль побережья Америки. Крупные морские птицы: фаэтоны<sup>48</sup>, буревестники, глупыши<sup>49</sup>, — не предвещают конца путешествия, поскольку эти птицы улетают далеко от земли. Колумб был разочарован, когда в открытом море приветствовал их полет как победу. Уже несколько дней мы видим меньше летучих рыб, серебристых маленьких молний, искрящихся над голубой гладью моря, которые отталкиваются от воды ударом хвоста и летят по воздуху на раскрытых плавниках. Новый Свет дает о себе знать особым ароматом — вовсе не тем, какой я вообразил себе в Париже, благодаря случайному созвучию слов, — ароматом, который трудно объяснить тому, кто никогда его не вдыхал.

Сначала кажется, что морские запахи, к которым мы привыкли за долгие недели, кружат уже не так свободно, что они натываются на какую-то стену на своем пути; становясь неподвижными, они уже не требуют к себе внимания; это внимание может теперь переключиться на ароматы иного рода, которые не поддаются никакому определению: запах лесного ветра, сменяющийся запахом оранжереи, — квинтэссенция растительного царства, особая свежесть, которая столь интенсивна, что находит свое выражение в каком-то немыслимом упоении ароматами, подобно последней ноте мощного аккорда, арпеджио, обособляющему и одновременно сплавляющему воедино разнообразные ароматы плодов. Это поймут лишь те, кто хоть однажды погружал свой нос в сердцевину экзотического, только что разрезанного стручка перца, понюхав сначала в каком-нибудь кабачке (*botequim*) бразильского сертана<sup>50</sup> медовую черную плетенку *fumo de rolo*\*, пере-

\* *Fumo de rolo*: *fumo* — табак, *rolo* — валик, жгут (португ.).— Прим. перев.

превших листьев табака, свитых в шнуры длиной в несколько метров. В сочетании этих родственных запахов они узнают свою Америку, которая одна в течение тысячелетий владела их тайной.

Но когда через день, в четыре часа утра Америка, наконец, вырисовывается на горизонте, образ Нового Света кажется достойным его запаха. На протяжении двух дней и двух ночей перед нами расстилается гигантская горная цепь — гигантская, конечно же, не по высоте, а по бесконечности и неразрывности ее хребтов. На несколько сотен метров над морем возносятся скальные стены из гладкого камня, нагромождения изумительных, немыслимых форм, какие иногда можно наблюдать в песчаных замках, воздвигнутых приливами, но трудно было предположить, что они могут существовать — по крайней мере на нашей планете — в столь крупном масштабе.

Этот эффект грандиозности характерен для Америки; он чувствуется везде, в городах и в сельской местности; это ощущение не оставляло меня ни на побережье, ни на плоскогорьях Центральной Бразилии, ни в боливийских Андах, ни в Скалистых горах Колорадо, ни в предместьях Рио, ни в пригородных окрестностях Чикаго или на улицах Нью-Йорка. Повсюду тебя ожидает этот шок. Эти пейзажи напоминают наши — улицы как улицы, горы как горы, реки как реки. Почему же возникает это чувство чужеродности? Оно возникает просто потому, что человек и вещи здесь настолько несоразмерны, что найти общую меру для них совершенно невозможно. Позже, когда человек освоится в Америке, происходит практически бессознательная адаптация, которая восстанавливает нормальные соотношения между крайностями; этот процесс почти неощутим — просто в уме щелкает какая-то пружинка, как только выходишь из самолета. Однако врожденная несоразмерность двух миров пронизывает и искажает наши суждения. Те, кто утверждает, что Нью-Йорк отвратителен, являются лишь жертвами обмана восприятия. Не научившись еще менять регистр, они упорно пытаются

оценивать Нью-Йорк как город и критикуют все: улицы, парки, памятники. Разумеется, объективно Нью-Йорк — это город, но та панорама, которую он предлагает нашему европейскому восприятию, является величиной иного порядка, чем наши пейзажи; американские ландшафты втягивают нас в гораздо большую систему, которую нам не с чем сравнить. Красота Нью-Йорка не в том, что это город, а в его преобразовании — которое мы непременно заметим, если не будем упрямы, — в искусственный пейзаж, где урбанистические принципы не играют никакой роли, ибо здесь преобладают иные ценности: яркий свет, утонченность перспективы, величественные бездны у подножий небоскребов, тенистые равнины, усеянные, как цветами, разноцветными автомобилями.

После этого я чувствую еще большее затруднение, переходя к рассказу о Рио-де-Жанейро, который отталкивает меня, несмотря на то, что он повсеместно славится своей красотой. Как бы это лучше сказать? Мне кажется, что образ Рио не соответствует его размерам. Сахарная Голова<sup>51</sup>, Корковадо<sup>52</sup> — все эти знаменитые места со стороны залива кажутся путешественнику обломками зубов, затерявшихся в уголках беззубого рта. Эти географические детали, почти всегда утопающие в грязном тропическом тумане, не в состоянии заполнить горизонт, слишком широкий, чтобы ими удовлетвориться. Чтобы охватить взором всю панораму, надо смотреть на залив с противоположной стороны, стоя на возвышенности. Со стороны моря здесь — в отличие от того впечатления, которое производит Нью-Йорк, — природа приобретает вид строительной площадки.

Именно поэтому размеры бухты невозможно определить визуально: медленное движение корабля, огибающего островки, свежесть и ароматы, неожиданно долетающие со стороны лесов, прилепившихся к скалам, создают некий упреждающий физический контакт с цветами и скалами, которые еще не существуют как видимые объек-



ты, но формируют у путешественника первое впечатление об облике континента. И вновь вспоминается Колумб: “Деревья были так высоки, что казалось, будто они касаются неба, и, если я правильно понял, они никогда не теряют листвы; я видел их зелеными и свежими как в ноябре, так и в мае; некоторые еще цвели, а на других уже зрели плоды... Со всех сторон я слышал пение соловья, и ему вторили тысячи птиц всевозможных видов”. Вот она Америка — на горизонте. Ее образ складывается из множества деталей, проступающих в сумерках и оживляющих скрытый в тумане горизонт залива; но человеку пришлому это движение, эти формы и огни не говорят о провинциях, селах и городах, о лесах, прериях, долинах и пейзажах, не объясняют действий и трудов отдельных людей, которые не знакомы друг с другом, ибо каждый из них замкнут в узком кругу семьи и профессии. Все это живет одной общей жизнью. То, что со всех сторон меня окружает и подавляет, — это не бесконечное разнообразие людей и вещей, это одно гигантское существо — Новый Свет.

## Глава 9

# Гуанабара

Залив врезается в самое сердце Рио; прямо с корабля вы попадаете в центр города, будто другая его половина — как новый Ис<sup>53</sup> — уже поглощена волнами. В определенном смысле это верно, поскольку зародыш города, обычный форт, находился на том скалистом острове, который корабль обогнул минуту назад. Этот остров до сих пор носит имя основателя форта Вильганьона<sup>54</sup>. Я прогуливаюсь по авениде Риу-Бранку, там, где когда-то было поселение *тупинамба*<sup>55</sup>, у меня в кармане книга Жана Лери, требник этнолога.

Триста семьдесят восемь лет назад, почти день в день, он прибыл сюда вместе с десятью протестантами из Женевы, посланными Кальвином по просьбе его бывшего соученика Вильганьона, который обратился в новую веру через год после того, как поселился в бухте Гуанабара. Этот удивительный человек перепробовал все профессии и был причастен ко всем проблемам, когда-то воевал с турками, арабами, итальянцами, шотландцами (похитил Марию Стюарт, чтобы дать ей возможность вступить в брак с Франциском II) и англичанами. Его видели на Мальте, в Алжире и во время битвы под Чересоле<sup>56</sup>. Под самый конец своей авантюрной карьеры, когда казалось, что он посвятил себя фортификации, он, разочарованный в своей профессии, решил эмигрировать в Бразилию. Но и там его планы были под стать его беспокойному и честолюбивому складу ума. Что же он хотел сделать в Бразилии? Основать колонию, но также, наверняка, со-

здать собственную вотчину, а ближайшей целью ставил предоставление убежища преследуемым протестантам, которые хотели бы покинуть метрополию. Еще оставаясь католиком, но, вероятно, уже склоняясь к вольнодумству, он заручается поддержкой и Колиньи<sup>57</sup>, и кардинала Лотарингии. После кампании по вербовке добровольцев среди приверженцев обоих вероучений, которая велась публично также среди бордяг и беглых каторжников, ему 12 июля 1555 года удалось снарядить два судна, погрузив на них шестьсот человек; это были первопроходцы, представляющие все слои населения, вперемешку с преступниками, бежавшими из тюрем. Он не забыл ни о чем, кроме женщин и запасов продовольствия.

Отъезд был хлопотным, дважды пришлось возвращаться в Дьепп, но, наконец, 14 августа якоря были окончательно подняты, и тут же начались трудности: беспорядки на Канарских островах, испортившаяся вода на судне, цинга. И все же 10 ноября Вильганьон входит в бухту Гуанабара, где уже несколько лет идет борьба между французами и португальцами за раздел сферы влияния.

Привилегированное положение французов на бразильском побережье в ту эпоху — довольно интересный феномен. Эта история восходит, скорее всего, к началу века, поскольку это время отмечено многочисленными путешествиями французов: в 1503 году состоялась экспедиция Гонневиля<sup>58</sup> (который привез из Бразилии зятя-индейца), и почти в то же время, в 1500 году, португалец Кабрал<sup>59</sup> открыл Землю Вера-Круш. Стоит ли дальше углубляться в прошлое? Можно ли из того факта, что именно французы дали этой новой земле имя Бразилия (Бразилия, как утверждалось, начиная, как минимум, с XII века, является хранившемся в строжайшей тайне названием мифического континента, родины красного дерева) и что прямое заимствование французами значительного количества слов из индейских диалектов без посредничества

иберийских языков<sup>60</sup> (*ananas, maniok, tamanodua, tapir, jaguar, saquin, aguti, ara, kajman, tukan, coati, acajou\** и т.д.), следует сделать вывод, что есть определенная доля истины в той возникшей в Дьеппе легенде, которая приписывает открытие Бразилии Жану Кузену<sup>61</sup> за четыре года до первого путешествия Колумба? Возможно, на корабле Кузена действительно находился один из Пинсонов<sup>62</sup> и, возможно, именно тот, который ободрял Колумба, когда в Палосе он уже готов был отказаться от своего плана; кроме того, именно Пинсон командует “Пинтой” во время первой экспедиции, именно с ним спорит Колумб, когда решает изменить курс и в конце концов сворачивает с пути, который ровно через год приведет другого Пинсона к Кабу-Сан-Агостину и обеспечит ему славу первооткрывателя Бразилии; таким образом, Колумб лишился еще одного почетного титула.

Эта загадка никогда не будет разгадана, разве что произойдет какое-нибудь чудо, так как архивы в Дьеппе, а вместе с ними и сообщение Кузена, сгорели в XVII веке во время пожара, вызванного обстрелом англичан. Впервые ступая на землю Бразилии, я не мог не вспомнить все эти трагикомические события, которые свидетельствуют о тесной связи, существовавшей между французами и индейцами на протяжении четырехсот лет: нормандские переводчики, восхищенные естественной первобытной природной жизнью, женятся на туземках и становятся канибалами. Несчастный Ганс Штаден<sup>63</sup>, который много лет жил в постоянном страхе, что его съедят, каждый раз спасался благодаря счастливому случаю, выдавая себя за француза и в качестве доказательства предъявляя свою рыжую, уж никак не иберийскую, бороду; но однажды вождь Куньям Бебе произнес при нем такую фразу: “Я поймал и съел уже пятерых португальцев, все они утвер-

---

\* Ананас, маниока, муравьед, тапир, ягуар, обезьяна-прыгун, агути, ара, кайман, тукан, носуха, красное дерево (акаджу). — Прим. перев.

ждали, что они французы, но они лгали!”. Каким же тесным должно было быть это общение, коль скоро в 1531 году фрегат “Пелерин” мог привести во Францию вместе с грузом три тысячи шкур леопардов, триста обезьян и шестьсот попугаев, которые “знали уже несколько слов по-французски”...

На острове в заливе Вильганьон основывает Форт-Колиньи; поначалу индейцы его строят и обеспечивают провиантом небольшую колонию, но вскоре, потеряв интерес к работе без вознаграждения, они разбегаются, бросив свои селения. Форт охвачен голодом и болезнями. Вильганьон проявляет свой деспотический характер: взбунтовавшихся каторжников истребляют. Эпидемия переносится на материк; немногочисленные индейцы, которые остались верны миссии, становятся жертвами эпидемии, восемьсот из них умирает.

Вильганьон пренебрегает повседневными делами; он переживает духовный кризис. Соприкоснувшись с протестантами, он взывает к Кальвину, чтобы тот прислал миссионеров, которые бы посвятили его в новую веру. Таким образом в 1556 году организуется экспедиция, в которой принимает участие Лери.

С этого момента вся история принимает такой необычный оборот, что меня просто удивляет, как это она не привлекла внимания какого-нибудь писателя или сценариста. Какой был бы фильм! Оторванная от мира, заброшенная на неведомый континент, чужой, как другая планета, абсолютно не знающая ни его природы, ни людей, неспособная обрабатывать землю, чтобы прокормить себя, во всем зависимая от аборигенов, непонятного народа, который испытывает к ней ненависть, со всех сторон окруженная болезнями — горстка французов подвергла себя всем этим опасностям, чтобы укрыться от раздоров в метрополии и создать островок, где различные верования сосуществовали бы в атмосфере терпимости и свободы, но попала в те же сети раздора. Протестанты пытаются

обратить католиков, католики — протестантов. Вместо того чтобы работать, обеспечивая свое существование, они проводят недели в безумных дискуссиях. Как следует толковать Тайную Вечерю? Надо ли добавлять воду в вино для причастия? Евхаристия, обряд крещения становятся темами для настоящих теологических турниров, в результате которых Вильганьон то принимает новую веру, то отрекается от нее.

Дело доходит до того, что в Европу посылают эмиссара, чтобы проконсультироваться с Кальвином по спорным вопросам. Тем временем конфликт разрастается. Вильганьон порой теряет рассудок. Лери рассказывает, что по цвету его одежды можно было заранее угадать его настроение и степень суровости тех мер, которые он собирается предпринять. В конце концов он ополчается против протестантов и намеревается их уморить голодом; протестанты перестают принимать участие в жизни сообщества, переезжают на континент и объединяются с индейцами. Этой идиллии их совместного существования мы обязаны появлением жемчужины этнографической литературы “Путешествия в Бразильскую землю” Жана де Лери\*. Конец этого приключения печален: женевцы\*\* не без труда погрузились на отплывающий в Европу французский корабль; теперь они даже не мечтали о том, чтобы действовать так, как по пути в Америку, когда они были сильными и позволяли себе *degraisser*\*\*\*, то есть весело грабить встречные суда; на корабле воцарился голод. Они ели обезьян и попугаев, столь ценных, что индеанка, спутница Лери, отказалась отдавать своего, разве что в обмен на артиллерийское орудие. Корабельные крысы и мыши, последние средства пропитания, продавались по цене четыре

---

\* Jean Lery. Le voyage fait en la terre du Brésil.

\*\* То есть миссионеры, посланные из Женевы Кальвином. — Прим. перев.

\*\*\* Буквально: снимать жир (франц.) — “снимать сливки”. — Прим. перев.

таллера за штуку. Питьева вода заканчивалась. В 1558 году команда высадилась в Бретани, полуживая от голода.

Островная колония под давлением казней и террора прекращает свое существование. Вильганьону — объекту всеобщей ненависти, изменнику для одних и вероотступнику для других, который был грозой индейцев и боялся португальцев, — приходится расстаться со своей мечтой. Форт-Колиньи, оставшийся под командованием его племянника Буа ле Конта, в 1560 году оказывается в руках португальцев.

В Рио, который ныне питает мое вдохновение, я пытался обнаружить следы этой истории. И я действительно нашел их во время археологической экспедиции в глубь залива, организованной Национальным Музеем в честь одного японского ученого. Небольшой буксир доставил нас на болотистый берег, где ржавел старый, мрачный остов корабля; он явно не относился к XVI веку, однако придавал некую историчность этому месту, где ничто иное не свидетельствовало о течении времени. Под низкими тучами, за завесой мелкого дождя, который не прекращался ни на минуту, исчез далекий город. За черной топью, полной копошащихся крабов и вывороченных корней (по поводу которых трудно было сказать, растут они, или гниют), на фоне леса сквозь потоки дождя вырисовывались силуэты нескольких хижин из соломы, не относящихся ни к какому веку. Еще дальше в бледном тумане растворялись скалистые уступы горных склонов. Добравшись до деревьев, мы достигли цели нашего путешествия — песчаного карьера, где крестьяне недавно обнаружили фрагменты керамики. Я ощупываю толстые черепки сосудов, которые, судя по фактуре, несомненно, принадлежали *тупи*; об этом свидетельствовала и покрывавшая их белая глазурь с красной каймой и тонкой сетью черных линий, создающих лабиринт, предназначенный, согласно поверью, для того, чтобы злые духи заблудились и не нашли человеческие кости, хранившиеся в таких урнах.

Мне объяснили, что можно было доехать автомобилем до этого места, удаленного на каких-нибудь пятьдесят километров от города, но дороги были так размыты дождем, что мы могли бы застрять на целую неделю. Возможно, это больше сблизило бы нас с прошлым, которого не смогли оживить эти печальные окрестности, где Лери, наверное, проводил долгие часы, наблюдая, как смуглая рука шпателем, окунаемым в черный лак, вырисовывает эти “тысячи мелких орнаментов: узоры из переплетающихся линий, озера любви и другие причудливости”, загадку которых я стараюсь сейчас разгадать, разглядывая поверхность поблекшего черепка.

Моя первая встреча с Рио была иной. Впервые в жизни я нахожусь по другую сторону экватора, в тропиках, в Новом Свете. Какой знак укажет мне на это тройственное изменение? Какой голос подтвердит его, какая нота, ранее мною никогда не слышанная, зазвучит первой в моих ушах? Мое первое наблюдение разочаровывает — это салон.

Одетый легче, чем обычно, ступая по волнистым меандрам черно-белой мозаики, я чувствую особую атмосферу в этих узких и тенистых переулках главной артерии; переход с тротуара в помещения не так явно обозначен, как в Европе; магазины, вместо убыточных витрин, выставляют товары прямо на улице, и не замечаешь, находишься ли ты внутри или снаружи. По существу, улица — это не только место, по которому ходят, это также место, в котором пребывают. Она одновременно оживленная и спокойная, более людная и лучше защищенная, чем у нас, — это первые критерии для сравнения, которые приходят мне в голову. Так смена полушария, континента и климата показала ненужность тонкой стеклянной оболочки, которая в Европе искусственно создает те же самые условия: кажется, что Рио воспроизводит под открытым небом галереи Милана или Амстердама, пассаж Панорамы<sup>64</sup> или холл вокзала Сен-Лазар<sup>65</sup>.



Принято считать, что путешествие — это перемещение в пространстве. Но этой характеристики недостаточно. Путешествие охватывает одновременно три измерения: пространство, время и общественную иерархию. Каждое впечатление только тогда можно считать определенным, когда оно соотносится с этими тремя осями, а поскольку пространство само имеет три измерения, требуется по меньшей мере пять измерений, чтобы сформировать для себя адекватный образ путешествия. Я ощутил это сразу, как только высадился в Бразилии. Я действительно нахожусь по другую сторону экватора и Атлантики и очень близко к тропикам. Многие вещи подтверждают это: жара, спокойная и влажная, которая освобождает мое тело от обычного груза шерстяной одежды и уничтожает противоречие (которое, как я потом обнаружил, составляет одну из постоянных данностей моей цивилизации) между домом и улицей; впрочем, вскоре оказывается, что она создает другое — между человеком и сертаном, которого не существует в моем окончательно гуманизованном пейзаже; это также пальмы, новые цветы и груды зеленых кокосовых орехов на верандах кафе — их раскалываешь и высасываешь сладкую освежающую влагу с запахом винного погреба.

Но я также ощущаю и другие изменения: я был беден, а сейчас богат; прежде всего потому, что материальные условия моей жизни изменились, а еще потому, что здешние цены на продукты невероятно низкие; этот ананас стоил бы мне двадцать су, связка бананов — два франка, испеченные на вертеле итальянским трактирщиком цыплята — четыре франка. Можно было бы сказать: “А ну, скатерть-самобранка, накройся”. Наконец, чувство состоятельности, которое возникает уже при вхождении в порт, возможность обладать, доставшаяся даром, которой тем не менее сопутствует ощущение необходимости ее принудительного использования, является причиной двусмысленного положения, заставляющего временно забыть

о привычках и контроле, способствующего почти ритуальной расточительности. Разумеется, путешествие может иметь прямо противоположное следствие; я испытал это, когда после объявления перемирия оказался в Нью-Йорке без денег; в любом случае путешествие в той или иной мере способствует улучшению или ухудшению материального положения, и только чудо может оставить его без изменений. Переноса человека на расстояние в тысячи километров, путешествие поднимает или опускает его на несколько ступеней общественной лестницы. Смещает, но и деклассирует, что одновременно и хорошо, и плохо; нельзя отделить красок и вкусов нового места от всегда непредвиденного ранга, в который возводит тебя путешествие, чтобы ты смог их познать.

Было время, когда путешественник встречал цивилизации, коренным образом отличающиеся от его собственной; тогда его поражала их чужеродность. Несколько последних веков это случается все реже. И в Америке, и в Индии путешественник всегда удивлен гораздо меньше, чем пытается выразить. Избирая цели и маршруты, он обладает свободой выбора той или иной даты или ритма вторжения механизированной цивилизации. Поиски экзотики сводятся к регистрации уровней восприятия или степени отсталости в развитии. Путешественник становится антикваром, вынужденным забросить коллекционирование предметов негритянского искусства ввиду их отсутствия и удовлетвориться старомодными раритетами, купленными во время прогулок по рынкам давно обжитых мест.

Это различие можно заметить уже в городе. Как растения, которые цветут в соответствующую пору года, кварталы несут на себе знамения времени, когда они росли, расцветали и приходили в упадок. На этой городской клумбе отмечается и симбиоз, и наследование. В Париже расцвет района Марэ приходится на XVII век, теперь же он гнивает; более поздние примеры: IX

округ, который развивался в период Второй империи<sup>66</sup>, а сегодня полуразрушенные дома заселены фауной бедноты, нашедшей, подобно муравьям, подходящую территорию для своей нехитрой деятельности; XVII округ застыл в своем бывшем великолепии, как огромная хризантема, засохшая, но не поникшая, хотя пора ее цветения давно миновала; XVI округ еще вчера поражал своим величием, а нынче его яркие цветы тонут в лесу зданий, которые постепенно делают его похожим на пригород.

Когда сравниваешь города, весьма отдаленные с географической и исторической точек зрения, эти различия циклов еще более усложняются из-за несоответствия ритмов. Несколько отделившись от центра Рио, который живет в начале нашего века, мы попадаем на спокойные улицы, очень длинные, обсаженные пальмами, манго и полисандром; по обе стороны — виллы, утопающие в садах. Я думаю (как позже в фешенебельных жилых кварталах Калькутты) о Ницце или о Биарриц времен Наполеона III. Тропические страны, пожалуй, не столько экзотические, сколько старомодные. Их характеризует не растительность, а мелкие детали архитектуры и влияние стиля жизни, который производит впечатление скорее едва уловимого отставания во времени, нежели освоения огромных пространств.

Рио-де-Жанейро построен не как обычный город. Заложенный первоначально на болотистой местности, окружающей залив, он, как пальцы в слишком тесной перчатке, протиснулся в ущелья между угрюмых скал, сжимающих его со всех сторон. Щупальца города, кое-где протягивающиеся на двадцать-тридцать километров, достигли подножия гранитных утесов со столь крутыми склонами, что никакая растительность не может за них уцепиться; однако кое-где на уединенной террасе или в глубоком гроте остались островки девственного леса, совершенно недоступного, несмотря на то, что до них рукой подать; когда летишь в самолете над этими исполненными величия и

свежести коридорами, над этими прекрасными коврами, кажется, что мы почти задеваем ветви деревьев, снижаясь, чтобы высадиться у их подножий. Это город, столь богатый возвышенностями, относится к ним пренебрежительно, что объясняется отсутствием воды на вершинах. В этом смысле Рио является противоположностью Читтагонгу, расположенному над Бенгальским заливом: там на болотистой равнине возвышаются небольшие конусообразные холмы из оранжевой глины, просвечивающей сквозь зеленую траву, и на каждом располагается уединенное бунгало — убежище для богатых, спасающихся от жары и сутолоки, царящих внизу. В Рио — наоборот: эти закругленные шапки из монолитного гранита, словно отлитые из металла, излучают столь интенсивное тепло, что ветерок, кружащийся в глубине коридоров, не может подняться вверх. Возможно, сегодняшняя урбанистическая наука нашла решение этой проблемы, но в 1935 году можно было установить ступень, занимаемую в общественной иерархии, с помощью высотомера: эта ступень была тем ниже, чем выше располагалось жилище. Бедняки жили в зацепившихся за скалы *фавеллах*\*, где чернокожее население в чисто выстиранных лохмотьях сочиняло волнующие гитарные мелодии, которые во время карнавала вместе с ними спускались с вершин и овладевали городом.

Город меняется как по мере его протяженности, так и с изменением высоты. Как только мы удаляемся по одной из тех городских тропинок, которые серпантинном вьются между холмами, перед нами предстает картина предместья. Ботафого, расположенный в конце проспекта Риу-Бранку, — это еще город достатка, но о Фламенго можно было подумать, что ты находишься в Нейи, а окрестности Копакабаны — это Сен-Дени или Ле-Бурже<sup>67</sup> двадцать лет назад, с тем же деревенским привкусом, как в наших

---

\* *Фавелла* (португ. *favella*) — лачуга, жилище бедняка.— Прим. перев.

пригородах перед войной 1914 года. В Копакабана, сегодня ошетилившемся небоскребами, тогда я увидел лишь маленький провинциальный городок с его магазинчиками и его живописностью.

Последнее воспоминание о Рио, связанное с моим окончательным отъездом, — это отель на склоне Корковадо, в котором я посетил американских коллег; туда можно было добраться на фуникулере, наспех построенном среди насыпей и напоминающем не то гараж, не то высокогорный приют с расставленными постами, на которых дежурили услужливые лакеи, — нечто вроде луна-парка. И все для того, чтобы достичь вершины горы и после восхождения вдоль незаселенных территорий, грязных и каменистых, часто почти вздымающихся вертикально, добраться до небольшой резиденции периода империи<sup>68</sup>; здание было одноэтажным, украшенным стукко<sup>69</sup> и выкрашенным в цвет охры; здесь обедали на заменяющей террасу платформе которая располагалась над беспорядочным скоплением зданий из бетона, развалин и прочих городских конгломератов; вдали, вместо фабричных труб, которые, казалось, должны были завершать этот разнородный пейзаж, виднелось тропическое море, сияющее и атласное, озаренное завораживающим лунным светом.

Я возвращаюсь на борт своего судна. Оно готовится к отплытию и светится всеми огнями; со стороны моря оно кажется единственным глазом полуслепой улицы. Ближе к вечеру была буря, и море лоснится, как брюхо сытого зверя. Тем временем клочья туч заслоняют луну, ветер треплет их и превращает в зигзаги, кресты и треугольники. Эти странные, освещенные как бы изнутри, фигуры на черном фоне неба казались северным сиянием, перенесенным в тропики. Время от времени сквозь рассеивающиеся формы просвечивает краешек красной луны, который тут же исчезает, а затем вновь появляется, как мигающий луч фонаря.

# Пересечение тропика

Побережье между Рио и Сантусом вновь кажется сказочной тропической страной. Тянувшаяся вдоль берега горная цепь, в одной точке достигающая высоты более двух тысяч метров, спускается к морю и рассыпается островками и скалами; песчаные пляжи, обрамленные кокосовыми пальмами и влажными лесными чащами, полными орхидей, упираются в стены песчаника или базальта, которые делают их доступными лишь со стороны моря. Маленькие порты, отстоящие друг от друга на сто километров, дают приют рыбакам в теперь уже полуразрушенных домах XVIII века, когда-то построенных из благородного тесаного камня судовладельцами, капитанами и вице-губернаторами. Ангра-дус-Рейс, Убатуба, Парати, Сан-Себастьян, Вила-Белья — все это пункты, куда после недель пути на мулах через горы привозили золото, алмазы, топазы и хризолиты, добытые когда-то в *minas geraes* — “главных рудниках” королевства. Когда ищешь следы троп, проходивших некогда вдоль *espigões* — горных хребтов, — с трудом представляешь себе, что здесь когда-то было оживленное движение: люди могли обеспечить себя, промышляя поиском и возвратом владельцам подков, утерянных в пути животными.

Бугенвиль рассказывает о мерах предосторожности, предпринимаемых при эксплуатации рудников и транспортировке груза. Добытое золото немедленно переправлялось в Дома Фонда, имеющиеся в каждом округе: Риудас-Мартис, Сабара, Серра-Фриу. Там изымалась доля,

принадлежащая Короне, а то, что причиталось добытчикам, выдавалось им в виде слитков с вытесненными на них весом, пробой и королевским гербом. Главная контора, расположенная где-то на полпути между рудниками и побережьем, осуществляла повторную регистрацию. “В конторе, которую охраняли два офицера и пятьдесят солдат, изымали пятую часть дохода и брали пошлину в полтора реала за каждого человека и вьючное животное. Половина сбора шла королю, а вторая половина делилась между охраной...” Потому нет ничего удивительного, что караваны, прибывающие с рудников и вынужденные проходить регистрацию, “задерживались и досматривались со всей строгостью”. Затем “владельцы сдавали золотые слитки на Монетный двор в Рио-де-Жанейро, где им выплачивали стоимость чеканными монетами — обычно полудублонами, приравненными к восьми испанским пиастрам; на каждой из этих монет король зарабатывал по одному пиастру”. Бугенвиль добавляет: “Монетный двор Рио-де-Жанейро — один из лучших, он обеспечен всеми необходимыми устройствами для работы в максимально быстром темпе. Поскольку золото поступает с рудников одновременно с прибытием кораблей из Португалии, приходится спешно изготавливать монеты, поэтому их чеканят с удивительной быстротой”.

Что касается алмазов, то система контроля была еще строже. Бугенвиль рассказывает, что предприниматели “обязаны сдавать точное количество найденных алмазов и передавать их интенданту, назначенному специально для этого королем. Интендант тут же складывает их в специальный, окованный железом ларец с тремя замками. Один ключ находится у интенданта, второй — у вице-короля, а третий — у провадора королевской асьенды\*. Ларец запирается в другом ларце, который опечатывается

---

\* *Провадор* (португ. *provador*) — здесь: управляющий; *асьенда* (португ. *hacienda*) — крупное поместье, латифундия.— Прим. перев.

печатами этих трех людей; в нем же находятся три ключа от внутреннего ларца. Вице-король не имеет права проверить содержимое ларца. Он складывает все это в кованый сундук и, наложив печать на замки, отправляет его в Лиссабон. Открытие происходит в присутствии короля, который выбирает алмазы для себя и платит владельцу рудника цену, указанную в договоре”.

От всей этой активной деятельности, в результате которой в одном только 1762 году было перевезено, проверено, обменено на деньги и отправлено сто девятнадцать арробов<sup>70</sup> золота, то есть более полутора тонн, на этом побережье вновь обретенного рая не осталось ничего, кроме нескольких величественных фасадов, одиноко возвышающихся в глубине заливов; волны бьются о стены, к подножиям которых когда-то подплывали галеоны. Когда видишь эти буйные леса, девственные заливы, обрывистые скалы, кажется, что лишь босоногие аборигены спускались сюда с высоких плоскогорий, и невозможно себе представить, что на этих плоскогорьях всего лишь двести лет тому назад ковалась судьба современного мира.

Насытившись золотом, мир пожелал сахара, но сахар сам пожирал рабов. После истощения рудников, которое сопровождалось опустошением лесов, дающих топливо для плавильных печей, ликвидация рабства и возрастающий во всем мире спрос на кофе направили Сан-Паулу и его порт Сантус в эту сторону. Желтое золото сменилось белым, а затем — черным. Перемены, в результате которых Сантус стал одним из центров международной торговли, не лишили его таинственной прелести. Когда судно медленно проплывает между островками, я испытываю первое потрясение от встречи с тропиками. Мы плывем по узкому зеленому каналу. Вытянув руку, можно прикоснуться к тем растениям, которые в Рио держались на почтительном расстоянии в своих высотных оранжереях. На более скромной сцене завязывается близкий контакт с пейзажем.



Окрестности Сантуса, затопленная равнина, испещренная лагунами и болотами, рассеченная реками, ущельями и каналами, вся в жемчужных испарениях, размывающих контуры, кажется землей начала Творения. На покрывающих ее плантациях бананов самая молодая и самая нежная зелень, какую только можно себе представить: более яркая, чем золото джутовых полей в дельте Брахмапутры, с которыми я люблю ее соединять в своих воспоминаниях; но именно эта нежность оттенка, эта волнующая утонченность в сравнении с сытой пышностью тех полей создает атмосферу первобытности. На протяжении получаса мы едем вдоль плантаций бананов, скорее растений-мастодонтов, чем карликовых деревьев, между налитыми стволами, увенчанными перистыми, эластичными листьями, мимо стопальцевых ладоней, протянутых от огромного коричневого или розоватого лотоса. Затем дорога поднимается на вершину серры\* до уровня восьмисот метров. Как и везде на этом побережье, обрывистые склоны оберегают от людей девственную чащу, настолько буйную, что для того, чтобы найти ей подобную, пришлось бы преодолеть тысячи километров на север, вплоть до самой Амазонки. Пока наш автомобиль стонет на поворотах, закрученных так сильно, что их нельзя назвать даже “булавочными головками”, сквозь туман, который создает иллюзию высокогорья другого климатического пояса, я могу спокойно наблюдать деревья и растения, проплывающие перед моими глазами, словно экспонаты в музее.

Этот лес отличается от нашего контрастом между листвой и стволами. Листья темнее, оттенок их зелени производит впечатление скорее минерала, чем растения, причем преобладают нефрит и турмалин<sup>71</sup>, а не изумруд и оливин<sup>72</sup>. На темном фоне листвы белые или пепельные стволы похожи на скелеты. Находясь слишком близко к стене

---

\* *Serra* (португ. *serra*; исп. *sierra*, сьерра — букв.: пила) — горный хребет с зубчатым гребнем. — Прим. перев.

леса, чтобы охватить картину в целом, я в первую очередь рассматриваю детали. Растения, более пышные, чем в Европе, топорщатся стеблями и листьями, которые кажутся вырезанными из металла, так крепко они посажены, а их форма так полна значения, как будто они не зависят от воздействия времени. Эта природа кажется явлением иного порядка в сравнении с нашей; она с высочайшим достоинством проявляет свое присутствие и нерушимость. Как в экзотических пейзажах Анри Руссо<sup>73</sup>, эти творения природы обретают достоинство предметов.

Однажды я уже испытал подобный опыт. Это произошло во время первых каникул в Провансе, после долгих лет, посвященных Нормандии и Бретани. Привыкший к растительности, которая была для меня скучной и неинтересной, я вдруг увидел совсем иную. Каждое ее проявление несло в себе особое, неповторимое значение. Это немного походило на то, как будто из банального городка я был перенесен в археологический заповедник, где каждый камень является не только элементом здания, но и обретает статус очевидца. Я карабкался по валунам, с восторгом называя по имени каждое растение: тмин, чабрец, розмарин, базилик, лавр, лаванда, каперсовый куст, фисташка, — каждое из них получило свою дворянскую грамоту и особую привилегированную роль. Густой смолистый аромат был для меня одновременно доказательством и смыслом существования этого более значимого растительного царства. То, что провансальская флора передавала мне своим ароматом, тропическая растительность внушала своей формой. Это был уже не мир запахов, где травы используются для лечения и ворожбы, а растительный ансамбль, похожий на группу танцовщиц, каждая из которых застыла в самой выразительной позе, как будто подчеркивая, что рисунок мог бы быть более откровенным, если бы не угроза потерять жизнь: неподвижный балет, равновесие, нарушаемое лишь металлическим шумом источников.

На вершине все снова меняется: отступила влажная жара тропиков, исчезли дерзкие сплетения лиан со скалами. С противоположной стороны, вместо огромной яркой панорамы, которая в последний раз просматривается с бельведера серры, теперь открывается неровное, голое плоскогорье, перерезанное гребнями хребтов и ущельями. На него опускается бретонский туман, так как мы находимся на высоте тысячи метров, хотя море совсем близко. На вершине этой стены начинается возвышенность, череда уступов, из которых первый и наиболее обрывистый образует прибрежную горную цепь. Плоскогорье постепенно снижается к северу огромными уступами вплоть до бассейна Амазонки, лежащего в трех тысячах километров отсюда. Снижение прерывается лишь двумя скалистыми грядами: Серрой в Ботукату в пятистах километрах от побережья и Шападой<sup>74</sup> в Мату-Гросу в полутора тысячах километров от моря. Я должен буду преодолеть их, прежде чем обнаружу на берегах крупных рек бассейна Амазонки чащу, подобную той, которая теснится у прибрежной стены; огромная часть Бразилии, простирающаяся между Атлантикой, бассейном Амазонки и Парагваем, подобна наклонной плите, поднимающейся над морем, как трамплин, покрытый густыми кудрявыми зарослями кустарника и окруженный влажным кольцом тропических лесов и болот.

Вокруг меня эрозия опустошила пространства с незавершенным рельефом, но ответственность за хаотический характер пейзажа несет прежде всего человек. Сначала землю вспахивали и обрабатывали, но через несколько лет обессиленная и истощенная почва отказывалась служить плантаторам кофе. Плантации переносились дальше, туда, где земля была еще девственной и плодородной. Между человеком и землей так и не возникла та тесная взаимность, которая в Старом Свете составляет основу тысячелетнего сосуществования, формирующего и землю, и человека. Здесь землю насиловали и уничтожа-

ли. Грабительская сельскохозяйственная политика состоит в том, чтобы захватить как можно больше и, получив выгоду, двинуться дальше. Экспансию первопроходцев справедливо определяют как “маргинальную”, поскольку, опустошая землю почти одновременно с ее вспашкой, первопроходцы были обречены на то, чтобы всегда занимать только временный участок, вгрызаясь в девственную почву и оставляя после себя истощенные земли. Подобно пожару в лесу, бегущему за новой пищей для поддержания своей собственной субстанции, пламя земледелия в течение ста лет пересекло весь штат Сан-Паулу. Разожженное в середине XIX века *mineiros*\*, которые покинули иссякшие рудники, оно перемещалось с востока на запад; вскоре мне суждено было догнать его по другую сторону реки Параны, где оно прокладывало себе путь среди хаотической массы срубленных деревьев и кочующих человеческих семейств.

Территория, по которой проходила дорога из Сантуса в Сан-Паулу, освоена в этой стране раньше, чем другие, поэтому теперь она кажется археологическим заповедником с пришедшим в упадок земледелием. Сквозь тонкий покров жесткой травы проступают остовы холмов, некогда покрытых буйной растительностью. Повсюду можно заметить ряды пригорков, которые указывают на места, где когда-то росли кофейные деревья, теперь же они выступают над травянистыми склонами, как иссохшие сосцы. В долинах растительность вновь овладела землей, но это уже не та благородная архитектура первобытного леса; *capoeira*\*\*, новый лес, возрождается в виде зарослей чахлых деревьев. Кое-где можно заметить дом эмигранта-японца, который пытается архаическими методами отвоевать себе кусочек земли, чтобы выращивать на нем овощи.

---

\* *Mineiros* — рудокопы (португ.). — Прим. перев.

\*\* *Capoeira* — молодая поросль на месте вырубки (португ.). — Прим. перев.

Путешественника-европейца поражает этот пейзаж, который не вписывается ни в одну из его традиционных категорий. Девственная природа неизвестна нам, наш пейзаж полностью подчинен человеку; иногда он кажется нам диким, но не потому, что является таковым в действительности, а потому, что изменения происходили в нем медленно (как в лесу или в горах) или же проблемы, поставленные данной местностью, были так сложны, что человек, вместо того чтобы находить им решение, на протяжении веков реагировал на них какими-то единичными мерами; никогда не предпринимались попытки выдвинуть и обосновать общие предположения, которые могли бы способствовать решению этих проблем, эти решения всегда приходили извне и были примитивны по своей сути. Такое состояние природы принято толковать как ее аутентичную дикость, в то время как это лишь результат серии необдуманных действий и решений. Но даже наиболее суровые уголки Европы имеют свой порядок, который с несравненным мастерством выразил Пуссен. Отправляйтесь в горы, обратите внимание на контраст между нагими склонами и лесом: леса располагаются ярусами над лугами, разнообразие их оттенков обусловлено преобладанием того или иного вида растительности на определенном участке склона; надо было побывать в Америке, чтобы понять, что эта высокая гармония — не просто спонтанное проявление природы, а следствие длительных поисков компромисса между человеком и пейзажем. Человек наивно восхищается следами своих минувших деяний.

В обжитой Америке, как в Северной, так и в Южной (за исключением предгорий Анд, Мексики и Центральной Америки, которые давно и плотно заселены, что сближает их с Европой), мы можем выбирать лишь между природой, так беспощадно укрощенной, что она скорее стала фабрикой под открытым небом, чем сельской местностью (я имею в виду прежде всего плантации сахарного тростника на Антильских островах и поля кукурузы в *corn-*

*belt\** в США), и другой природой, которую в эти минуты я созерцаю, природой, оккупированной человеком вполне достаточно, чтобы он сумел ее опустошить, но недостаточно, чтобы в ходе длительного и непрерывного сосуществования смог поднять ее до уровня пейзажа. В окрестностях Сан-Паулу, а позднее в штатах Нью-Йорк, Коннектикут и даже в Скалистых горах у меня была возможность приблизиться к районам с более суровой природой, чем наша, поскольку земля была меньше заселена и меньше обработана, но, тем не менее, эти места были лишены истинной свежести — это была не дикая, а деградировавшая природа. Это были ничейные земли, огромные, величиной с провинцию, — человек когда-то жил здесь короткое время, а затем ушел в другое место. Он оставил после себя искалеченный рельеф с многочисленными отметинами. На этих полях битв, где на протяжении нескольких десятилетий человек сталкивался лицом к лицу с неизведанной землей, медленно возрождается однообразная растительность, возрождается в беспорядке, который вводит в заблуждение, ибо под видимостью ложной невинности скрываются память и следы борьбы.

---

\* *Corn-belt* — кукурузная зона (англ.). — Прим. перев.

## Глава 11

# Сан-Паулу

Есть очень едкое определение Америки как страны, которая перешла прямо от варварства к упадку, так и не познав цивилизации. Эта формула с большой долей достоверности применима к городам Нового Света: они переходят от святости к разрухе, незатронутые веками истории. Одна бразильская студентка в слезах вернулась из своего первого путешествия во Францию: Париж с его потемневшими зданиями показался ей грязным. Белизна и чистота были единственными критериями оценки, которыми она обладала. Но американские города никогда не дают возможности для того вневременного отдохновения, к которому располагают архитектурные достопримечательности, для того существования вне времени, которое характерно для самых прекрасных наших городов, объектов нашего созерцания и размышления, а не только инструментов для выполнения урбанистических функций. В городах Нового Света, будь то Нью-Йорк, Чикаго или Сан-Паулу, которые часто сравнивают друг с другом, меня поражает не отсутствие памятников старины: это отсутствие как бы заложено в природе этих городов; в отличие от европейских туристов, которые теряются из-за того, что не могут добавить к списку своих охотничьих трофеев собор XIII века, я рад, что могу приспособиться к этой системе, где отсутствует временное измерение, и понять чужую, не похожую на нашу форму цивилизации. Но я совершаю противоположную ошибку: поскольку это новые города и

эта новизна является их оправданием и составляет их существо, я не в силах им простить того, что они не остаются новыми. Для европейских городов влияние веков — это аванс, для городов американских бег времени означает упадок. Ведь они не просто только что выстроены; они для того и сооружались, чтобы обновляться с той же скоростью, с какой были построены, а значит, строились как временные. В момент застройки новые районы приобретают лишь внешние признаки города, они слишком новы, блестящи и радостны. Можно подумать, что это какая-то ярмарка, какая-то международная выставка, построенная на несколько месяцев. По истечении этого срока праздник заканчивается, и огромные безделушки ветшают; штукатурка опадает с фасадов, дожди и сажа оставляют на них полосы, их стиль выходит из моды, первоначальный порядок нарушается сносами по соседству, чего требует новое нетерпение. Это не новые города, создающие контраст со старыми, а города с очень коротким циклом эволюции в противоположность городам с медленным циклом. Некоторые города Европы умирают в безмятежном сне; города Нового Света живут в лихорадке хронической болезни: они вечно молоды и всегда больны.

И в Нью-Йорке или Чикаго в 1941 году, и в Сан-Паулу в 1935 я был прежде всего поражен не их новизной, а преждевременностью разрушений. Меня смутило не то, что у них не было десятивековой истории, а то, что многие районы, которым всего пятьдесят лет, бесстыдно выставляют напоказ свои многочисленные изъяны, в то время как их единственным нарядом должна быть молодость, которая минует так же, как у живых существ. Железные каркасы, красные трамваи, похожие на пожарные фургоны, бары из красного дерева со стойками из полированной латуни, груды кирпича в одиноких улочках, где только ветер сметает мусор; сельские приходы у подножия стилизованных под соборы зданий офисов и



бирж; лабиринт позеленевших домов, возносящихся над перекрещивающимися пропастями ущелий, разводные мосты и мостики; город, постоянно растущий ввысь благодаря аккумуляции своих собственных руин, несущих на себе новые постройки. О, Чикаго, образ Америки, не удивительно, что в твоём лице Новый Свет возлюбил воспоминания восьмидесятых годов! Единственная древность, на которую ты можешь претендовать в своём стремлении к обновлению, — это скромный полувековой отрезок времени, слишком короткий, чтобы осудить наши тысячелетние общества, но предоставляющий Новому Свету, который не хранит память веков, маленькую возможность растрогаться по поводу своей ушедшей молодости.

В 1935 году жители Сан-Паулу с гордостью заявляли, что в их городе в среднем строится один дом в час. Речь шла о виллах; меня убеждают, что ритм остался тем же, но теперь это касается многоэтажных домов. Город развивается с такой скоростью, что невозможно получить его план: каждую неделю его следовало бы составлять заново. Представьте себе, что вы едете в такси на встречу, назначенную несколькими неделями ранее, и прибываете в построенный за это время новый район. В таких условиях воспоминания двадцатилетней давности подобны созерцанию выцветшей фотографии. Однако эти воспоминания могут иметь документальную ценность: я вытряхиваю содержимое моей памяти и сдаю его в городской архив.

В своё время Сан-Паулу называли безобразным городом. Действительно, здания в центре были помпезными и старомодными; претенциозная вульгарность архитектурных украшений ещё более подчеркивала убожество топорного исполнения: скульптуры и гирлянды были не из камня, а из гипса, выкрашенного в жёлтый цвет, чтобы они могли производить впечатление бронзовых. Во всём городе преобладали те вызывающие, произвольные тона, которые характерны для убогих строений: создатели вы-

нуждены прибегать к штукатурке как для того, чтобы их сохранить, так и для того, чтобы скрыть их конструкцию. Что же касается каменных зданий, то присущая им экстравагантность стиля образца 1890 года частично оправдывается тяжеловесностью и долговечностью материала: архитектурные украшения составляют необходимый элемент конструкции. Но и здесь специально задуманные неровности фасадов напоминают лишь неожиданно проявившиеся рубцы проказы на коже. На фоне неестественной окраски тени становятся темнее; узкие улицы не позволяют “создать атмосферу” слишком тонкому слою воздуха, отсюда возникает ощущение подделки — будто это не город, а лишь декорации, наспех установленные для съемок кинофильма или для театрального представления.

И все же Сан-Паулу никогда не казался мне безобразным: это был дикий город, как и все американские города, за исключением, быть может, Вашингтона (федеральный округ Колумбия), который нельзя назвать ни диким, ни освоенным; скорее, он выглядит поработанным, умирающим от скуки в золотой клетке улиц, в которую его заточил Ленфан<sup>75</sup>. Но Сан-Паулу тогда еще был диким, неукротенным. Первоначально он был построен на естественной террасе в форме шпоры, развернутой на север, у слияния двух рек: Риу-Анангабау и Риу-Тамандатеи, которые несколько далее впадают в Риу-Тиете, приток Параны; когда-то это было обычное индейское поселение, миссионерский центр, вокруг которого португальцы-иезуиты, начиная с XVI века, пытались собрать дикарей и приобщить их к благам цивилизации. На откосе, спускающемся к Тамандатеи, над жилыми районами Браз и Пенья, еще в 1935 году существовало несколько провинциальных улочек и *largos*, квадратных площадей, поросших травой; вокруг располагались дома с черепичными крышами и выбеленными известью стенами, а в одном конце — приходский собор, единственным украше-

нием которого была двойная остроконечная арка, обрамляющая барочный фронто́н. Очень далеко на севере река Тиете серебристыми меандрами вилась среди *varzeas\**, болот, которые постепенно превращались в города, неравномерно окруженные, словно четками, предместьями и строительными площадками. Сразу за ними располагался деловой центр, верный стилю и устремлениям построек 1889 года: *La Praça da Sé*, Соборная площадь, — наполовину склад стройматериалов, наполовину руины. Далее шел знаменитый “Треугольник”, которым Сан-Паулу гордился так же, как Чикаго своим *Loop\*\**: торговый район, созданный на пересечении улиц Дирейта, Сан-Бенто и 15 Ноября, артерий, усеянных вывесками и переполненных суетливой толпой торговцев и чиновников, своей темной одеждой демонстрирующих принадлежность к европейской или североамериканской культуре, а также гордость за свое местоположение на высоте восьмисот метров, которое избавляло их от полуобморочного состояния, вызванного тропической жарой (ведь тропик проходит прямо через город).

В январе в Сан-Паулу дождь не приходит, а зарождается из окружающей влажности, будто влажные пары, насыщающие все вокруг, материализуются в густом дожде капель-жемчужин, падение которых замедляется их связанностью со всем тем туманом, сквозь который они проходят. Это не полосы дождя, как в Европе, а тусклый блеск огромного количества водяных шариков, падающих во влажной атмосфере: водопад бульона с тапиокой\*\*\*.

---

\* *Varzea* — долина, заливной луг (португ.). — Прим. перев.

\*\**The Loop* (англ. *loop* — петля) — часть делового центра Чикаго, ограниченная “петлей” окружной железной дороги. — Прим. перев.

\*\*\*Тапиока (португ. *tapioca*, заимств. из языка *тупи-гуарани*) — крупа из крахмала клубней маниока (маниоковое саго). — Прим. перев.

Здесь также не возникает впечатления, что дождь прекращается, когда туча уходит; дождь кончается, когда воздух в данном месте уже в достаточной мере освободился от избытка влаги после дождевой пункции. Тогда небо проясняется, голубизна просвечивает сквозь светлые облака, а по улицам текут настоящие альпийские потоки.

На северном конце террасы открывалась огромная строительная площадка: это была Авенида Сан-Хуан, проспект длиной в несколько километров, который начинали прокладывать параллельно реке Тиете, вдоль существовавшей когда-то дороги, ведущей с севера в направлении Иту, Сорокабы и богатых плантаций Кампинаса. Уцепившаяся за внешнюю часть шпоры аллея спускалась вниз вдоль полуразрушенных старых районов. Справа от нее оставалась улица Флоренсио-ди-Абреу, ведущая вдоль шумных сирийских базаров, которые снабжали дешевыми товарами всю внутреннюю часть страны, и тихих шорных и ткаческих мастерских, где все еще продолжалось — надолго ли? — изготовление высоких седел из декорированной кожи, конских попон из грубого полотна, богато украшенных упряжей из чеканного серебра — все это пользовалось спросом у плантаторов и пеонов\* в столь близко расположенных чащах. Далее аллея огибала у подножия небоскреба — тогда единственного и еще незаконченного — розовую Предиу Мартинелли, затем пробивалась через Кампуш Элисеуш, старый район богачей, где деревянные виллы, утопая в садах эвкалиптов и манговых деревьев, постепенно приходили в упадок; затем — простолюдная Санта-Ифижения, соседствующая с районом, предназначенным для развалюх с выступающими антресолями, из окон которых уличные девицы зазывали клиентов. Наконец, на окраине города расположились небольшие мелкобуржуазные районы Пердисеш и

---

\* Пеон (исп., португ. *peon*) — поденщик, батрак, наемный работник. — Прим. перев.

Агуа-Бранка, которые на юго-западе растворялись в зеленых холмах более аристократического Паказмбу.

В южном направлении терраса повышается; по ней поднимаются скромные улочки, вливаясь наверху, почти на гребне возвышенности, в Авенида Паулиста, проходящую вдоль особняков, принадлежащих миллионерам середины прошлого века, некогда роскошных, в стиле казино и курортных вилл. В самом конце, к востоку, проспект поднимается вдоль нового района Паказмбу, где беспорядочно строятся кубообразные виллы, располагающиеся вдоль аллей, усеянных фиолетово-голубой пылью цветов жакаранды, выющихся между поросшими травой холмами и насыпями из желтой земли. Но миллионеры покинули Авенида Паулиста. По мере разрастания города они переселись на южную сторону холма в тихие районы с извилистыми улицами. Их особняки, построенные в калифорнийском стиле из стекла и бетона, с балюстрадами из ребристого металла, располагаются в глубине парков, разбитых в городских рощах, где земля принадлежит богатым.

Коровьи пастбища тянутся у подножия зданий из бетона, район возникает, словно мираж, улицы роскошных особняков с обеих сторон пересекают рвы; по ним, между банановыми кустами текут грязные потоки, которые одновременно служат источником и стоком для хижин, обмазанных глиной по плетенке из бамбука, где мы встречаем такое же черное население, какое в Рио обосновалось на скалистых склонах. Козы бегают по обочинам дороги. Некоторым привилегированным районам в городе удастся объединить в себе все эти аспекты. Наконец, в месте соединения двух расходящихся улиц, ведущих к морю, мы выходим к текущей по дну оврага Риу-Анангабаю с перекинутым через нее мостом, которая является одной из главных артерий города. В низине расположен парк в английском стиле с газонами, украшенными статуями и беседками, а на склоне возвышаются главные здания

города: городской театр, отель “Эспланада”, клуб автолюбителей и офисы канадской компании, которая занимается городским освещением и транспортом. Разнородные массы этих строений противостоят друг другу в застывшем беспорядке. Эти соперничающие между собой здания напоминают крупных млекопитающих, собравшихся вечером у водопоя: они остановились на миг в нерешительности, но потребность, более сильная, чем страх, обрекает их на временное соседство антагонистических видов. Фазы развития города длиннее, чем фазы жизни животного, и все же, если бы я сегодня осматривал это место, я, вероятно, обнаружил бы, что это разнородное стадо исчезло, растоптанное более сильным и монолитным племенем небоскребов, возведенных на побережье, застывшем в форме асфальтированной автострады.

Под защитой этой каменной фауны элита Сан-Паулу, похожая на свои любимые орхидеи, создавала более буйную и экзотическую флору, чем ей самой представлялось. Ботаники говорят, что тропическая растительность отличается гораздо большим разнообразием, чем растительность умеренного климата, поскольку каждый вид в тропиках обычно представлен лишь небольшим количеством экземпляров. Местные *grão fino* довели эту ботаническую особенность до совершенства.

Небольшое сообщество поделило роли. Здесь можно было встретиться со всем многообразием занятий, вкусов и интересов, оправданных в рамках современной цивилизации, но каждое из них было представлено одним лицом. По существу, наши друзья были не личностями, а функциями, перечень которых был составлен скорее по принципу их внутренней предрасположенности, чем реальной необходимости. Здесь были католик, либерал, монархист, коммунист или, на другом уровне, гурман, библиофил, любитель породистых собак (или лошадей), любитель старинной живописи, любитель современной живописи, а также мест-

ные эрудит, поэт-сюрреалист, музыковед, художник. Источником этого призвания было вовсе не стремление углубить познания в какой-то области; если два человека по причине какого-либо ложного маневра или из зависти занимали одно и то же место или же разные, но слишком близкие места, они стремились только к взаимному уничтожению и делали это с необычайной стойкостью и упорством. Между тем, соседствующие суверены обменивались интеллектуальными визитами, взаимными поклонами, поскольку каждый был заинтересован не только в сохранении своей функции, но также в доведении до совершенства того социологического менюэта, в исполнении которого общество Сан-Паулу находило для себя неисчерпаемый источник удовольствия.

Следует признать, что некоторые роли были сыграны с необычайным вдохновением, благодаря удачному сочетанию унаследованного состояния, врожденного обаяния и приобретенной ловкости, поэтому посещение салонов было одновременно столь приятным и столь разочаровывающим. Но необходимость распределения всех ролей для того, чтобы создать завершенный микрокосмос и разыгрывать великую игру цивилизации, влекла за собой определенные парадоксы: коммунист был богатым наследником местных землевладельцев; чопорное общество позволяло одному из своих членов, но только одному — поскольку нужно было иметь одного поэта-авангардиста, — публично показываться со своей молодой подружкой. Можно было только по совместительству выполнять несколько функций сразу: криминолог был дантистом, он внедрил в полицию оттиски челюстей вместо отпечатков пальцев в качестве метода идентификации личности, а монархист посвятил свою жизнь коллекционированию образчиков фарфора, принадлежащего королевским семействам всего мира, стены его салона украшали тарелки, и лишь в одном месте стояла шкатулка, в которой он

хранил письма придворных дам, свидетельствующие об их живом интересе к его коммерческим операциям.

Эта принятая в обществе специализация сочеталась со страстью к энциклопедической литературе. Культурная Бразилия буквально поглощала учебники и всевозможную популяризаторскую литературу. Вместо того чтобы хвалиться перед иностранцами тогда все еще безоговорочным престижем Франции, наши министры поступили бы более мудро, если бы попытались разгадать его секрет; к сожалению, в ту эпоху нашим престижем мы были обязаны не столько богатству и оригинальности уже ослабевающего потенциала научного творчества, сколько свойственному многим нашим ученым таланту в доступной форме представить определенные проблемы, к разрешению которых они имели весьма отдаленное отношение. В этом смысле любовь Южной Америки к Франции имела в себе нечто от тайного заговора, в основе которого лежала все та же склонность скорее к потреблению и облегчению потребления другим, нежели к производству. Великие имена, которым там воздавались почести: Пастер, Кюри, Дюркгейм, — принадлежали прошлому, впрочем, достаточно близкому, чтобы это могло оправдать данный нам кредит; но за этот кредит мы платили проценты только в мелкой монете, становящейся более ценной по мере того, как расточительные заказчики сами желали тратить вместо того, чтобы инвестировать. Мы делали все, чтобы им не о чем было беспокоиться.

Как это ни грустно, но даже роль интеллектуального посредника, к которой скатилась Франция, кажется сегодня для нее слишком обременительной. Неужели мы до такой степени рабы научного прогресса, унаследованного от XIX века, в рамках которого каждая область мысли была настолько архаичной, что любой человек, обладающий традиционно французскими качествами: общей культурой, живостью и ясностью ума, логическим мышлением



и литературным талантом, — мог охватить ее в целом и, работая самостоятельно, по-своему переосмыслить и обобщить? Независимо от того, следует ли этому радоваться или же огорчаться, современная наука уже не допускает подобного ремесленничества. Там, где прежде было достаточно одного специалиста, чтобы прославить свою отчизну, сегодня нужна армия, которой нам не хватает: частные библиотеки стали музейными редкостями, а наши публичные библиотеки, без помещений, без кредитов, без штата архивистов и даже без достаточного количества стульев для читателей, отпугивают исследователей, вместо того чтобы им служить. В конце концов, научное творчество сегодня является делом коллективным и по преимуществу анонимным, а мы к этому плохо подготовлены и занимаемся лишь тем, что пытаемся продлить сверх определенного им срока некогда легкие победы наших старых виртуозов. А эти последние будут свято верить, что апробированный стиль может заменить отсутствие партитуры.

Более юные страны усвоили урок. В той Бразилии, которая отпраздновала несколько блестящих индивидуальных триумфов: Эуклидис да Кунья, Освальдо Крус, Шагас, Вила Лобос<sup>76</sup>, — культура до недавнего времени оставалась игрушкой для богатых. И только потому, что этой олигархии была необходима репутация светской цивилизации, для противовеса традиционному влиянию Церкви и армии, а также власти личности, она решила основать университет в Сан-Паулу и открыть доступ к культуре более широким слоям общества.

Когда я прибыл в Бразилию, чтобы принять участие в этом процессе, я наблюдал — помню это до сих пор — со слегка высокомерной жалостью униженное положение моих местных коллег. Видя этих нищенски оплачиваемых профессоров, вынужденных выполнять несущественную работу, чтобы хоть как-то заработать на жизнь, я испы-

тывал гордость оттого, что принадлежу к стране древней культуры, в которой свободной профессии сопутствовали привилегии и престиж. Я не мог предположить тогда, что мои, в то время нищие, ученики вскоре возглавят университетские кафедры, более многочисленные и лучше оснащенные, чем наши, и обладающие библиотеками, о которых мы могли бы только мечтать.

Но все эти мужчины и женщины, толпящиеся на наших лекциях и выказывающие подозрительное рвение, прибывали издалека; это были молодые люди, привлеченные возможностью овладеть профессиями, путь к которым открывали присваиваемые нами дипломы; это также были адвокаты, инженеры и политики, уже занимающие определенные должности и боящиеся будущей конкуренции со стороны обладателей университетских дипломов, окажись они недостаточно расторопными, чтобы самим их получить. Все они были развращены бульварными и деструктивными умонастроениями, которые отчасти подпитывались прежней французской традицией в стиле *парижской жизни* прошлого века, усвоенной некоторыми бразильцами, сроднившимися с персонажами Мейака и Галеви<sup>77</sup>. Этот стиль, который прежде всего являлся отличительной особенностью общественного развития Парижа XIX века, был воссоздан на собственный страх и риск в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро; резкое разделение деревни и города, происходящее в ускоренном темпе, развитие города в ущерб деревне вызывало у новоиспеченных горожан стремление поскорее отмежеваться от деревенского простодушия; это простодушие в Бразилии XX века олицетворял *caipira*, то есть *деревенщина*, как в нашем *театре бульваров* его олицетворял Арпажон или Шарантоне<sup>78</sup>.

Я припоминаю один из примеров характерной для той поры шутки весьма сомнительного свойства. Посреди одной из этих улиц, почти деревенских, хотя они и простирались на три-четыре километра и тянулись от самого

центра Сан-Паулу, итальянская община установила статую императора Августа. Статуя была отлита из бронзы в натуральную величину мраморной античной статуи, правда, средних размеров, но в городе, где ничто не напоминало о более древней, чем прошлое столетие, истории, это было внушительное сооружение. Однако население Сан-Паулу решило, что рука, поднятая в римском приветствии, означала: "Здесь живет Карлито". Карлос Перейра ди Соуза, экс-министр и политик, занимал один из тех просторных домов, на которые указывала рука императора, домов, построенных из кирпича, украшенных лепниной и побеленных сероватой известью, облупившихся еще двадцать лет назад, но зато с арками и розетками, которые должны были олицетворять роскошь колониальной эпохи. Кроме того, считалось, что Август одет в шорты, и это было шуткой лишь наполовину, так как большинство прохожих вряд ли себе представляло, во что одевались древние римляне. Эти прелестные шутки обошли город уже через час после открытия памятника; их повторяли, усиливая эффект похлопыванием по плечу, во время изысканного приема в кинотеатре "Одеон", состоявшегося в тот же самый день. Таким способом буржуазия Сан-Паулу (инициировавшая проведение еженедельных киносеансов по повышенной цене, чтобы оградить себя от плебса) мстила за то, что по собственному недосмотру позволила возникнуть аристократической прослойке, состоящей из итальянских эмигрантов, которые прибыли полвека назад, чтобы продавать галстуки на улицах, а сегодня занимали самые роскошные особняки на центральной улице и на свои средства поставили этот, вызвавший столь оживленные комментарии, памятник из бронзы.

Наши студенты хотели знать все, но в любой области лишь новейшие теории казались им достойными того, чтобы их запомнить. Равнодушные к интеллектуальным пиршествам прошлого, о которых, впрочем, они знали

только понаслышке, так как не читали сочинений в оригинале, они всегда сохраняли энтузиазм, готовые вкушать новые блюда. В их случае речь шла скорее о моде, чем о кухне: идеи и доктрины не возбуждали их любопытства своим внутренним содержанием, они считали их инструментом престижа, который им требовалось завоевать. Они не желали разделять теоретические взгляды, известные другим, поскольку это было равнозначно появлению в уже виденном платье: это грозило опасностью потерять лицо. В то же время происходила отчаянная борьба — с использованием популярных изданий, сенсационных журналов и учебных пособий — за то, чтобы первому захватить самую современную модель в той или иной области мысли. Как избранные, выкормленные в академических “конюшнях”, мы с моими коллегами часто оказывались в трудной ситуации; приученные уважать только зрелые идеи, мы становились мишенью для нападок студентов, совершенно игнорирующих прошлое, но овладевающих новейшей информацией на несколько месяцев раньше, чем мы. Тем не менее, они считали своим долгом проявить эрудицию, для обретения которой у них не было ни желания, ни соответствующего метода. Поэтому их диссертации, независимо от темы, основывались на экскурсах во всеобщую историю человечества (начиная от человекообразных обезьян) с помощью нескольких цитат из Платона, Аристотеля и Конта или на парафразе какого-нибудь сомнительного графомана, работа которого была тем более ценной, чем более она была непонятной, так как это было гарантией, что никто другой на нее не польстится.

Университет казался им соблазнительным, но ядовитым плодом. Для этих молодых людей, не знающих мира, материальное положение которых, часто очень скромное, лишало их надежды увидеть Европу, мы были подобны чужеземным магазинам, прибывшим сюда по приглашению сыновей из богатых семейств, которых они ненавидели

вдвойне: во-первых, потому, что те представляли господствующий класс, а во-вторых, по причине их космополитического образа жизни, который давал им преимущество над людьми, не имеющими возможности покинуть свое родное селение, и вместе с тем отрезал их от жизни и устремлений народа. По этой же самой причине и мы казались им подозрительными; но мы держали в руках плод знания, и студенты попеременно то сторонились нас, то заискивали перед нами, то покорялись, то противились нам. Небольшая свита, образовавшаяся вокруг нас, была мерилom влияния. Эти мини-кланы боролись между собой за престиж, символами, главными распорядителями или жертвами которого были любимые преподаватели. Это находило свое выражение в *homenagems*\* — различных чествованиях преподавателя, свидетельствах почтения или чаепитиях, трогательный энтузиазм которых имел глубоко личные корни.

На этих приемах и личности, и дисциплины подвергались флуктуации, подобно колебаниям курса на бирже, в зависимости от престижа учреждения, числа гостей, светского ранга или общественного положения людей, согласившихся в них участвовать. А поскольку каждое крупное государство имело в Сан-Паулу свое представительство в виде магазина: английская чайная, венская кондитерская или кондитерская парижская, немецкая пивная, — сложные тактические хитросплетения определяли выбор того или иного заведения.

Не обижайтесь, дорогие ученики, а ныне уважаемые коллеги, если вам вдруг попадутся на глаза эти строки. Думая о вас и, согласно вашим обычаям, называя вас именами, такими странными для уха европейца, именами, чье разнородное богатство выражает привилегию — кото-

---

\* *Homenagems* (от *homenagear* — чествовать) — знаки внимания, почтения, уважения (португ.). — Прим. перев.

рой пользовались еще ваши отцы — свободно составить из всех цветов тысячелетней цивилизации свежий букет цивилизации собственной: Анита, Коринна, Зинаида, Лавиния, Таис, Джоконда, Джильда, Онерида, Люсилия, Зенит, Сесилия, Эгон, Марио-Вагнер, Никанор, Руи, Ливио, Джеймс, Азор, Ахилл, Десио, Евклид, Милтон, — я вспоминаю тот период детского лепета без всякой иронии. Напротив, я получил в этот период урок хрупкости привилегий, унаследованных от прошлого. Размышляя о том, чем была в то время Европа и чем она является сегодня, я кое-чему научился, наблюдая, как за несколько лет вы преодолели разделяющую нас интеллектуальную дистанцию, которую можно было мерить десятилетиями, и став свидетелем того, как исчезают и рождаются общества; я убедился, что великие повороты истории, которые в книгах представлены как результаты игры неведомых сил, скрытых во тьме, могут также в один прекрасный момент явиться стать результатом мужской решительности горстки талантливых детей.

**Часть четвертая**  
**Земля и люди**





## Глава 12

# Города и деревни

В Сан-Паулу можно было заниматься этнографией по выходным дням, но, правда, не среди индейцев из пригорода, как мне опрометчиво пообещали, поскольку пригороды были заселены выходцами из Сирии или Италии, а ближайшая этнографическая достопримечательность находилась на расстоянии пятнадцати километров и представляла собой примитивный поселок, население которого, одетое в лохмотья, светлым цветом волос и голубыми глазами выдавало свое недавнее немецкое происхождение. Около 1820 года группы немецких колонистов прибыли и разместились в наименее жарких районах страны подальше от тропиков; здесь они смешались и затерялись среди бедного местного крестьянства. Лишь ближе к югу, в штате Санта-Катарина, небольшие городки Жоинвили и Блуменау продолжали жить под сенью араукарий в атмосфере прошлого века: улицы из домов с покатыми крышами носили немецкие названия, и говорили здесь исключительно по-немецки. На террасах кафе усатые старички с бакенбардами курили длинные трубки с фарфоровыми чубуками.

Вокруг Сан-Паулу было много японцев, но к ним было трудно найти подход. Иммиграционные службы набирали среди них добровольцев, организовывали переезд, временное жилье и размещали их внутри страны на фермах, которые напоминали одновременно поселки и военные лагеря. Там было все необходимое: школа, мастерские, лазареты, лавки, развлечения. Эмигранты про-

водили долгие годы в отчасти добровольном заточении, постоянно поощряемые иммиграционной компанией, которой они выплачивали свой долг и в кассах которой хранили свои сбережения. Компания брала на себя обязательство по истечении нескольких лет отправить их на родину, чтобы они могли там умереть, либо — если малярия погубит их раньше этого срока — репатриировать их останки. Все было организовано так, чтобы они никогда не почувствовали, что покинули Японию. Нельзя с уверенностью сказать, была ли деятельность компании чисто финансовой и хозяйственной или же носила гуманитарный характер. При внимательном изучении карт обнаруживались скрытые стратегические замыслы, которыми могло быть обусловлено местоположение ферм. Неприступность контор “Kaigai-Iju-Kumiai” или “Brazil-Takahoka-Kumiai” и тем более территории почти секретной сети отелей, кирпичных заводов, лесопилок, благодаря которым иммиграционное поселение полностью обеспечивало себя, а также территории самих сельскохозяйственных центров свидетельствовала о тайных и далеко идущих планах. Сегрегация тщательно подобранных колонистов и археологические исследования (которые методически проводились наряду с сельскохозяйственными работами и преследовали цель подчеркнуть определенные аналогии между местными находками и японскими остатками эпохи неолита) являлись, судя по всему, только двумя крайними полюсами этой деятельности.

В сердце города некоторые рынки в бедных районах содержались исключительно чернокожими. Вернее — поскольку этот эпитет в сущности не имеет смысла в стране, где разнообразие рас в сочетании с немногочисленными, по крайней мере в прошлом, предрассудками предоставляет возможность для невероятного количества смешений, — среди них можно было попытаться различить *mestiços*, происходящих от смешения белых с черными, *caboclos* — белых с индейцами и *cafusos* — индейцев с черными.

Продаваемые изделия сохранили чистоту стиля: *paineras*, сита для маниоковой муки, типично индейские по своей фактуре, представляли собой сетку, сплетенную из расщепленного бамбука и окаймленную рейками; веера для раздувания огня также унаследованы от индейской традиции и довольно интересны, поскольку каждый из них — это хитроумный способ превращения пальмовых листьев с их проницаемой структурой в жесткую и плотную поверхность, которая приводит в движение струю воздуха, когда веер производит резкое движение. Существует несколько способов решения этой проблемы и несколько типов пальмовых листьев, поэтому можно их комбинировать и тем самым создавать любые, самые невообразимые формы, чтобы потом коллекционировать образцы, иллюстрирующие эти маленькие технологические задачи.

Известны два основных типа пальмовых веток: в одном случае листья симметрично размещены по обе стороны центрального стебля, в другом — они расходятся веером. Первый тип предполагает два метода: в первом случае необходимо срезать листья с одной стороны стебля и сплести все листья вместе, а во втором случае надо плести каждую группу отдельно, складывая листья под прямым углом и пропуская концы одних через нижнюю часть других, и наоборот. В результате получаются две разновидности вееров: в форме крыла или в виде бабочки. Что касается второго типа, он предоставляет много возможностей, которые всегда, хотя и в разной степени, являются комбинацией двух предыдущих: получающиеся в результате веера в виде ложки, лопатки или розетки своей формой напоминают большой сплюснутый шиньон.

Другой весьма привлекательный предмет на рынках в Сан-Паулу — это “фига”. “Фигой” называют античный средиземноморский талисман в форме кисти руки, оканчивающейся сжатым кулаком, из которого между фалангами средних пальцев выступает кончик большого пальца. Вероятно, это символическое изображение коитуса.

“Фиги”, встречающиеся на рынках, представляли собой либо брелок из серебра или черного дерева, либо предмет величиной с черепаховый панцирь, примитивно изготовленный и ярко раскрашенный. Я развешивал эти забавные предметы под потолком моего жилища — выкрашенной в желтое виллы, построенной в романском стиле в 1900 году и расположенной в верхней части города. Вход украшала арка из жасмина, а за спиной оставался старомодный сад. Я попросил владельца, чтобы на краю этого сада он посадил банановый куст, который напоминал бы мне, что я нахожусь в тропиках. Через несколько лет символический банан разросся в небольшую рощу, в которой я собирал плоды.

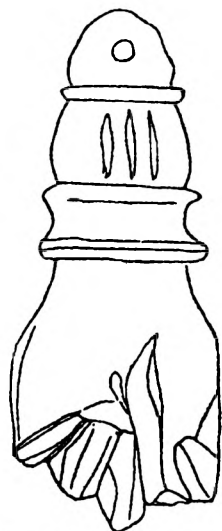


Рис.1. Античная “фига”, найденная в Помпее (конец большого пальца сломан)

В окрестностях Сан-Паулу можно было наблюдать сельский фольклор: майские праздники, на время которых деревни украшались зелеными пальмами; турниры, сохранившие португальскую традицию изображать сражения между *morros* и *cristianos*\*; процессию *nau catarineta*, корабля из картона с бумажными парусами, которая изображала паломничество к отдаленным приходам, опекающим прокаженных; в пьяных парах *pinga* (алкогольного напитка из сахарного тростника, совершенно непохожего на ром, который пьют чистым или *batida* — смешанным с лимонным соком) барды-метисы в высоких ботинках, одетые в лохмотья и страшно пьяные, под звуки бубна состязались в сатирических куплетах. Существовали также верования и предрассудки, которые любопытно было

\* Мавры, христиане (португ). — Прим. перев.

бы отметить: лечение глазного ячменя путем прикладывания к нему золотого кольца; разделение всего того, что употреблялось в пищу, на несоединимые группы: *comida quente* и *comida fria* — блюда горячие и блюда холодные; выделялись и другие несовместимые сочетания: рыба и мясо, манго и алкогольные напитки, бананы и молоко.

Однако еще более увлекательным, чем наблюдение пережитков средиземноморских традиций, было изучение своеобразных форм развития зарождающегося общества. Тема была все та же — прошлое и настоящее, но в противоположность этнографической анкете классического типа, которая старается объяснить настоящее через прошлое, здесь текущее настоящее, похоже, воссоздавало очень древние этапы европейской эволюции. Как во Франции в эпоху Меровингов<sup>79</sup>, в окружающих латифундиях можно было обнаружить зарождение общин и городов.

Возникающие поселения не были похожи на современные города, столь износившиеся, что в них трудно отыскать знаки их особой индивидуальной истории, города, становящиеся все более похожими друг на друга, где обозначены только административные различия. Здесь же, наоборот, можно было изучать города подобно тому, как ботаник изучает растения, различая по названиям, внешним признакам и строению их принадлежность к тому или иному крупному семейству растительного царства.

В течение XIX и XX веков передний край полосы первопроходцев медленно перемещался с востока на запад и с юга на север. Около 1836 года Норти — область между Рио и Сан-Паулу — была достаточно освоена, и движение перекинулось на центральную часть страны. Двадцатью годами позже колонизация уже добралась до северо-востока, до Межаны и Паулисты, а в 1886 году она принялась за Араракуару, Алта-Сорокабану и Норозесте. В этих районах еще в 1935 году кривая роста населения соответствовала кривой производства кофе, в то время как на использованной земле на севере кризис этого

производства на полвека опередил демографический спад, который начался в 1920 году, хотя уже с 1854 года люди начали покидать истощившуюся землю.

Этот период утилизации земель соответствовал переходному периоду исторического развития. Похоже, что только в крупных городах побережья — Рио и Сан-Паулу — урбанизация развивалась на достаточно солидной основе, чтобы оказаться неотвратимой. В 1900 году в Сан-Паулу насчитывалось двести тысяч жителей, в 1920 году — пятьсот восемьдесят, в 1928 году их количество превысило миллион, а сегодня эта цифра удвоилась\*. В то же время, внутри страны города возникали и исчезали: провинция, заселяясь в одной части, пустела в другой. Перебираясь с места на место, жители, число которых не увеличивалось, изменяли свой общественный статус; наблюдение соседствующих друг с другом заброшенных и зарождающихся городов позволяло за короткий отрезок времени произвести социологический анализ происходящих перемен, не менее интересный, чем исследование палеонтолога, сравнивающего по геологическим отложениям фазы эволюции организмов на протяжении миллионов веков.

Удаляясь от побережья, убеждаешься, что Бразилия скорее просто изменилась, чем продвинулась в развитии.

В эпоху империи поселения были немногочисленными, но распределялись по территории страны довольно равномерно. Прибрежные или соседствующие с побережьем города были невелики, зато города внутри страны имели большее население, чем сегодня. В результате исторического парадокса, о котором часто забывают, при общем недостатке средств сообщения развивались лишь самые отсталые поселения; когда единственным средством передвижения была лошадь, люди испытывали меньшее отвращение к поездке, длящейся скорее месяцы, чем дни и недели, и позволявшей попасть туда, куда мог пройти

---

\* То есть в 1955 году; в 1970 г. население Сан-Паулу составляло уже 18 миллионов. — Прим. перев.

только мул. Внутренняя Бразилия жила единой жизнью, медленной, но стабильной; в строго определенный период расстояния преодолевались по воде небольшими перегонами, растягивающимися на несколько месяцев, а по тропам, совершенно забытым к 1935 году, таким, например, как путь из Куябы в Гояс, на протяжении ста лет происходило оживленное движение караванов, насчитывавших от пятидесяти до двухсот мулов.

Состояние запустения, в котором оказалась Центральная Бразилия в начале XX века, не отражает, за исключением очень отдаленных регионов, первоначальной ситуации. Это была цена за поспешное заселение и перемены, внедряемые в прибрежных районах с целью создать условия для укрепившейся там современной жизни, в то время как труднодоступная центральная часть страны приходила в упадок, вместо того чтобы двигаться вперед хотя бы в свойственном ей замедленном темпе. Так, паровое судоходство, сократившее время переездов, стало причиной гибели во всем мире многих, некогда славных портов; можно задаться вопросом, не отведена ли авиации, приглашающей нас поиграть в чехарду, перепрыгивая через прежние этапы пути, та же самая роль. В конце концов, нам не запрещено мечтать о том, что технический прогресс, на который мы так надеемся, окупит себя, — но это будет мелкая монета одиночества и забвения вместо украденной у нас радости близкого общения.

На глубинных районах штата Сан-Паулу почти не отразились эти перемены. Конечно, не осталось и следа от тех фортов, которые когда-то защищали провинции и стали колыбелью стольких бразильских городов, расположенных у моря и по берегам рек: Рио-де-Жанейро, Витория, Флорианополис на острове с тем же названием, Баия и Форталеза на мысе, Манаус и Обидос на Амазонке или Вила-Белья-ди-Мату-Гросу, руины которого, периодически захватываемые индейцами *намбиквара*, еще существуют близ Гуапоре, некогда знаменитого гарнизона

*капитана ду мату (capitão do mato*, капитана леса) на боливийской границе, на той самой линии, которую папа Александр VI символически прочертил в 1493 году через тогда еще никому не известный Новый Свет, чтобы разграничить владения соперничающих между собой испанской и португальской корон<sup>80</sup>.

К северу и к востоку можно обнаружить следы поселений рудокопов, которые теперь уже опустели, а их полуразрушенные памятники — храмы XVIII века в стиле барокко — резко контрастируют с нищетой окружения. Они пульсировали жизнью, пока рудники были действующими; теперь же, впадшие в летаргический сон, они, казалось, каждой выемкой, каждой складкой своих колонн, фронтонов, сводов и задрапированных статуй старались удержать частички того богатства, которое и породило эту нищету. За разработку земных недр расплачивалась опустошенная деревня, а главное, леса, которые служили топливом для плавильных печей. Города рудокопов угасли, как пожар, испепеливший все до тла.

Штат Сан-Паулу воскрешает в памяти и другие события: борьбу, которая с XVI века велась между иезуитами и плантаторами, защищающими те или иные формы поселения<sup>81</sup>. Первые, закладывая свои поселения (“редукции”), хотели вырвать индейцев из их дикого существования и собрать под своим началом в нечто вроде общины. В некоторых отдаленных районах штата еще можно распознать эти первые бразильские городки по названиям *aldeia* (*aldeia\**) или *миссан* (*missão\*\**), а еще лучше — по их законченной и функциональной планировке: собор в центре возвышается над прямоугольной площадью из утрамбованной, поросшей травой земли, *largo da matriz\*\*\**,

---

\* *Aldeia* — деревня (португ.). — Прим. перев.

\*\* *Missão* — миссия (португ.). — Прим. перев.

\*\*\* *Largo da matriz* — букв.: *изначальное пространство* (португ.), т.е. место, откуда началась застройка города; центральная площадь. — Прим. перев.



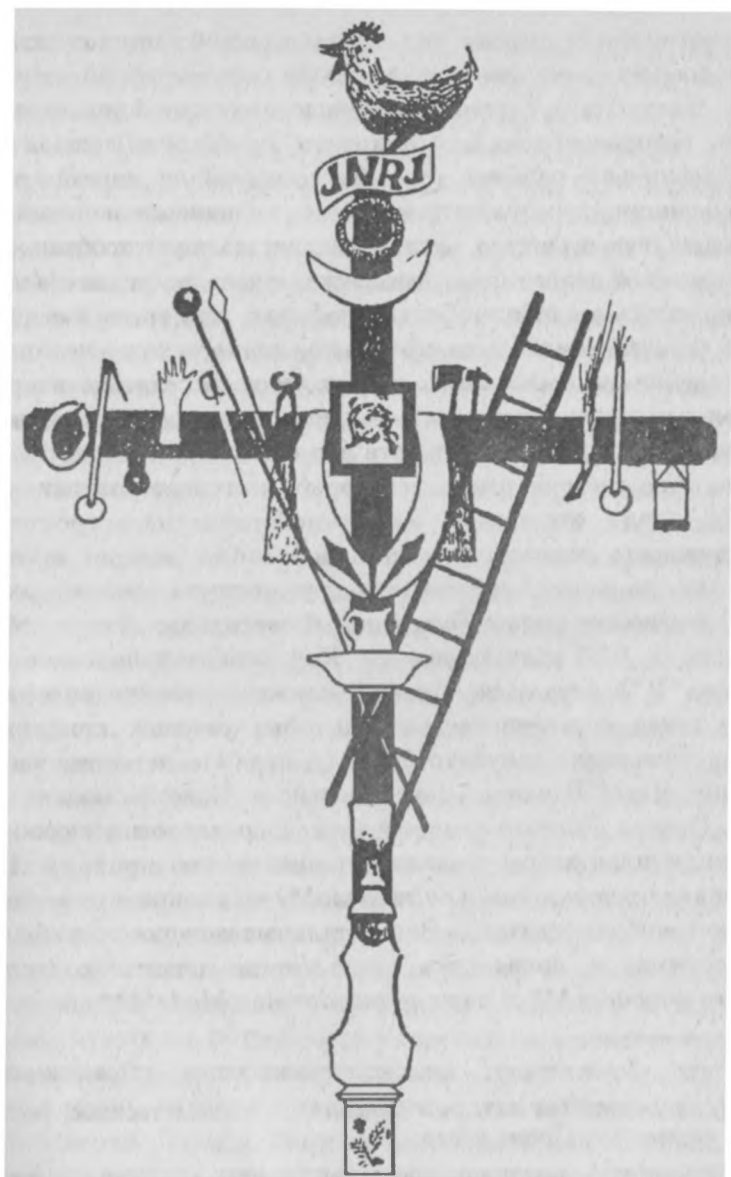


Рис.2. Сельское распятие из глубинных районов штата Сан-Паулу с различными предметами, символизирующими Страсти Господни

от которой расходятся под прямым углом улицы с низкими домами, заменившими прежние хижины аборигенов.

Плантаторы, *fazendeiros*, завидовали земной власти миссии, которая отнимала у них часть прибыли и лишала их невольничьих рабочих рук. Они снаряжали карательные экспедиции, в результате которых священники и индейцы обращались в бегство. Это объясняет важную особенность бразильской демографии: деревенская жизнь, наследие *aldeias*, удержалась в наиболее бедных районах, в то время как там, где богатая земля была предметом алчного вожделения, у населения не было иного выбора, как расселяться вокруг дома землевладельца, ютясь в одинаковых саманных хижинах, где господин мог держать под присмотром своих вассалов. Еще сегодня вдоль некоторых железнодорожных линий, ввиду отсутствия населенных пунктов, строители вынуждены размещать железнодорожные станции произвольно, на равных расстояниях друг от друга, называя их в алфавитном порядке: Буаркина, Фелисидади, Лиман, Марилия (к 1935 году компания “Паулиста” остановилась на букве “П”); случается, что на протяжении тысячи километров поезд останавливается только на узловых станциях, обслуживающих какую-то фазенду, куда стекается все население: Чаве\* Бананал, Чаве Консейсан, Чаве Элиза...

Правда, в некоторых случаях по религиозным соображениям плантаторы решали оставить землю приходу. Так возникал *патримоний* (*patrimonio*\*\*) под покровительством какого-нибудь святого. Все остальные *патримонии* были светскими, и появлялись тогда, когда плантатор желал стать *povoador*\*\*\* и даже *plantador de cidade*\*\*\*\*, основа-

---

\* *Chave* — ключ (португ.), здесь: узловая станция. — Прим. перев.

\*\* *Патримоний* (от лат. *patrimonium*) — наследственное, родовое имя. — Прим. перев.

\*\*\* *Povoador* — колонист, поселенец (португ.). — Прим. перев.

\*\*\*\* *Plantador de cidade* — букв.: *плантатор из города* (португ.), то есть помещик, живущий в городе. — Прим. перев.

телем города. В этом случае он называл город своим именем: Паулуполис, Орландия — или из политических соображений нарекал его именем покровителя, знаменитой личности: Президенте-Пруденти, Корнелиу-Прокопиу, Эпитасиу-Пессоа... За короткий срок своего существования поселения успевали не раз сменить свои названия, которые отражали их судьбы на каждом из этих этапов. Сначала поселению просто давалось название, связанное с какой-нибудь культурой, выращиваемой на небольшом участке земли посреди чащи (например, Бататас — картофель), или же с каким-то обстоятельством: где-нибудь в глуши не хватило топлива для приготовления пищи, и появился Фейжан-Кру — “сырая фасоль”; кончился запас продуктов, привозимых издалека, и место назвали Аррос-сен-Сал — “рис без соли”. Затем в один прекрасный день какой-нибудь “полковник” — этот титул произвольно присваивался крупным землевладельцам и политическим деятелям — решает распространить свое влияние на территорию в несколько тысяч километров, полученную им по концессии. Он вербует неоседлое население, собирает его в одном поселении, дает ему работу, и Фейдан-Кру превращается в Леаполдину или Фернандополис. Позднее город — дитя каприза и амбиций — увядает и исчезает; остается лишь название и несколько полуразрушенных домов, в которых население угасает от малярии и анкилостомоза. Или же, наоборот, предприятие оказывается удачным, возникает коллективное самосознание, город желает забыть, что был игрушкой и инструментом в руках одного человека: население, недавно прибывшее из Италии, Германии и других стран, чувствует потребность укорениться и ищет в словах элементы индейских названий, главным образом на языке *тупи*, которые придадут городу авторитет доколумбовой эпохи: Танаби, Вотупоранга, Тупан или Айморес...

Опустевшие поселения, расположенные по берегам рек, парализованных железными дорогами, сохранили следы прерванного цикла: сначала постоянные дворы и

склады на берегу служили гребцам пирог ночным убежищем, защищавшим их от нападения индейцев; позднее, с появлением мелких паровых судов, они стали *портос-ду-ленья* (*portos de lenha*\*), у которых примерно через каждые тридцать километров останавливались колесные пароходы с лопастями и тонкими дымовыми трубами, чтобы загрузить дрова; наконец, они превратились в речные порты на границах судоходного участка, а в тех местах, куда невозможно было добраться из-за порогов и водопадов, стали перевалочными пунктами.

В 1935 году лишь два типа городов сохраняли свой традиционный вид, вместе с тем оставаясь жизнеспособными. Это были *поузос* (*pousos*), городки на пересечении дорог, и *боккос-ду-сертан* (*boccas do sertão*) — “врата леса”, у края караванных путей. Грузовые автомобили уже начинали заменять прежние транспортные средства — караваны мулов или повозки, запряженные быками; пользуясь теми же самыми разбитыми дорогами, грузовики были вынуждены сотни километров проезжать на первой или второй передаче, передвигаясь в том же темпе, что и вьючные животные, и задерживаясь в тех же пунктах, поэтому там всегда толпились водители в промасленных куртках и облаченные в кожу *тронейрос* (*tropieiros*\*\*).

Дороги не оправдывали тех надежд, которые на них возлагались. У них было совсем иное назначение: это были старые караванные тропы, которые служили для перевозки кофе, алкоголя и сахара в одном направлении и соли, сушеных овощей и муки — в другом. Время от времени в глубине чащи их пересекали *registro* — деревянные шлагбаумы, окруженные несколькими хижинами, где сомнительный представитель власти в лице крестьянина, одетого в лохмотья, требовал уплаты дорожной пошлины. Этим объяснялось наличие обходных путей, *estrados*

---

\* *Portos de lenha* — дровяные порты (порт.). — Прим. перев.

\*\*Погонщики скота (порт.). — Прим. перев.

*francanas*, позволявших избежать уплаты пошлины; кроме того, существовали тропы для мулов (*estradas muladas*) и тропы для повозок, запряженных быками (*estradas boiadas*). На этих последних, часто на протяжении двух-трех часов, слышался непрерывный, монотонный и режущий уши скрежет, вызванный трением оси медленно приближающейся повозки, от которого с непривычки можно было обезуметь. Эти повозки, изготовленные по очень старым образцам, заимствованным еще в XVI веке у средиземноморского мира, где они не менялись с доисторических времен, представляли собой тяжелый ящик с дышлом и

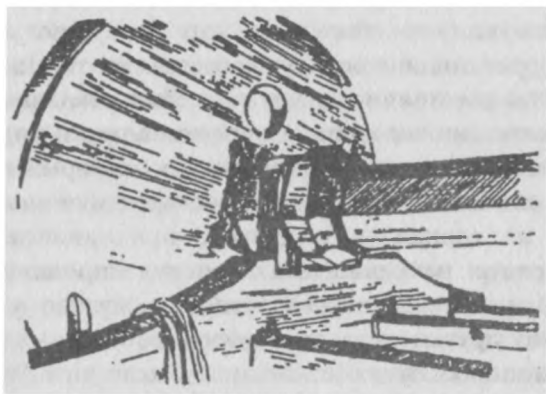


Рис. 3. Фрагмент оси повозки, в которую запрягали быков

плетеными стенками, установленный прямо на ось, соединяющую сплошные, без ступиц, колеса. Тягловые животные тратили больше сил на преодоление визгливого сопротивления оси кузову, чем на всю поклажу в целом.

Таким образом, дороги часто были случайным следствием выравнивания поверхности земли животными, повозками и грузовиками, двигавшимися приблизительно в одном и том же направлении. Все они, прокладывая себе путь, преодолевали распутицу, обвали и густые заросли,

петляя вдоль оврагов и обнаженных склонов; иногда эти дороги соединяются и достигают сотни метров в ширину — бульвар посреди лесной чащи, напоминающий мне овечьи тропы в Севеннах, — а иногда расходятся на четыре стороны света, и никогда не знаешь, за которой из этих нитей Ариадны последовать, чтобы, проехав за много часов километров тридцать опасного пути, вдобавок не заблудиться среди песков или болот. В дождливую пору дорога превращалась в канал, заполненный густой топкой грязью, становясь почти непроходимой, а потом первый грузовик, которому удалось по ней проехать, прокладывал глубокие колеи, за три засушливых дня обретавшие консистенцию и крепость цемента. Идущие следом автомобили вынуждены были ехать по этим бороздам, что возможно лишь при таком же расстоянии между колесами и той же высоте днища. Если расстояние между колесами совпадало, а днище находилось ниже, машина проваливалась в колею дороги и тут же оседала на твердый цоколь, который необходимо было разбивать заступом. Если же расстояние между колесами не совпадало с колеей, приходилось сутками напролет ехать, накренившись и рискуя опрокинуться, поскольку два колеса с одной стороны кузова утопали в колею, а два других скользили поверху.

Я вспоминаю путешествие, ради которого Рене Куртен не пожалел своего нового “форда”. Мы — он, Жан Можю и я — решили проехать столько, сколько позволит машина. Все закончилось на тысяча пятисотом километре от Сан-Паулу, возле хижины индейца племени *каража*, расположенной на берегу реки Арагуая; на обратном пути сломались передние рессоры, и мы проехали сотню километров с лежащим прямо на оси кожухом двигателя, а оставшихся шестьсот километров его поддерживала металлическая пластина, которую согласился выковать для нас деревенский кузнец. Я вспоминаю те беспокойные ночные часы, проведенные за рулем: деревни на границе штатов Сан-Паулу и Гояс встречаются редко, а мы не

знали, в какой момент нас подведет колея, которую мы избрали среди десятка других. Внезапно из темноты возник поселок (*pouso*), мерцающий звездочками — электрическими лампочками, получающими питание от небольшого движка, пощелкивание которого, смешивающееся с ночными голосами леса, мы слышали уже несколько часов. На постоялом дворе нам предложили металлические кровати и гамак; а утром мы мчались по главной улице (*rua direita*) этого городка, приюта для путешественников (*cidade viajante*), с двумя базарами и площадью, занятой *regatões* и *mascates*\*: торговцами, врачами, дантистами и даже бродячими нотариусами.

В ярмарочный день здесь царит большое оживление: сотни крестьян, живущих на отшибе, покидают свои жилища вместе с семьями и совершают многодневное путешествие, которое позволяет им раз в год продать теленка, мула, шкуру тапира или пумы, несколько мешков кукурузы, риса или кофе и приобрести взамен хлопчатобумажную ткань, соль, керосин для лампы и несколько патронов для ружья.

Вдали тянется плоскогорье, покрытое кустарником и редкими деревьями. Недавняя эрозия — вырубка леса, произведенная полвека назад, — будто слегка отесала его осторожными ударами топора. Перепад уровней в несколько метров образовал террасу и обозначил будущие овраги. Неподалеку от широкого, но быстрого потока, скорее своенравного ручья, чем реки с устоявшимся руслом, пролегали две или три параллельные улицы, обрамляющие живой изгородью саманные, крытые черепицей ранчо, побеленные известью стены которых сияли своей белизной, еще более яркой благодаря коричневому обрамлению ставен и контрасту с пурпурным цветом земли. Сразу же за первыми жилыми зданиями, которые своими

---

\* *Regatões* — торговцы розничным товаром; *mascates* — бродячие торговцы (португ.). Прим. перев.

фасадами с большими, обычно всегда открытыми окнами без стекол напоминают крытые рынки, начинаются прерии с жесткой травой, обычно до корней объединенной скотом. В преддверии ярмарки ее организаторы приготовили запасы фуража: ботву сахарного тростника и молодые пальмовые побеги, перевязанные стеблями или связками травы. Гости размещают свои повозки на цельных колесах, обитых гвоздями по окружности, и располагаются в этих кубических блоках. К свежесплетенным стенам и крыше из бычьей шкуры, прошнурованной веревками, которые служили укрытием во время пути, теперь добавляется настил из пальмовых листьев или навес из белого полотна, становящиеся продолжением задней части повозки. На свежем воздухе готовится рис, чечевица или сушеное мясо; голые ребятишки бегают под ногами быков, пережевывающих тростник, гибкие стебли которого свисают у них из рта, как зеленоватые струи воды.

Через несколько дней уже никого нет: путешественники исчезли в зарослях, и поселок дремлет на солнце; на протяжении всего года жизнь здесь ограничивается однодневным оживлением *воскресных поселков (villas do domingo)*, ярмарки, закрытой в будние дни. Путники встречаются там по воскресеньям, на пересечении троп, где находится винная лавка и стоит несколько хижин.



## Глава 13

# Зоны первопроходцев

Подобные картины без конца повторяются в глубинных районах Бразилии по мере удаления от побережья к северу или западу, там, где заросли кустарника тянутся вплоть до болот Парагвая или лесополосы у притоков Амазонки; деревни встречаются все реже; их разделяют огромные пространства: иногда это почти лишенная растительности *campo limpo*, “чистая” саванна, а иногда либо заросшая кустарником *campo sujo* — “грязная” саванна, либо *cerrado* и *caatinga* — разновидности лесных зарослей.

В южном направлении, в сторону Параны, постепенное удаление от тропиков, возвышенности и почвы вулканического происхождения порождают другие пейзажи и иные формы жизни. Остатки коренного населения соседствуют здесь с очагами цивилизации и наиболее современными формами колонизации. Именно поэтому район северной Параны стал местом моих первых экспедиций.

Мне понадобилось всего двадцать четыре часа пути, чтобы миновать границы штата Сан-Паулу, очерченные рекой Параной, и добраться до большого влажного хвойного леса, который долгое время был неприступным для плантаторов и фактически вплоть до 1930 года оставался девственным; сюда могли проникнуть лишь индейцы и некоторые одинокие первопроходцы, в основном бедные крестьяне, выращивающие кукурузу на небольших расчищенных участках.

В период моего пребывания в Бразилии эти районы начинали постепенно осваиваться, главным образом бла-

годаря британским предпринимателям, которые получили в аренду от правительства полтора миллиона гектаров с условием построить там шоссе и железную дорогу. Англичане намеревались разделить территорию на участки и распродать их эмигрантам, прежде всего выходцам из Центральной и Восточной Европы, но сохранить в своей собственности железную дорогу, по которой должна была осуществляться перевозка сельскохозяйственных продуктов. В 1935 году освоение было в разгаре; железная дорога постепенно прокладывалась через чащу: пятьдесят километров в начале 1930 года, сто двадцать пять в конце того же года, двести в 1932 году, двести пятьдесят в 1936 году. Через каждые пятнадцать километров на краю расчищенного участка (примерно в один квадратный километр) строились станции, которым со временем предстояло стать городами. Эти городки быстро заселялись, и вскоре, проезжая по железной дороге, мы уже встречали сначала старейший из них Лондрину с тремя тысячами жителей, затем — Нова-Данциг, где было девяносто жителей, Роландию, где проживало шестьдесят человек, и самый молодой Арапонгас, в котором в 1935 г. был один дом и один житель, довольно пожилой француз; одетый в армейскую форму времен Первой мировой войны и соломенную шляпу-канотье, он предавался размышлениям в полном одиночестве. Крупный знаток этого первопроездческого начинания Пьер Монбейг рассказал мне, что в 1950 году Арапонгас насчитывал десять тысяч жителей.

Когда проезжаешь через эти районы верхом или на грузовике по недавно проложенной через горный хребет дороге, похожей на римские дороги в Галлии, трудно себе представить, что в этом краю существует какая-то жизнь. Узкие освоенные участки с одной стороны упирались в дорогу, а с другой — в ручьи, струящиеся в долинах. Заселение началось внизу, у воды, а раскорчевка (*derrubada*) медленно продвигалась вверх по склонам, так что сама дорога, символ цивилизации, все еще скры-

ввалась в лесной чаще, которая в течение нескольких месяцев или лет будет по-прежнему покрывать вершины холмов. Но в глубине долин первые урожаи, всегда сказочно богатые на этой *terra roxa*\*, красно-лиловой девственной земле, созревали среди огромных поваленных деревьев и пней. Зимние дожди превращали эти деревья в плодородный перегной, а затем смывали его со склонов вместе с почвой, которая некогда питала уничтоженный лес и которая уже не удерживалась корнями деревьев. Неужели через каких-нибудь двадцать-тридцать лет эта земля Ханаанская станет сухой и бесплодной пустыней?

А пока эмигранты вкушали плоды изобилия; семьи из Померании<sup>82</sup> или Украины, еще не успевшие построить себе дома и жившие вместе с животными в дощатых бараках на берегу ручья, славил эту чудесную землю, которую надо было сначала обуздать, как дикую лошадь, чтобы хлопчатник и кукуруза давали урожаи, а не разрастались буйной зеленью. Один немецкий крестьянин плакал от радости, показывая нам апельсиновую рощу, которая выросла из нескольких посаженных зернышек. Эти люди, прибывшие сюда с севера, изумлялись не столько плодородию земли, сколько невиданным плодам, известным им разве что по волшебным сказкам. Поскольку страна расположена на границе тропической и умеренной зон, перепад высоты в несколько метров создавал на небольшом участке земли зоны с различными климатическими условиями, поэтому там по соседству можно было выращивать любые культуры из родных краев и из Америки, и восхищенные этим разнообразием эмигранты сеяли рядом пшеницу и сахарный тростник, лен и кофе.

Население молодых городов в подавляющем большинстве составляли выходцы из северных стран; новая эмиграция: немецкая, польская, русская, в меньшей степени итальянская, которая за сто лет заселила лишь южные

---

\* Букв.: *красная земля* (португ.), краснозем. — Прим. перев.

штаты вокруг Куритибы, — давно образовала здесь сплоченное единство. Их дощатые или бревенчатые дома напоминали о Центральной или Восточной Европе. Длинные конные повозки на четырех колесах со спицами заменили иберийские телеги, запряженные быками. Здесь контуры будущего, которое формировалось в ускоренном темпе, поражали гораздо больше, чем эти странные пережитки прошлого. Бесформенное пространство день за днем обретало облик города, оно развивалось, подобно эмбриону, который делится на клетки, соединяющиеся в группы в зависимости от своих функций. Лондрина был уже вполне обустроенным городом, с главной улицей, деловой частью, фабричными районами и административным центром. Какие же таинственные создатели видоизменяли неопределенные территории Роландии, а главное, Арапонгаса, приспособлявая их к тому, чтобы прокормить все слои поселенцев, вынуждая каждый район выполнять конкретную функцию и определяя для него его индивидуальное предназначение? На этих прямоугольниках, произвольно вырезанных в лесной чаще, улицы, пересекающие друг друга под прямым углом, строго геометрические и лишённые индивидуальности, поначалу кажутся одинаковыми. Однако одни из них центральные, другие периферийные, одни параллельны, а другие перпендикулярны железной дороге или шоссе — то есть первые пролегают в направлении движения, вторые пересекают и прерывают его. Торговля и производство выбирают первые, которые, несомненно, привлекают клиентуру; частные дома и некоторые учреждения охотно располагаются вдоль вторых или вытесняются туда. Противоположности центр — периферия и параллельное — перпендикулярное определяют четыре разновидности городской жизни, которые группируют жителей и становятся источниками успеха и неудач, предоставляя привилегии одним и разочаровывая других. Но это еще не все; поселенцы делятся на два типа: людей стадных, для которых поселение будет тем привлекательнее,

чем быстрее будет развиваться город, и одиночек, стремящихся к свободе; таким образом возникает новый контрапункт, накладывающийся на предыдущий.

И наконец, существуют еще некие иррациональные факторы, взаимодействие которых можно наблюдать во многих городах. Они подталкивают город к западу, обрекая восточные районы на нищету или упадок. Быть может, это проявление того самого космического ритма, который со времени возникновения человечества наполнил его неосознанной верой в то, что направление движения солнца является позитивным, а противоположное направление — негативным, что первое означает гармонию, а второе — хаос. Мы давно уже перестали почитать солнце и связывать стороны света с магическими качествами, цветами и силами. Но несмотря на то, что наш евклидов разум выработал иммунитет по отношению к какому бы то ни было качественному пониманию пространства, крупные астрономические и даже метеорологические явления, независимо от нас, в определенных регионах становятся незаметным, но вместе с тем неизбежным сопутствующим фактором; для всех людей направление восток — запад является направлением свершения, для жителей умеренной зоны южного полушария юг является обителью холода, а север — света и тепла. Ничто из всего этого не проявляется в обусловленной разумом деятельности каждой отдельной личности. Но, тем не менее, сама жизнь города представляет собой удивительное противоречие. Хотя она и является наиболее сложной и рафинированной формой цивилизованной жизни вследствие концентрации огромного количества людей на малом пространстве и в силу продолжительности своего цикла, она сплавляет воедино все их бессознательные действия, каждое из которых в отдельности мало что значит, но благодаря количеству людей, представляющих одни и те же бессознательные импульсы, обладает способностью к серьезным свершениям. Примером тому может служить направление развития городов с востока на

запад, а также поляризация по той же оси богатства и нищеты, которую трудно понять, если не принять как данность эту привилегию — или эту зависимость — городов. Как под микроскопом при соответствующем увеличении, на поверхности коллективного сознания, подобно популяции микробов, становятся заметными наши всегда живые предрассудки, унаследованные нами от предков.

Действительно ли это предрассудки? В том или ином предпочтении я вижу скорее мудрость, которую спонтанно использовали дикие народы; а наш современный бунт против этой мудрости — это чистое безумие. Дикари умели достичь гармонии разума наименьшей ценой. Скольких разрушений, скольких неурядиц мы могли бы избежать, если бы согласились принять реальные условия нашей человеческой судьбы и признать, что не от нас зависит полное освобождение от ее ограничений и ее ритма! Пространство обладает своими собственными ценностями, так же, как звуки и запахи — цветом, а чувства — весом. Этот поиск ассоциаций — не просто поэтическая игра или мистификация (точно так же, как смелая идея по поводу созвучия гласных, ныне классический пример для лингвиста, который, быть может, не знает происхождения цвета согласных, изменчивого и зависящего от индивидуума, но понимает отношения между этими звуками, отношения, которые допускают ограниченную гамму возможностей<sup>83</sup>); он предоставляет ученому новое поле деятельности, освоение которого может привести к множеству открытий. Если рыбы, подобно эстетам, различают светлые и темные запахи, если пчелы классифицируют интенсивность света в категориях веса (темнота для них тяжелая, а свет — легкий), то творение художника, поэта или музыканта, мифы и символы дикарей должны представлять для нас если не высшую форму познания, то, по крайней мере, основополагающую, действительно общую для всех, по отношению к которой научная мысль является только заостренным кончиком иглы, глубже проникающим, будучи наточенным на камне фак-

тов, но ценой потери субстанции. Ее эффективность зависит от умения проникать достаточно глубоко, чтобы вся масса инструмента могла следовать за острием.

Социолог может внести свой вклад в разработку этого глобального и конкретного гуманизма, ибо значимые проявления общественной жизни, как и произведения искусства, рождаются на уровне бессознательной жизни; только общественные явления — на уровне коллективного, а произведения искусства — на уровне индивидуального бессознательного; однако это различие несущественное и даже мнимое, поскольку первые создаются публикой, а вторые — *для* публики, и эта самая публика является для них общим знаменателем и условием их возникновения.

Можно с полным правом сравнивать — и вовсе не метафизически, как это часто делается, — города с симфониями или поэмами; это вещи одной и той же природы. Город — творение, быть может, наиболее искусное — находится на стыке природы и искусства. Средоточие живых существ, биологическая история которых замыкается в границах этого города и одновременно формируется общей суммой намерений всех мыслящих существ, — город своим генезисом и формой обязан биологическому воспроизведению, биологическому развитию и эстетической созидательности, он является одновременно субъектом природы и объектом культуры, индивидуальностью и объединением, реальностью и мечтой — одним словом, творением человека в самом утонченном понимании этого слова.

В этих синтетических городах Южной Бразилии таинственная и упрямая воля, проявляющаяся в местоположении зданий, в специализации улиц-артерий, в зарождающейся стилистике районов, казалась еще более значимой, когда создавала препятствия и продлевала каприз, благодаря которому город и обрел жизнь. Лондрина, Нова-Данциг, Роландия и Арапонгас, порожденные решением группы инженеров и финансистов, постепенно возвращались к разнообразию истинного стиля, как это веком рань-

ше случилось с Куритибой и как сегодня это, быть может, происходит с Гоянией. Куритиба, столица штата Парана, появилась на карте в тот же день и час, когда правительство приняло решение основать город: земля, приобретенная у владельца и разбитая на участки, была распродана достаточно дешево, чтобы привлечь людей. Та же система была применена позднее для основания в штате Минас\* столицы Белу-Оризонти. Больше риска было в случае Гоянии, поскольку первоначально предполагалось построить этот новый город как федеральную столицу Бразилии.

Примерно одну треть пространства, отделяющего южное побережье от реки Амазонки, занимает большое плоскогорье, забытое человеком два века назад. В эпоху караванов и речного судоходства его можно было пересечь в течение нескольких недель, чтобы с рудников добраться на север: таким образом добирались до берега Арагуаи, а затем плыли по реке до Белена. Единственный свидетель этой давней провинциальной жизни, небольшой городок Гояс, столица одноименного штата, лежал, погрузившись в сон, на расстоянии тысячи километров от побережья, практически полностью от него отрезанный. Среди зелени у подножия своенравных утесов и скал, увенчанных плюмажем из пальм, улицы медленно стекали с пригорков между садами и площадями, на которых паслись кони перед церквушками с узорчатыми окнами — не то ригами, не то домами со звонницами; колоннады и фронтоны, освеженные стукко, похожим на пену взбитого белка, окрашенную в желтый, голубой или розовый цвет, напоминали пасторальный стиль иберийского барокко. Река текла между заросшими мхом набережными, кое-где осевшими под тяжестью лиан, банановых зарослей и пальм, которые захватили покинутые усадьбы; но эта великолепная растительность не делала их похожими на руины, а, наоборот, придавала спокойное достоинство их полуразрушенным фасадам.

---

\* Минас-Жерайс (Minas Gerais). — Прим. перев.



Не знаю, сожалеть или радоваться по поводу абсурдности происшедшего: администрация решила забыть о Гоясе, о его окрестностях, о его подъемах и спусках, о его старомодном очаровании. Все это было слишком мелким и слишком старым. Нужны были огромные пустые пространства, чтобы воплотить в жизнь гигантские планы. Такие пространства были обнаружены на расстоянии ста километров к востоку; это было плоскогорье, покрытое лишь жесткой травой и колючим кустарником, словно на него обрушилось бедствие, которое уничтожило фауну и теперь боролось с растительностью. К нему не вела ни железнодорожная колея, ни автомобильная дорога — лишь тропы, предназначенный для повозок. Эта территория была обозначена на карте символическим квадратом площадью сто квадратных километров, что означало резиденцию федерального округа, в центре которого должна была возникнуть будущая столица. Поскольку ни одно естественное препятствие здесь не сковывало архитекторов, они могли работать на этой территории, как на чертежной доске. План города был начерчен прямо на земле; был обозначен его периметр, а внутри размечены различные зоны: жилая, административная, торговая, производственная и места развлечений. Эти последние всегда играют важную роль в городе первопроходцев. К примеру, в Марилии, городе, возникшем при подобных же обстоятельствах, в 1925 году на шестьсот жилых зданий приходилось почти сто публичных домов, главным образом предназначенных для францисканцев, которые вместе с сестрами-монахинями в XIX веке составляли два передовых отряда наших влияний за границей. В *Quai d'Orsay* хорошо знали об этом, и еще в 1939 году значительная часть теневых средств вкладывалась в распространение так называемых легких журналов. Некоторые из моих коллег, думаю, не станут возражать, если я им напомню, что основанием университета в Риу-Гранди-ду-Сул, самом южном штате Бразилии, и теми привилегиями, которыми пользовались французские профессора, мы обязаны одной не очень цело-

мудренной дамочке, которая привила будущему диктатору в пору его юности, проведенной в Париже, любовь к нашей литературе и нашему вольнодумству.

Ежедневно газеты пестрили заголовками во всю страницу. Сообщалось об основании города Гояния; публиковался столь подробный план, как будто городу было сто лет, перечислялись многочисленные преимущества, которые ожидали жителей города: железная дорога, водопровод, канализация и кинотеатры. Если не ошибаюсь, в самом начале, в 1935-1936 годах, был период, когда земля раздавалась бесплатно тем прибывшим, которые соглашались оплатить издержки по составлению купчей, поскольку нотариусы и спекулянты первыми обосновались в городе.

Я посетил Гоянию в 1937 году. На бескрайней равнине, напоминающей пустырь или поле битвы, ошетилившиеся электрическими столбами и межевými колышками, можно было насчитать около сотни новых домов, разбросанных по всем четырем направлениям. Наиболее заметным был отель из бетона, который на этой плоской равнине напоминал аэропорт или небольшую крепость; я бы назвал его “бастионом цивилизации” в прямом смысле слова, что в данном контексте звучит с особой иронией, ибо невозможно придумать ничего более варварского и бесчеловечного, чем этот символ оккупации пустыни. Это уродливое строение было полной противоположностью Гоясу: никакой истории, никакой преемственности, никаких обычаев — ничто не заполняло пустоты и не смягчало напряженности; человек чувствовал себя там, как на вокзале или в больнице — случайным посетителем, а не постоянным жителем. Только страх перед катаклизмом мог оправдать существование этих застенков. По сути, это и был катаклизм, а воцарившаяся тишина и неподвижность лишь продлевали его угрозу. Кадм, вестник цивилизации, посеял здесь зубы дракона в надежде, что на разоренной и выжженной дыханием чудовища земле вырастут люди.

## Глава 14

# Ковер-самолет

Воспоминание о гранд-отеле в Гоянии теперь соседствует в моей памяти с другими, с теми, что своими двумя полюсами — богатством и нуждой — подтверждают абсурдность отношений, которые человек соглашается поддерживать с миром или, вернее, которые ему все больше и больше навязываются. Я обнаружил подобный, непропорциональных размеров, отель в Карачи, городе, не менее произвольном, поскольку политические расчеты и систематические переселения привели к тому, что в течение трех лет к 1950 году население города увеличилось с трехсот тысяч до миллиона двухсот — и все это тоже в пустыне, на краю той засохшей раны между Египтом и Индией, которая лишила живой кожи огромную поверхность нашего земного шара.

Сначала рыбацкая деревушка, а затем, вследствие американской колонизации, небольшой порт и торговый город, Карачи в 1947 году был повышен до ранга столицы. Вдоль длинных улиц старого поселения тянулись общие и индивидуальные (частные особняки чиновников и офицеров) казармы, разделенные окаймляющими их пыльными живыми изгородями. Орды эмигрантов спали прямо под открытым небом и, как нищие, жили на грязных тротуарах, сплошь покрытых мокротой вперемишку с бетелем<sup>84</sup>, в то время как миллионеры-парсы<sup>85</sup> строили вавилонские дворцы для западных спекулянтов. Целыми месяцами с утра до ночи двигалась процессия одетых в лохмотья мужчин и женщин (в мусульманских

странах особое отношение к женщинам является не столько религиозной практикой, сколько элементом мещанского престижа, самые бедные женщины не имеют права даже на собственный пол), сгибающихся под тяжестью корзин со свежим бетоном, который они сливали в чаны и тут же возвращались к бетономешалкам, чтобы наполнить корзины снова и повторить все сначала. Как только какое-нибудь крыло здания было закончено, его сразу заселяли, поскольку номер с содержанием в день стоил больше, чем работница зарабатывала за месяц; таким образом в течение девяти месяцев окупались затраты на строительство отеля класса "люкс". А значит, надо было строить быстро, и поэтому строителей меньше всего заботило то, что здания были похожи друг на друга, как близнецы. Определенно, ничто не изменилось с тех времен, когда сатрапы заставляли рабов вычерпывать грязь и укладывать камни при постройке недолговечных дворцов, украшенных фризами, образцом для которых всегда могло служить шествие женщин с корзинами, вырисовывающееся на фоне неба поверх строительных лесов.

Отрезанные от жизни местного населения (которая в этой пустыне также была чем-то искусственным) несколькими километрами, непреодолимыми из-за непереносимой влажности всегда неблагоприятного муссона, а главное, из-за страха перед дизентерией — *Karachi tumty*\*, как ее называли англичане, — остановившиеся в отеле торговцы, промышленники и дипломаты изнывали от жары и скуки в этих кубках из голого бетона, которые служили им жилищем; казалось, что именно такой тип этих жилищ обусловлен не столько заботой об экономии, сколько легкостью дезинфекции, проводимой после каждого постояльца, остановившегося здесь на неделю или на месяц. Я переношусь в своих воспоминаниях на три тысячи километров, чтобы сопоставить эту картину с другой,

---

\* *Tumty* — животик (англ.). — Прим. перев.

увиденной в храме богини Кали, старейшем и наиболее почитаемом святилище Калькутты. Здесь, неподалеку от стоячего болота, в той атмосфере ожидания чуда, которая характерна для религиозной жизни Индии, в окружении базаров, на которых повсюду продают культовые олеографии и гипсовые фигурки божеств, возвышается современный караван-сарай, построенный для паломников служителями культа. Этот *resthouse*\*, длинный зал из бетона, разделен на две части: для мужчин и женщин; вдоль стен тянутся такие же бетонные скамьи, которые служат лежанками. Мое удивление вызвали водостоки и водосборники: когда вся масса людей пробуждается, когда она отправляется для того, чтобы пасть на землю и молить об исцелении от ран и увечий, все моется водой из шлангов, и освеженные скамьи готовы принять вновь прибывших. Вероятно, больше нигде — разве что в концлагере — люди так не приравниваются к скоту на бойне.

Но это, по крайней мере, было временное пристанище. Однако чуть дальше, в Нараянгандже, работницы джутовых фабрик трудятся в гигантской паутине белых волокон, которые свисают со стен и колышутся на ветру; оттуда они возвращаются в *coolie lines*\*\* — кирпичные бараки без света и пола; длинный коридор разделен на отсеки, в которых живет по 6-8 человек, и пересечен открытыми канализационными стоками, смываемыми три раза в день. Общественный прогресс состоит в том, что эти сооружения заменяют на *workers' quarters*\*\*\* — тюрьму, где три или четыре работника делят между собой камеру площадью три-четыре квадратных метра. Застенок охраняется вооруженными полицейскими; общая кухня и сто-

---

\**Rest-house* — отель для путешественников (англ.). — Прим. перев.

\*\**Coolie lines* — ряды (бараков) для кули (англ.). — Прим. перев.

\*\*\**Workers' quarters* — квартиры (казармы) для рабочих (англ.). — Прим. перев.

ловая: чаны из голого бетона, омываемые водой, где каждый сам разжигает себе огонь и ест, сидя в темноте на голой земле.

Когда я занимал мою первую профессорскую должность в Ландах<sup>86</sup>, мне однажды показали специальную откормочную ферму для гусей: жизнь каждого гуся, запертого в специальной клетке, была сведена к функции питания. То же самое происходило и здесь, с той лишь разницей, что вместо гусей я видел мужчин и женщин, а вместо того, чтобы их откармливать, делалось все, чтобы они похудели. Но в обоих случаях хозяин признавал у своих пансионеров единственную функцию — там поощряемую, здесь неизбежную; эти темные клетки, лишенные воздуха, не годились ни для отдыха, ни для развлечений, ни для любви. Это были временные пристанища на берегу общего стока, порожденные концепцией человеческой жизни, редуцированной к выделительным функциям.

Несчастный Восток! В загадочной Дакке я посещал дома горожан: одни роскошные, как нью-йоркские антикварные магазины на Третей Авеню, другие уютные, с подсвечниками из тростника, салфетками с бахромой и фарфором, подобные салонам рантье в Буа-Коломб, одни — старомодные, другие — похожие на самые бедные из наших хижин, с глиняным очагом вместо кухни в глубине грязного подворья; были и трехкомнатные жилища для зажиточных молодых семейств, ничем не отличающиеся от блочных строений, которые администрация экономно возводит в Шатийон-сюр-Сен или в Живоре, но только в Дакке я увидел комнаты из голого бетона и такие же ванны, оснащенные только душем, а меблировка была скромнее, чем в комнате маленькой девочки. Сидя на бетонном полу при свете слабой лампочки, свисающей на шнуре с потолка, — о, тысяча и одна ночь! — я ел пальцами свой традиционно обильный обед: сначала *khichuri*, рис с мелкой чечевицей, по-английски *pulse*, мешки с которой, наполненные разноцветными зёрнами

всех возможных сортов, можно часто видеть на базарах, затем — *nimkorma*, закуска из мелкой домашней птицы, *chingri cari*, рагу из огромных креветок с оливками и фруктами, блюдо из сваренных вкрутую яиц, называемое *dimer tak*, с огуречным соусом, *shosha* и, наконец, десерт, *firni*, рис на молоке.

Я был гостем молодого профессора, его шурин выполнял обязанности официанта, были также служанка, маленький ребенок и, наконец, жена профессора, которая недавно освободилась от *pardah*\*, — тихая, словно испуганная лань, в то время как ее муж, для того, чтобы подчеркнуть ее новоиспеченную эмансипацию, нападал на нее язвительными шутками, прямолинейность которых заставляла меня страдать не меньше, чем ее. Поскольку я был этнографом, он считал своим долгом заставить ее достать из шкафа и показать мне свое нижнее белье с тем, чтобы я смог включить его в свой реестр. Еще мгновение, и он приказал бы ей раздеться — так сильно он хотел понравиться посланнику Запада, того Запада, который был ему непонятен.

Вот так на моих глазах происходило формирование Азии рабочих городов и *Н.В.М.*\*\*, которые станут лицом завтрашней Азии; отбросив всякую экзотику, она через пять тысяч лет возвращалась к унылому деловому стилю жизни, который, вероятно, был изобретен в третьем тысячелетии, а затем проник в нашу эпоху и на какое-то время застрял в Новом Свете, поэтому мы до сих пор отождествляем его с Америкой. Однако с 1850 года этот стиль вновь устремился на запад, охватил Японию и сегодня вернулся на свою родину, совершив кругосветное путешествие.

---

\* *Pardah* (англ. *purdah*, инд. англ. *pûrdâ*) — занавес, отделяющий женскую половину дома от мужской; обособление, затворничество женщин. — Прим. перев.

\*\**Н.В.М.* — *Habilitations á bon marché* — во Франции жилые дома, которые строились при участии общественных фондов.

В долине Инда мы работали среди тех полных суровой простоты остатков достопримечательностей самой древней культуры Востока, которые подверглись разрушительному воздействию времени, песков, наводнений и арийского нашествия: Мохенджо-Даро<sup>87</sup> и Хараппа<sup>88</sup>, окаменевшие наросты из кирпича и обожженной глины. Как же разочаровывает вид этих следов прошлого! Прямые и пересекающиеся под прямым углом улицы; рабочие кварталы с одинаковыми жилищами; технические приспособления для помола муки, отливки и обработки металлов, а также для изготовления тех самых сосудов из глины, обломки которых валяются повсюду на земле; городские амбары, занимающие (если говорить, абстрагируясь от времени и пространства) несколько “блоков”; общественные бани, водопровод и канализация; удобные, прочные, но лишенные привлекательности жилые кварталы. Нет ни памятников, ни крупных скульптур, лишь на глубине десяти-двадцати метров — небольшие фигурки и украшения, предназначенные для удовлетворения тщеславия и сладострастия богачей, памятники искусства, лишенного таинственности и глубокой веры. Все в целом напоминает прибывшему блеск и нищету крупных современных городов, предопределяет формы западной цивилизации, примером которой даже для Европы сегодня служат Соединенные Штаты Америки.

По прошествии четырех-пяти тысяч лет истории можно предположить, что круг замкнулся, что городская цивилизация, промышленная и мещанская, зародившаяся в городах дельты Инда, по существу, не так уж отличалась от тех цивилизаций, которым после длительной инволюции европейской личинки суждено было обрести полноту формы по другую сторону Атлантики. Когда древний мир был еще молод, в нем уже просматривался силуэт Нового Света.

Именно поэтому я не доверяю внешним контрастам и кажущейся живописности: они слишком скоротечны. То, что мы называем экзотикой, объясняется неравномернос-



тью темпов, значимых только в пределах нескольких веков. Неравномерность лишь временно заслонила судьбы цивилизаций, которые могли бы вершиться параллельно, — так, как это понимали Александр и греческие цари с берегов Джамны<sup>89</sup>, скифы и парфяне, римляне, совершавшие экспедиции на побережье Вьетнама, и предводители монголов с их космополитическими походами. Когда самолет, перелетев через Средиземное море, парит над Египтом, взор изумляет величественная симфония коричневатой зелени пальм, глубокой зелени воды, которая, наконец, получила право называться Нилом, желто-серого песка и фиолетового ила, но еще больше поражает расположение селений. Незамкнутые в своих границах, они являют собой образ усложненного беспорядка из домов и улочек, беспорядка, который свидетельствует о том, что мы находимся на Востоке. Разве это не противоположность Нового Света, в равной мере как испанского, так и англосакского, который и в XVI, и в XX веке всегда подтверждал свое пристрастие к геометрическим построениям?

Полет над Аравией, сменяющей Египет, приносит серию вариаций на ту же тему — тему пустыни. Сначала — каменистые склоны, похожие на развалины зданий из красного кирпича, поднимающиеся над опалом песков; кое-где мотивы усложняются горизонтальными деревьями или, скорее, водорослями либо кристаллами, нарисованными на песке странными ручьями (*oueds\**), которые, вместо того чтобы объединять свои воды, разветвляются тонкими нитями. Дальше кажется, что земля истоптана каким-то чудовищным зверем, который отдал все свои силы, чтобы неистовыми ударами ног выжать из земли последние соки. Какие же нежные краски у этих песков! Можно сказать, что у пустыни цвет человеческого тела, персиковой кожицы, жемчужной массы, сырой рыбы.

---

\* *Oueds* — речка, ручей в Африке (франц.). — Прим. перев.

Столь благодатная вода в Аджаве отражает стойкую, непреодолимую лазурь, в то время как скалистые массивы теряют очертания, растворяясь в голубиных красках.

Ближе к вечеру песок постепенно исчезает в тумане, который и сам — воздушный песок, скорее связанный с землей, чем с прозрачным зелено-голубым небом. Пустыня утрачивает свою волнообразность, детали стираются, она сливается с вечером, превращаясь в огромную розовую массу, едва ли более плотную, чем небо. Пустыня стала пустыней по отношению к себе самой. Постепенно туман заполняет все пространство, и вот уже нет ничего, кроме ночи.

Еще не достигнув Карачи, утренняя заря восходит над пустыней Тар<sup>90</sup>, лунной и непостижимой; появляются небольшие участки полей, еще разделенные огромными пустынными равнинами. Но чуть дальше поля сливаются и при свете дня кажутся единым розовым и зеленым пространством, которое своими прекрасными и поблекшими красками напоминает очень старую ткань, истершуюся от постоянной носки и починки. Это и есть Индия.

Островки полей нерегулярны, но, по крайней мере, не беспорядочны по форме и цвету. Как их ни группируй, они всегда создают уравновешенное целое, словно их план был тщательно продуман, прежде чем его воплотили в жизнь: нечто вроде географической фантазии какого-нибудь Клее<sup>91</sup>. Во всем этом есть нечто необычное, весьма редкое и драгоценное, несмотря на повторяющуюся триединую тему: деревня, сетка полей и рощица, окружающая небольшое озеро.

Остановка в Дели позволяет окинуть Индию романтическим взглядом: храмы и руины посреди ярко-зеленых зарослей. Потом начинаются водоемы. Вода кажется такой стоячей, густой, илистой, что больше напоминает масло, растекающееся по поверхности земли. Мы летим над Бихаром<sup>92</sup> с его каменистыми холмами и лесами, потом начинается дельта: земля обработана до последней пяди, и каждое поле кажется зелено-желтым драгоценным камнем,

блестящим и светлым под омывающей его водой, в безупречном обрамлении живой растительности. Здесь нет острых углов, все края округлены, но плотно соединены друг с другом, как клетки живой ткани. Ближе к Калькутте селений становится все больше: хижины теснятся, как муравьиные яйца в зеленой оболочке, яркость которой еще больше усиливает темно-красная черепица на крышах некоторых домов. Приземлившись, мы убеждаемся, что дождь льет сплошным потоком.

После Калькутты мы пролетаем над дельтой Брахмапутры, великой реки, извивающейся, будто фантастическое животное. Насколько хватает взгляда, все окрестности залиты водой, за исключением джутовых полей, которые с самолета кажутся квадратными кусочками свежего зеленого мха. Селения, окруженные деревьями, появляются из воды, как яркие букеты. Можно увидеть пристани, которых здесь не счесть.

Безлюдные пески и население без земли — сколь же двусмыслен облик Индии, прародины человека! Впечатление, которое у меня сложилось за восемь часов перелета от Карачи до Калькутты, окончательно разделяет Индию и Новый Свет. Это не шахматная упорядоченность Среднего Запада и Канады, составленных из одинаковых ячеек, в каждой из которых, всегда в одном и том же месте, на краю виднеется аккуратно выписанный силуэт фермы; и тем более не цельный бархат тропического леса, лишь кое-где дерзко надрезанный поселениями первопроходцев. Земли Индии, разделенные на маленькие участки и обработанные до последнего сантиметра, вызывают у европейца чувство чего-то близкого, но смешанные тона, несимметричные контуры пашен и рисовых полей, постоянно повторяющиеся во всевозможных сочетаниях, невыразительные и неправильной формы, похожие на заплатки, обрамления в сравнении с более четкими формами и красками европейских пейзажей производят впечатление той же ткани, только вывернутой наизнанку.

Этот простой образ достаточно хорошо объясняет сегодняшнее состояние Европы и Азии по отношению к их общей цивилизации (и даже этой цивилизации по отношению к ее американской ветви). Если речь идет о материальных вопросах, Европа вновь кажется победившей, Азия же — проигравшей стороной, словно при осуществлении общего замысла, первая смогла извлечь из него все самое ценное, оставляя второй лишь скудное жнивье. В первом случае (но надолго ли?) постоянная демографическая экспансия позволила продвинуться вперед в промышленности и сельском хозяйстве, увеличивая материальные средства быстрее, чем росло потребление. Во втором случае та же самая революция, начиная с XVIII века, стала причиной постоянного снижения индивидуального достатка при внешнем поддержании общего количества благ на том же самом уровне. Разве Европа, Индия, Южная и Северная Америка не исчерпывают все возможные комбинации между географической территорией и заселенностью? Противоположностью бассейна Амазонки, бедного, но безлюдного тропического края (где одно компенсируется другим), является Южная Азия, столь же тропическая и бедная, но перенаселенная (что обостряет противоречие). В районах с умеренным климатом Северная Америка, край с огромными богатствами и с относительно редким населением, противостоит Европе, краю с относительно ограниченными богатствами, но с огромным населением. И с какой бы стороны мы ни рассматривали эти факты, Южная Азия всегда окажется обделенным районом.

## Глава 15

# Толпы

Мы привыкли соотносить наши высшие материальные и духовные ценности с жизнью города, будь то мумифицированные города Старого Света или же эмбриональные города Нового Света. Крупные города Индии составляют некое исключение, и тот факт, что город здесь сведен к простейшей форме и представляет скопище индивидуумов, цель которых состоит в том, чтобы толпиться многомиллионной массой, независимо от условий жизни, вызывает у нас чувство стыда и вины. Мусор, беспорядок, толчея, разруха, трущобы, грязь, нечистоты, дерьмо, моча, гной, выделения и пот — все то, от чего, казалось бы, должна защищать городская жизнь. Все, что мы ненавидим, от чего пытаемся отгородиться любой ценой. Эти побочные продукты совместного существования здесь можно обнаружить не только на окраинах города; скорее, они создают естественную среду, обеспечивающую городу благополучие. На улице, на тротуаре или в переулке человек чувствует себя как дома; там он сидит, спит, там добывает себе пищу, пусть даже на липкой помойке. Улица не отталкивает, а, напротив, приобретает все особенности его жилища, пропитанного потом и выделениями, истоптанного и использованного множеством людей.

Каждый раз, выходя из моего отеля в Калькутте, со всех сторон окруженного коровами, окна которого служат насестами для грифов-стервятников, я становлюсь центром пантомимы; этот спектакль можно было бы на-

звать комичным, если бы он не вызывал во мне столько жалости. В нем можно выделить несколько сцен, в каждой из которых главную роль играет другой персонаж:

чистильщик обуви бросается к моим ногам;

маленький мальчик бежит и гнусаво умоляет: "*One anna, papa, one anna!*"\*\*;

калека, почти голый, чтобы было лучше видно его культю;

сводница: *british girls, very nice...*\*\*;

торговец флейтами;

носилищик из нью-маркет, который умоляет, чтобы я все купил, не потому, что он заинтересован в продаже товара, а лишь потому, что на *анна*, заработанные за ношение за мной покупок, он сможет купить себе еды. Он с таким жаром перечисляет все имеющиеся в наличии товары, как будто они предназначены для него самого: "Siutcases? Shirts? Nose?"\*\*\*...

И, наконец, целая труппа второстепенных актеров: наемщики рикш, *gharries*\*\*\*\* и такси. Такси стоят вдоль тротуара. Но кто знает? Может быть, я такая важная персона, что не желаю их замечать... Я уже не говорю о когорте торговцев, владельцев магазинов, разносчиков, для которых ваше появление является предвестием рая, ибо, может быть, вы у них что-нибудь купите.

Пусть тот, кто хотел бы посмеяться или разгневаться, спохватится, воздержавшись от святотатства. Бессмысленно осуждать эти гротескные жесты и фарсовые приемы и грешно их высмеивать, вместо того чтобы распознать в них клинические проявления агонии. Только страх перед голодом диктует эти жесты отчаяния. Голод гонит толпы

---

\* Одну *анна*, папа, одну *анна* (англ.); *анна* — индийская монета. — Прим. перев.

\*\*Английские девочки, очень милые (англ.). — Прим. перев.

\*\*\*"Чемоданы? Сорочки? Чулки?" (англ.). — Прим. перев.

\*\*\*\*Наемный экипаж (в Индии). — Прим. перев.

из сел, приведя к тому, что в течение нескольких лет число жителей в Калькутте увеличилось с двух до пяти миллионов; голод сбивает в кучу беглецов в тупиках железнодорожных станций, и из окон вагона их можно видеть спящими прямо на платформах, закутавшимися в белые хлопчатобумажные ткани, которые сегодня служат им одеждой, а завтра станут саваном. Голод придает трагическую силу глазам нищего, когда он встречается с нами взглядом, находясь по ту сторону металлической решетки вагона первого класса, которая — равно как и вооруженный солдат на ступеньках вагона — должна оградить нас от этой немой мольбы, что могла бы превратиться в вопль отчаяния и злобы, если бы сострадание путешественников, более сильное, чем осторожность, не оправдывало надежд этих несчастных, ожидающих подаяния.

Европеец, живущий в Южной Америке, изумляется, наблюдая непривычные соотношения между человеком и его географическим окружением. Всевозможные обстоятельства человеческой жизни являются постоянным, неисчерпаемым предметом его размышлений. Но отношения между отдельными людьми не приобрели здесь какой-то новой формы, они остались такими же, какими были всегда и везде. В Южной Азии происходит обратное: может показаться, что здесь человек лишился возможности что-либо требовать от мира и от другого человека.

Кажется, что повседневная жизнь противоречит самому понятию человеческих взаимоотношений. Вам предлагают абсолютно все, берутся исполнить любое ваше желание, обещают компетентность любого уровня при полном отсутствии каких бы то ни было возможностей все это осуществить. Таким образом, вас сразу вынуждают отрицать наличие у другого человека чести и достоинства, которые предполагают доверие, соблюдение договоренности и способность выполнять свои обязательства. Мальчишки-рикши предлагают отвезти вас в любое место, хотя совершенно не знают дороги. Как тут не вспылать пра-

ведным гневом и — несмотря на угрызения совести, удерживающие от того, чтобы сесть в их повозку и позволить себя везти, — не отнестись к ним как к животным, коль скоро они вынуждают вас к этому своим животным отсутствием ответственности.

Всеобщее попрошайничество потрясает еще больше. Не осмеливаешься просто посмотреть кому-то в глаза, как это обычно делается при общении с человеком, поскольку малейшая задержка взгляда будет воспринята как слабость, как уступка чьей-то мольбе. Интонация нищего, который вызывает: “Са-хиб”, удивительно похожа на ту, какую мы используем, когда ругаем ребенка, сначала повышая голос, а потом понижая его на последнем слог. Этот нищий будто бы произнес: “Ведь это очевидно, это же сразу бросается в глаза, разве, стоя перед тобой и униженно прося милостыни, я уже самым этим фактом не обязываю тебя? О чем же ты думаешь? Где твоя голова?”. Фактическая ситуация раскрывается с такой полнотой, что это уже трудно назвать попрошайничеством. Нет ничего, кроме констатации объективного положения вещей, естественных отношений между ними и мной, отношений, предполагающих подаяние как само собой разумеющееся с той неотвратимостью, которая связывает в физическом мире причину и следствие.

И здесь я вынужден отказать своему визави в человеческом достоинстве, хотя очень бы хотелось обратного. Все основные ситуации, определяющие отношения между людьми, фальсифицированы, правила социальной игры — сплошное мошенничество; нет никакой возможности начать все заново, даже если бы мы захотели отнестись к этим несчастным как к равным себе и восстали бы против этой несправедливости: они не хотят быть равными, они умоляют, просят, заклинаят, чтобы вы подавили их своим превосходством, поскольку именно углубление этой пропасти между ними и вами дает им надежду на то, что им перепадут какие-то крохи (англичане уместно называ-



ют это *bribery*\*), и их будет тем больше, чем более далекими будут ваши взаимоотношения; чем выше будет пьедестал, на который они вас поставят, тем большей будет их надежда, что та мелочь, о которой они вас просят, окажется чем-то ценным. Они не требуют права на жизнь; сам факт, что им удалось выжить, кажется им незаслуженной милостью, едва ли окупаемой их прекло-  
нением перед сильными мира сего.

Поэтому они и не помышляют о равенстве. Однако даже от человеческих существ невозможно вынести этого постоянного напора, этой неугасающей изобретательности в желании вас обмануть, “поймать” вас и что-нибудь заполучить обманом, хитростью или воровством. Но как же сохранить твердость? Ведь все это — разновидности молитвы, и в этом вся безысходность ситуации. Именно потому, что их изначальная позиция по отношению к вам — это позиция молитвы, даже тогда, когда они вас обво-  
ровывают, и потому, что ситуацию эту вынести совершенно невозможно, я не могу — хотя и стыжусь этого — противиться искушению сравнить беженцев, вопли и плач которых перед дверями резиденции премьер-министра слышны сквозь окна моего отеля (а им бы следовало выгнать нас из наших номеров, где поместилось бы множество их семейств), с черными воронами с пепельной каймой на шее, беспрерывно каркающими на деревьях в Карачи.

Этот отказ от человеческих взаимоотношений сначала кажется непостижимым для разума европейца. Мы привыкли воспринимать противоречия между классами в категориях борьбы или напряженности, предполагая, что первичная — или идеальная — ситуация способствовала разрешению этих противоречий. Но здесь слово “напряженность” лишено всякого смысла. Нет никакой напряженности, поскольку все, что могло напрягаться, уже давно сломалось. Разделение существует с самого начала,

---

\* Вымогательство, подкуп; плата за привилегию. — Прим. перев.

никогда не было “хороших времен”, к которым можно апеллировать, пытаюсь обнаружить то, что от них осталось, или стремиться вернуть эти времена; и лишь одно можно сказать с уверенностью: все эти люди, которых мы встречаем на улице, гибнут. Можно отдать все, что у тебя есть, — но хватит ли этого, чтобы удержать их хоть на мгновение на гладкой наклонной поверхности?

А уж если мы желаем мыслить категориями напряженности, то получим картину, не менее мрачную. Ведь тогда мы вынуждены признать такую степень напряженности, при которой достижение равновесия становится невозможным: в рамках существующей системы ситуация неотвратима, если только не уничтожить саму эту систему. С самого начала ты оказываешься в неустойчивом положении по отношению к просителям, которых надо оттолкнуть не потому, что ты презираешь их, но потому, что они унижают тебя, воздавая тебе почести, желая, чтобы ты был более величественным и могущественным, а причиной всему этому странное убеждение, что самый простой способ улучшения их судьбы — это стократное улучшение твоей судьбы. Вот когда становятся понятными истоки так называемого азиатского коварства! Эти костры, эти казни, эти пытки, эти хирургические инструменты для нанесения неизлечимых ран, — разве не являются они следствием той жестокой игры облагораживания мерзости отношений, когда униженные возносят тебя для того, чтобы возвыситься самим? Пропасть между чрезмерным довольством и безмерной нищетой разрывает границы человеческого. В результате получается общество, в котором обездоленные ведут растительное существование в надежде получить все (какими же восточными оказываются фантазии “Тысячи и одной ночи”!), а те, которые жаждут всего, ничего не дают взамен.

В этих условиях стоит ли удивляться, что здесь взаимоотношения между людьми несоизмеримы с теми, которые, по нашим представлениям (часто иллюзорным),

характерны для западной цивилизации; они кажутся нам или нечеловеческими, или же недочеловеческими, подобными тем, которые мы наблюдаем у детей. Этот несчастный народ в чем-то действительно похож на детей, начиная с их учтивых взглядов и улыбок. Поражает равнодушие всех этих людей, сидящих и лежащих где придется, к правилам поведения и хорошего тона, а также пристрастие к украшениям и безделушкам — наивные и добродушные нравы людей, которые гуляют, держась за руки, мочатся привселюдно и втягивают сладковатый дым из своих *chilam*\*; не менее удивительны магический престиж разного рода свидетельств и дипломов и та всеобщая убежденность, что все возможно, с какой извозчики (да и вообще все, кого вы нанимаете) стремятся получить непомерную плату, впрочем, тут же удовлетворяясь четвертью или одной десятой запрошенной суммы. Однажды губернатор Восточной Бенгалии через своего переводчика спросил аборигенов, живущих в предгорьях Читтагонга, которые страдали от болезней, недоедания и нищеты и к тому же жестоко преследовались мусульманами: “На что жалуетесь?”. Они долго раздумывали и ответили: “На холод”.

Любой европеец в Индии, хочет он того или нет, окружен значительным количеством людей, прислуживающих ему во всем, так называемых *bearers*\*\*. Не знаю, объясняется ли это желание прислуживать существованием каст, традиционным неравенством или же требованиями колонизаторов, но униженность этих людей вскоре создает невыносимую атмосферу. Они расстелились бы вам под ноги, чтобы уберечь вас от хождения по полу, они готовы десять раз в день предложить вам ванну, как только вы вытерли нос, поели фруктов или испачкали пальцы. Они

---

\* *Chilam* (англ. *chillum*, индийский англ. *chilum*, *cilam*) — чашечка кальяна или наргиле, в которую засыпается табак или древесный уголь; табак или табачная смесь для курения из *chilam*, а также курение. — Прим. перев.

\*\* *Bearer* — носильщик (англ.). — Прим. перев.

неустанно кружат возле вас, умоляя о приказаниях. Есть нечто эротическое в этом желании покоряться. И если ваши привычки не отвечают их ожиданиям, если вы не ведете себя во всех ситуациях точно так же, как прежние британские хозяева, — их мир рушится. Как это без пудинга? Ванна после обеда, а не до обеда? Неужели больше нет Бога?... Я тут же уступаю, отказываюсь от своих привычек, от более заманчивого выбора. Я буду есть грушу, твердую как камень, если отказом от ананаса смогу оплатить моральное спасение человеческого существа.

Несколько дней я жил в “*Circuit House*” в Читтагонге, в деревянном дворце в стиле швейцарского шале, где занимал номер площадью девять на пять метров и высотой около шести метров. В этом номере было двенадцать электрических выключателей: лампа на потолке, ночники, лампы на стенах, в ванной, в *dressing room*\*, возле зеркала, тумблер для вентиляторов и т.д. Разве это не страна бенгальских огней? Благодаря этому электрическому разврату, я, как какой-то махараджа, ежедневно наслаждался созерцанием своего личного фейерверка.

Однажды в нижней части города я остановил автомобиль, предоставленный в мое распоряжение управляющим округа, перед парикмахерским салоном с весьма солидной рекламой: *Royal Hair Dresser, High class cutting*\*\* и т.д., и решил войти. Шофер посмотрел на меня с изумлением: “*How can you sit there?*”\*\*\*. И действительно, разве не пошатнулся бы его престиж, если бы Господин унизил себя и его, сев рядом с людьми его расы? Раздосадованный, я поручил ему организацию ритуала стрижки высшего существа. В результате — час ожидания в автомобиле, пока парикмахер избавлялся от своих клиен-

---

\* Туалетная комната (англ.). — Прим. перев.

\*\**Великолепная укладка волос, Высококлассная стрижка* (англ.). — Прим. перев.

\*\*\*Как вы сможете там сесть? (англ.). — Прим. перев.

тов и собирал инструменты, а затем совместное возвращение в "*Circuit House*" в нашей машине. Едва мы добрались до номера с двенадцатью выключателями, *bearer* приготовил ванну, чтобы я смог сразу после стрижки смыть с себя пятна, оставленные теми услужливыми руками, которые прикасались к моим волосам.

Такие обычаи прочно укоренились в стране, традиции которой побуждают каждого называть себя королем по отношению к другим, если только ему удастся найти или сотворить низшего, чем он сам. *Bearer* будет относиться к человеку, выполняющему самые низкие виды услуг, так, как, по его мнению, должен к нему относиться я. Находящиеся в услужении принадлежат к *scheduled castes*\*, то есть к самым низким кастам, "записанным", по выражению представителей британской администрации, взявшей их под защиту, поскольку обычай практически отказывал им в праве считаться людьми. И действительно, разве это люди — эти подметальщики и уборщики нечистот, вынужденные, выполняя эту двойную функцию; целыми днями сидеть на корточках и метелкой без ручки сметать пыль в прихожих номеров или же стучать пальцами в двери туалетов и вызывать к тем, кто их занимает, чтобы те побыстрее разобрались с той чудовищной конструкцией, которую англичане называют удобствами; как крабы, они непрерывно снуют по двору, но, тем не менее, находят способ утвердить какие-то свои prerogatives и обрести какие-то права посредством похищения у господина части его субстанции.

Помимо независимости и времени, необходимо что-то еще, чтобы искоренить эти навыки услужливости. Я понял это однажды в Калькутте, выйдя из *Star Theater* после просмотра национального бенгальского спектакля на мифологическую тему под названием "Урваши"<sup>93</sup>. Это было на следующий день после моего приезда, и я,

---

\* Внесенные в перечень касты (англ.). — Прим. перев.

несколько растерявшись в незнакомой части города, позволил чете местных жителей первыми остановить единственное проезжающее мимо такси. Однако шофер расценил ситуацию по-своему; во время оживленного разговора между ним и его клиентами, в котором он несколько раз с нажимом повторил слово *сахиб*, он упрекал их в неприличном соперничестве с белым человеком. Семейство со сдержанным недовольством двинулось пешком, а в такси сел я; возможно, шофер надеялся на более щедрое чаевые; однако, насколько мне позволило понять мое знание бенгальского языка, речь шла совсем о другом — о традиционном порядке, который следовало уважать.

Я был совершенно обескуражен, поскольку именно в этот вечер у меня возникла иллюзия, что мне удалось преодолеть определенные барьеры. В этом огромном облупившемся зрительном зале, который чем-то напоминал ангар, я был единственным иностранцем, но все же мне удалось слиться с местной публикой. Эти достойные коммерсанты, чиновники, служащие — некоторые в обществе своих жен, очаровательная серьезность которых свидетельствовала о том, что они часто бывают в подобных местах, — относились ко мне с равнодушием, приносящим облегчение после неприятных переживаний в течение дня. Хотя их отношение было негативным, а может быть, именно поэтому, между нами создалась атмосфера тайного братства. Пьеса, из которой мне удалось понять лишь отдельные эпизоды, была некой смесью *Бродвея*, *Шатле*<sup>94</sup> и “Прекрасной Елены”. В ней были комические сцены, сцены с прислугой и патетические любовные сцены. Отвергнутый любовник жил, как отшельник в Гималаях; бог с испепеляющим взглядом, вооруженный трезубцем, защищал его от усатого генерала; была еще группа девушек, из которых одна половина выглядела нищенками, а другая — драгоценными тибетскими статуэтками. В антрактах подавался чай и лимонад в чашах, которые после использования тут же разбивали, как было принято еще четыре

тысячелетия назад в Харалпе, где до сих пор можно найти сохранившиеся черепки. В то же время через репродукторы передавалась фривольная, темпераментная музыка — нечто среднее между китайскими песенками и пасодоблями. Присматриваясь к маневрам молодого танцора, легкий костюм которого не скрывал волос на теле, двойного подбородка и пышных форм, я вспомнил одну фразу, прочитанную несколько дней тому назад в литературной рубрике какой-то местной газеты; я приведу ее здесь в оригинале, чтобы не потерять невыразимый привкус англо-индийского языка: “... *and the young girls who sigh as they gaze into the vast blueness of the sky, of what are they thinking? Of fat, prosperous suitors...*”\*. Эта ссылка на “толстых поклонников” удивила меня, но присмотревшись к красавцу-герою, который демонстрировал на сцене свой живот с многочисленными складками, и вспомнив изголодавшихся попрошаек, которых я вновь встречу у своих дверей, я вдруг ясно понял эту поэтическую оценку толстого тела в обществе, сжившемся с голодом. Англичане в конце концов усвоили, что самое верное средство утвердиться в ранге сверхлюдей заключается в том, чтобы убедить аборигенов, будто вам необходимо гораздо больше пищи, чем обычному человеку.

Во время путешествий по предгорьям Читтагонга на бирманской границе в компании брата одного раджи, который стал государственным чиновником, меня поразила та настойчивость, с которой он заставлял свою прислугу меня кормить: на рассвете *palancha*, то есть чай в постель (если можно было назвать постелью гибкие плетеные подстилки из бамбука, на которых мы спали в хижинах). Двумя часами позже — основательный *breakfast*\*\* ; затем — прием пищи в полдень, обильный полдник около

---

\* “... и юные девушки, которые вздыхают, пристально всматриваясь в безбрежную синеву неба, о чем они думают? О богатых, толстых поклонниках...”. — Прим. перев.

\*\* Завтрак (англ.). — Прим. перев.

пяти часов и, наконец обед. Все это в деревнях, население которых дважды в день питается рисом и вареной тыквой, а самые богатые позволяют себе еще соус из перебродившей рыбы. Вскоре я уже не мог этого выдержать — ни физически, ни морально. Мой спутник, буддийский аристократ, который был воспитан в англо-индийском колледже и гордился своей родословной, насчитывающей сорок шесть поколений (он называл свой очень скромный бунгало “мой дворец”, поскольку в школе его научили, что так называется место, где живет наследный принц), был изумлен и даже слегка разгневан моей умеренностью. *“Don’t you take five times a day?”\**. Нет, я не ем пять раз в день, особенно среди людей, умирающих от голода. Этот человек, который никогда не видел никаких других белых, кроме англичан, засыпал меня вопросами: что едят во Франции? что входит в меню? какие перерывы между принятиями пищи? Я пытался отвечать ему так же, как это делает старательный абориген, отвечая на вопросы этнографической анкеты, и при каждом ответе я осознавал, какое это потрясение для него. Изменялась вся его концепция мира: белый мог быть просто обычным человеком.

А ведь совсем немного требуется, чтобы создать здесь человеческие условия. Вот ремесленник устраивается на тротуаре, разложив несколько кусков металла и инструменты, — он занимается мелкими работами и зарабатывает таким образом на то, чтобы содержать себя и свою семью. Но какое это содержание? В кухнях на открытом воздухе на огне жарятся кусочки мяса на палочках; молоко стоит в конусообразных сосудах, полоски из листьев, скрученные в спирали, служат для заворачивания порций бетеля, золотые зерна пшеницы пекутся в горячем песке. Ребенок приносит в миске немного чечевицы, и мужчина покупает у него количество, уместящееся в столовой ложке; он тут же садится на корточки, чтобы

---

\*“Разве Вы не едите пять раз в день?” (англ.). — Прим. перев.



ее съесть, в позе, выражающей такое же равнодушие к прохожим, как и та, в какой он мочится. В дощатых павильонах бездельники проводят целые часы, попивая чай, забеленный молоком.

Здесь так мало нужно для жизни: немного пространства, немного пищи, немного веселья, немного инструментов, — жизнь умещается в носовом платке. Зато, по видимому, здесь много души. Это чувствуется в оживленности улицы, в пытливости взглядов, в жарких спорах по любому поводу, в вежливости улыбок, которыми встречают иностранцев, приветствуя их в мусульманских кварталах традиционным “салам” и касаясь пальцами лба. Чем же еще можно объяснить ту легкость, с которой эти люди занимают свое место в мире? Это действительно цивилизация молитвенного коврика, который символизирует мир, или квадрата, нарисованного на земле и обозначающего место для отправления культа. Брадобреи, цирюльники, писари, ремесленники живут на улице, каждый в мире своего маленького ларька, спокойно выполняя свою работу среди роя мух, прохожих и шума. Чтобы выстоять, нужна крепкая и личная связь с миром духа, и, вероятно, тайна ислама и других религий этой страны заключается в том, что каждый постоянно чувствует присутствие своего Бога.

Я помню одну прогулку вдоль берега Индийского океана, это было в Клифтон Бич, недалеко от Карачи. Пройдя километр вдоль песчаных холмов и болот, я очутился на темном пляже, в тот момент пустом, но в праздничные дни переполненном людьми, приезжающими сюда в повозках, запряженных верблюдами, которые по воскресеньям наряднее, чем их владельцы. Океан был зеленовато-белым. Солнце садилось, и казалось, что блеск моря и песка отражается в темном небе. Какой-то старик в тюрбане симпровизировал небольшую собственную мечеть, используя два металлических стула, позаимствованных в ближайшем трактире, где жарился кебаб. Он был один на берегу моря, и он молился.

## Глава 16

# Рынки

Хотя это не входило в мои планы, мысленное путешествие перенесло меня из Центральной Бразилии в Южную Азию: из краев, недавно открытых, в страны с самой древней цивилизацией; из самых пустынных земель в наиболее заселенные (если верить статистике, Бенгалия заселена в три тысячи раз плотнее, чем Мату-Гросу или Гояс). Перечитав написанное, я замечаю, что различия еще более глубокие. В Америке я видел, главным образом, сельские и городские пейзажи — в обоих случаях это было нечто вполне определенное по форме, цвету, особой структуре, что давало им собственное бытие, независимое от существ, их населяющих. В Индии эти крупные структуры исчезли, уничтоженные историей, они превратились в физическую и человеческую пыль, которая стала единственной реальностью. Там я видел предметы, здесь — только людей. Социология, подтачиваемая воздействием тысячелетий, рухнула, вместо нее остается множество взаимоотношений между индивидуумами — густонаселенность вносит свои коррективы в отношение наблюдателя к рассматриваемому предмету. Слово “субконтинент”, которое так часто употребляют для обозначения этой части света, обретает новый смысл. Оно уже означает не только часть азиатского континента, но соотносится с миром, который фактически не заслуживает того, чтобы называться континентом, ибо доведенная до предела дезинтеграция почти разрушила структуру, некогда удерживающую в своих строгих рамках несколько сот миллионов частичек — людей, ныне

низвергнутых в небытие, порожденное историей, людей, охваченных самыми первобытными эмоциями, вызванными страхом, нуждой и голодом.

В тропической Америке люди защищены прежде всего своей немногочисленностью; но даже там, где они сгруппировались в сообщества, так называемые отдельные единицы в рамках только что образованных групп еще явственно обозначены. В глубинных районах страны, несмотря на низкий жизненный уровень, человек разве что в исключительных случаях опускается до такого нищенского состояния, поскольку там есть возможность без особых сложностей прокормить себя на почвах, которые опустошались людьми — и то лишь в отдельных местах — всего каких-нибудь четыреста пятьдесят лет. В Индии же, стране, где сельское хозяйство и ремесла развивались на протяжении пяти — десяти тысяч лет, почва уходит из-под ног: леса исчезли, а когда нет дров, приходится готовить пищу, сжигая навоз, отобранный у земли; плодородная земля, смываемая дождями, сдвигается к морю, голодный скот размножается с меньшей скоростью, чем люди, и своей жизнью обязан запрету употреблять в пищу его мясо.

Ничто так хорошо не иллюстрирует этого противоречия между тропическими слабо заселенными странами, с одной стороны, и перенаселенными — с другой, как торги и ярмарки. В Бразилии, а также в Боливии и Парагвае эти знаменательные проявления коллективной жизни одновременно являются продуктами системы индивидуального производства: каждая корзина отражает индивидуальность своего хозяина; подобным образом торговцы в Африке путем сложных взаимобмен<sup>ов</sup> предлагают клиентам небольшие излишки своего домашнего хозяйства: два яйца, горстку перца, связку фруктов или букетик цветов; две или три нитки бус из зерен красных в черную крапинку “козьих глаз”, серых и глянцевых “слезинок Мадонны”, собранных и нанизанных в свободную минуту; корзину или горшок, сделанный самой продавщицей,

и какой-нибудь древний талисман. Эти, словно игрушечные, экспонаты, каждый из которых является скромным произведением искусства, говорят нам о разнообразии увлечений и занятий, они свидетельствуют о том, что их создатели сохранили внутреннюю свободу. И если они заывают проходящего, то вовсе не для того, чтобы вызвать в нем сострадание зрелищем истощенного или искаленного тела и умолять его спасти кого-то от смерти, а лишь для того, чтобы предложить ему *tomar a borboleta*, то есть вытащить бабочку или какое-то другое животное в лотерее, называемой игрой в *bicho*, то есть игрой в животных, в лото, где числа сочетаются с фигурами забавного зверинца.

Прежде чем я посетил восточный базар, я знал о нем две вещи: сутолока и грязь. Однако это трудно себе представить, только непосредственный опыт в состоянии придать этому необходимое измерение. Этот воздух, черный от мух, эти людские толпы — во всем этом распознается естественное окружение человека, постепенно создававшееся цивилизацией со времен Ура<sup>95</sup> и Халдеи, через императорский Рим вплоть до Парижа времен Филиппа Красивого.

Я посетил всевозможные базары: старый и новый в Калькутте; “Бомбейский базар” в Карачи; “Садар” и “Кунари” в Дели и в Агре; Дакку, доставшуюся в наследство от саков<sup>96</sup>, где семьи живут в щелях между магазинчиками и мастерскими; “Риазуддин Базар” и “Кхатунгандж” в Читтагонге; все торжища у ворот Лахоры: “Анаркали Базар”, “Дели”, “Шах”, “Алми”, “Акбари”; “Садр”, “Дабгари”, “Сирки”, “Баджори”, “Гандж”, “Калан” в Пешаваре. Я побывал на сельских ярмарках, расположенных вдоль перехода через Кибер<sup>97</sup> к афганской границе; в Рангамати у ворот Бирмы я пересекал базары овощей и фруктов, полные баклажанов, розового лука и спелых трескающихся гранатов, напоенные стойким ароматом гуайявы; цветочные базары, украшенные гирляндами из роз и жасмина, мишурой и серпантинном;

витрины торговцев сушеными плодами — палевые и золотисто-коричневые глыбы на фоне серебряной фольги. Я смотрел, вдыхал ароматы корней и карри\*, холмики из розового, оранжевого и желтого порошка, гор перца, сушеных абрикосов и лаванды, выделяющих острый запах, от которого кружится голова; я видел поваров, готовящих простоквашу; изготовителей вафель, *nān* или *chapati*\*\* продавцов чая и лимонада; оптовых торговцев финиками в окружении липких груд мякоти и косточек, наводивших на мысль об экскрементах какого-нибудь динозавра; кондитеров, которых скорее можно было принять за продавцов мух, прилепившихся к образцам пирожных; жестянщиков, которых узнаешь за сто метров по шуму, произведенному осмотром их товаров; корзинщиков и изготовителей канатов, переплетающих желтую и зеленоватую солому; шляпников, расставляющих между шальями для тюрбанов золотые конусы *kallas*\*\*\*, похожих на митры шахов династии Сасанидов; текстильные лавки, в которых развешены свежескрашенные в голубой или желтый цвет ткани и шафрановые или розовые платки из искусственного шелка в стиле *Bokkhara*<sup>98</sup>; столаров, резчиков и лакировщиков дерева для кроватей; шлифовщиков, при помощи шнура приводящих в движение шлифовочные камни; базары железного лома, изолированные и мрачные; продавцов желтоватых листьев табака, смешанных с рыжей мелассой *tombak*\*\*\*\*, уложенных в связках рядом с чубуками с *chilam*; сандалии, разложенные сотнями, как бутылки в винных погребах; продавцов

---

\* *Curry* (англ.) — род острого мясного или рыбного соуса. — Прим. перев.

\*\* *Chapati* (англ. *chapatty*, инд. англ. *capāti*) — пресная лепешка. — Прим. перев.

\*\*\* *Kallas* (*kullah*) — тип головного убора конической формы из мерлушки или фетра, который носят мусульманские монахи-дервиши. — Прим. перев.

\*\*\*\* *Tombak* (*tumbak*, *tobacco*) — табак (инд.англ.). — Прим. перев.

*bangles\**, змеек из стекла голубоватых и розовых оттенков, рассыпанных веером, как внутренности, вывалившиеся из распоротого живота; гончарные лавки с выставленными в них продолговатыми шлифованными вазами с *chilam*, кувшинами из глины, смешанной со слюдой, кувшинами, разукрашенными золотисто-коричневым, белым или красным витиеватым орнаментом на фоне пепельной глины, и курительными трубками с *chilam*, которые нанизаны гроздьями, как четки. Торговцы мукой просеивают ее через сита днями напролет; ювелиры взвешивают крупинки драгоценных металлов, их витрины — менее яркие, чем соседние витрины жестянщиков; набойщики тканей легкими и однообразными движениями делают оттиски на хлопчатобумажном материале, оставляя на нем тонкий цветной рисунок; кузнецы работают под открытым небом, — целый мир, копошащийся и вместе с тем упорядоченный, мир, над которым ветер чуть колышет листья и кружит разноцветные детские вертушки, укрепленные на шестах.

В сельской местности зрелище может быть не менее интересным. Я путешествовал на моторной лодке по рекам Бенгалии. В средней части Булиганги, берега которой покрывали банановые заросли и пальмы, окружавшие белые фаянсовые минареты, которые, казалось, парили над поверхностью воды, мы причалили к пристани на острове, чтобы посетить *hat*, сельскую ярмарку. Наше внимание привлекли сотни барж и сампанов<sup>99</sup>, пришвартованных у берега. Хотя поблизости не было видно никакого селения, это был настоящий однодневный город — переполненный людьми, увязающими в грязи, — с участками, отведенными под все виды торговли: *paddy\*\**, скот, лодки, бамбуковые жерди, доски, кувшины, ткани, фрукты, орехи бетеля, верши<sup>100</sup>. По рукавам реки суда двигались таким плотным потоком, что эти караваны можно было принять за плывущие улицы. Иногда перевозились куп-

---

\* *Bangle* (англ.) — браслет. — Прим. перев.

\*\* *Paddy* (англ.) — неочищенный рис. — Прим. перев.

ленные коровы: они стояли на баржах и парадным строем проплывали мимо провожающего их пейзажа.

Все в этой стране дышит необыкновенной умиротворенностью. В этой зелени, голубоватой от гиацинтов, в этих водах болот и рек, по которым передвигаются сампаны, есть что-то успокаивающее; возникает желание самому рассыпаться, уподобившись этим древним кирпичным стенам, которые разрушаются корнями фигового дерева.

Но в этой неге одновременно чувствуется тревожность: пейзаж не совсем нормальный — слишком много воды. Ежегодные паводки создают особые условия существования, приводят к снижению урожая злаков и падению уровня рыболовства, сезон наводнений — это период голода. Даже скот превращается в живые скелеты, поскольку не в состоянии прокормиться губчатыми от воды гиацинтами. Здесь живет удивительный народ, который пропитан водой больше, чем воздухом; дети почти одновременно учатся ходить и пользоваться своими небольшими *dingi*\*. При отсутствии другого топлива продается вымоченный и отжатый, а затем высушенный джут; во время паводка цена доходит до двухсот пятидесяти франков за двести стеблей — и это там, где люди зарабатывают меньше трех тысяч франков в месяц.

Однако надо добраться до деревень, чтобы понять трагическое положение этого народа, по своим обычаям, обустройству и способу жизни близкого самым примитивным народам, несмотря на то, что он организует ярмарки, по разнообразию товаров не уступающие большому универсальному магазину. Еще каких-нибудь сто лет назад эта земля была усеяна костями ее обитателей: большинство населения занималось ткачеством, но было лишено возможности кормиться своим традиционным промыслом, поскольку колонизаторы наложили на него запрет, чтобы открыть рынок сбыта для Манчестера<sup>101</sup>. В наши дни каждая пядь земли, пригодной для обработки,

---

\* *Dingi* — от англ. dingey (dinghy), шлюпка, ялик. — Прим. перев.

пусть даже по полгода залитая водой, отдана под выращивание джута, который после вымачивания отправляется на фабрики в Нараянгандже и Калькутте или прямо в Европу и Америку, так что и сегодня — иным, но не менее насильственным, чем предыдущие, способом — выживание этих неграмотных и полунитских крестьян вновь поставлено в зависимость от мировых рынков. Если рыбу они еще могут ловить, то рис, которым они кормятся, почти полностью импортируется, а чтобы хоть немного увеличить свой небольшой доход от земледелия — причем только меньшинство владеет землей, — они посвящают все свое время жалким ремесленным работам.

Демра кажется плавучей деревней, настолько неустойчива сеть выступающих из воды пригорков, на которых теснятся хижины, окруженные рощицами. Я наблюдал, как все ее жители, вплоть до малых детей, целыми днями ткут те самые вуали из муслина, которые в свое время прославили Дакку. Немного далее, в Лангалбунде, целые районы занимаются производством перламутровых пуговиц, которые у нас используются для мужского белья. Каста перевозчиков, *Bidyaya* или *Badia*, постоянно живет на сампанах в шалашах из соломы; они собирают и продают раковины, которые являются сырьем для перламутра; груды разбитых раковин придают деревням вид золотых россыпей. После очищения в кислотном растворе раковины разбиваются молотком на куски, которые затем округляются при помощи ручного точила. Потом каждый кружок кладется на подставку и обрабатывается напильником, согнутым дугой и закрепленным на деревянном круге. Подобное приспособление, снабженное острым сверлом, служит для того, чтобы просверлить в заготовке четыре отверстия. Дети пришивают готовые пуговицы на картонки, покрытые фольгой, по дюжине на каждую, и в таком виде их продают наши провинциальные магазины.

До больших политических перемен, происшедших в результате провозглашения азиатскими странами независимости, этот скромный промысел, обеспечивающий рынки



Индии и островов Тихого океана, позволял тем, кто в нем работал, как-то содержать себя, несмотря на то, что эти люди были — и продолжают быть — объектом эксплуатации для ростовщиков и посредников, *mahajans*\*, которые дают им в кредит сырье и инструменты. Цена этих последних возросла в пять-шесть раз, в то время как в результате сокращения рынка производство продукции во всем регионе снизилось с шестидесяти тысяч *гросс*\*\* в неделю до пятидесяти тысяч в месяц, к тому же, цена, которую платили производителям, упала на 75%. Вскоре оказалось, что и без того мизерные доходы пятидесяти тысяч человек сократились в сто раз. Несмотря на примитивность труда, численность занятого населения, а также характер производства и производимого товара указывают на то, что это нельзя назвать ремеслом в буквальном смысле. И наоборот, в Южной Америке — в Бразилии, Боливии или Мексике — этот термин отвечает действительности, когда он относится к работам с металлом, стеклом, шерстью, хлопком или соломой. Там сырье местного происхождения, техника традиционная, продукция производится в домашних условиях, а способ применения произведенных предметов и их форма определяются в первую очередь предпочтениями и обычаями изготовителей.

Здесь же население со средневековым укладом внезапно оказалось помещенным в эпоху развитой промышленности и брошенным на растерзание мировому рынку. От начала и до конца люди живут в системе отчуждения. Сырье для них чужое: полностью — для ткачей из Демры, использующих пряжу, импортируемую из Англии или Италии, частично — для изготовителей пуговиц из Лангалбунда, которые действительно обрабатывают раковины местного происхождения, но применяют чужие химикаты, картон и металлические бляшки, необходимые в этом промысле. Повсюду

---

\* От санскр. *maha-jana* — торговец, ростовщик, богач. — Прим. перев.

\*\* *Гросс* (нем., англ. *gross*) — мера счета мелких товаров, равная двенадцати дюжинам, т.е. 144 штукам. — Прим. перев.

продукция планируется *according to foreign standards\**, поскольку эти несчастные едва могут одеться, но уж никак не застегиваться на перламутровые пуговицы. За зеленым пейзажем, тихими каналами и прибрежными хижинами скрывается омерзительная личина фабрики в миниатюре — словно совпали наиболее трагические фазы исторического и экономического развития и обрушились на плечи их жертв, достойных жалости и сострадания: средневековая нищета и эпидемии, безумная эксплуатация, как в начале промышленной эры, безработица и спекуляция современного капитализма. Казалось, что XIV, XVIII и XX века назначили здесь встречу, желая поиздеваться над идиллией, декорацию которой представляет собой тропическая природа.

Именно в этих краях, где плотность населения кое-где превышает тысячу жителей на один квадратный километр, я смог по достоинству оценить историческую привилегию, выпавшую на долю тропической Америки (и, в определенном смысле, всей Америки), заключающуюся в том, что она осталась полностью или относительно пустой. Свобода не является ни юридическим изобретением, ни философской ценностью, ни чертой, присущей цивилизации, считающейся более достойной по сравнению с другими именно потому, что она сумела создать эту свободу или ее сохранить. Свобода возникает из объективных отношений между индивидуумом и окружающим пространством, между потребителем и средствами, находящимися у него в распоряжении. И еще не известно, компенсируется ли одно другим, не отравляет ли себя богатое, но слишком плотно заселенное общество своей собственной скученностью, подобно тому, как паразиты, живущие в муке, взаимоуничтожаются на расстоянии собственными токсинами еще задолго до того, как им станет недоставать пищи.

Необходима или большая наивность, или злонамеренность, чтобы думать, будто люди выбирают свои верования независимо от своих жизненных условий. Политические си-

---

\*В соответствии с зарубежными стандартами (англ.). — Прим. перев.

стемы не только не определяют форм общественной жизни, но, напротив, формы существования придают значение идеологиям, которые являются их выражением: знаки создают язык только благодаря предметам, к которым они относятся. В настоящий момент непонимание между Западом и Востоком является главным образом семантическим: в определениях, которые мы пытаемся туда внедрить, присутствуют элементы, имеющие иные соответствия или не имеющие таковых вовсе. В то же время, если бы можно было изменить положение вещей, то жертвы нынешней реальности не обратили бы внимание, что это происходит в формах, которые мы считаем неприемлемыми. Они не чувствовали бы себя рабами, но, наоборот, считали бы себя освобожденными, благодаря принудительному труду, распределительной системе и контролю над мышлением, поскольку это было бы для них исторически обусловленным способом получить работу, средства к существованию и доступ к интеллектуальной жизни. Обстоятельства, которые кажутся нам лишениями, утрачивают это значение перед лицом очевидности реальных фактов, очевидности, до сих пор отрицаемой нами во имя иллюзии.

Кроме поиска необходимых политических и экономических средств улучшения ситуации, остается актуальной проблема, поставленная сопоставлением Азии и Америки, — проблема увеличения населения на ограниченном пространстве. Разве можно забыть, что с этой точки зрения Европа занимает промежуточное положение между этими двумя мирами? Индия начала решать эту проблему три тысячи лет назад, пытаясь с помощью кастовой системы найти способ превращения количества в качество, то есть установить такое разделение людей на группы, чтобы они могли жить рядом друг с другом. Эту проблему они понимали еще шире, распространяя ее, помимо человека, на все формы жизни. Та же обеспокоенность, которая породила кастовую систему, является источником внедрения вегетарианства; речь шла о том, чтобы не позволить людям и животным вторгаться в запретные для них сферы жизни, обеспечить всем соответствующую свободу, благодаря отказу каждого

от собственной антагонистической свободы. Трагично, что эта великая попытка не оправдала надежд, что касты за всю свою историю так и не сумели достичь состояния, в котором они были бы равны в своем неравенстве, а точнее, в своей несоизмеримости; в них коварно закралась некая доза однородности, которая допустила сравнение, а значит — создание иерархии. Ведь люди могут сосуществовать либо при условии признания друг в друге хотя и различных, но людей, либо отказывая друг другу в какой-то степени человечности, но тогда одни становятся вассалами других.

В этом великом поражении Индии содержится урок: если общество становится слишком многочисленным, то каких бы гениальных мыслителей оно ни порождало, оно может существовать только тогда, когда создает неравенство. Когда людям становится слишком тесно в географическом, социальном и духовном пространстве, возникает опасность поддаться искушению простого решения, которое состоит в том, чтобы лишить часть этого общества права называться людьми. В течение нескольких десятилетий победители будут иметь свободу действий. Затем придется приступить к новому переделу. С этой точки зрения, те события, театром которых стала Европа последнего двадцатилетия, завершающего эпоху удвоения населения, уже не могут казаться мне результатом заблуждения одного народа, одной доктрины или группы людей. Я вижу в них, скорее, предвестие развития в направлении конца мира, развития, которое Южная Азия пережила на одно-два тысячелетия раньше, чем мы, развития, которого — если нас не хватит на принятие великих решений — мы не сумеем избежать, и случится это потому, что систематическое обесценивание человека человеком распространяется все больше; лицемерно и безрассудно пытаться уйти от проблемы с помощью отговорки, что это временная болезнь.

Азия поразительно предвосхищает картину нашего будущего. В индейской Америке я люблю рефлексю — и там уже почти исчезнувшую — той эпохи, когда род человеческий соответствовал своему миру и сохранялись истинные взаимоотношения между знаками свободы и ее воплощением.

**Часть пятая**  
**Каджуэу**



## Глава 17

# Парана

Путешественники, располагайтесь лагерем на берегах Параны! Или нет, лучше воздержитесь. Оставьте для ландшафтов Европы вашу грязную бумагу, неуничтожаемые бутылки и пустые консервные банки. Разбивайте там ваши палатки. Но здесь ограничьтесь небольшими участками земель, освоенных первопроходцами; пока не поздно, воздержитесь от полного опустошения этого края, пощадите эти пенистые потоки, которые взмывают вверх и срываются с уступов фиолетовых базальтовых скал. Не топчите ярчайшей свежести вулканических мхов; остановитесь у порога необитаемых прерий и огромного влажного хвойного леса, деревья которого пробиваются сквозь заросли лиан и папоротников, чтобы вознести к небу свои силуэты, столь непохожие на наши: не заостренные кверху, а как бы перевернутые — растения, правильная форма, которых могла бы привести в восторг Бодлера, — выстраивающие вокруг своих стволов ярусы из ветвей в форме плоских шестиугольников, распростертые вплоть до последней ветви, раскинутой подобно огромному балдахину. Этот девственный и торжественный пейзаж, по видимому, миллионы лет сохранял неизменным свой облик: высота и удаленность от экватора уберегли его от буйного разнообразия видов в бассейне Амазонки и придали ему величие и гармонию; казалось, он достался нам в наследство от обитавшей здесь с незапамятных времен расы, более мудрой и могущественной, чем наша, и теперь, когда она исчезла, мы имеем возможность сопри-

коснуться с этим великолепным парком, погруженным в тишину и заброшенным. На этих землях, расположенных по обе стороны Риу-Тобажи на высоте более тысячи метров над уровнем моря, я впервые столкнулся с индейцами; я тогда сопровождал руководителя департамента “Службы защиты индейцев” в его поездке.

В эпоху открытия континента вся южная часть Бразилии была заселена племенами, родственными по языку и культуре, которые были классифицированы под названием *жес*. Их, вероятнее всего, оттеснили более поздние завоеватели, говорящие на языке *тупи*, войну с которыми *жес* проиграли. В результате *тупи* заселили всю прибрежную полосу. Однако, защищенные труднодоступностью местности, в которой они теперь обитали, южно-бразильские *жес* на несколько веков пережили *тупи*, уничтоженных колонизаторами.

В лесах южных штатов Парана и Санта-Катарина небольшие общины индейцев сохранились вплоть до XX века; даже в 1935 году оставалось еще несколько таких общин. В течение ста лет они подвергались столь жестоким преследованиям, что научились быть невидимыми. И все же почти все они были захвачены, и около 1914 года бразильское правительство расселило их в особых центрах по всей стране. Сначала их пытались приобщить к современной жизни. В селении Сан-Жерониму, где располагалась моя база, когда-то были слесарная мастерская, лесопильня, школа, аптека. Центр регулярно получал инструменты: топоры, ножи, гвозди; распределялись одежда и одеяла. Через двадцать лет с этой практикой было покончено. Предоставив индейцев самим себе, “Служба защиты” проявила такое же равнодушие, какое сама встречала со стороны властей (правда, позже она приобрела определенный авторитет); в сложившейся ситуации аборигенам не оставалось ничего другого, как вновь взять в свои руки инициативу управления собственной жизнью.



От недолгого знакомства индейцев с цивилизацией у них остались только бразильская одежда, топоры, ножи и швейные иглы. Все остальное развеялось в прах. Для них были построены дома, а они жили под открытым небом. Их пытались поселить в деревнях, а они все равно остались кочевниками. Они порубили кровати и сожгли их, а спать продолжали на земле. Стада коров, присланные правительством, бродили без надзора, поскольку индейцы с отвращением отворачивались от молока и мяса. Деревянные жернова, механически приводимые в движение путем попеременного наполнения и опорожнения сосуда, прикрепленного к плечу рычага (устройство, часто встречаемое в Бразилии и известное под названием *monjolo*, которое, скорее всего, португальцы привезли с Востока), гнили без использования, а зерно индейцы продолжали молоть вручную.

К моему величайшему разочарованию, индейцы с берегов Тибажи не были ни “аутентичными”, ни, тем более, “дикими”. Но они помогли очистить от поэтической наивности мои, естественные для начинающего этнографа, представления о своем будущем предполагаемом опыте и преподали мне урок осторожности и объективности. Выяснив, что они не столь далеки от цивилизации, как я надеялся, я вскоре понял, что они более загадочны, чем можно было судить по внешним признакам. Они служили иллюстрацией социологического явления, крайне редкого для наблюдателя второй половины XX столетия: сначала “примитивному народу” грубо навязывается цивилизация, а после того, как миновала опасность, которую эти люди якобы должны были собою представлять, цивилизация теряет к ним интерес. Их культура, частично сформированная древней традицией, которая сохранялась вопреки влиянию белых (например, все еще часто встречается опилование и инкрустация зубов), частично заимствованная у современной цивилизации, являла собой оригиналь-

ную целостность, хотя и лишенную живописности: изучение этой культуры было для меня школой, не менее ценной, чем изучение так называемых *чистых* индейцев, с которыми мне предстояло столкнуться позднее.

Именно с того момента, когда индейцы оказались предоставленными самим себе, удивительным образом нарушилось внешнее равновесие между современной культурой и культурой первобытной. Вновь начали появляться древние обычаи, традиционные техники, тесно связанные со столь недавним прошлым. Откуда взялись эти изумительно отполированные каменные пестики, которые я находил в индейских хижинах рядом с металлическими эмалированными тарелками, базарными ложками и даже убогими остовами швейных машин? Может, это результат происходящего в тиши лесов товарообмена с людьми того же племени, которые остались в состоянии дикости и, благодаря своей воинственности, не позволяли первопроходцам подступиться к некоторым окрестностям Параны? Чтобы ответить на этот вопрос, хорошо бы во всех деталях знать одиссею того старого “дикого” индейца, который теперь живет на пенсию в правительственной резервации.

Эти наводящие на размышления предметы свято хранятся племенами и свидетельствуют о той эпохе, когда индеец не знал, что такое дом, одежда или металлическая посуда. Древние навыки сохраняются в бессознательной памяти людей. Индеец до сих пор получает огонь путем трения или вращения двух мягких кусочков пальмового дерева, предпочитая их хорошо известным, но дорогим спичкам. Часто можно видеть, что старые ружья и пистолеты, некогда раздававшиеся правительством, висят на стене в брошенном доме, в то время как мужчина охотится в лесу при помощи лука и стрел — то есть тем же способом, каким охотились люди, никогда не видевшие огнестрельного оружия. Таким образом, древние обычаи, лишь ненадолго оттесненные усилиями властей, вновь

прокладывают себе путь так же неторопливо и уверенно, как встреченные мною в лесу караваны индейцев, кружащие по извилистым лесным тропам, вдали от покинутых ими деревень, где рушатся пустые дома.

В течение пятнадцати дней я путешествовал верхом по этим незаметным тропам, преодолевая столь обширные пространства леса, что часто приходилось ехать до поздней ночи, чтобы добраться до хижины, в которой мы могли бы остановиться. Не знаю, как лошадям удавалось идти в этой темноте под непроницаемой крышей из растительности, сомкнувшейся у нас над головой на высоте тридцати метров. Я вспоминаю часы езды под ритм шагов наших верховых лошадей, идущих иноходью. Временами, спускаясь с крутого пригорка, лошадь тянула нас вперед, и, чтобы избежать падения, надо было успеть ухватиться рукой за высокую луку крестьянского седла; по свежести, идущей от земли, и громкому плеску мы догадывались, что переходим вброд реку. Через мгновение, заставляя нас наклоняться в обратную сторону и спотыкаясь, лошадь уже взбиралась вверх по склону; казалось, что своими некоординированными и непонятными в темноте движениями она хочет избавиться от седла и седока. После восстановления равновесия необходимо было оставаться начеку, чтобы не утратить того удивительного предчувствия, которое, по крайней мере через раз, позволяло нам быстро втянуть голову в плечи и не наткнуться на низко свисающую невидимую ветку.

Вскоре появляется какой-то звук, идущий издалека и становящийся все более отчетливым, — это уже не рычание ягуара, которое мы слышали на закате. На этот раз это лай собаки — стоянка уже близко. Через несколько минут наш проводник меняет направление; мы выезжаем за ним на небольшую вырубку, где из распиленных стволов деревьев сделаны загоны для скота; перед хижинной, построенной из стволов пальм и покрытой соломенной крышей, — две фигуры, одетые в тонкую белую хлопчато-

бумажную ткань: это хозяева, муж, вероятнее всего, португальского происхождения, и жена — индеанка. При свете горящего фитиля, опущенного в керосин, можно быстро произвести осмотр помещения: пол из утрамбованной земли, стол, лежанка из досок, несколько ящиков, на которых можно сидеть, а на печке из обожженной глины — кухонная утварь: горшки и пустые банки из-под консервов. Поспешно развешиваются гамаки — в хижине, где веревки протягиваются сквозь щели в стенах, или же во дворе под *raïol*, навесом, который защищает от дождя собранную кукурузу. Груда сухих початков, еще не очищенных от листьев, неожиданно оказывается удобным ложем: продолговатые початки скользят друг по другу, и вся масса укладывается в соответствии с фигурой спящего. Нежный запах трав и сладковатый аромат сухой кукурузы действуют благотворно и успокаивающе. Однако холод и сырость будят нас засветло: молочный туман поднимается над поляной; мы быстро заходим в хижину, огонь всегда горит в вечном сумраке этого жилья без окон, стены которого, скорее, напоминают ажурную ограду. Хозяйка готовит кофе, дочерна поджаренный на сахаре, и *pirosa*, растолченные в хлопья зерна кукурузы с ломтиками солонины. Мы садимся на коней и трогаемся в путь. Через несколько мгновений лес сомкнется над покинутой нами хижинкой.

Резервация Сан-Жерониму — это около ста тысяч гектаров земли с пятью-шестью деревнями, в которых поселилось четыреста пятьдесят индейцев. Статистические сводки, полученные из центра, позволили мне перед отъездом ознакомиться с информацией об опустошениях, произведенных малярией, туберкулезом и алкоголизмом. За десять последних лет количество рождений не превысило ста семидесяти, в то время как смертность только среди детей составила сто сорок человек. Мы посетили деревянные дома, построенные федеральным правительством в деревнях, — по пять-десять домов по берегам

реки; мы видели и одинокие хижины, которые иногда строят индейцы: квадрат с частоколом из стволов молодой пальмы, перевязанных лианами, и крыша из листьев, прикрепленная к стенам только в четырех углах. Наконец, мы заходили под те навесы из ветвей, где, рядом с покинутым домом, живет вся семья.

Жители собираются вокруг огня, горящего и днем, и ночью. Мужчины преимущественно одеты в рваные рубашки и старые штаны, женщины — в хлопчатобумажные платья, а иногда просто в грубые одеяла, перевязанные под мышками, дети ходят совершенно голыми. Все носят, как и мы в пути, широкие соломенные шляпы собственного производства — единственное их изделие и единственный источник заработка. Монголоидный тип отчетливо выражен у обоих полов и в любом возрасте: низкий рост, плоское и широкое лицо, выступающие скулы, раскосые глаза, желтая кожа, черные прямые волосы — у женщин они могут быть и короткими, и длинными, — редкий волосяной покров на теле, а иногда и полное его отсутствие. Все живут только в одном помещении; тут же в любую пору едят бататы, испеченные в золе, которые вытягивают из огня длинными бамбуковыми щипцами; спят на тонкой подстилке из папоротника или на тюфяках из кукурузной соломы, вытягивая ноги в сторону огня; несколько пылающих веток и стена из неплотно поставленных стволов не могут защитить от господствующего здесь, на тысячеметровой высоте, ночного холода.

В хижинах, построенных индейцами, всего лишь одно помещение; но и в правительственных домах используется только одна комната. Здесь на голой земле разложен весь нехитрый скарб индейца, повсюду царит беспорядок, который возмущает наших проводников, *caboclos* из соседнего сертана; в этом беспорядке едва можно отличить предметы бразильского происхождения от местных изделий. Среди первых обычно топор, ножи, эмалированные

тарелки, металлическая посуда, тряпки, иглы и нитки для шитья, иногда несколько бутылок и даже зонтик. Меблировка также предельно скромная: несколько низких деревянных табуретов, которые делают индейцы *guarani* и иногда используют *caboclos*, корзины различных размеров и для различных целей, сплетенные в особой технике “перекрестной инкрустации” (*croise en marqueterie*), весьма распространенной в Южной Америке; сита для муки, деревянная ступа, пестики из дерева и камня, несколько глиняных горшков и, наконец, огромное количество сосудов разнообразных форм и предназначения, сделанных из *abobra*, очищенной от семян и мякоти и высушенной тыквы. Как трудно заполучить какой-то из этих убогих предметов! Для налаживания необходимых дружеских контактов недостаточно одарить всех членов семьи безделушками — привезенными нами перстеньками, бусами и брошками. Даже если предложить мильрейсы<sup>102</sup> в сумме, намного превосходящей стоимость убогого предмета, это не нарушает непоколебимости владельца. Нет, он не может. Если бы вещь была сделана им самим, он охотно бы отдал ее, но он сам приобрел ее у старой женщины, единственного человека, который может делать нечто подобное. Если он отдаст вещь нам, то чем он ее заменит? Естественно, сама “старая женщина” всегда отсутствует. Где она? Он не знает, там — неопределенный жест, — где-то в лесу... Впрочем, что значат все наши мильрейсы для старого, трясущегося от лихорадки индейца, который живет за сто километров от ближайшего магазина белых? Мне стыдно, что я пытаюсь отнять у этих обездоленных людей так нужную им вещь, потеря которой будет невозполнимой.

Однако чаще повторяется другая история. Я спрашиваю у индеанки, не хочет ли она продать мне горшок? Конечно, она хотела бы, но, к сожалению, это не ее горшок. А чей же? Молчание. Мужа? Нет. Брата? Тоже нет. Сына? Нет, это собственность внучки. Внучка владеет всеми предмета-

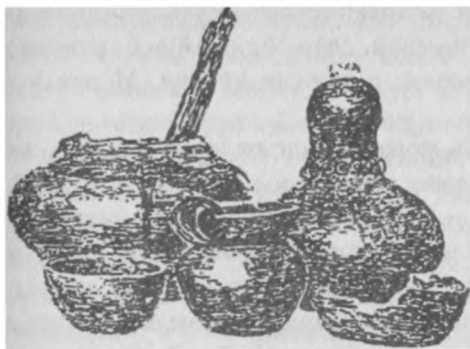


Рис 4. Керамика индейцев *кайнанг*

ми, которые мы хотели бы купить. Мы смотрим на внучку — ей три или четыре года; она сидит возле огня, полностью поглощенная колечками, которые за минуту до этого я надел ей на палец. И тогда с “мадемуазель” начинаются долгие переговоры, в которых родители не принимают никакого

участия. Она не реагирует на колечко и пятьсот рейсов, но брошка и четыреста рейсов ее убеждают.

Индейцы *кайнанг* занимаются и земледелием, но охота, рыболовство и собирание плодов являются их основными занятиями. Способы рыбной ловли настолько примитивно копируют способы белых, что результаты должны быть ничтожными: гибкая ветка, бразильский крючок, прикрепленный кусочком смолы к леске, а иногда обычная тряпка в роли сети. Охота и собирательство определяют характер их кочевой жизни в лесу, и никто не в состоянии выследить этих людей в их тайных убежищах и на извилистых тропах. Иногда на пересечении троп мы встречали небольшие группы, вынырнувшие из леса, чтобы тут же вновь в нем раствориться: впереди мужчины, вооруженные *bodoque*, выдувными трубками для охоты на птиц, из которых стреляют шариками; на груди висит плетеный колчан с метательными снарядами из сухой глины. За ними следуют женщины, несущие весь семейный скарб в корзинах, перевязанных матерчатой лентой или широким ремнем из коры, накинутым на лоб. В этих корзинах переносят и детей, и предметы домашнего обихода. Мы обмениваемся с индейцами несколькими словами, придерживая лошадей, но они едва

замедляют шаг, и через мгновение лес вновь погружается в тишину. Мы понимаем, что ближайшее селение будет пустым, как, впрочем, и многие другие. И неизвестно, надолго ли.

Такая кочевая жизнь может продолжаться дни и даже недели. Сезон охоты, сезон сбора плодов — *jaboticaba*\*, апельсинов и *lima*\*\* — вызывает массовые миграции всего населения. В каких убежищах живут эти люди в глубине леса? Из каких тайников достают свои луки и стрелы, редкие экземпляры которых, забытые в углу хижины, можно увидеть только случайно? С какими преданиями, обрядами и верованиями связана их жизнь?

Огородничество занимает последнее место в иерархии этой примитивной экономики. Иногда посреди леса можно обнаружить расчищенный индейцами участок. Между высокими стенами деревьев находится жалкий клочок земли, занимающий несколько десятков квадратных метров: бананы, батат, маниока и кукуруза. Зерна кукурузы сначала сушатся над огнем, а затем женщины, работая в одиночку или вдвоем, толкут их в ступе. В пищу идет только мука или мука, смешанная жиром, — нечто наподобие густого теста; чечевица дополняет рацион; едят дичь и мясо полудиких свиней, которое всегда жарится над огнем, нанизанное на прутья.

Следует также упомянуть *коро*, личинки, которыми кишат стволы некоторых гниющих деревьев. Индейцы, уязвленные насмешками белых, не признаются в этом своем пристрастии и энергично отрицают, что едят этих тварей. Однако достаточно углубиться в лес, чтобы увидеть на земле остатки большой, длиной двадцать-тридцать метров, *pinheiro*\*\*\*, поваленной бурей и искромсан-

---

\* *Jaboticaba* — жабутикаба, фруктовое растение из семейства миртовых. — Прим. перев.

\*\* *Lima* — лимон (португ.). — Прим. перев.

\*\*\* Сосна — (португ.). — Прим. перев.



ной до основания. Ясно, что здесь побывали собиратели *коро*. А если неожиданно войти в индейскую хижину, можно заметить миску, полную этого ценного лакомства, прежде чем ее прикроет проворная рука.

Поэтому так трудно своими глазами увидеть, как добывается *коро*. Мы, словно заговорщики, долго, обсуждаем свой план. Индеец, который страдает лихорадкой и потому остался один в своей хижине, кажется нам легкой добычей. Мы вкладываем ему в руку топор и пытаемся его растормошить. Напрасный труд; похоже, он совершенно не понимает, чего мы от него хотим. Неужели снова неудача? Ничего не поделаешь! Остается последний аргумент: мы хотим съесть *коро*. Нам удастся заманить жертву к стволу. Ударом топора вскрываются тысячи ходов в глубине дерева. В каждом — толстая личинка кремового цвета, очень похожая на шелковичного червя. Под неумолимым взглядом индейца необходимо выполнить обещанное. Я отрываю голову своей добыче, из тела проступает беловатая маслянистая жидкость, решаюсь попробовать: *коро* по консистенции напоминает масло, а по вкусу — молоко кокосового ореха.

## Глава 18

# Пантанал

После этого крещения я был готов к настоящим приключениям. Такая возможность должна была представиться мне во время университетских каникул, которые в Бразилии приходятся на период с ноября по март, то есть на сезон дождей. Несмотря на это неудобство, я намеревался добраться до двух групп аборигенов: одна — почти не исследованная и на три четверти уже не существующая — племя *кадиуэу*, живущее на границе с Парагваем; другая — более известная, но и более обещающая — *бороро*, расселенная в центральной части Мату-Гросу. Кроме того, музей в Рио-де-Жанейро предложил мне по пути ознакомиться с археологическими раскопками, о которых упоминалось в архивах, но ни у кого до них не доходили руки.

С тех пор я часто путешествовал от Сан-Паулу до Мату-Гросу, иногда самолетом, а иногда на грузовике, поездом или пароходом. Этими последними я воспользовался в 1935-1936 годах. Раскоп, о котором я только что упомянул, находился по соседству с железной дорогой, недалеко от конечной станции Порту-Эсперанса на левом берегу реки Парагвай.

Немногое можно рассказать об этом изнурительном путешествии: железнодорожная компания “Норозсте” сначала доставляла нас в Бауру в глубине зоны первопроходцев, затем мы садились в “ночной” поезд из Мату-Гросу, который пересекал весь юг штата. В целом — три дня пути в поезде, отапливаемом дровами, движущемся медленно,

да еще часто и надолго останавливаемся, чтобы пополнить запасы топлива. Вагоны тоже были деревянными и доступными всем ветрам: проснувшись утром, обнаруживаешь, что твое лицо, словно оболочкой, покрыто слоем затвердевшей глины, образовавшейся из красной пыли сертана, проникающей в складки кожи и поры. В вагоне-ресторане подавали обычные для внутренних районов страны блюда: свежее или сушеное мясо, в зависимости от обстоятельств; рис и чечевица с соусом; фаринья (*farinha*) — высушенная мякоть кукурузы или маниоки, перетертая в муку грубого помола, и, наконец, неизменный бразильский десерт: пастила из айвы или гуайявы и сыр. На каждой станции мальчишки за несколько монет продавали пассажирам сочные ананасы с желтой мякотью, которые приносили спасительную свежесть.

В штат Мату-Гросу поезд въезжает возле станции Трес-Лагоас, сразу же после пересечения Параны, так разлившейся, что, несмотря на уже начавшиеся дожди, во многих местах еще просматривалось дно. Затем начинается ландшафт, к которому я так привык за многие годы путешествия по внутренним районам страны, пейзаж, одновременно невыносимый и неизбежный; он характерен для Центральной Бразилии, начиная от реки Параны и вплоть до бассейна Амазонки: ровное или слегка холмистое плоскогорье, далекий горизонт, кустарниковая растительность, время от времени встречаются стада зебу, разбегающиеся, когда поезд проезжает мимо. Многие путешественники совершают ошибку, когда переводят Мату-Гросу как “большой лес”; слово “лес” переводится существительным женского рода *mata* (мата), в то время как существительное мужского рода *mato* (мату) точно выражает аспект южноамериканского пейзажа. Мату-Гросу — это не что иное, как “большая чаща” (*brousse\**), и никакое другое название не могло бы лучше выразить

---

\* *Brousse* — пространство, поросшее кустарником; чаща. — Прим. перев.

картину этой дикой и печальной местности, монотонность которой, тем не менее, несет в себе нечто возвышенное и захватывающее.

Правда, *sertão* (сертан) я также перевозжу здесь как заросли (*brousse\**). Но у этого слова несколько иной оттенок значения. *Mato* относится к объективной характеристике ландшафта: кустарниковые заросли, в отличие от леса; в то время как *sertão* указывает на субъективный аспект, соотносящийся с человеком. *Sertão* означает заросли в противоположность заселенным и обрабатываемым землям, ту местность, в которой человек еще не укоренился. В колониальном жаргоне есть, по-видимому, точное соответствие — слово *блед\*\**.

Время от времени плоскогорье сменяется поросшей деревьями зеленой долиной, словно улыбающейся под ясным небом. Между Кампу-Гранди и Акидауаной в более глубоких изломах открываются пламенеющие скалы Серра-да-Маракажу, ущелья которых уже в Корриентесе скрывают *гаримпо* (*garimpo*), то есть алмазные прииски. Но вдруг ландшафт изменяется. Миновав Акидауану, мы попадаем в Пантанал<sup>103</sup>, самое большое болото в мире, занимающее бассейн верхнего течения реки Парагвай.

Если смотреть с самолета, то равнинная местность, изобилующая извилистыми реками, представляет собой сеть изгибов и излучин со стоячей водой. Даже русло большой реки окружено бледными извилинами, как будто природа колебалась, прежде чем определила для нее ее нынешний путь. На земле Пантанал кажется фантастическим пейзажем: стада зебу ищут спасения на вершинах холмов, похожих на плывущие ковчеги; над затопленными болотами стаи крупных птиц — фламинго, цапель, журавлей —

---

\* Мы переводим слово *brousse* в значении *mato* словом *чаща*, а в значении *sertão* — словом *заросли* и *сертан* (если Леви-Стросс использует португальское слово). — Прим. перев.

\*\**Блед* — необжитое или труднодоступное место (араб.). — Прим. перев.

образуют белые и розовые острова; разбросанные рошицами тут и там веерообразные пальмы каранда, из листьев которых выделяется ценный воск, нарушают монотонность псевдовеселого пейзажа этой водной пустыни.

Угрюмый Порту-Эсперанса, которому совершенно не соответствует его название\*, остался у меня в памяти как одно из наиболее причудливых мест на земном шаре, за исключением разве что Файр-Айленда в штате Нью-Йорк. Я с интересом сравниваю эти два города: оба объединяют в себе самые противоречивые элементы, и каждый является выражением одного и того же географического и человеческого абсурда, только здесь в его комическом варианте, а там — в трагическом.

Не Свифт ли выдумал Файр-Айленд? Это длинная и узкая песчаная коса, тянущаяся вдоль Лонг-Айленда: восемьдесят километров в длину и от двух до трехсот метров в ширину. Со стороны океана море открытое, но обычно столь бурное, что не отваживаешься в него войти, а со стороны континента море спокойное, но такое мелкое, что в нем нельзя окунуться с головой. Поэтому основное развлечение там — это ловля рыбы, которая к тому же несъедобна; чтобы предотвратить гниение выброшенной рыбы, плакаты, расставленные вдоль пляжа на одинаковом расстоянии, рекомендуют рыбакам закапывать ее в песок сразу же после того, как вытащат ее из воды. Дюны на Файр-Айленде непостоянны и подмыты водой, поэтому другие плакаты запрещают по ним ходить из опасения, что они могут сползти в море. Файр-Айленд — это как бы Венеция наоборот: земля здесь текуча, а каналы устойчивы; жители Черри-Гроув, поселка, занимающего центр острова, вынуждены передвигаться по деревянным мосткам, которые создают сеть дорог на сваях.

В довершение картины, Черри-Гроув заселен преимущественно странными супружескими парами, которым,

---

\* *Esperança* — надежда (исп.). — Прим перев.

вероятно, нравится, что все здесь вывернуто наизнанку. Поскольку ничто не растет на песке, кроме ядовитого плюща, необходимо раз в день запастись продуктами в единственном магазине у пристани. На расположенных выше улочках, более прочных, чем дюны, можно видеть, как эти бездетные супруги входят в свои домики, толкая перед собой детские коляски (единственный возможный вид транспорта на этих узких улицах), в которых вместо младенцев лежат бутылки с молоком для уикэнда.

Файр-Айленд производит впечатление веселого фарса. Порту-Эсперанса — это его аналог, заселенный людьми куда более несчастными. Ничто не оправдывает его существования, разве что железная дорога длиной полторы тысячи километров, проходящая через территорию, на три четверти не заселенную, и обрывающаяся на берегу реки. Отсюда в глубь страны можно добраться уже только по воде, рельсы обрываются над болотистым побережьем, где укрепленный досками участок служит пристанью для небольших речных пароходов.

Здесь нет жителей, кроме обслуживающего персонала дороги, нет домов, кроме тех, которые принадлежат работникам станции, — деревянных барачков, построенных на болоте. Здесь ходят по качающимся доскам, уложенным повсюду в заселенных местах. Мы разместились в барачке, предоставленном компанией в наше распоряжение, — в однокомнатной коробке в форме куба, установленной на высоких сваях, куда приходилось взбираться по высокой лестнице. Двери открываются в пустоту над железнодорожными путями. На заре нас будит гудок локомотива, нашего персонального транспорта. Ночи невыносимы: влажная жара и крупные москиты, которые слетаются с болот в наше убежище и от которых совсем не защищают москитные сетки, столь тщательно подготовленные нами перед отъездом, — все это не позволяет заснуть ни на минуту. В пять часов утра локомотив пронизывает паром тонкий пол нашего жилища. Жара

предыдущего дня еще стоит в комнате. Несмотря на влажность, тумана нет, но небо свинцовое, а воздух будто отягощен какой-то примесью, которая делает его непригодным для дыхания. К счастью, локомотив едет быстро; сидя на сквозняке, свесив ноги над паровозным башмаком для очистки рельсов, мы стряхиваем с себя ночную усталость.

Единственная колея (по ней проходят два состава в неделю) кое-как проложена по болоту, напоминая шаткий мостик; кажется, что локомотив в любой момент может с нее сойти. По обе стороны рельсов грязная жижа испускает тошнотворный смрад. Однако эту воду мы будем пить в течение нескольких недель.

Слева и справа от колеи тянутся рассаженные редко, как в саду, деревья; издали они выглядят плотной массой, но в воде между ними блестящими пятнами отражается небо. Кажется, что все томится в тепле, постепенно созревая. Если бы была возможность тысячелетиями наблюдать эту доисторическую местность, то наверняка можно было своими глазами увидеть превращение органической материи в торф, уголь или нефть. Мне даже показалось, что я вижу нефть, окрашивающую поверхность воды тонкой радужной пленкой. Наши механики не могли поверить, что мы тратим столько сил и нагружаем их работой ради каких-то черепков; на них производили впечатление наши пробковые шлемы, эмблема “инженеров”\*, и они были уверены, что археология — это лишь предлог для каких-то более серьезных поисков.

Иногда тишину нарушали животные, которых почти не пугало присутствие людей: *veado* — олени с белыми хвостами, стаи небольших страусов эму или белые цапли, бродящие по воде.

По пути, прямо на ходу, на локомотив взбираются рабочие и едут, уцепившись сбоку за поручни. На две-

\* “Инженерами” именовали себя начальники отрядов старателей (см. главу 21). — Прим. ред.

надцатом километре остановка: здесь железнодорожная ветка заканчивается, и дальше приходится идти пешком к раскопу. Его можно издалека узнать по характерному виду *sarão*\*.

Вода в Пантанале, которая кажется стоячей, хоть медленно, но все же течет; она несет ракушки и тину, которые иногда скапливаются вокруг корней растений. Пантанал усеян этими островками торчащей зелени, называемыми *sarões*; в прежние времена они служили стоянками для индейцев, и теперь там можно найти следы их пребывания.

Так ежедневно мы добирались до нашего *sarão* по деревянным мосткам, которые соорудили из шпал, лежащих возле железнодорожной колеи; там мы проводили изнурительные дни, с трудом дыша и утоляя жажду нагретой солнцем болотной водой. Вечером за нами приезжал локомотив, а иногда одна из дрезин, прозванных дьяволами, которую рабочие, стоя по четырем углам тележки, двигали вперед, отталкиваясь шестами, словно гондольеры. Измученные и изнывающие от жажды, мы возвращались, чтобы провести бессонную ночь в пустынном Порту-Эсперанса.

На расстоянии ста километров находилась сельскохозяйственная ферма, которую мы избрали в качестве базы для экспедиции к *кадиуэу*. *Fazenda Francesa*\*\*, как ее называли на линии, занимала участок земли площадью около пятидесяти тысяч гектаров, по которому поезд проходил сто двадцать километров. На этих пространствах, поросших кустарником и сухой травой, бродило стадо численностью семь тысяч голов (в тропических районах пяти-десяти гектаров едва хватает для одного животного); периодически скот вывозили в Сан-Паулу по

---

\* *Sarão* — рощица, небольшая группа деревьев (португ.). — Прим. перев.

\*\*Французская Фазенда (порт.). — Прим. перев.



железной дороге, две или три станции которой находились в пределах фазенды. Станция Гуайкурус, обслуживающая поселок, своим названием была обязана воинственным племенам, некогда господствовавшим в этих окрестностях. *Кадиузу* — последние представители этой ветви, еще живущие на территории Бразилии.

Заправляли фермой два француза вместе с несколькими семьями пастухов. Я не помню имени младшего из них, а другого, которому было около сорока, звали Феликс Р. — “дон Феликс”, как его все уважительно называли. Он погиб несколько лет назад в стычке с индейцем.

Юность наших хозяев пришлась на Первую мировую войну, и, быть может, они даже принимали в ней участие; по своему темпераменту и способностям они вполне подходили для колонистов в Марокко. Уж не знаю, какую выгоду они надеялись получить от этой сомнительной авантюры в глухой провинции Бразилии. Во всяком случае, через десять лет после своего основания *Французская Фазенда* пришла в упадок из-за отсутствия оборотного капитала, поскольку все средства были истрачены на покупку земли, и ничего не осталось на улучшение поголовья скота и обновление инвентаря. В просторном бунгало, построенном в английском стиле, наши хозяева вели суровую жизнь наполовину скотоводов, наполовину торговцев. В сущности, контора фазенды была единственным центром снабжения в радиусе ста километров. *Empregados*, наемные работники, или пеоны, приходили сюда, чтобы отдать все, что заработали; их заработок записывался в счет погашения долга за товары, и таким образом ферма функционировала почти без денег. Поскольку цена товаров была в два-три раза выше обычной, предприятие могло быть рентабельным, если бы эта коммерческая сторона дела не сопровождалась побочным эффектом. Сердце разрывалось при виде того, как рабочие по субботам, принеся небольшое количество сахарного тростника, тут же прессовали его в *engenho* фазенды,

прессовочной машине, сделанной из грубо отесанных стволов, в которой стебли тростника измельчались вращением трех деревянных валиков; потом в больших железных чанах сок выпаривался над огнем, после чего его переливали в формы, в которых он застывал в бледно-желтые зернистые блоки, *rapadura*\*; затем работники загружали товар в ближайший магазин, в котором, уже в роли покупателей, они в тот же самый день по непомерно вздутой цене приобретали это единственное в сертане лакомство, чтобы отдать его своим детям.

Наши хозяева философски относились к своей роли эксплуататоров; не поддерживая вне работы контактов со своими служащими, а также лишенные соседей своего круга (поскольку между поместьем и ближайшими плантациями на парагвайской границе находилась индейская резервация), они вели очень суровый образ жизни, что, вероятно, было лучшим способом не пасть духом. Единственной уступкой обычаям континента были одежда и алкоголь: в этой пограничной области, где смешивались бразильские, парагвайские, аргентинские и боливийские традиции, они избрали одежду пампы: боливийскую шляпу из тонко сплетенной обожженной соломы с широкими загнутыми полями и высокой тульей, а также *ширинпу* (*chiripa*) — нечто вроде подгузника для взрослых, из хлопчатобумажной ткани нежных цветов в лиловую, розовую или голубую полосу, — оставляющую голыми ноги от середины бедра до высоких башмаков из грубого полотна, закрывающих икры. В более холодные дни *ширинпу* заменяли *бомбаша* (*bombacha*), широкие, как у зуавов, штаны, богато расшитые по бокам.

Почти все дни они проводили в *корале*, осматривая и отбирая скот для продажи. В клубах пыли, подгоняемые гортанным криком погонщиков (*capataz*), животные проходили перед хозяевами, которые делили их на несколько

---

\* *Rapadura* — неочищенный сахарный тростник. — Прим. перев.

групп. Зебу с длинными рогами, толстые коровы, испуганные телята прогонялись через дощатый коридор. Время от времени какой-нибудь бык упирался, не желая туда входить. Тогда сорок метров тонко сплетенного лассо раскручивается над головой *lassoeiro*\*, и в ту же секунду животное падает, а лошадь победоносно становится на дыбы.

Два раза в день — утром, в половине двенадцатого, и в семь часов вечера — все собирались под *перголой*\*\*, окружающей жилой дом, на ритуал *шимаррау* (*chimarrão*), питья *матэ*<sup>104</sup> через соломинку. Матэ — это дерево того же семейства, что и наша ива. Его ветви слегка обожженные дымом подземного очага, перемалываются в грубый порошок цвета резеды, который можно долго хранить в бочонках. Я имею в виду настоящее матэ, поскольку то, что продается в Европе под этой этикеткой, чаще всего претерпевает на своем пути столько изменений, что утрачивает всякое сходство с оригиналом.

Существует несколько способов питья матэ. Во время экспедиции, обессиленные и нетерпеливо жаждущие немедленно восстановить силы, мы удовлетворялись тем, что бросали горсть порошка в воду и, доведя до кипения, тут же снимали напиток с огня, что очень важно, поскольку иначе матэ теряет свой вкус. В этом случае напиток называется *cha de mate*, матэ, заваренное наоборот; он темнозеленого цвета и почти маслянистый, как крепкий кофе. Когда нет времени, можно ограничиться *tereré*: горсть порошка залить из пипетки холодной водой. Чтобы избежать горечи, можно также приготовить *mate doce*, как это делают прелестные парагвайские женщины; в этом случае следует посыпать порошок сахаром, помешивая на большом огне, залить эту смесь водой и процедить. Однако я не знаю любителя матэ, который не

---

\* *Lassoeiro* — бросающий лассо (исп., португ.). — Прим. перев.

\*\* *Pergola* — крытая галерея вокруг дома (исп., португ.). — Прим. перев.

предпочел бы всему остальному *шимарран* (*chimarrão*), каковой и употреблялся на fazende; это был одновременно и общественный ритуал, и индивидуальный порок. Все усаживаются вокруг маленькой девочки, *china*, которая приносит горелку, чайник и *cuia*, сосуд из тыквы-горлянки с носиком, украшенным серебром, или — как в Гуайкурусе — рог зебу, фигурно вырезанный пеоном. Сосуд на три четверти наполнен порошком, который девочка медленно пропитывает горячей водой: когда смесь превращается в кашицу, в ней делается углубление трубочкой из серебра, внизу оканчивающейся утолщением с дырочками; углубление делается очень осторожно, чтобы утолщение на трубочке опустилось как можно глубже, но одновременно чтобы между ним и кашецеобразной массой оставался какой-то зазор, где будет образовываться настой. Теперь *шимарран* уже готов, остается лишь еще раз насытить его водой и подать хозяину дома; тот потягивает два или три раза и возвращает сосуд; то же проделывают все по очереди, сначала мужчины, а потом женщины, если они принимают в этом участие. Вся процедура повторяется по кругу, пока сосуд не опустеет.

Первые глотки имеют замечательный вкус (во всяком случае, для посвященного, поскольку новичок может обжечься), он складывается из соприкосновения с горячим серебряным ободком сосуда и бурлящей водой, покрытой живительной пеной, горькой и собравшей в нескольких капельках весь аромат леса. В матэ содержится алкалоид, как в кофе, чае и шоколаде, но ровно в таком количестве, что он успокаивает и бодрит. После нескольких кругов матэ становится безвкусным, но осторожное помешивание трубочкой позволяет поднять со дна осадок и продлить удовольствие небольшой порцией горечи.

Конечно же, матэ несравнимо лучше амазонской *гуараны*, о которой речь пойдет позже, и, тем более, бразильской *коки*, сушеные листья которой при жевании быстро превращаются в волокнистый шарик со вкусом

ромашки; к тому же, она лишает чувствительности слизистую оболочку, так что язык становится как бы инородным телом. По-моему, с матэ сравним только бетель, смешанный с кореньями, хотя поначалу он отпугивает непривычным вкусом и запахом.

Индейцы *кадиуэу* жили в низинах левого берега реки Парагвай, отделенных от *Французской Фазенды* холмами Серра-да-Бодокены. Наши хозяева считали их бездельниками и тупицами, ворами и пьяницами и грубо гнали их с пастбищ, когда те пытались туда пробраться. Нашу экспедицию они считали обреченной на неудачу и, несмотря на бескорыстную помощь, которую они нам оказывали и без которой мы не смогли бы реализовать свои планы, относились к ней неодобрительно. Каково же было их удивление, когда через несколько недель они увидели, как мы возвращаемся с караваном груженных повозок: огромные кувшины из раскрашенной и гравированной керамики, шкуры ланей, украшенные арабесками, деревянная скульптура, представляющая погибший пантеон... Это было откровение, которое вызвало в них удивительные перемены: когда через два или три года дон Феликс посетил меня в Сан-Паулу, мне показалось, что он и его спутник, когда-то столь высокомерные по отношению к местному населению, превратились, как говорят англичане, в *gone native*\*.

Небольшой мещанский салон фазенды был теперь увешан расписанными шкурами, во всех углах стояли индейские вазы. Наши друзья играли в суданский или марокканский базар, как настоящие колониальные чиновники, роль которых им вполне подходила. Индейцы как постоянные поставщики принимались на фазенде и гостили там вместе с семьями в обмен на привезенные ими изделия. Как далеко зашли эти отношения? Трудно представить, чтобы одинокие мужчины смогли устоять перед

---

\**Gone native* — перенимавший местные обычаи (англ.).— Прим.перев.

чарам молодых индейских девушек, чьи полуобнаженные тела в праздничные дни искусно расписывались нежными черными или голубыми завитками, от чего кожа казалась покрытой драгоценным кружевом. Не знаю, как это случилось, но в 1944 или 1945 году дон Феликс был убит одним из своих новых знакомых; возможно, он оказался жертвой не столько индейцев, сколько того безумия, в которое за десять лет до этого его ввергло посещение начинающих этнографов.

Магазин фазенды обеспечил нас продовольствием: сушенным мясом, рисом, чечевицей, маниоковой мукой, матэ, кофе и рападурой. Нам также одолжили животных, лошадей для нас и быков для груза, который составляли товары, взятые нами для обмена на предметы для наших коллекций: детские игрушки, стеклянные бусы, зеркальца, браслеты, кольца и духи, а также ткани, одежда и инструменты. Работники фазенды должны были быть нашими проводниками, на что они согласились с большой неохотой, ибо мы разлучали их с семьями на рождественские праздники.

В деревнях нас уже ждали; как только мы прибыли на фазенду, индейцы *vaqueiros*\* разнесли весть о визите чужеземцев, которые привезут подарки. Это предстоящее событие очень взволновало индейцев, причем больше всего они боялись, что мы намерены *tomar conta*, то есть захватить себе их земли.

---

\* *Vaqueiros* — пастухи, погонщики (португ.). — Прим. перев.

## Глава 19

### Налике

Налике, главный город земли *кадиузу*, находится на расстоянии около ста пятидесяти километров от Гуайкуруса, то есть в трех днях пути верхом. Однако груженных быков надо было отправить заранее, поскольку идут они медленно. За один переход мы намеревались подняться на склоны Серры-да-Бодокены и заночевать на плоскогорье в последнем форпосте фазенды. Очень скоро мы углубились в поросшие высокой травой узкие долины, где лошади с трудом прокладывали себе путь. Переход еще более затрудняла топкая грязь. Ноги лошади разъезжаются, она, напрягаясь, пытается найти плотный грунт и вновь входит в густые заросли, где нам угрожает опасность: с какого-нибудь внешне безобидного листа может осыпаться укрывшийся там клубок *carrapates\**, целый рой оранжевой живности; насекомые забираются под одежду, покрывая тело живой пленкой и впиваясь в кожу. Жертве остается только один выход: опередить их, соскочив с лошади и сбросив с себя всю одежду, чтобы как следует ее вытряхнуть, в то время как кто-нибудь из спутников снимает их с его кожи. Менее опасны крупные одиночные паразиты серого цвета, которые проникают под кожу, не вызывая боли; порой их обнаруживаешь на себе лишь через несколько часов или даже дней; они раздуваются под кожей и так крепко впиваются в тело, что приходится вырезать их ножом.

---

\* *Carrapates* — разновидность клеща (португ.). — Прим. перев.

Наконец, заросли начинают редеть, уступая место каменистой дороге, которая по некрутому склону ведет к сухому лесу, где деревья растут вперемежку с кактусами. Гроза, которая собиралась с утра, разражается в тот момент, когда мы огибаем скалы, ошетилившиеся острыми иглами. Мы спешиваемся и пытаемся укрыться в глубокой расщелине; оказывается, что это влажный, но удобный грот. Едва мы в него входим, как он наполняется писком облепивших стены летучих мышей, *morcegos*, чей сон мы нарушили. Как только дождь прекращается, мы снова отправляемся в путь сквозь густой темный лес, наполненный свежими запахами и дикими плодами: это *женипана*, мясистая и терпкая на вкус; *гуавира*, растущая на полянах, о которой говорят, что она утоляет жажду путников своей всегда прохладной мякотью, и орехи *кажу*, наличие которых указывает на то, что здесь когда-то были плантации аборигенов.

Плато повторяет характерный пейзаж Мату-Гросу: высокие травы, редкие деревья. Мы приближаемся к цели по болотистой местности, где ветер покрывает рябью жидкую грязь, по которой бегают мелкие голенастые птицы. Вот и хижина — это сторожевой пост Ларгон, где мы застаем семью, занятую разделыванием туши молодого быка, *bezouro*; в окровавленном чреве быка, словно в лодке, сидят двое-трое голых ребятишек, издавая радостные крики. Над огнем, разведенным прямо под открытым небом и ярко пылающим в сумерках, жарится мясо, *шурраско* (*churrasco*), оплывая жиром; питающиеся падалью птицы *урубубу*<sup>105</sup> сотнями слетаются к месту забоя и вырывают у собак окровавленные отбросы.

Покинув Ларгон, мы идем “тропой индейцев”. Серра снижается крутым склоном, и приходится идти пешком, ведя под уздцы встревоженных лошадей. Дорога идет вдоль потока, которого не видно, но слышно, как вода плещется по камням и как шумит водопад; мы скользим на мокрых камнях и увязаем в грязных лужах, оставших-



ся после недавнего дождя. Наконец, у подножия серры мы попадаем в просторный амфитеатр, *campo dos indios*\*, где некоторое время отдыхаем вместе с лошадьми, прежде чем продолжить путь через болота.

В четыре часа пополудни мы начинаем готовиться к ночевке: выбираем несколько деревьев, чтобы между ними развесить гамаки и противомоскитные сетки; проводники разжигают костер и готовят ужин, состоящий из сушеного мяса и риса. Мы так хотим пить, что без всякого отвращения поглощаем целые литры смеси земли, воды и марганцовки.

Наступают сумерки. Через грязную кисею москитной сетки мы какое-то время наблюдаем зарево заката. Едва мы заснули, как уже нужно ехать; проводники будят нас и седлают лошадей. В эту жаркую пору года надо щадить животных и максимально использовать ночную прохладу. При свете луны, еще не совсем проснувшиеся, окоченевшие и дрожащие от холода, мы возвращаемся на нашу тропинку; лошади спотыкаются в темноте, а до рассвета еще несколько часов. Около четырех часов утра мы добираемся до Питоко, некогда крупного поста "Службы защиты индейцев". Теперь в нем осталось всего три разрушенных дома, пригодных разве что для того, чтобы между ними развесить гамаки. Река Питоко течет спокойно, она берет свое начало в Пантанале и через несколько километров вновь теряется в нем. Этот высыхающий летом поток без истока и устья кишит пираниями, которые опасны для неосторожных новичков, но не мешают купаться внимательным индейцам, горстка которых живет среди болот.

Мы в самом центре Пантанала: по пути встречаются то заполненные водой впадины между поросшими лесом холмами, то обширные болотистые пространства без единого деревца. Здесь предпочтительнее был бы оседлан-

---

\* *Campo dos indios* — лагерь индейцев (португ.). — Прим. перев.

ный бык, а не лошадь, поскольку это грузное животное, которым управляют при помощи веревки, продетой сквозь кольцо в носу, хотя и двигается медленно, но легче переносит изнурительный переход через трясину, иногда погружаясь в воду по шею.

Едва мы вышли на равнину, простирающуюся, вероятно, до самой реки Парагвай и такую плоскую, что вода с нее не стекает, как разразилась гроза, самая страшная из всех, какие мне довелось пережить. Вокруг не было ни одного укрытия, ни одного дерева. Не оставалось ничего другого, как только идти вперед под потоками воды и под ударами молний, которые обстреливали нас справа и слева, как снаряды заградительного огня. Эта попытка продолжалась два часа, затем дождь прекратился, а вернее, переместился, и мы наблюдали, как стена хлещущего ливня медленно продвигается вдоль горизонта, будто все это происходит в открытом море. Но вот на краю равнины вырисовывается глинистая терраса высотой в несколько метров, а на ней на фоне неба проступают силуэты десятка хижин. Мы прибыли в Энженью, неподалеку от Налике, намереваясь расположиться именно здесь, а не в прежней столице, которая в 1935 году состояла всего из пяти хижин.

Для неопытного глаза эти селения мало отличались от ближайших деревень бразильских крестьян, на которых аборигены были похожи и по манере одеваться, а зачастую, и по внешности, поскольку среди них было много метисов. Однако их язык был совсем другим. Фонетика *гуайкуру* приятна для уха: быстрая речь, длинные слова с преобладанием выразительных гласных, чередующихся с зубными и гортанными согласными, обилие мягких и плавных звуков производят впечатление журчащего ручейка, бегущего по камням. Современное название *кадицуэу* — это искаженный вариант слова *кадицзэгоди*, которым называли себя аборигены. Наши хозяева почти

не знали португальского, а я, конечно же, не смог бы изучить их язык за столь короткое время.

Каркасами хижин служили очищенные от коры стволы, вкопанные в землю и поддерживающие балки, которые были уложены в верхние развилки ветвей, оставленные дровосеками. Покрытие из увядших пальмовых листьев образовывало двускатную крышу; но, в отличие от бразильских хижин, здесь не было стен. Таким образом, эти строения были чем-то средним между домами белых (у которых индейцы позаимствовали форму крыши) и прежними жилищами индейцев — навесами с плоскими покрытиями из циновок.

Размеры этих примитивных жилищ были внушительны: лишь некоторые из них занимала одна семья; в других, похожих на длинные ангары, ютилось до шести семей, каждая из которых владела территорией, ограниченной столбами подпорок и отгороженной дощатыми перегородками. Люди проводят там время лежа или сидя среди лосиных шкур, лоскутов хлопчатобумажной ткани, калебас, сетей и корзин, которые сложены в пирамиды или развешаны, где только можно. В углах стоят большие расписные сосуды для воды, укрепленные на треногах, воткнутых в землю нижним концом и часто украшенных резьбой.



Рис.5. Глиняный сосуд для воды, расписанный черной смолой по ярко-красному фону

Когда-то жилища *кадиузу* представляли собой “длинные дома”, как у ирокезов; некоторые из них своим внешним видом еще оправдывают это название, но теперь соединение нескольких семей, как правило, обусловлено совместным трудом, а не прежним обычаем матрилокальных браков<sup>106</sup>, когда зятья со своими семьями поселялись у родителей жены.

Впрочем, в этой убогой деревушке чувствовалось, что прошлое уже далеко, не осталось даже воспоминания о

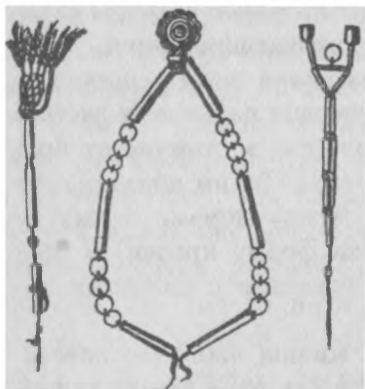


Рис. 6. Украшения *кадиуэу* из перекованных монет и наперстков

том благополучии, которое застал здесь всего сорок лет назад художник и исследователь Гвидо Боджани, дважды посетивший эти места — в 1892 и 1897 годах; он оставил после себя значительную этнографическую коллекцию, ныне находящуюся в Риме, и замечательный путевой дневник. Три поселения насчитывали не более двухсот человек, живущих охотой, сбором диких плодов, содержанием нескольких быков и мелкой птицы, а также выращиванием маниоки на небольших участках, которые виднелись по ту сторону единственного источника, протекающего у подножия террасы. В этом источнике мы умывались, осаждаемые тучами комаров, и черпали из него переливающуюся, как опал, сладковатую на вкус воду.

Помимо плетения из соломы, изготовления хлопчатобумажных поясов, которые носили мужчины, перековки монет — чаще никелевых, а не серебряных — на кольца и трубочки для ожерелий, керамика была здесь основным занятием. Женщины смешивали глину из реки Питако с

том благополучии, которое застал здесь всего сорок лет назад художник и исследователь Гвидо Боджани, дважды посетивший эти места — в 1892 и 1897 годах; он оставил после себя значительную этнографическую коллекцию, ныне находящуюся в Риме, и замечательный путевой дневник. Три поселения насчитывали не более двухсот человек, живущих охотой, сбором диких плодов, содержанием нескольких



Рис. 7. Три разновидности керамики *кадиуэу*

толченой корой, скатывали из получившейся массы жгуты, свивали их в спирали и соединяли их, похлопывая по ним руками, пока предмет не приобретал форму; еще влажный сосуд украшался тисненными рисунками, которые делались при помощи веревочек, и раскрашивался окисью железа, которую можно найти в горах серры. Затем сосуд обжигался под открытым небом, после чего оставалось только завершить декорирование горячего изделия двумя видами лака из растопленной древесной смолы: черным из камеди “пау-санто” и желтым, прозрачным из камеди “анжико”. Когда сосуд остывал, его натирали белым порошком — мелом или пеплом, — чтобы сделать рисунок более контрастным.

Женщины делали для детей фигурки людей или животных из всего, что попадало им под руку: из глины, воска и даже из сухих стручков, которым придавали форму, слегка подправляя их глиной.

В руках детей можно было увидеть и статуэтки, вырезанные из дерева и украшенные мишурой; детям они служили куклами, но точно такие же фигурки старые женщины бережно хранили в глубине своих корзин. Что это было: игрушки либо изображения божеств или предков? Трудно определить, поскольку противоречивый обычай допускал использование одной и той же фигурки и в той, и в другой роли. Некоторые из этих фигурок, ныне находящиеся в Музее Человека<sup>107</sup>, несомненно, являются предметами культа, ибо в одной из них можно узнать Мать Близнецов<sup>108</sup>, в другой — Старца<sup>109</sup>, бога, который сошел на землю и стал жертвой человеческой жестокости, а затем наказал всех людей, за исключением одной семьи, вставшей на его защиту.



Рис. 8. Две статуэтки: слева — из камня, справа — из дерева, — представляющие мифологических персонажей

Однако было бы опрометчиво считать передачу “свя-  
 тых” детям для игры свиде-  
 тельством вырождения культа,  
 поскольку ту же самую ситу-  
 ацию, которая кажется нам  
 признаком изменений, сорок  
 лет назад описал Боджани и  
 десять лет спустя Фрич. Это  
 подтверждают и наблюдения,  
 сделанные через десять лет  
 после моих. Феномен, неиз-  
 менный на протяжении пятидесяти лет, должен считаться  
 нормальным; следовало бы искать его объяснение не столько  
 в разложении — которое, конечно же, происходит —  
 религиозных верований, сколько в особом, более распро-  
 страненном, чем нам кажется, способе истолкования отно-  
 шений между сакральным и профанным. Это противопос-  
 тавление не столь абсолютно и не так постоянно, как это  
 часто утверждается.

В хижине по соседству с моей жил колдун; его  
 снаряжение составляли круглый табурет, соломенный ве-  
 нок, трещотка из тыквы, покрытой бисерной сеткой, и  
 плюмаж из страусовых перьев для ловли “зверей” *бишос*,  
 злых духов, которые вызывают болезни; целительская  
 процедура обеспечивала изгнание этих духов, благодаря  
 противостоящей им силе *бишо* колдуна, то есть его духа-  
 хранителя. Именно этот дух-хранитель приказал своему  
 подопечному не отдавать мне эти ценные предметы, к  
 которым — как он повелел мне сообщить — “он привык”.

В этом селении мы стали свидетелями праздника по  
 случаю совершеннолетия одной девушки, живущей в со-  
 седней хижине. Он начался с того, что девушку нарядили  
 в соответствии с древней традицией: хлопчатобумажное  
 платье заменил прямоугольный кусок материи, обернутой  
 вокруг тела и закрепленной под мышками. Плечи, руки и



Рис. 9. Две деревянные ста-  
 туэтки: слева — Старец,  
 справа — Мать Близнецов

лицо были украшены богатыми узорами, а на шее висели все бусы, какие только были под рукой. Впрочем, возможно, все это делалось не только ради соблюдения привычного ритуала, но и ради того, чтобы произвести на нас впечатление. Молодых этнографов предупреждают, что аборигены боятся фотографироваться и поэтому следует их успокаивать и вознаграждать за подобный риск подарками или деньгами. Индейцы *кадиуэу* довели эту систему до совершенства: они не только требовали плату за разрешение сделать фотографии, но просто вынуждали меня фотографировать, а потом платить. Не было дня, чтобы какая-нибудь женщина не появилась передо мной в необычайном одеянии и не пожелала, чтобы я — хочу я того или нет — воздал ей должное щелчком фотоаппарата и несколькими мильрейсами. Экономя пленку, я часто только делал вид, что снимаю, и платил.

Однако это был бы очень плохой этнографический метод, если бы я старался не поддаваться этим хитростям или же считал их проявлением развращенности и меркантильности. Ведь здесь в несколько иной форме проявились характерные черты, издавна свойственные индейскому обществу: независимость и авторитет знатных женщин, желание похвастаться перед чужеземцем и притязание на уважение общины. Наряд мог быть самым фантастическим и импровизированным, но стоящий за этим стиль поведения сохранял свою значимость, и мне следовало воссоздать его в соответствии с традиционными установлениями.

Это же справедливо и в отношении того действия, которое началось после обрядового украшения девушки в набедренную повязку. С полудня начали пить *пингу*, водку из сахарного тростника; мужчины уселись в кружок и громко хвалились друг перед другом, называя себя титулами, заимствованными из низшей армейской иерархии (единственной, которую они знали): капрал, адъютант, лейтенант или капитан. Эта торжественная попойка была описана еще путешественниками XVIII века; вожди восседали

на почетном месте, их обслуживали оруженосцы, в то время как глашатаи перечисляли титулы пьющего и его великие деяния. Индейцы *кадицуэу* реагируют на алкоголь любопытным образом: после периода возбужденного состояния они впадают в угрюмое молчание, а затем начинают рыдать. Тогда двое менее пьяных людей берут отчаявшегося под руки и прогуливаются с ним, нашептывая ему слова утешения и симпатии до тех пор, пока пьяного не вырвет. После этого все трое возвращаются на свои места, и пиршество продолжается.

Все это время женщины пели быструю мелодию из трех нот, повторяя ее без конца; время от времени появлялись старухи, которые, выпив водки, неожиданно устремлялись в атаку на земляную насыпь, падая, жестикулируя и выкрикивая непонятные слова; все это сопровождалось смехом и шутками. И это тоже нельзя считать странными выходками старых пьянчужек, поскольку ранние авторы утверждают, что торжества, посвященные самым важным моментам развития ребенка благородного происхождения, сопровождались разнообразными костюмированными сценками, где все роли играли женщины: шествиями воинов, танцами и турнирами. Этих нищих крестьян, затерявшихся среди болот, могло хватить лишь на убогое представление, но именно в условиях этой деградации тем более трогательной была их верность традициям прошлого.



# Индийское общество и его стиль

Совокупность обычаев какого-либо народа всегда характеризуется определенным стилем: эти обычаи образуют систему. Я убежден, что количество этих систем не безгранично и что человеческие сообщества, равно как и отдельные индивидуумы — в своих играх, фантазиях и безумствах, — никогда не создают их заново как нечто абсолютное, но ограничиваются выбором определенных комбинаций из того существующего набора идей, который можно было бы воссоздать. Попытка упорядочить все комбинации, которые можно наблюдать, которые отражены в мифах и которые проявляются в играх детей и взрослых, в сновидениях здоровых и больных людей, а также в патологическом поведении, привела бы к созданию системы, подобной периодической таблице химических элементов, где все реальные или просто возможные обычаи были бы отнесены к определенным группам, а мы распознавали бы среди них те, которые были приняты определенными обществами.

В частности, это касается *мбайя-гуайкуру*, последними представителями которых являются *кадицузу* в Бразилии, а также *тоба* и *пилага* в Парагвае. Их цивилизация, безусловно, дает повод для сравнения с воображаемой цивилизацией, созданной в традиционной игре нашего общества; прекрасную модель этой цивилизации явила нам фантазия Льюиса Кэрролла: рыцари-индейцы были

похожи на карточные фигуры. Это сходство обозначилось уже в самом их наряде: туники и накидки из шкур, делающие плечи более широкими и спадающие жесткими складками, были украшены черными и красными рисунками, которые авторы прошлого сравнивали с узорами на турецких коврах и которые повторяли мотивы пик, червей, бубен и треф.

У них были свои короли и королевы, и “короли”, как в “стране чудес” Алисы, любили играть отрубленными головами, которые им приносили “рыцари”. Высокородные дамы и сеньоры развлекались на турнирах; они были избавлены от тяжелых работ, которые выполняли люди из племени *гуана*, поселившиеся здесь еще до их прихода и отличающиеся от них языком. Последние представители этого народа, *терено*, живут неподалеку от небольшого городка Миранда в правительственной резервации, которую мне также довелось посетить.

Индейцы *гуана* обрабатывали землю и платили дань сельскохозяйственными продуктами сеньорам из племени *мбайя* в обмен на их покровительство, пытаясь обезопасить себя от грабежей вооруженных воинов. Один немец, в XVI

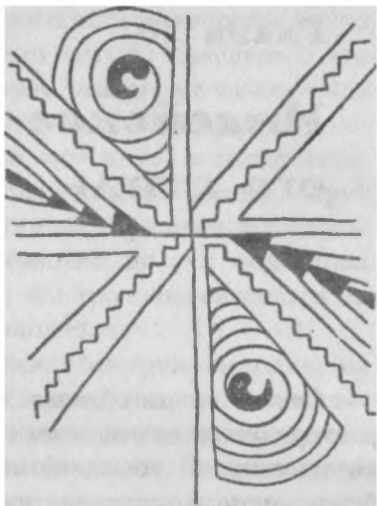


Рис. 10-11. Орнаменты *кадиуэу*



веке отважившийся посетить эти края, сравнил бытовавшие здесь отношения с современными ему отношениями между феодалами и их подданными в Европе.

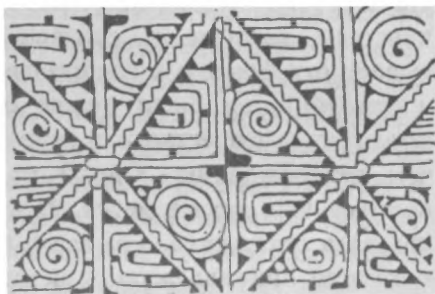
*Мбайя* были разделены на касты; на вершине общественной лестницы находилась знать, составляющая два сословия: наследственная родовая знать и титулованные особы, получавшие титул преимущественно по причине совпадения дня их рождения с днем рождения ребенка из знатного рода. Кроме того, родовая знать разделялась на старшие и младшие ветви. Далее шли воины; лучшие из них, получив посвящение, принимались в члены братства, что давало им право носить особые имена, а также использовать искусственный язык, образованный путем добавления суффиксов к каждому слову, как это делается в некоторых жаргонах. Рабы *шамакоко* или другого происхождения и подданные *гуана* составляли чернь; к тому же, *гуана* приняли разделение на три касты, наследуя традиции своих господ.

Аристократы подчеркивали свое превосходство, раскрашивая свое тело с помощью трафарета или татуировки, причем эти росписи были равнозначны гербам.

Они полностью удаляли волосы на лице, в том числе даже брови и ресницы, и с отворачиванием смотрели на “братьев-страусов” — заросших европейцев. Знатных мужчин и женщин сопровождала свита рабов и слуг, которые суеились вокруг



Рис. 12-13. Мотивы росписи на теле



них, пытаясь избавиться от малейших усилий. Еще в 1935 году уродливые старухи, разрисованные и обвешанные безделушками, были лучшими рисовальщицами, теперь же они забросили ремесло и оправдывались тем, что были вынуждены это сделать, лишившись рабынь, *cativas*, которые раньше были у них в услужении. В Налике еще оставалось несколько бывших рабов *шамакоко*; их приняли в сообщество, но все же относились к ним свысока.

Высокомерие этих сеньоров смущало даже испанских и португальских завоевателей, которые жаловали им титулы “дон” или “донья”. Рассказывали, что белая женщина могла не опасаться насилия со стороны *мбайя*, ибо ни один воин не мог допустить мысли о том, чтобы запятнать себя такой низкой связью. Некоторые дамы *мбайя* отказывали во встрече даже жене вице-короля, поскольку лишь королева Португалии была достойна их общества. Одна девушка, некая донна Катарина, отклонила приглашение губернатора Мату-Гросу посетить Куябу, потому что она достигла совершеннолетия и считала, что этот господин мог попросить ее руки, а она не могла ни вступить в неравный для себя брак, ни оскорбить его своим отказом.

Наши индейцы были моногамны, но молодые девушки иногда изъявляли желание разделить приключения воинов и становились их оруженосцами, прислужницами и любовницами. В свою очередь, знатные дамы держали при себе чичисбеев, которые зачастую были и любовниками, а их мужья не проявляли особой ревности, чтобы не уронить своего достоинства. Это общество противилось чувствам, которые мы считаем естественными; оно испытывало отвращение к воспроизведению потомства; аборт и детоубийства были делом обычным, так что группа продолжала существовать скорее благодаря усыновлению, чем деторождению. Одной из главных целей военных походов был захват детей. В начале XIX столетия существовала статистика, что всего лишь 10 % членов племени *гуайкуру* принадлежало к нему по крови.

Если ребенок все же рождался, то родители не занимались его воспитанием, а отдавали его в другую семью и изредка его навещали; согласно ритуалу, тело детей раскрашивали в черный цвет, по отношению к ним использовалось название, которым аборигены позже называли первых увиденных ими негров. На четырнадцатом году жизни дети проходили посвящение, их мыли и сбрасывали одну из двух концентрических корон волос, которые они до тех пор носили.

Рождение ребенка в знатной семье становилось поводом для праздников, повторяющихся на каждом этапе развития ребенка: отлучение от груди, первые шаги, участие в играх и т.д. Глашатаи выкрикивали титулы семьи и предрекали новорожденному великое будущее; если в этот день рождался другой ребенок, он становился его “братом-воином”. Организовывались попойки, во время которых подавался напиток из меда в сосудах, сделанных из рогов или черепов; женщины, переодетые воинами, разыгрывали батальные сцены. Знатным людям, сидевшим в порядке, соответствующем их достоинству, прислуживали рабыни, которые не имели права пить, поскольку должны были помогать господам облегчиться рвотой в случае необходимости, а также заботиться о них, пока те не уснут в предвкушении восхитительных видений, навеянных алкоголем.

Гордыня всех этих Давидов, Александров, Цезарей, Карлов, этих Рахилей, Юдифей, Паллад и Аргин, этих Гекторов, Огиров, Ланселотов и Лаиров основывалась на непоколебимой вере в то, что их предназначение — повелевать народами. В этом их убеждал миф, который мы знаем только во фрагментах, миф, который отшлифован столетиями и сияет ослепительной простотой; он является наиболее сжатым выражением той данности, которую я впитал позднее во время своего путешествия на Восток: установление уровней подчиненности является функцией окончательно сформировавшегося общества. Вот этот миф.

Когда Верховное Существо Гоноэноходи<sup>110</sup> решил создать людей, он сначала извлек из земли племя *гуана*, а затем — другие племена; первому он дал земледелие, другим — охоту. Обманщик, который также является божеством туземного пантеона, заметил, что о племени *мбайя* забыли, оставив его в глубине земли; он извлек его оттуда, но поскольку все занятия были уже распределены, *мбайя* получили право на единственную оставшуюся вакантной функцию угнетения и эксплуатации других. Существовали когда-нибудь более хитроумный общественный договор?<sup>111</sup> Эти персонажи из рыцарских романов, которые заняты жестокой игрой в престиж и власть внутри общества и вдвойне заслуживают того, чтобы называться *à l'emporte-pièce*\*, создали графическое искусство, по своему стилю несравнимое ни с чем, что осталось от доколумбовой Америки; оно напоминает изображения на наших игральных картах. Я уже говорил об этом, но сейчас хочу описать эту необычную особенность культуры *кадиуэу*.

В этом племени мужчины — скульпторы, а женщины — художницы. Мужчины вырезают из твердого синеватого гваякового дерева (*gaiac*) фигурки, о которых я упоминал, а также украшают орнаментами, изображающими людей, страусов и лошадей, чаши из рога зебу. Иногда они тоже рисуют, но обычно растения, людей или животных. Привилегией женщин является роспись керамики и кож, а также рисунки на теле, в чем некоторые из них истинные мастерицы.

Их лица, а иногда и все тело, покрыты сеткой асимметричных арабесков с вплетенными в них изысканными геометрическими узорами. Впервые их описал миссионер-иезуит Санчес-Лабрадор<sup>112</sup>, который жил среди индейцев с 1760 по 1770 год, но потребовалось еще целое столетие, чтобы Боджани воспроизвел их в точности. В 1935 году я собрал сотни узоров. Происходило это следующим обра-

---

\* *Emporte-pièce* — пробойник; *à l'emporte-pièce* — метко, откровенно, напрямую (франц.). — Прим. перев.

зом: сначала я намеревался фотографировать лица, но финансовые требования прекрасной половины племени быстро исчерпали мои ресурсы. Тогда я начал делать наброски лиц на листах бумаги и предлагал женщинам разрисовывать их так, как они разрисовывали бы собственные лица; успех был столь ошеломляющим, что я отказался от своих собственных неумелых эскизов. Рисовальщиц несколько не смущали белые листы бумаги, что указывает на индифферентность их искусства к естественному строению человеческого лица.

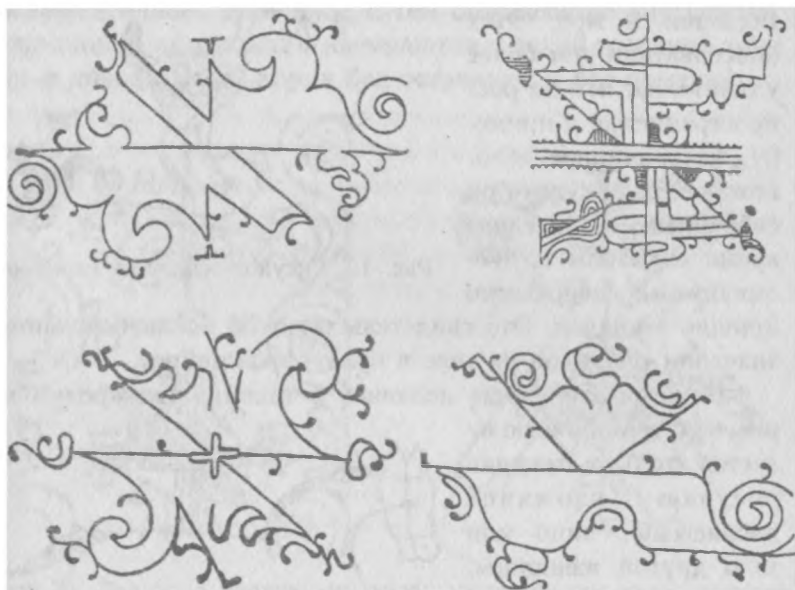


Рис.14-17. Мотивы нательных росписей

Поскольку лишь некоторые очень старые женщины сохранили в этом деле истинное мастерство, я долгое время пребывал в убеждении, что моя коллекция включает в себя последние сохранившиеся образцы этого искусства. Каково же было мое удивление, когда два года назад мне в руки попало иллюстрированное издание, в котором была описана коллекция, собранная одним бразильским коллегой-этнографом спустя пятнадцать лет после моей! Его

иллюстрации не только были выполнены столь же уверенной рукой, но некоторые мотивы были просто идентичными. На протяжении всего этого времени стиль, техника и источник вдохновения остались теми же — точно так же, как они не изменились в течение сорока лет, разделяющих путешествия Боджани и мое. Этот консерватизм тем более удивителен, что не распространяется, к примеру, на гончарное дело, которое, если судить по собранным в последнее время образцам и публикациям, совершенно пришло в упадок. Это свидетельствует об исключительном значении рисунков на теле в культуре индейцев.



Рис. 18. Рисунок мальчика *кадицуэ*

Некогда эти узоры делались в технике татуировки и рисунка; сегодня используется только техника рисунка. Художница расписывает лицо или тело другой женщины, иногда — мальчика. Мужчины быстрее забывают обычаи. С помощью тонкого шпателя из бамбука, погруженного в сок *женипаны*\* — сначала бесцветный, потом,

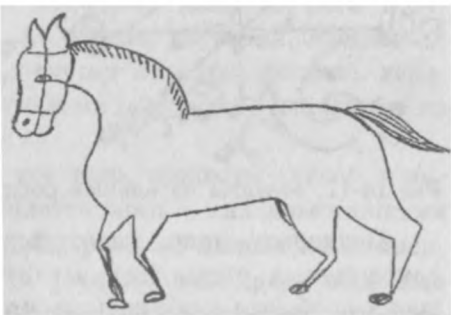


Рис. 19. Еще один рисунок того же автора

\* *Генипаро* — растение, из сока которого индейцы делают черную краску. — Прим. перев.



вследствие окисления, сине-черный, — художница импровизирует на живом теле, не имея перед собой никакого узора, эскиза или образца; она украшает верхнюю губу узором в форме лука, завершающегося с двух концов спиралями, затем разделяет лицо вертикальной линией, иногда пересеченной линией горизонтальной. Лицо, разделенное на четыре части симметрично или даже по диагонали, произвольно расписывается арабесками, которые располагают, как на плоской картине, не выделяя глаза, нос, щеки, лоб или подбородок. Замысловатые и асимметричные, но вместе с тем обладающие внутренней гармонией, композиции начинаются с какой-то одной точки и доводятся до конца без остановки и без пометки.

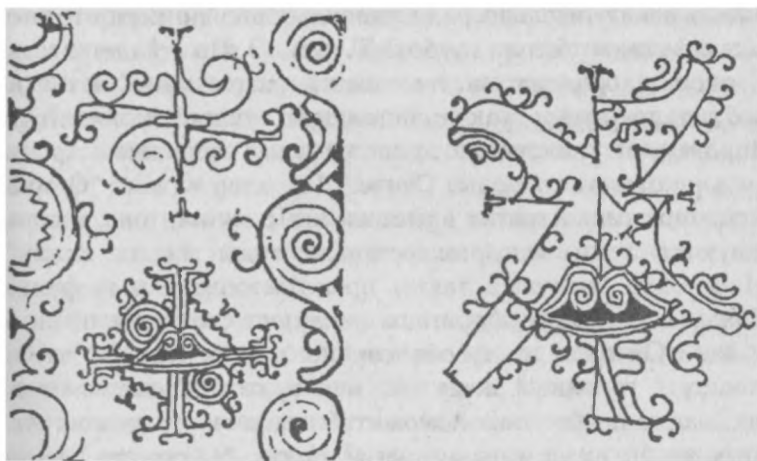


Рис.20. Два вида росписи на лице: примечателен узор из двух соприкасающихся спиралей, который украшает верхнюю губу

В основе росписи лежат внешне простые мотивы, такие, как спирали, кривые в форме буквы “S”, кресты, геральдические ромбы, меандры и вольты, но эти узоры так скомбинированы, что каждый участок имеет свой собственный оригинальный характер: среди четырехсот рисунков, собранных в 1935 году, я не нашел двух одинаковых; однако, сравнивая эту коллекцию с собран-

ной позднее, я обнаружил обратное, поэтому можно сделать вывод, что неизмеримо богатый репертуар художниц, тем не менее, ограничен традицией. К сожалению, ни мне, ни моим преемникам не удалось раскрыть теорию, лежащую в основе этой стилистики: информаторы называют некоторые термины, которыми они обозначают наиболее часто встречающиеся мотивы, но ссылаются на незнание или забывчивость, если речь идет о более сложных украшениях. Следовательно, либо художницы действительно работают на основе практического навыка, передаваемого из поколения в поколение, либо они хотят сохранить в тайне секреты своего искусства.

Сегодня индейцы *кадицзу* занимаются нательной росписью исключительно ради удовольствия, но когда-то этот обычай имел более глубокий смысл. По свидетельству Санчеса-Лабрадора, знатные касты разрисовывали только лоб, в то время как простолюдин украшал все лицо. Впрочем, и у индейцев лишь молодые женщины стремились не отстать от моды. Санчес-Лабрадор пишет: "Старые женщины редко тратят время на эти рисунки; они довольствуются теми, которые оставили годы на их лицах". Миссионер возмущен таким пренебрежением к творению Создателя: почему аборигены изменяют свой естественный облик? Он ищет этому объяснение: не для того ли, чтобы обмануть голодный желудок, они тратят долгие часы на рисование арабесков? А может быть, они это делают для того, чтобы их не узнали враги? Какую бы гипотезу он ни выдвигал, речь всегда идет об обмане. Почему? Хотя миссионер испытывает отвращение к этим рисункам, он понимает, что для аборигенов они имеют огромное значение, что для них они в определенном смысле являются самоцелью. Поэтому-то он и обвиняет этих людей, которые тратят целые дни на рисование и забывают об охоте, рыбной ловле и своих семьях. "Почему вы такие глупые?" — спрашивали индейцы у миссионеров. "А почему это мы глупые?" — спрашивали те в ответ. "Потому что вы не раскрашиваете себя, как делают это *эвигуайеги*."

Надо быть раскрашенным, чтобы считаться человеком; кто остается в естественном виде, не отличается от животного.

Без сомнения, то, что этот обычай сохранился именно у женщин, можно объяснить причинами эротического характера. Женщины *кадиуэу* славятся по обе стороны реки Парагвай; множество метисов и индейцев из других племен прибывает сюда, чтобы жениться и обосноваться в Налике. Вероятно, этой привлекательностью женщины *кадиуэу* обязаны рисункам на лице и теле — во всяком случае они символизируют и укрепляют силу их обаяния. Тонкие и изящные контуры, выразительные, как черты лица, подчеркивают привлекательность женщины, придавая ей нечто чарующее, вызывающее. Эта художественная хирургия подобна прививке искусства на человеческом теле. И когда Санчес-Лабрадор, протестуя, утверждает, что это “противопоставление искусственного уродства естественной красоте Природы”, то он противоречит сам себе, поскольку в следующих строках он говорит, что самые прекрасные из тканей не могут соперничать с этими рисунками. По-видимому, нигде и никогда эротическое воздействие грима не использовалось столь систематично и сознательно.

Рисунки на лице, равно как и практика искусственных выкидышей и детоубийство, позволяли племенам *мбайя* дать выход той самой ненависти к природе. Искусство аборигенов провозглашает высокомерное презрение к глине, из которой мы вылеплены, и в этом смысле граничит с грехом. С этой точки зрения, Санчес-Лабрадор как иезуит и миссионер проявил исключительную зоркость, угадав в нем демоническое начало. Он также подчеркивает прометеевский элемент в этом искусстве дикарей, когда описывает технику, при помощи которой индейцы покрывали свое тело узорами в форме звезд: “Таким образом, каждый *эвикуайеги* считал себя кем-то вроде Атланта, который уже не только на плечах и руках, но и на всем своем теле носит неумело воспроизведенную вселенную”. Неужели объяснение удивительного искусства *кадиуэу* в том и со-

стоит, что с его помощью человек выражал свой протест против того, чтобы быть простым отражением образа бога?

Вглядываясь в штриховые, спиральные и винтообразные узоры, которые облюбовало это искусство, я не могу не вспомнить об испанском барокко с его орнаментами из кованого железа и техникой стукко. Может быть, перед нами примитивная форма искусства, заимствованного у завоевателей? Без сомнения, индейцы перенимали чужие идеи, и тому немало примеров. На следующее утро после того, как индейцы впервые посетили европейский корабль, проходящий по реке Парагвай, моряки с “Мараканьи” увидели на их телах узор в форме якоря; один индеец даже позволил нарисовать на своем теле в точности воспроизведенный мундир — с пуговицами, галунами, портупеей и фалдами. Все это доказывает лишь одно: индейцы *мбайя* уже владели техникой натальной росписи и достигли в этом искусстве высокого мастерства. Более того, хотя в доколумбовой Америке их стиль, изобилующий завитками и волнистыми линиями, был редкостью, существуют аналоги с археологическими находками из различных мест континента. Некоторые из этих находок на много веков старше открытия Америки: Хопвел в долине реки Огайо и керамика племени *каддо*, недавно обнаруженная в долине Миссисипи; Сантарен и Маражо в устье Амазонки и Чавин в Перу. Уже сама эта географическая разбросанность является признаком древности.

Подлинная проблема состоит в другом. Изучая рисунки *кадиуэу*, неизменно приходишь к убеждению, что их оригинальность заключена не в основных мотивах, достаточно простых для того, чтобы их придумать или заимствовать (по-видимому, происходило и то, и другое), а в том, как эти мотивы сочетаются между собой — то есть это оригинальность результата, законченного произведения искусства. Композиционные приемы столь утончены и систематичны, что значительно превосходят аналогичные образцы европейского искусства эпохи Возрождения,

которые могли быть известны индейцам. Независимо от того, что являлось исходной точкой, столь поразительный уровень развития можно приписать только особым индейским факторам.

В свое время я уже пытался охарактеризовать некоторые из этих факторов, сравнивая искусство *кадиуэу* с подобным искусством других культур: Древнего Китая, северо-западного побережья Канады, Аляски, Новой Зеландии\*. Гипотеза, которую я здесь представляю, отличается от более ранней интерпретации, но не противоречит ей, а скорее дополняет ее.

Как я уже отметил, для искусства *кадиуэу* характерен дуализм: мужчины являются скульпторами, женщины — художницами. Мужчины привержены репрезентационному, реалистическому стилю, несмотря на стилизацию, в то время как в женском искусстве отсутствует изобразительность. Здесь я ограничусь описанием женского искусства, однако хотел бы подчеркнуть, что этот дуализм проявляется также и на других уровнях.

Женщины применяют два стиля, оба декоративны и абстрактны. Один использует углы и геометрию, другой — свободный, с завитками и волнистыми линиями. Чаще всего композиции построены на сочетании этих стилей. К примеру, один применяется в обрамлении или орнаменте, другой — в основном рисунке; это еще заметнее в керамике, где обычно геометрический узор украшает горлышко, а волнообразный — брюшко сосуда, или наоборот. Завитки и волнистые линии чаще используются для росписи лица, а геометрический узор — для тела, хотя нередко для дополнительного выделения частей тела они украшаются разными узорами, каждый из которых является комбинацией обоих стилей.

---

\* C. Lévi-Strauss. Le dédoublement de la représentation dans les arts de l'Asie et de l'Amérique // *Renaissance*. T.1-2.— N.Y., 1944-1945. [См.: К. Леви-Строс. Структурная антропология. Гл. XIII.— М.: Наука, 1985.— С. 216-240.— Ред.]

Законченное произведение всегда композиционно уравновешено; принцип равновесия соблюдается и в технике, поскольку обычно используется два приема: узор, поначалу плоский, контурный, постепенно становится объемным (посредством штриховки, как мы это делаем, когда рисуем машинально); большинство произведений основано на комбинации этих двух приемов, и, как правило, основной узор и фон занимают приблизительно одинаковое пространство, поэтому можно воспринимать композицию двояким образом, взаимозаменяя элементы, играющие ту или другую роль, — любой мотив можно толковать как позитив или негатив. К тому же, в узоре часто заложен двойной принцип: симметрия и асимметрия используются одновременно, что выражается в форме противопоставленных друг другу регистров, границы которых редко очерчиваются вертикальными или горизонтальными линиями; чаще это косые пересекающиеся линии, которые делят пространство на четыре или на восемь полей. Я намеренно использую геральдические термины, ибо все эти закономерности, несомненно, восходят к принципам, на которых основана геральдика.



Рис. 21. Орнамент рисунка на коже

Проведем анализ на конкретном примере: вот рисунок на теле, который кажется совсем простым (рис.22-23).

Волнистыми пересекающимися линиями ограничены веретенообразные поля правильной формы; внутри них помещены небольшие ромбы, по одному в каждом поле. Но если присмотреться повнимательнее, это описание

окажется ошибочным. Вероятно, его можно считать верным применительно к законченной росписи, но художница не задумывала свой рисунок как волнистые линии, чтобы затем каждый промежуток украсить ромбиком; она использовала другой, более сложный метод. Она работала, как укладчик мостовой, постепенно выстраивая ряды с помощью одинаковых элементов, каждый из которых составлен следующим образом: два выгнутых влево и вправо отрезка ленты образуют веретенообразное поле, в центре которого размещается прямоугольник. Элементы

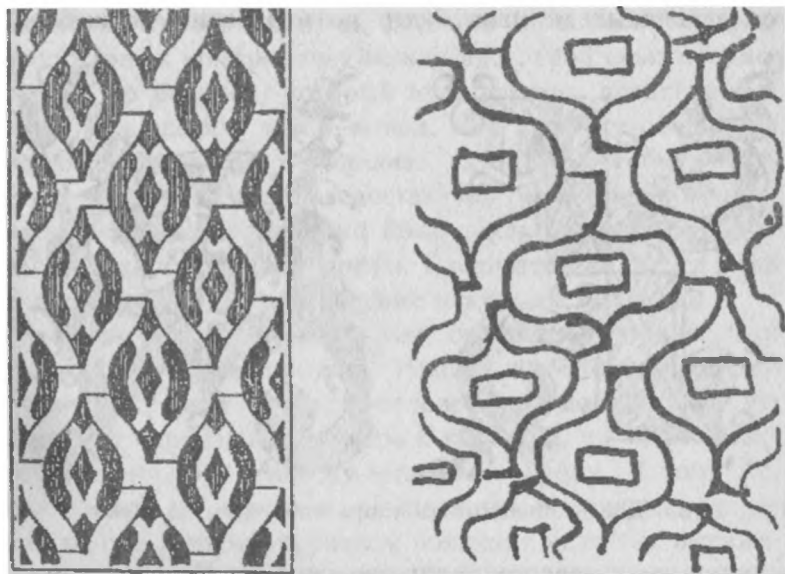


Рис. 22-23. Росписи на теле: слева — из коллекции Боджани (1895 г.), справа — из коллекции автора (1935 г.)

цепляются один за другой, и лишь в конце композиции обретает симметрию, которая подтверждает и раскрывает этот динамичный способ исполнения.

Таким образом, стиль *кадиуэу* подводит нас к целому ряду сложных проблем. Во-первых, он демонстрирует дуализм, отражения которого видны повсюду, как в зеркальной комнате: мужчины и женщины, скульптура и живо-

пись, сюжет и абстракция, углы и волнистые линии с завитками, геометрия и арабески, горлышко и брюшко, симметрия и асимметрия, линия и плоскость, обрамление и узор, фигура и поле, рисунок и фон. Но эти статичные противоположности мы замечаем только при анализе; динамизм искусства, то есть то, как задуманы и выполнены узоры, обнаруживает этот дуализм в его последовательных проявлениях, поскольку первичные мотивы сначала раскладываются на элементы, а затем вновь соединяются во вторичные мотивы, в которых новая комбинация элементов первичных мотивов будто по мановению волшебной



Рис. 24-25. Две разновидности узора на лице и на теле

палочки восстанавливает единство замысла. Наконец, сложные узоры, полученные таким способом, вновь разделяются и противопоставляются в силу этого деления, как на гербах, где два узора располагаются на четырех полях и противостоят друг другу в зеркальном отражении.

Все это позволяет понять, почему данный стиль чем-то неуволимо напоминает наши игральные карты. Каждая карточная фигура имеет двойное предназначение. Во-первых, она выполняет двойную функцию: является предметом и служит для диалога — или поединка — партне-



ров. Во-вторых, она должна сыграть роль, отведенную каждой карте как инструменту игры. Этим сложным предназначением обусловлены разные требования: требование симметрии связано с функцией; требование асимметрии соответствует роли. Задача разрешается построением симметричной композиции относительно наклонной оси; тем самым удастся избежать полной асимметрии, которая соответствовала бы роли, но противоречила бы функции, и вместе с тем — полной симметрии, противоречащей роли. Здесь также налицо сложная ситуация, обусловленная двумя противоположными формами дуализма, который вынуждает к компромиссу между идеальной осью предмета и осью рисунка, который этот предмет представляет. Но чтобы сделать такой вывод, нам пришлось выйти за рамки стилистического анализа. Для того, чтобы понять стиль игральных карт, недостаточно было проанализировать рисунки. Необходимо было задаться вопросом, для чего эти карты предназначены. Следовательно, перед нами вопрос: каково предназначение искусства *кадиузу*?

Частично мы на него уже ответили, а точнее, это сделали за нас аборигены. Роспись на лице, в первую очередь, придает личности человеческое достоинство, утверждает переход от природы к культуре, от “неразумного” животного к человеку цивилизованному. К тому же, различаясь по стилю и композиции в зависимости от касты, она в многоуровневом обществе является выражением иерархии прав, а стало быть, обладает социологической функцией.

Несмотря на значимость этого вывода, его недостаточно для объяснения оригинальных особенностей индейского искусства — в лучшем случае этим можно объяснить факт его существования. Поэтому следует продолжить анализ структуры общества. Племя *мбайя* было разделено на три касты, каждая из которых имела свой этикет. Для знати и в определенной степени для воинов важным был вопрос престижа. Документы прошлого свидетельствуют, насколько

ко регламентирующей была их забота о том, чтобы сохранить достоинство, чтобы не унижить себя, а главное, не вступить в неравный брак. Следовательно, для такого общества угроза расслоения была неизбежной. Добровольно или по необходимости каждая каста стремилась к самоизоляции, что наносило вред сплоченности общества в целом. В частности, кастовая эндогамия и многоступенчатость иерархических структур, вероятно, противодействовали возникновению связей, отвечающих конкретным нуждам коллективной жизни. Только так можно объяснить парадокс общества, которое противится воспроизведению потомства: чтобы уберечь себя от опасности мезальянса в собственной среде, оно выработало некую противоположность расизма, которая заключалась в систематическом усыновлении детей врагов или чужаков.

В этих условиях показательно существование на противоположных границах огромной территории, контролируемой племенем *мбайя*, на северо-востоке и юго-западе, практически идентичных форм общественной организации. Индейцы *гуана* в Парагвае и *бороро* в Центральном Мату-Гросу обладали (последние обладают до сих пор) иерархической социальной структурой, подобной структуре племени *мбайя*: они были (или продолжают быть) разделенными на три класса, каждый из которых, похоже, имел собственный правовой статус. Принадлежность к классу передавалась по наследству и защищалась эндогамией. Однако опасность расслоения, как в племени *мбайя*, так и у *гуана* или *бороро*, частично уменьшалась, благодаря разделению касты на две половины, которое у *бороро*, например, охватывало все классы. В то время как были запрещены браки между представителями разных классов, существовало противоположное предписание, относящееся к представителям обоих полов: мужчина из одной половины обязан был жениться на женщине из другой, и наоборот. Поэтому правомерно утверждение, что асимметрия классов в определенном смысле уравновешивается симметрией полов.

Следует ли считать монолитной системой эту сложную структуру, созданную тремя иерархическими классами и двумя уравнивающими друг друга половинами? Возможно. Но не менее заманчиво было бы разделить эти два аспекта и трактовать один из них как более ранний по сравнению с другим. В этом случае можно найти немало аргументов в пользу первенства классов или, наоборот, полов.

Однако тот вопрос, который нас интересует, требует несколько иного подхода. Даже столь краткое описание системы *гуана* и *бороро* (к которому я вернусь, когда буду говорить о моем посещении *бороро*) ясно показывает, что с социологической точки зрения эта система во многом сходна со структурой, которая присуща стилю искусства *кадиуэу*. В обоих случаях мы имеем дело с двойным противоречием. В первом случае это прежде всего противоречие между асимметричным делением на три класса и симметричным разделением на две половины и, кроме того, противоречие между социальными механизмами, требующими, с одной стороны, соблюдения иерархии, а с другой — взаимности. Усилие, которое необходимо для соблюдения этих противоречивых принципов, ведет к разделению социальной группы на подгруппы, союзные или антагонистические. Так же, как поле герба разделено на фрагменты, отражающие prerogatives нескольких родовых линий, общество рассечено и разделено на части. Достаточно приглядеться к плану деревни *бороро* (что мы сделаем позже), чтобы заметить сходство его композиции с композицией росписи *кадиуэу*.



Рис. 26. Роспись на лице

Все указывает на то, что племена *бороро* и *гуана*, оказавшись перед лицом противоречий своей социальной структуры, сумели разрешить (или скрыть) эту проблему чисто социологическими методами. Возможно, у них существовало это разделение на половины еще до того, как они попали под влияние *мбайя*, и решение было уже у них в руках, а может быть, они додумались до него позже или заимствовали от других, благодаря тому, что аристократическая надменность была менее укоренена в провинции; можно выдвинуть и другие гипотезы. У племени *мбайя* не было этого решения: может быть, они его не знали (что маловероятно), но скорее всего, оно было несовместимо с их фанатизмом. Поэтому у них не было возможности разрешить свои противоречия или, по крайней мере, завуалировать их с помощью искусственных установлений. И все же, это средство разрешения социальных противоречий, которого они были лишены или от которого отказались, не могло полностью от них ускользнуть, а следовательно, оно исподволь продолжало их беспокоить. Но поскольку они не сумели его принять и использовать в жизни, они начали грезить о нем — не в непосредственной форме, ибо это вошло бы в конфликт с их предубеждениями, а опосредованно, в форме, внешне безобидной, — в своем искусстве. Если этот анализ верен, тогда графическое искусство женщин *кадицуэу*, с его загадочной притягательностью и сложностью, с его кажущимся бескорыстием, следует без колебаний истолковать как социальную иллюзию, как неутолимую страстную попытку символически воссоздать институты, которыми это общество могло обладать, если бы этому не препятствовали его интересы и предубеждения. Это удивительная цивилизация, где королевы рисуют свои мечты на собственном теле: иероглифами орнаментов они описывают тайны недостижимого золотого века и своего собственного обнаженного тела.

**Часть шестая**

**Бороро**



## Глава 21

# Золото и алмазы

Напротив Порту-Эсперанса, на правом берегу реки Парагвай расположилась Корумба — врата Боливии, — будто сошедшая со страниц романа Жюль Верна. Город расположен на вершине поднимающейся над рекой известковой скалы. Один или два колесных парохода с тонкими трубами, с двумя ярусами кают на низкой палубе, окруженные пирогами, стоят на якоре у пристани, откуда вверх ведет дорога. В начале располагается несколько зданий, которые возвышаются над всем остальным. Это таможня и арсенал. Они напоминают о временах, когда река Парагвай была естественной границей между государствами, которые недавно обрели независимость и были полны юношеских амбиций; речной путь способствовал оживленным связям между Рио-де-ла-Плата<sup>113</sup> и внутренней частью континента.

Достигнув вершины горы, дорога идет вдоль ее склона на протяжении около двухсот метров, затем она сворачивает под прямым углом и приводит в город: на длинную улицу с низкими, белого и песочного цвета зданиями под плоскими крышами. Улица заканчивается квадратной площадью, на которой среди травы растут тюльпановые деревья с ярко-оранжевыми и желто-зелеными цветами. За городом начинается каменистая равнина, которая тянется вплоть до холмов, окаймляющих горизонт.

Единственный отель всегда переполнен, и местные жители сдают приезжим комнаты на первом этаже, пропитанные влажным воздухом болот; ночные кошмары, похожие на реальность, преследуют остановившегося там путеше-

шественника, который, наподобие христианского мученика, брошен в душную темницу на растерзание клопам. Еда отвратительна, поскольку нищий и непригодный к земледелию район не может удовлетворить нужд двух-трех тысяч жителей и приезжих, составляющих население Корумбы. Все безумно дорого; царящее в городе оживление, контрастирующее с плоским и пустынным пейзажем по ту сторону реки, похожим на коричневую губку, производит впечатление жизни и веселья, как в первопроходческих поселениях Калифорнии или Дикого Запада сто лет назад. Вечерами все население собирается на верхней площадке. Перед юношами, которые, свесив ноги, молча сидят на балюстраде, группками по трое или четверо, перешептываясь, прохаживаются молодые девушки. Это похоже на какой-то ритуал; необычные смотрины проходят при свете мерцающих электрических ламп на границе пятисоткилометровых болот, где прямо перед самыми городскими воротами бродят страусы и ползают питоны боа.

Корумба расположен в четырехстах километрах от Куябы; я был свидетелем того, как развивалось воздушное сообщение между этими двумя городами: от небольших четырехместных машин, полет на которых сопровождался ужасной тряской и длился два-три часа, до двенадцатиместных "юнкерсов" в 1938-1939 годы. Однако в 1935 году до Куябы можно было добраться только по воде, причем расстояние в четыреста километров удваивалось петлянием реки. В сезон дождей до столицы штата можно было добраться за восемь дней, а в сухой период иногда требовалось три недели. Судно садилось на мели, несмотря на свою небольшую осадку, и необходимо было затратить не один день, чтобы вернуть его на глубину при помощи троса, прикрепленного к какому-нибудь крепкому стволу на берегу, и неистовых усилий мотора. В конторе речной компании висела многообещающая афиша. Здесь я привожу ее содержание в дословном переводе, сохраняя стиль и графическую композицию. Излишне добавлять, что действительность мало соответствовала описанию.



ВАША СВЕТЛОСТЬ СОБИРАЕТСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?  
*К Вашим услугам все самое лучшее на великолепном*

## **N/M CIDADE DE CORUMBA**

**предприятия Речного Судоходства М. и К°**

пароходе, оснащенном самым лучшим оборудованием, отличными душевыми, электрическим освещением; вода круглосуточно во всех каютах и превосходные стюарды.

**Самое быстроходное и комфортабельное судно на линии Куяба — Корумба — Порту-Эсперанса.**

Сев в городе Корумба или в Порту-Эсперанса на **N/M Cidade de Corumba**, Ваша светлость прибудет к месту назначения на три или более дней раньше, чем на любом другом судне, а поскольку вопрос Времени является важным фактором для Вашей деятельности, следует избрать

**самое быстроходное и комфортабельное судно**

## **VAPEUR GUAPORE**

С целью лучшего обслуживания господ пассажиров компания реконструировала превосходный пароход **Guapore** перенеся обеденный салон наверх, благодаря чему судно обрело великолепный Обеденный Зал, и стало больше свободного пространства для прогулок благородных пассажиров.

*Поэтому следует выбирать быстроходные суда*

**N/M CIDADE DE CORUMBA и GUAPORE**

И тем не менее, какое же это было роскошное путешествие! Пассажиров было немного: семьи скотоводов, возвращающиеся к своим стадам, военные из гарнизонов, странствующие торговцы из Ливана и провинциальные чиновники. На борту все общество обрядилось в пляжные костюмы: пижамы в полоску (у модников — шелковые),

которые почти не закрывали волосатых тел, и сандалии. Два раза в день нам предлагали неизменное меню: блюдо из риса, фасоли и муки высушенной маниоки со свежей или консервированной говядиной. Это называлось *фейжоада* (от *feijão* — фасоль). Прожорливость моих спутников была сравнима разве что с авторитетностью их суждений о нашей повседневной пище — заявлений, что *фейжоада* была *muito boa* или *muito ruim*, то есть “великолепная” или “отвратительная”; подобным образом они оценивали и десерт, состоящий из жирного сыра и фруктовой пасты, которые следует есть вместе кончиком ножа; он был “достаточно — или недостаточно — сладким” (*bem doce*).

Через каждые тридцать километров судно причаливало к берегу, чтобы пополнить запасы дров, а иногда мы два-три часа ожидали нашего повара, который отправлялся в прерию, ловил лассо корову, забивал ее, освеживывал с помощью экипажа и затем затаскивал на палубу, обеспечивая нас таким образом свежим мясом на несколько дней.

Все остальное время судно медленно скользило по узким изгибам реки; это называлось “проходить *эстиройш*” (*estirões*), то есть поочередно преодолевать участки реки, заключенные между двумя излучинами, за которыми ничего не было видно. Эти зигзаги иногда сближаются — наподобие меандров — так сильно, что вечером мы могли оказаться на расстоянии всего лишь каких-нибудь нескольких метров от того места, в котором были утром. Часто судно задевает ветви деревьев залитого водой леса, покрывающего берега. Шум мотора будит весь неисчислимый птичий мир: ара<sup>114</sup>, крылья которых будто покрыты голубой, красной и золоченой эмалью, ныряльщиков-бакланов, своей изогнутой шеей напоминающих крылатых змей, маленьких попугайчиков, которые наполняют воздух криком, настолько похожим на людской, что его можно было бы назвать “нечеловеческим”. Это однообразное и разворачивающееся так близко зрелище притягивает к себе внимание и вызывает нечто вроде оцепене-

ния. Время от времени какое-нибудь отдельное происшествие вызывает оживление среди пассажиров: пара оленьих или тапиров переплывает реку; *cascavel* (гремучая змея) или *giboya* (питон) извивается на поверхности воды, легкая, как соломинка; или появляется копошащаяся стая *jacares*, безобидных крокодилов (их убивают из карабинов выстрелом в глаз, что быстро надоедает). Ловля пираний намного интереснее. Иногда на берегу появляются большие *saladeiro*, сушильни для мяса, напоминающие виселицы: среди разбросанных вокруг костей на параллельных перекладинах висят лиловые ломти, над которыми кружатся тучи птиц, питающихся падалью. На сотни метров вниз по течению река красна от крови из скотобойни. Стоит только забросить удочку, как, не дожидаясь погружения крючка без всякой наживки, несколько опьяневших от крови пираний тут же набрасывается на него, и на удочке повисает золотистый ромб. Рыбак должен быть осторожным, снимая свою добычу: один укус может лишить его пальца.

Проплываем приток Сан-Лоренсу, в верхнем течении которого мы высадимся на берег, чтобы идти на встречу с *бороро*; здесь заканчивается Пантанал; теперь по обе стороны реки перед нами расстилается пейзаж *кампос*, травянистых саванн, где уже чаще встречаются дома и пасущиеся стада.

Немногое указывает путешественнику по реке на появление Куябы — разве что затопленная водой каменная рампа, над которой угадывается силуэт старого арсенала. Отсюда среди сельских хижин тянется к площади улица длиной около двух километров, на площади между двумя аллеями королевских пальм, возвышается бело-розовый собор. Слева от него — курия епископа, справа — дворец губернатора, а на углу главной улицы — единственный на то время постоянный двор, который держал толстый ливанец.

Я уже описывал Гояс и повторился бы, если бы начал подробно говорить о Куябе. Город расположен не в столь

красивом месте, но он со своими простыми домами — чем-то средним между дворцом и хижинкой — обладает не меньшим очарованием. Поскольку город стоит на холмах, с верхних этажей зданий всегда видна какая-то его часть: белые строения, покрытые оранжевой, под цвет земли, черепицей, оттеняющей зелень садов, *quintaes*. Вокруг главного дворца, построенного в форме буквы “L”, выются узенькие улочки, что напоминает о колониальном городе восемнадцатого века; они ведут в предместья, которые служат караван-сараями, к мазанкам, заслоненным неровными аллеями банановых плантаций и манговых деревьев, а сразу за ними начинается деревня, где пасутся стада коров, которые должны отправиться в сертан или только что пригнаны оттуда.

Куяба была основана в середине XVIII века. Около 1720 года португальцы из Сан-Паулу, так называемые *бандейранты* (*bandeirantes*)<sup>115</sup>, впервые пришли в эти районы и в нескольких километрах от города основали небольшую заставу, поселив там семьи колонистов. Этот край был заселен индейцами *куксино*; некоторые из них согласились взяться за расчистку земли. Однажды один из колонистов по имени Мигель Сутил послал нескольких аборигенов на поиски меда диких пчел. Индейцы возвратились вечером того же дня с пригоршнями золотых слитков, собранных на поверхности земли. Не мешкая, Сутил и его товарищ по прозвищу Барбудо — “Бородач” — вместе с индейцами отправились к этому месту: золото было повсюду. В течение месяца они собрали пять тонн слитков.

Поэтому не следует удивляться тому, что окрестности Куябы местами напоминают поле битвы: курганы, поросшие травой и кустарником, свидетельствуют о бушевавшей некогда “золотой лихорадке”. Еще сегодня случается, что местный житель, возделывающий огород, натывается на золотой самородок. До сих пор здесь находят золотые песчинки. В Куябе нищие промышляют золотоискательством, их можно увидеть за работой в русле ручья,

текущего в нижней части города. Работая целый день, они в состоянии себя прокормить, а у некоторых городских торговцев еще сохранились специальные весы, на которых они взвешивают горстку золотого песка и меняют ее на мясо или рис. Сразу же после ливня, когда повсюду текут ручьи, к ним устремляются дети с шариками из мягкого воска, которые они опускают в воду и ждут, пока к ним прилипнут маленькие сверкающие блески. Впрочем, жители Куябы утверждают, что золотая жила пролегает под их городом на глубине нескольких метров; она проходит, по их словам, под скромным зданием отделения Бразильского Банка и своей стоимостью значительно превышает сумму резерва, хранящегося в его устаревшем сейфе.

От прошлой славы Куябы остался лишь медленный и церемониальный стиль жизни. Иностранец свой первый день пребывания в городе тратит на перемещения по площади, курсируя между постоянным двором и губернаторским дворцом: по прибытии следует представить визитную карточку; часом позже адъютант, усатый жандарм, в ответ приносит карточку губернатора; после сиесты, во время которой ежедневно от полудня до четырех часов жизнь города замирает, необходимо засвидетельствовать свое почтение губернатору (тогда еще он именовался *interventeur\**), который держится почтительно и со скупающим видом ведет светскую беседу: индейцы? он, конечно же, желал бы, чтобы их вообще не было; разве они не являются для него раздражающим напоминанием о проявленной к нему немилости, свидетельством того, что его заслали в отсталую провинцию? Епископ думает точно так же: индейцы, объясняет он мне, не такие жестокие и глупые, как многие думают; представьте себе, одна индеанка *бороро* даже ушла в монастырь, а братьям из Диамантину удалось — ценой каких усилий! — сделать

---

\* Представитель метрополии. — Прим. перев.

из трех *пареси* приличных столяров. А если говорить о моей специальности, то миссионеры собрали все, что стоило сохранить. Слышал ли я, что в далекой от культуры “Службе защиты индейцев” говорят “*борорó*” с ударением на последнюю гласную, в то время как святой отец такой-то еще двадцать лет назад установил, что это ударение приходится на среднюю гласную? Что же касается легенд, то им знакомо сказание о потопе, а это доказывает, что Господь не желает, чтобы они были прокляты. Вы хотите отправиться к ним? Хорошо. Но непременно следует воздержаться от того, что могло бы повредить делу миссионеров: никаких фривольных подарков, зеркал, бус. Ничего, кроме топоров; этим бездельникам необходимо внушить идею святости труда.

После исполнения всех формальностей можно приступать к серьезным делам. Целые дни я провожу в комнате, расположенной за лавкой ливанских торговцев, которых здесь называют турками, наполовину оптовиков, наполовину ростовщиков, снабжающих скобяными изделиями, тканями и лекарствами дюжину родственников, клиентов или доверенных лиц, которые затем со своим грузом, полученным в кредит, отправляются на нескольких быках или на пироге выколачивать последние мильрейсы в лесной глуши или на побережьях рек (через двадцать-тридцать лет такой жизни, столь же мучительной для него самого, как и для тех, на ком он наживается, такой торговец, заработав миллионы, обретет покой и достаток). Еще я бываю у пекаря, который готовит для нас мешки с *болашами* (*bolachas*), округлыми хлебами из муки, замешанной без дрожжей с добавлением жира, твердыми, как камни, но размягчающимися на огне, если прежде они не искрошатся от тряски и не пропитаются потом быков, становясь такими же несъедобными, как и мясо, заказанное у мясника. Мой мясник пребывал в постоянной тоске: у него было одно-единственное желание и не было никакой надежды, что оно исполнится:

приедет ли когда-нибудь в Куябу цирк? Он с таким удовольствием посмотрел бы на слона: "Столько мяса!..".

Наконец, были еще братья Б., французы, корсиканцы по происхождению, давным-давно поселившиеся в Куябе. Зачем? Они мне не ответили. Они говорили на родном языке, их голоса звучали приглушенно, напевно, с легкой вибрацией. Прежде чем они стали владельцами гаража, братья охотились на цапель; они описывали мне свою технику ловли: на земле расставлялись большие пакеты из белой бумаги, крупные птицы, зачарованные непорочной белизной, цветом, который был и их собственным, приближались, чтобы изучить объект, засовывали голову в пакет, а затем, ослепленные этим капюшоном, позволяли себя схватить без всякого сопротивления. Самые красивые перья выщипывают из живых птиц в их брачный период. В Куябе у братьев все шкафы были заполнены непроданными перьями, которые сегодня вышли из моды. Затем братья Б. сделались искателями алмазов. Теперь же они занимались оснащением грузовиков, которые отправлялись — как некогда корабли по неведомым морям — по опасным дорогам, где и груз, и машины рисковали сорваться на дно ущелья или в реку. Но если они добивались до цели, прибыль в четыреста процентов компенсировала любой ущерб.

Мы часто объезжали на грузовике окрестности Куябы. Перед отъездом бензобаки заполнялись большим количеством топлива, поскольку следовало запастись им на дорогу туда и обратно, а ехать приходилось все время на первой или второй скорости; с собой мы брали запасы пищи и все необходимое для ночлега, чтобы пассажиры могли переждать возможный дождь в относительном комфорте. Следовало также подвесить на бортах домкраты и другие инструменты, а также запас веревок и досок, предназначенных для восстановления разрушенных мостов. На рассвете следующего дня мы взбирались на свою поклажу, как на верблюда, и грузовик, качаясь, трогался

с места. Уже в середине дня начинались трудности: попадалась болотистая или залитая водой почва, которую надо было застилать ветвями; как-то мы потратили три дня на то, чтобы переносить перед грузовиком настил из бревен, который был в два раза длиннее, чем сам грузовик; все это проделывалось до тех пор, пока мы не преодолели трудный участок; случалось, что мы выгребали песок из-под колес, а затем заполняли углубления листьями. Даже если мосты не были разрушены, все равно надо было разгружать машину, чтобы она стала легче, а затем загружать ее заново после того, как она проедет по прогибающимся доскам; если нам встречался мост, сожженный лесным пожаром, то мы разбивали палатки и восстанавливали его, чтобы затем вновь разобрать, так как доски могли еще нам понадобиться; наконец, встречались большие реки, пересечь которые можно было только паромом, сооруженным их трех пирог, соединенных между собой перекладинами; под тяжестью грузовика, даже без груза, пироги погружались в воду по самый борт и с трудом дотягивали до берега, а тот оказывался слишком крутым или слишком топким, чтобы грузовик мог на него подняться; и тогда приходилось исследовать сотни метров берега, пока не находилась более удобная пристань или брод.

Люди, чьей профессией было вождение грузовика, привыкли к путешествиям, длящимся недели, а иногда и месяцы. Команду составляли два человека: шофер и его помощник; первый был водителем, второй, стоя на подножке, высматривал препятствия и следил за продвижением вперед, как моряк, который, находясь на носу корабля, помогает рулевому преодолеть узкое место. Эти люди всегда держали под рукой карабины: иногда дорогу преграждал олень или тапир, застывая на месте скорее от неожиданности, чем от испуга. В них стреляли наудачу, и в случае успеха требовался привал: надо было освежевать зверя, разделить, разрезать мясо на полоски, наподобие картофе-



лины, которую очищают по спирали до самой середины. Полоски мяса тут же натирались всегда имеющейся под рукой смесью из соли, перца и чеснока. Они раскладывались на солнце на несколько часов, и нужно было задержаться до следующего дня, чтобы повторить процедуру, — и так в течение нескольких последующих дней. Таков способ приготовления *carne de sol\**, менее вкусного, чем *carne de vento\*\**, которое сушится не на солнце, а в тени на ветру, но которое не хранится так долго.

Удивительна жизнь этих водителей-виртуозов, всегда готовых произвести самую тонкую починку, умеющих настелить дорогу, а затем разобрать ее, вынужденных неделями находиться в глубине сертана, если вдруг сломается грузовик, и ждать, пока не появится другая машина и не отбуксирует их в Куябу, где им вновь потребуются помощь, чтобы транспортировать разбитую машину в Сан-Паулу или в Рио. Все это время они живут лагерем, охотятся, стирают, спят и терпеливо ждут. Мой лучший шофер, некогда совершивший преступление, о котором никогда не рассказывал, скрывался здесь от правосудия; он был совершенно незаменим в этих сложных переходах. Все мы видели, как он, ежедневно подвергаясь опасности, расплачивается своей жизнью за ту жизнь, которую некогда у кого-то отнял.

Когда мы покидали Куябу в четвертом часу утра, было совсем темно. Взгляд едва различал силуэты храмов, украшенных стукко от основания до колокольни; автомобиль подпрыгивал на вымощенных камнем улицах, усаженных подстриженными манговыми деревьями. Благодаря естественному расположению деревьев, саванна производит впечатление сада; создавалась иллюзия упорядоченного человеком ландшафта, хотя мы уже едем по диким зарослям; впрочем, вскоре нас в этом убеждает

---

\* Вяленое мясо (португ.). — Прим. перев.

\*\*Сушеное мясо (португ.). — Прим. перев.

дорога, которая становится довольно трудной; она поднимается вдоль реки каменистыми зигзагами, прерываясь вымоинами и болотистыми бродами, поросшими *capoeira*\*. Поднявшись на определенную высоту, мы замечаем на горизонте тонкую розоватую полосу, слишком неподвижную, чтобы ее можно было принять за отблески зари. И все же мы долго сомневаемся в ее происхождении и реальности. Только через три-четыре часа пути вверх по каменистому склону взгляду открывается более широкий горизонт, и мы вынуждены признать очевидное: над зелеными холмами, простираясь с севера на юг, возвышается красная стена высотой двести-триста метров, которая к северу постепенно понижается до уровня плоскогорья; приближаясь к ней с южной стороны, мы начинаем различать детали. Эта стена, которая минуту назад казалась монолитной, таит в себе узкие расселины, выделяющиеся уступы, балконы и террасы. В каменном творении есть редуты и галерей. Грузовик в течение нескольких часов будет взбираться по наклонной платформе, едва подправленной рукой человека, которая приведет нас на плоскую вершину шапады Мату-Гросу, тысячекилометрового плоскогорья, которое постепенно понижается к северу, переходя в Амазонскую низменность (*chapadão*).

Совершенно другой мир открывается перед нами. Жесткая молочно-зеленая трава не всюду покрывает белый, желтый или розовый песок, продукт разрушения поверхностного известкового слоя. Растительность представлена лишь редким узловатым кустарником, который при помощи толстой коры, вощеных листьев и шипов пытается уберечься от засухи, царящей здесь семь месяцев в году. Но достаточно одного затяжного, несколько-дневного дождя, чтобы пустынная саванна превратилась в сад: зеленеет трава, деревья покрываются белыми и лиловыми цветами. И все это производит впечатление

---

\* Молодая поросль кустарника (португ.). — Прим. перев.

бескрайних просторов. Поверхность земли почти ровная, с едва заметным волнистым рельефом, поэтому горизонт открыт на десятки километров: полдня пути проходит в созерцании одного и того же пейзажа, в точности повторяющего тот, который мы видели вчера, — наблюдения и воспоминания сливаются в наваждении неподвижности. Несмотря на широту панорамы, картина настолько однородна, что далекий горизонт можно принять за облака, парящие где-то высоко в небе. Пейзаж настолько фантастичен, что даже не кажется монотонным. Время от времени грузовик преодолевает какой-нибудь поток, почти лишенный берегов; эти потоки скорее заливают равнины, чем прорезают их, как будто эта земля еще слишком молода, и реки еще не успели проложить себе русла, а ведь это одно из самых древних мест на Земле, уцелевший фрагмент континента Гондваны, который некогда соединял Бразилию и Африку.

Для Европы характерны четко очерченные формы в окружении рассеянного света. Здесь же традиционные для нас роли земли и неба меняются местами. Над молочно-бледной саванной (кампус) облака возводят удивительные строения. Небо становится средоточием форм и объемов, земля же сохраняет первобытную аморфность.

Однажды вечером мы остановились недалеко от *гаримпо* (*garimpo*), колонии искателей алмазов. Их силуэты вскоре появились возле нашего костра; старатели (*garimpeiros*) извлекали из котомок или карманов обтрепанной одежды небольшие бамбуковые трубки и высыпали их содержимое нам в руки; это были нешлифованные алмазы, которые они надеялись нам продать. Но от братьев Б. я был достаточно наслышан о нравах, царящих в *гаримпо*, чтобы понимать, что здесь вряд ли можно увидеть что-либо действительно интересное, поскольку у старателей свои неписанные, но, тем не менее, неукоснительно соблюдаемые законы.

Эти люди делятся на две категории: авантюристов и беглецов; вторая группа более многочисленна, чем объяс-

няется тот факт, что, однажды вступив в *гаримпо*, его уже трудно покинуть. Русла рек, в песке которых собирают алмазы, контролируются теми, кто захватил их первыми. У этих людей недостаточно средств для того, чтобы позволить себе ждать крупной оказии, которая случается не так часто. Поэтому они организованы в поисковые отряды, во главе с начальниками, громко именующими себя “капитанами” или “инженерами”; они-то и распоряжаются всеми средствами, поскольку должны вооружить людей и обеспечить их необходимым инвентарем: луженым металлическим ведром для выемки гравия, решетом для просеивания, иногда водолазным шлемом и воздушным насосом, — а главное, регулярно снабжать их провиантом. Взамен старатель обязан продавать то, что найдет, только доверенным скупщикам (которые, в свою очередь, связаны с крупными шлифовочными мастерскими в Голландии или Англии) и делиться прибылью с начальником отряда.

Необходимость вооружаться объясняется не только частыми стычками между отрядами; это также средство, действенное и до сих пор, оградить *гаримпо* от вмешательства полиции. Таким образом, зона добычи алмазов становилась государством в государстве и часто находилась в состоянии открытой войны с легальной властью. В 1935 году можно было услышать о локальной войне, которую в течение нескольких лет вели “инженер” Морбек и его сторонники, *valentões*, против полиции штата Мату-Гросу. Эта война закончилась компромиссом. В оправдание бунтовщиков надо сказать, что если начальник отряда попадал в руки полиции на подступах к *гаримпо*, он почти никогда не добирался до Куябы. Когда знаменитый вожак отряда “капитан” Арнольдо и его подручный были пойманы полицией, им накинули на шею веревки, привязанные к ветви дерева, а под ноги поставили бревна. Они находились в этом положении до тех пор, пока от усталости не потеряли равновесия и не повисли на дереве, на котором их так и оставили. Закон отряда

соблюдается столь неукоснительно, что в Лажеаду или в Пошореу, центрах *гаримпо*, в трактире часто можно увидеть стол с лежащими на нем алмазами, временно оставленный без присмотра. Каждый найденный камень безошибочно определяется владельцем по форме, величине и цвету. Эти детали столь индивидуальны и так эмоционально окрашены, что спустя годы старатель помнит, как выглядел каждый камень. “Когда я на него смотрел, — рассказывал мне один из моих гостей, — мне казалось, будто это Пресвятая Дева уронила свою слезинку мне на ладонь.” Но камни не всегда чистой воды; часто их находят в куске породы, и невозможно сразу установить их стоимость. Доверенный скупщик называет свою цену (это называется “взвешивать” алмазы), старатель обязан принять его предложение и продать ему камень. Подручный сообщает присутствующим о результате сделки. Я спросил, не бывает ли случаев обмана; естественно, бывает и такое, но это бессмысленно. Алмаз, предложенный другому покупателю или утаенный от начальника, немедленно становится “меченым”, *queimado*: скупщик предложит за него смехотворно низкую цену, которая будет снижаться при каждом последующем предложении. Бывало, что старатели-мошенники умирали от голода с целыми пригоршнями алмазов.

Кроме того, случаются и другие вещи. Например, сириец Фосси разбогател, по-видимому, скупая по низкой цене мутные алмазы, которые нагревал на примусе перед тем, как окунуть их в краску: эта процедура придает желтому алмазу поверхностную, более привлекательную для глаза окраску, камень в этом случае называется *pintado* — крашенный алмаз.

Практикуется также и иной вид мошенничества, но на более высоком уровне: при вывозе пытаются избежать уплаты пошлины бразильскому государству; я знал в Куябе и в Кампу-Гранди профессиональных контрабандистов, именуемых *capaqueiros*, что значит “ловкач”. Им также

было что рассказать: если их задерживала полиция, пачки с фальшивыми сигаретами, в которых были спрятаны алмазы, небрежно выбрасывались в кусты, вроде как пустые, а после освобождения эти люди отправлялись на их поиски — можно себе представить, с каким страхом.

Но в тот вечер вокруг нашего походного костра разговор шел о тех повседневных происшествиях, которые случались с нашими гостями. Так я знакомился с живописным языком сертана. Для тех случаев, где мы употребляем неопределенное местоимение, здесь имеется целая коллекция выражений: *o homem* — человек, *o camarada* — товарищ или *o collega* — коллега, *o negro* — негр, *o tal* — некто, *o fulano* — тип и т.д. Если, к своему несчастью, искатель алмазов находит золото в своем решете, это считается дурной приметой; в этом случае надо немедленно выбросить металл в воду: тот, кто оставит золото, обрекает себя на неудачу на многие недели. Иногда тому, кто набирает гравий руками, достается удар колючего хвоста ядовитого ската. Такие раны заживают с трудом. Надо искать женщину, которая согласится помочиться на рану. Но поскольку в *гаримпо* можно найти разве что деревенских проституток, эта наивная лечебная процедура чаще всего влечет за собой тяжелейшую форму сифилиса.

Женщин привлекают сюда рассказы о сказочных подарках судьбы. Внезапно разбогатевший старатель, находясь вне закона, вынужден все истратить здесь же, в *гаримпо*. Именно поэтому сюда караванами идут грузовики, нагруженные никому не нужными товарами. Если только они довезут свой груз до *гаримпо*, все будет раскуплено за любую цену — не столько ради удовлетворения потребностей, сколько ради удовлетворения тщеславия. На рассвете перед отъездом я зашел в хижину одного *camarada*, расположенную на берегу реки среди туч комаров и других насекомых. Надев на голову свой давно устаревший водолазный шлем, он уже разгребал речной грунт. Обстановка внутри дома было такой же

убогой и удручающей, как и вокруг него; но подружка старателя с гордостью показала мне двенадцать костюмов своего приятеля и собственные шелковые платья, изъеденные термитами.

Всю ночь пели песни и рассказывали истории. Каждого из присутствующих просили исполнить какой-нибудь “опереточный номер” — вспомнить былые дни. Нечто подобное мне довелось наблюдать в приграничных районах Индии на вечеринках в домах мелких чиновников. И здесь, и там обычно декламировались монологи или представлялись так называемые “карикатуры”, то есть имитации: стук печатной машинки, рев мотоцикла, который не может двинуться с места; затем, совершенно неожиданно, они сменялись “танцем нимф”, а потом — шумным лошадиным галопом. Все завершалось “гримасами”, называемыми так же, как и по-французски, *grimaces*.

От того вечера, проведенного со старателями, в моей записной книжке остался фрагмент элегии (если определять стиль в традиционных терминах). Речь идет о солдате, недовольном кормежкой, который пишет жалобу своему капралу; капрал передает ее сержанту, и все повторяется на каждом последующем уровне: лейтенанта, капитана, майора, полковника, генерала, короля. Этому последнему остается лишь обратиться к Иисусу Христу, который вместо того, чтобы донести жалобу до Бога-Отца, “берет перо в руки и всех посылает в ад”. Вот небольшой образчик поэзии сертана:

*O Soldado...*

*O Offerece...*

*O Sargento que era um homem pertinente*

*Pego na penna, escreveu pro seu Tenente*

*O Tenente que era homem muito bom*

*Pego na penna, escreveu pro Capitao*

*O Capitao que era homem dos melhor'*

*Pego na penna, escreveu pro Major*

*O Major que era homem como é  
Pego na penna, escreveu pro Coroné'  
O Coroné que era homem sem igual  
Pego na penna, escreveu pro General  
O General que era homem superior  
Pego na penna, escreveu pro Imperador  
O Imperador...  
Pego na penna, escreveu pro Jesu' Christo  
Jesu' Christo que e filho de Padre Eterno  
Pega na penna et mando todos pelo inferno.*

Однако настоящего веселья не было. Алмазонасные пески уже давно истощились; область была охвачена малярией, лейшманиозом и анкилостомозом. Несколько лет назад здесь появилась желтая тропическая лихорадка. Теперь только два-три грузовика в месяц отправлялись в путь, вместо четырех каждую неделю, как это было прежде.

Дорога, по которой нам предстояло ехать, оставалась непроходимой с тех пор, как лесные пожары уничтожили все мосты. Три года по ней не проезжал ни один грузовик. Никто не знал о нынешнем состоянии дороги, но говорили, что если нам удастся доехать до реки Сан-Лоренсу, то дальше все будет в порядке. На берегу реки есть большой *гаримпо*; там мы найдем все необходимое: пищу для людей и пироги, которые доvezут нас до поселений *бороро* на берегу Вермелью, притока Сан-Лоренсу.

Сам не знаю, как нам удалось преодолеть этот путь; путешествие осталось в моей памяти как неопиcуемый кошмар; бесконечные остановки для преодоления препятствий в несколько метров, погрузка и разгрузка машин, привалы, во время которых мы засыпали прямо на траве, измученные бесконечным перетаскиванием настила из бревен перед грузовиком, как только машина продвигалась не-



много вперед. Ночью нас будил гул, исходящий из-под земли: это были термиты, двинувшиеся в атаку на нашу одежду; они покрывали копошащейся пленкой поверхность прорезиненных плащей, которые одновременно охраняли нас от дождя и служили подстилкой. И вот, наконец, однажды утром наша машина начала спускаться к реке Сан-Лоренсу; на это указывал густой туман, окутывающий долину. Чувствуя себя героями, мы возвестили о нашем прибытии звуками автомобильного гудка. Однако ни один ребенок не выбежал нам навстречу. Мы выехали к реке, миновав четыре или пять безмолвных хижин. Там никого не было. Все выглядело нежилым. Беглый осмотр убедил нас в том, что поселение покинуто.

После невероятных усилий всех предыдущих дней, находясь на пределе нервного напряжения, мы впали в отчаяние: неужели придется отказаться от наших планов? Прежде чем отправиться в обратный путь, мы решились на последнюю попытку: по одному отправились в разных направлениях, чтобы обследовать окрестности. Все вернулись ни с чем, кроме водителя, который нашел какую-то семью рыбаков и привел мужчину. Этот человек, бородастый и болезненно-бледный, будто долгое время просидел в воде, объяснил, что полгода назад здесь разразилась эпидемия желтой лихорадки; те, кто ее пережил, разошлись кто куда. Но в верховьях реки мы найдем еще несколько человек и одну пирогу. Пойдет ли он с нами? Конечно, пойдет, ведь уже много месяцев он и его семья питаются исключительно речной рыбой. У индейцев достаточно маниоки и листьев табака, а мы дадим ему денег. Он был уверен, что на те же условия согласится и хозяин пироги, которого мы прихватим по пути.

Мне еще предоставится возможность описать другие путешествия пирогой, лучше сохранившиеся в моей памяти, поэтому я опускаю те восемь дней, в течение которых мы добирались до верховьев вздувшейся от ежедневных дождей реки. Однажды, завтракая на небольшом пляже,

мы слышали шипение: это был семиметровый питон боа, разбуженный нашими разговорами. Понадобилось несколько пуль, чтобы его прикончить, поскольку эти животные не реагируют на раны на теле, и надо было попасть в голову; разделывая тушу — что заняло у нас полдня, — мы нашли внутри дюжину маленьких детенышей, которые вот-вот должны были родиться, но солнечные лучи погубили их. И, наконец, в один прекрасный день, когда мы только что застрелили *irara*, разновидность барсука, мы заметили две нагие фигуры, движущиеся по высокому берегу реки: это были первые встреченные нами индейцы из племени *бороро*. Мы подошли к ним и попытались заговорить, но они знали только одно слово по-португальски: *fumo* — табак, которое выговаривали как “сумо”. (Не потому ли первые миссионеры говорили, что индейцы живут *sans fol, sans loi, sans roi* — без веры, без законов, без короля, — так как в их фонетике нет соответствующих согласных?\*) Они сами выращивают табак, но у него нет крепости нашего перепрелого и свитого в жгуты табака, которым мы их тут же щедро снабжаем. Жестами мы объяснили им, что идем в деревню; они дали нам понять, что мы прибудем туда еще этим вечером, и, торопясь предупредить о нашем прибытии, исчезли в лесу.

После нескольких часов пути мы оказываемся у подножия глинистого склона холма, на вершине которого виднеются хижины. Полдюжины голых людей, раскрашенных с головы до ног красной краской *уруку*<sup>116</sup>, приветствуют нас взрывами смеха, помогают пристать к берегу, выгружают поклажу. И вот мы уже находимся в просторной хижине, где живет несколько семей; вождь деревни освободил для нас свой угол, а сам на время нашего пребывания перебрался в хижину на противоположном берегу реки.

---

\* То есть нет звуков *f, l, r*. — Прим. перев.

## Глава 22

# Добрые дикари

В какой последовательности описать глубокие и смешанные чувства, которые охватывают прибывшего в селение аборигенов, почти не затронутых цивилизацией? В поселениях племен *каинганг* и *кадиуэу*, похожих на соседние деревни, где живут крестьяне, прежде всего бросается в глаза крайняя нищета, и поэтому первая реакция — разочарование и уныние. Потрясение от встречи с обществом, которое еще сохраняет прежние традиции, столь велико, что чувствуешь растерянность: за какую ниточку ухватиться, чтобы распутать этот многоцветный клубок? Вспоминая о племени *бороро*, встреча с которым заставила меня впервые пережить подобные чувства, я припоминаю и свое последнее такого рода переживание, которое я испытал, взобравшись на вершину высокого холма к деревне племени *куки* на бирманской границе. В течение многих часов я карабкался, цепляясь руками и ногами, по склону, покрытому скользкой грязью из-за бесконечных дождей в эту пору муссонов. Естественно, я чувствовал физическую усталость, голод и беспокойство, но это головокружение органического происхождения усиливалось впечатлением от новизны форм и цветов. Величественные по своим размерам строения казались хрупкими, поскольку строились с использованием материалов и техник, которые мы применяем для миниатюрных изделий. Они были не построены, а скорее вывязаны, сплетены, сотканы, вышиты и уже изрядно изношены; они не угнетали обитателей жилища равнодушной каменной мас-

сой, а гибко реагировали на его присутствие и любые его действия; в противоположность тому, что происходит у нас, они полностью подчинялись человеку. Деревня окружает ее обитателей, как легкие и эластичные доспехи; она похожа скорее на женскую шляпку, чем на наш город: монументальное одеяние, которое таит в себе нечто от жизни ветвей и листьев; искусные строители умели сочетать их естественную свободу с требованиями формы.

Казалось, что бархат покрытых мхом стен и бахрома пальм скрывают наготу людей, которые, выходя из своих жилищ, словно сбрасывают огромные плащи из страусовых перьев. Тела, будто драгоценности, упрятанные в эти пушистые шкатулки, изящны по форме и цвету, подчеркнуты яркостью грима и нательных рисунков; можно сказать, что окружение оттеняет ценность великолепных памятников — сочетание сверкающих пятен крупных зубов и когтей диких животных с яркими перьями и цветами, — будто вся эта цивилизация, тайно и страстно увлеченная формами, субстанциями и красками жизни, пытается удержать вокруг человеческого тела все богатство своего содержания и создает творения, одновременно и вечные, и преходящие, которые, благодаря этому удивительному сочетанию, являются ее самым удачным воплощением.

Эти образы — скорее картины, чем оформленные мысли, — наплывали один за другим, пока я устраивался в углу просторной хижины. Постепенно некоторые детали моего окружения начали обретать четкие контуры. Жилища еще сохраняли традиционное расположение и размеры, но их архитектура уже подверглась необразильскому влиянию: форма домов была прямоугольной, а не овальной, как прежде; материал, из которого сделаны крыша и стены, был тем же: каркас из веток, покрытый пальмовыми листьями, — но крыша и стены не составляли единого целого, да и сама крыша была двускатной, а не куполообразной, и с двух сторон спускалась почти до самой земли. Однако деревня Кежара, в которую мы прибыли,

вместе с двумя другими, Побори и Жарудори, расположенными на берегу Риу-Вермелью, принадлежит к тому типу поселений, где деятельность отцов-салезианцев<sup>117</sup>, к счастью, не оказала большого влияния, ибо эти миссионеры, которые вместе со “Службой защиты индейцев” способствовали прекращению конфликтов между индейцами и колонистами и разработали четкую систему этнографического анкетирования (это лучшие источники сведений о *бороро*, наряду с более ранними исследованиями Карла фон ден Штейнена), тем не менее, методично уничтожали туземную культуру. Два факта указывали на то, что Кежара была одним из последних бастионов независимости. Во-первых, она была резиденцией вождя всех деревень на Риу-Вермелью: это был высокомерный и загадочный человек; он не знал португальского или чванливо демонстрировал его незнание, но предупреждал все наши желания и извлекал определенную выгоду из нашего присутствия, хотя, по соображениям престижа или из-за языкового барьера, избегал разговора со мной без посредничества членов своего совета, в присутствии которых он принимал все решения.

Во-вторых — история живущего в Кежаре индейца, которому предстояло стать моим переводчиком и главным информатором. Этот человек лет тридцати пяти довольно хорошо говорил по-португальски. Он уверял, что когда-то умел читать и писать (хотя теперь он этого делать не может), поскольку учился в миссии. Воодушевленные его успехами, святые отцы послали его в Рим, где он был принят папой. Когда он вернулся, его хотели женить по христианскому обряду, вопреки традиционному обычаю. Эта попытка стала причиной душевного кризиса, после чего он вновь вернулся к прежнему идеалу жизни племени *бороро*, поселился в Кежаре и уже десять-пятнадцать лет вел образцовую жизнь дикаря. Полностью нагой, раскрашенный красной краской, с проколотыми перламутровыми шпильками носом и верхней губой, украшен-

ный перьями, этот индеец, встречавшийся с самим папой, оказался прекрасным специалистом по социологии *бороро*.

И вот нас окружает несколько десятков аборигенов, чья оживленная беседа сопровождается взрывами смеха и дружескими тумаками. Индейцы племени *бороро* выше ростом и лучше сложены по сравнению с другими индейцами Бразилии. Их округлые головы, округлые лица с крупными и правильными чертами лица, а также атлетичные фигуры напоминают расовый тип жителей Патагонии, к которому их, по-видимому, и следует отнести. Однако этот гармонический тип редко встречается у женщин, как правило, невысоких, худых, с невыразительными чертами лица. С самого начала благодушное настроение мужчин составляло удивительный контраст в неприветливом поведении женщин.

Несмотря на эпидемии, опустошившие близлежащие территории, эти индейцы выглядели поразительно здоровыми. И все же в деревне был один прокаженный.

Мужчины были совершенно нагими, за исключением небольшого рожка из соломы, прикрывающего конец полового члена; рожок держался благодаря тому, что крайняя плоть была протянута сквозь нижнее отверстие рожка и образовывала нечто наподобие валика.



Рис. 27. Рожок для полового члена

Тела большинства из них были разрисованы с ног до головы красной краской, изготавливаемой из перетертых семян *уруку*, смешанных с жиром. Даже волосы, спадающие на плечи или подстриженные в кружок на уровне ушей, были выкрашены этой массой и походили на шлемы. На красный фон были нанесены рисунки: лоб украшала подко-

ва, нарисованная черной блестящей смолой и заканчивающаяся на щеках на уровне губ; плечи и предплечья покрывались приклеенными полосками из белых перьев или пудрой из слюды и толченого перламутра, которая наносилась также на руки и грудь.

Женщины носили хлопчатобумажную, пропитанную краской *уруку*, набедренную повязку, которая держится на жестком поясе из коры с прикрепленной к нему лентой из отбитой и более мягкой белой коры, пропущенной между бедрами. Грудь опоясывала искусно сплетенная двойная лента из тонкой хлопчатобумажной ткани. Это убранство дополнялось хлопковыми повязками вокруг запястий, предплечий и лодыжек.

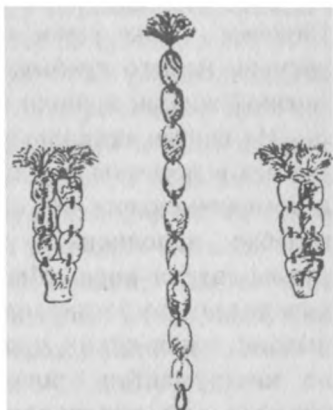


Рис. 28. Шпилька и серьги, украшенные пухом и толченым перламутром

Постепенно все разошлись. Мы делили хижину площадью приблизительно двенадцать на пять метров с молчаливой, недружелюбной четой колдунов и старой вдовой, которую из жалости кормили родственники из соседних хижин. Нередко о ней забывали, и тогда она часами жалобно причитала, вспоминая своих пятерых мужей и те счастливые времена, когда ей всего хватало: маниоки, кукурузы, дичи и рыбы.

На улице уже слышалось пение на звонком и гортанном языке с четкой артикуляцией. Пели только мужчины; они исполняли в унисон простые, многократно повторяемые мелодии, сольные партии чередовались с хоровыми; это был мужской, трагический стиль, напоминающий хор воинов какого-нибудь германского *Männerbünde*<sup>118</sup>. Что означает это пение? Мне объясняют, что это ритуал, связанный с нашим *irara*: мы вернулись с охоты с добы-

чей, и, прежде чем ее съесть, необходимо исполнить сложный обряд успокоения ее духа и освящения охоты. Но я слишком устал для того, чтобы достойно исполнить роль этнографа, и потому в сумерках забылся тревожным сном, нарушаемым пением, которое продолжалось до самого утра. Впрочем, то же самое повторялось на протяжении всего времени нашего пребывания: ночи были посвящены религиозной жизни, а спали аборигены от рассвета до полудня.

Не считая нескольких духовых инструментов, используемых в моменты, предписанные ритуалом, единственным аккомпанементом для голоса был звук погремушек — калebas, наполненных гравием, которыми потряхивали руководители хора. Мы слушали, как зачарованные: руководители то заставляли голоса звучать громче, то прерывали пение сухим ударом, заполняя паузы звуком своих инструментов, сила которого могла возрастать или угасать; они управляли танцем, используя чередование тишины и звуков погремушек, продолжительность, интенсивность и окраска которых были столь разнообразны, что могли бы удовлетворить даже дирижера симфонического оркестра. Недаром в прежние времена индейцы из других племен и даже миссионеры считали, что посредством этих погремушек разговаривают демоны. И хотя, как известно, давние предрассудки относительно “языка бубнов” были развеяны, вполне вероятно, что по крайней мере у некоторых народов этот язык основан на действительном кодировании речи, сведенной к нескольким символически выраженным значимым звукам.

На рассвете я встаю и отправляюсь в деревню. На пороге я спотыкаюсь о каких-то жалких птиц; это прирученные *арара*, которых индейцы приманивают и ощипывают живьем, чтобы использовать их перья для причесок. Лишенные оперенья и неспособные летать, птицы выглядят как цыплята, приготовленные для вертела; их клювы, единственное оставшееся украшение, кажутся просто огромными в сравнении с вдвое уменьшившимся объемом



тела. На крышах гордо восседают другие *арара*, уже отрастившие перья и похожие на геральдические эмблемы, выполненные в красных и лазурных цветах.

Я стою над рекой, на поляне, окаймленной остатками леса, скрывающего огороды; между деревьями проглядывают холмы с обрывистыми склонами из красного песчаника. Вокруг расположились хижины — их ровно двадцать шесть, и все похожи на мою; они выстроились в цепочку по кругу. В центре — дом около двадцати метров длиной и восемь метров шириной, то есть намного больший, чем остальные. Это *baitemannageo*, мужской дом, в котором ночуют холостяки и где мужчины проводят дневное время, если они не заняты рыбной ловлей, охотой или какой-нибудь церемонией на территории, отведенной для танцев, — овальной площадке, огражденной кольями, с западной стороны примыкающей к мужскому дому.

Женщинам вход в этот дом строго воспрещен, они хозяйничают в домах на периферии, а их мужья несколько раз в день проделывают путь от своего клуба к семейному дому и обратно вдоль кустарника, по тропе, пересекающей поляну. Если смотреть сверху, с дерева или с крыши, деревня *бороро* похожа на колесо телеги: ободом служат семейные дома, спицами — тропинки, а ступицей — центральный мужской дом.

По этому особому плану когда-то были построены все деревни, с той лишь разницей, что число жителей значительно превышало нынешнее население (в Кежаре живет около 150 человек), — тогда семейные дома располагались несколькими концентрическими окружностями, вместо одной. Впрочем, не только у *бороро* можно встретить эти кругообразные деревни; похоже, что, с определенными различиями в деталях, они типичны для всех племен языковой группы *жес*, которые населяют центральную часть Бразильского нагорья между реками Аракуауа и Сан-Франсиску; индейцы *бороро*, вероятно, представляют самую южную группу этих племен. По крайней мере,

мы знаем, что их ближайшие северные соседи, племя *кайано*, заселяющее правый берег Риу-Мансу (до которого мы добрались только через девять лет), строят свои деревни подобным образом, равно как и племена *апинайе*, *шеренте* и *канелла*.

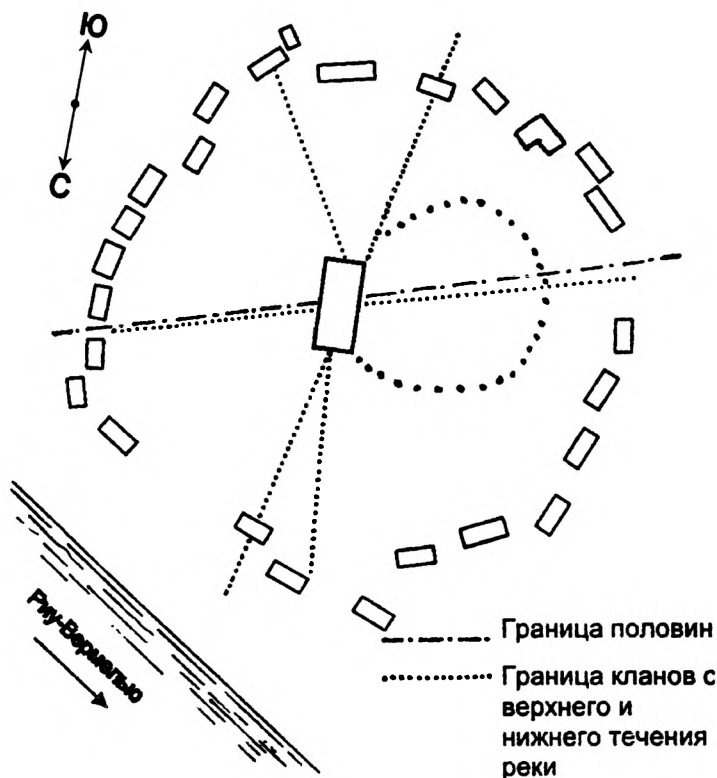


Рис. 29. План деревни Кежара

Круговое размещение хижин вокруг мужского дома имеет очень важное значение для религиозной жизни и культовых практик. Миссионеры-селезианцы, обосновавшиеся в районе реки Гарсас, вскоре поняли, что самый надежный способ обратить в христианство индейцев бо-

*ро*ро состоит в том, чтобы заставить их отказаться от традиционного типа поселения и разместить свои хижины параллельными рядами. Дезориентированные относительно сторон света, лишенные плана, который является краеугольным камнем их знания, индейцы быстро утрачивают связь с традицией, словно их социальная и религиозная системы (мы увидим, что эти системы тесно связаны между собой) слишком сложны для того, чтобы обойтись без схемы, представленной планом деревни, схемы, которая обретает жизнь благодаря ежедневным ритуалам.

В оправдание салезианцев скажем, что они приложили очень много усилий, чтобы понять эту сложную структуру и сохранить ее для истории. Отправляясь к *бороро*, стоит сначала ознакомиться с трудами этих миссионеров. Но не менее важно было бы сопоставить их выводы с наблюдениями, полученными в тех районах, куда миссионеры не добрались и где эти системы сохранили свою жизнеспособность. Поэтому, опираясь на опубликованные документы, я старался проанализировать структуру деревни на материале собственных наблюдений. Целые дни мы ходили от хижины к хижине, опрашивая их обитателей; мы определяли их социальный статус и вычерчивали палочками на земле идеально ровные линии раздела секторов, с которыми связана сложная система привилегий, традиций, иерархических степеней, прав и обязанностей. Для упрощения моего изложения я подправляю так называемые ориентиры, поскольку направления в пространстве, как их понимают индейцы, никогда в точности не совпадают с показаниями компаса.

Кругообразная деревня Кежара примыкает к Риу-Вермелью, которая течет примерно в направлении с востока на запад. Поперечная линия селения, теоретически параллельная реке, делит жителей на две группы: на севере — *чера* (все названия даются в единственном числе), на юге — *тугаре*. Кажется — но это лишь предположение, — что первое название означает “сла-

бый”, а второе — “сильный”. Важно то, что такое разделение оправдано двумя причинами: во-первых, человек всегда принадлежит к той же половине, что и его мать; во-вторых, он может вступить в брак только с членом другой половины. Если моя мать — *чера*, то и я тоже *чера*, а моей женой должна быть *тугаре*.

Женщины живут в домах, в которых родились, и наследуют их. После вступления в брак мужчина переходит поляну, пересекает воображаемую линию, разделяющую половины, и с этого момента живет на другой стороне. Мужской дом смягчает это отчуждение, поскольку, находясь в центре, он принадлежит обеим половинам. Однако и здесь существуют особые правила общежития, которые объясняют тот факт, что двери, ведущие на территорию *чера*, называются дверями *тугаре*, и наоборот. Разумеется, ими могут пользоваться только мужчины, а все жители одного сектора по рождению принадлежат к другому.

Вполне понятно, что в семейной хижине женатый мужчина никогда не чувствует себя как дома: дом, в котором он родился и с которым связаны воспоминания его детства, лежит по другую сторону, это дом его матери и сестер, где теперь живут их мужья. Но он возвращается в этот дом, когда захочет, всегда уверенный, что будет с радостью принят. А если атмосфера семейного дома покажется ему слишком тяжелой (например, когда там гостят его шурины), он может уйти спать в мужской дом; он встретится здесь с воспоминаниями молодых лет, найдет мужскую дружбу и погрузится в религиозную атмосферу, вовсе не исключаящую любовных интрижек с незамужними девушками.

Разделение на половины регулирует не только вопросы супружества, но и другие явления общественной жизни. Когда представитель одной половины становится объектом прав или обязанностей, это всегда происходит в интересах или с помощью представителей другой полови-

ны. Так, например, похоронами представителя *чера* занимаются люди *тугаре*, и наоборот. Обе половины играют роль партнеров, и каждое общественное или религиозное действие происходит в присутствии *vis-a-vis*, которые служат его дополнением. Это сотрудничество не исключает соперничества, существует гордость за свою половину и взаимное чувство зависти. Представим себе общественную жизнь как состязание двух футбольных команд, которые, вместо того чтобы противодействовать друг другу, пытаются друг другу услужить и измеряют собственную выгоду степенью достигнутого ими совершенства и благородства.

Теперь перейдем к другому аспекту: вторая ось, перпендикулярная первой, пересекает деревню в направлении север — юг. Все, рожденные в восточной части, называются “верхними” людьми, а рожденные на западе — “нижними” людьми. Таким образом, получается не две половины, а четыре сектора; согласно второму делению, представители *чера* и *тугаре* находятся и по одну, и по другую сторону. К сожалению, еще ни один исследователь не смог до конца понять, какую роль играет второе разделение.

Кроме того, население делится на кланы, то есть на группы семей, которые считаются родственными по женской линии и происходят от общего предка. Этот общий предок — скорее, мифологическая фигура, а иногда о нем и вовсе не помнят; поэтому члены клана узнают друг друга по общему имени.

Вероятно, в прошлом существовало восемь кланов: четыре — *чера* и четыре — *тугаре*, но со временем некоторые из них выродились, а некоторые разделились, поэтому на сегодняшний день ситуация недостаточно ясна. По крайней мере, верно то, что члены клана — за исключением женатых мужчин — проживают в общем доме или в соседних хижинах. Каждому клану отведено свое место на окружности, по которой располагаются дома: он относится к *чера* или *тугаре*, к “верхним” или “нижним”

либо поделен на две подгруппы разделительной линией, проходящей с севера на юг или с востока на запад.

В этой и без того сложной системе каждый клан разделен еще на две подгруппы, принадлежность к которым также наследуется по женской линии: в каждом клане имеются “красные” и “черные” семьи. Кроме того, похоже, когда-то каждый клан был разделен на три уровня: высший, средний и низший; возможно, это отражение или модификация иерархических каст племени *мбайя-кадицузу* (к этому вопросу мы еще вернемся). Такая гипотеза вполне правдоподобна, поскольку, вероятнее всего, уровни были эндогамными: представитель высшего уровня мог вступить в брак только с членом того же уровня (из другой половины), то же касалось среднего и низшего уровней. Нам придется ограничиться лишь предположениями по причине демографического упадка деревни *бороро*: на сегодняшний день, когда население насчитывает от ста до двухсот жителей вместо тысячи или больше, не хватает семей для того, чтобы представить все категории. Лишь правило деления на половины неукоснительно соблюдается (хотя некоторые знатные кланы освобождены от него); что же касается остальных правил, то аборигены следуют им по мере возможности

Правило разделения людей на кланы, по-видимому, больше всего нравится племени *бороро*. В рамках единой системы браков между половинами кланы когда-то были связаны особыми узами: члены одного из кланов *чера* предпочитали заключать браки с членами определенного или определенных кланов *тугаре*, и наоборот. Кроме того, не все кланы имеют одинаковый статус. Вождь деревни обязательно выбирается из членов определенного клана *чера*, поскольку эта должность наследуется по женской линии и переходит от дяди с материнской стороны к сыну его сестры. Есть кланы “богатые” и “бедные”. В чем состоят эти имущественные различия? Остановимся ненадолго на этом вопросе.

Наше понимание богатства сводится преимущественно к экономическим категориям; хотя уровень жизни индейцев *бороро* очень скромнен, у них, как и у нас, он не одинаков для всех. Некоторые лучше охотятся, более удачливы в рыбной ловле или же более трудолюбивы, чем остальные. В Кежаре можно заметить нечто, напоминающее профессиональную специализацию. Один индеец искусен в изготовлении инструментов для шлифовки камней; он выменивает их на продукты питания и живет, как кажется, достаточно благополучно. Но эти различия индивидуальны, а значит, преходящи. Единственное исключение составляет вождь, который получает дань от всех кланов в виде продуктов и ремесленных изделий. Однако, получая их, он, вместе с тем, берет на себя обязательства и поэтому постоянно находится в положении банкрота: богатства проходят через его руки, но не остаются в его собственности. Мою коллекцию культовых предметов я получил в обмен на подарки, которые вождь тут же распределил между кланами; мои подношения оживили его коммерческую деятельность.

Уставное богатство кланов носит другой характер: каждый из них обладает капиталом мифов, традиций, танцев, общественных и религиозных функций. В свою очередь, мифы служат основой практических привилегий, которые можно считать одним из интереснейших явлений этой культуры. Почти все предметы снабжены гербами, которые позволяют определить клан и подклан владельца. Привилегии состоят в использовании определенных перьев, в их цвете, в способе их подрезания, в укладке перьев различных видов и цветов, в определенных способах декорирования: плетение волокна или мозаика из перьев, использование особых узоров и т.д. Например, ритуальные луки декорированы перьями или кольцами из коры в соответствии с канонами, предписанными каждому отдельному клану; стержень стрелы у основания, возле оперения, украшен особым орнаментом из толченого

перламутра; губные шпильки вырезаны в форме овала, прямоугольника или рыбы, в зависимости от клана; различна окраска бахромы; диадемы из перьев, которые используются во время танца, снабжены знаками отличия клана владельца (чаще всего, это деревянная табличка, украшенная мозаикой из наклеенных кусочков пуха). В праздничный день даже рожок для полового члена обер-

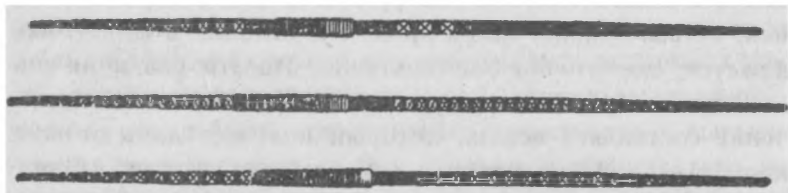


Рис. 30. Стрелы, украшенные кольцами из коры, которые размещены в соответствии с кланом владельца

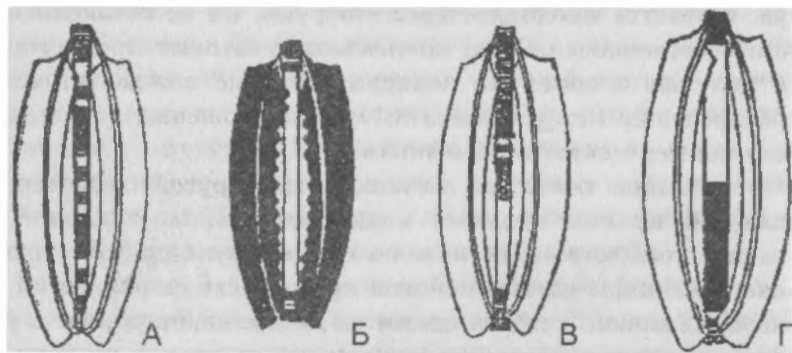


Рис. 31. Колчаны для стрел, украшенный перьями и гербами

нут полоской из жесткой соломы с нарисованными на ней отличительными знаками клана — удивительное знамя!

Все эти привилегии (которые, впрочем, подлежат обмену) ревностно и придирчиво оберегаются. Как говорят индейцы, немыслимо, чтобы какой-то клан покусился на прерогативы другого, — в этом случае разразилась бы братоубийственная война. С этой точки зрения, различия между кланами огромны: одни сказочно богаты, другие — убоги. Достаточно ознакомиться с домашней утварью,



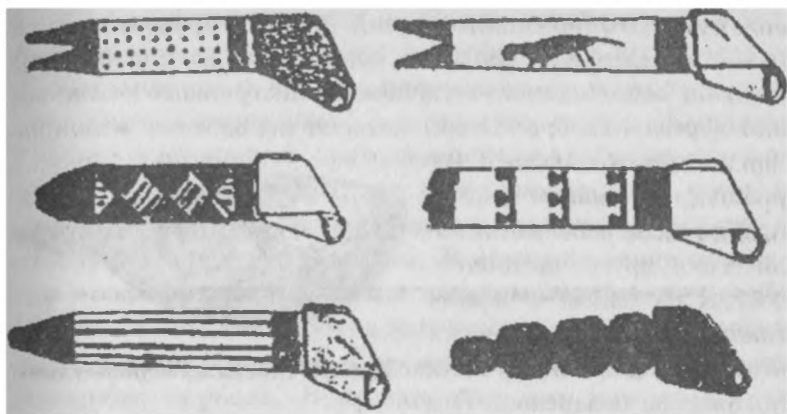


Рис. 32. Рожки для полового члена, украшенные гербами

чтобы убедиться в этом. Но, пожалуй, правильнее было бы разделить их на грубых и утонченных, а не на богатых и бедных. Для материального оснащения индейцев *бороро* одновременно характерны простота и редкое совершенство исполнения. Инструменты остались архаичными, не считая топоров и ножей, розданных когда-то “Службой защиты индейцев”. Для тяжелых работ аборигены используют инструменты из металла, но в то же время продолжают изготавливать палицы для глушения рыбы, луки и мелко зазубренные стрелы из твердых пород дерева.

Они делают их при помощи инструмента, напоминающего резак и долото, применяя его при каждом удобном случае, как мы используем перочинный ножик. Этот инструмент состоит из загнутого зуба-резца *capivary* (грызу-

Рис. 33. Деревянная палица для глушения рыбы



на, живущего по берегам рек), прочно привязанного к рукоятке. Помимо циновок и корзин из плетеной соломы, оружия, используемого мужчинами, инструментов из кости или дерева, палки-копалки, которой пользуются женщины при сельскохозяйственных работах, домашняя утварь представлена небольшим количеством других предметов: сосуды из тыквы и черной глины, полукруглые миски и ковши с длинной ручкой, похожие на поварешки. Эти



Рис. 34. Миска из черной глины

предметы имеют идеально чистую форму, подчеркнутую простотой материала. Любопытная вещь: похоже, что когда-то сосуды *бороро* украшались росписью, но религиозный запрет, по-видимому, недавнего происхождения привел к тому, что эта техника была утрачена.

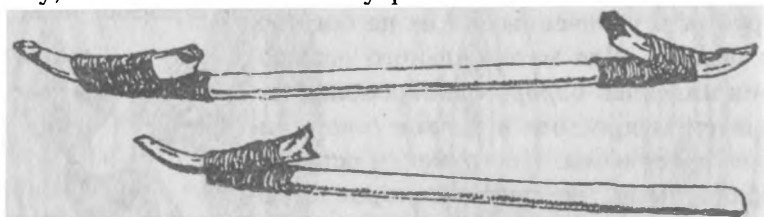


Рис. 35. Две разновидности “перочинного ножа” *бороро* (одинарный и двойной)

Возможно, по той же причине аборигены уже не делают наскальных росписей, которые еще можно найти в расселинах шапады; а ведь именно в этих росписях были отражены многие мотивы культуры *бороро*. Чтобы убедиться в этом, я однажды попросил раскрасить для меня большой лист бумаги. Индеец взялся за дело, используя *уруку* и черную смолу, и хотя аборигены уже не помнили о тех временах, когда они расписывали скалы, и уже давно не взбирались на горные склоны, картина, которую мне вручили, была наскальной фреской в миниатюре.

В противоположность простоте предметов обихода, индейцы *бороро* воплощают свою фантазию и стремление к изысканности в наряде, или вернее — поскольку костюм сведен к минимуму, — в его аксессуарах. Женщины владеют настоящими драгоценностями, которые переходят от матери к дочери: это ожерелья из зубов обезьян или клыков ягуара, вставленных в деревянные оправы и нанизанных на тонкие шнуры. В обмен на такие охотничьи трофеи, они позволяют мужьям выщипать у себя волосы на висках, а мужья изготавливают из волос своих жен длинные плетенки, которыми обвивают свою голову наподобие тюрбана. В праздничные дни мужчины тоже надевают серпообразные подвески, инкрустированные перламутром и украшенные бахромой из пуха или хлопка: эти подвески представляют собой пару когтей крупного броненосца, землероющего животного длиной более метра, которое почти не изменилось со времен третичного периода. Клювы туканов, закрепленные на украшенных перьями стержнях, султаны из перьев белых цапель, длинные перья из хвостов *арара*, фонтаном выбивающиеся из ажурных бамбуковых трубок, оклеенных белым пухом, вставлены, как шпильки, в их прически из естественных волос или шиньонов и поддерживают сзади закрывающие лоб диадемы из перьев. Иногда эти украшения образуют сложное сооружение, закрепление которого на голове танцора требует нескольких часов. Я приобрел один из таких головных уборов для Музея Человека в обмен на ружье. Этому предшествовали переговоры, длившиеся восемь дней: убор был совершенно необходим для ритуала, и индейцы не могли его отдать, пока не восполнили на охоте предписанного состава перьев, чтобы изготовить второй экземпляр. Мой трофей состоял из диадемы в форме веера, забрала из перьев, закрывающего верхнюю часть лица, и обрамляющей голову цилиндрической короны, изготовленной из прутьев с перьями орла-гарпии на концах, а также из сплетенного из соломы диска, в

который втыкают гроздь палочек, оклеенных перьями и пухом. Все вместе достигает почти двухметровой высоты.

Страсть к украшениям столь велика, что мужчины — даже если они не в праздничном наряде — постоянно придумывают для себя какой-нибудь новый головной убор. Многие носят короны: повязки из меха или венки из плетеной соломы, украшенные перьями, либо деревянные обручи со вставленными в них когтями ягуара. Достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы привести их в восторг: лента из засохшей соломы, найденная на земле, тут же подправленная и раскрашенная, становится хрупким головным убором, в котором индеец гордо расхаживает до тех пор, пока его не увлечет новая фантазия, инспирированная какой-нибудь новой находкой; иногда он с той же целью обрывает цветы с дерева; кусок коры и несколько перьев вдохновляют этих неутомимых модельеров на создание потрясающих ушных подвесок. Стоит войти в мужской дом, чтобы оценить, сколько энергии отдают эти крепкие молодцы тому, чтобы украсить себя: во всех углах что-то вырезается, выкраивается, моделируется, клеится; речные раковины разбиваются на куски и по-



Рис. 36. Подвеска, украшенная клыками ягуара

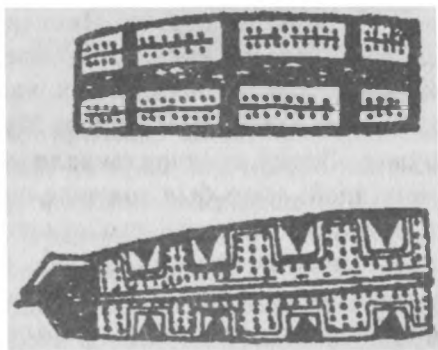


Рис. 37. Однодневные украшения: диадемы из высушенной и раскрашенной соломы

лируются на шлифовальных камнях, чтобы затем изготовить из них шпильки и ожерелья; создаются многоярусные фантастические конструкции из бамбука и перьев. С ловкостью костюмера эти атлетически сложенные мужчины превращают друг друга в цыплят с помощью пуха, приклеенного прямо к коже.

Мужской дом — это настоящее ателье, но у него есть и другое предназначение. Юноши здесь ночуют, женатые мужчины проводят сиесту, беседуют и курят толстые сигары, свернутые из сушеных листьев майса. Там же они могут и поесть, поскольку до мелочей разработанная система повинностей обязывает кланы поочередно обслуживать *baitemannageo*. Примерно каждые два часа один из мужчин отправляется в свою семейную хижину за майсовой кашей, *mingau*, которую готовят женщины. Его возвращение приветствуется радостными возгласами: О! О! — которые прерывают молчаливое ожидание. В соответствии с установленным церемониалом, тот, кто исполняет повинность, приглашает шесть-восемь человек и сопровождает их к миске с едой, из которой они зачерпывают кашу чашкой из глины или раковины. Я уже говорил, что женщинам сюда вход воспрещен. Этот запрет касается замужних женщин, а молодые девушки и сами не приближаются к мужскому дому, поскольку хорошо знают, какая участь их может постигнуть. Случается, что их похищают и уводят, если по невнимательности или легкомыслию они оказываются слишком близко. Впрочем, один раз в жизни каждая из них должна войти туда добровольно, чтобы выбрать себе будущего мужа.

# Живые и мертвые

*Baitemannageo* — мастерская, клуб, спальня и дом свиданий. Но это еще и храм. Здесь готовятся к обрядовым танцам, здесь происходят некоторые церемонии, на которые не допускаются женщины, — например, изготовление и вращение трещоток<sup>119</sup>. Это деревянные, богато украшенные музыкальные инструменты, по форме напоминающие сплюсненную рыбу; их длина варьируется от тридцати сантиметров до одного метра. Трещотки приводят в действие, вращая с помощью привязанной к ним веревки, что вызывает глухой звук, приписываемый посещающим деревню духам, которых, как считается, боятся женщины. Беда женщине, которая увидела трещотку: она, вероятнее всего, погибнет в тот же день. Когда я впервые присутствовал при изготовлении трещоток, меня пытались убедить, что речь идет о кухонных принадлежностях. Индейцы ни за что не хотели уступить мне несколько штук, и это объяснялось прежде всего опасением, что я могу выдать секрет, а не тем, что им пришлось бы делать работу заново. В итоге я был вынужден явиться



Рис. 38. Трещотка

в мужской дом ночью с сундучком, куда были уложены запакованные трещотки. Сундучок заперли на замок, и я должен был присягнуть, что открою его только в Куябе.

Занятия в мужском доме, которые европейцу кажутся несовместимыми, поразительным образом связаны между собой. Немногие народы столь же религиозны, как племя *бороро*, и немногие обладают столь же глубоко разработанной метафизической системой. Но верования и повседневные обычаи настолько переплетены между собой, что кажется, будто аборигены не замечают перехода от одной сферы реальности к другой. Я обнаружил эту по-детски наивную и благодушную религиозность в буддийских храмах на бирманской границе, в которых монахи живут и спят в помещении, отведенном для отправления культа, расставляя вокруг алтаря свои баночки с бриолином и личные аптечки и не пренебрегая ласками своих воспитанниц в перерывах между уроками грамматики.

Такая свобода в присутствии сверхъестественного удивляла меня еще и потому, что единственное сохранившееся в памяти мое собственное соприкосновение с религией произошло в детстве, уже лишенном религиозности. Это случилось в период после Первой мировой войны, когда я жил у моего деда, раввина в Версале. Дом, примыкающий к синагоге, был соединен с ней длинным внутренним коридором, входя в который я всегда испытывал страх. Этот коридор был непреодолимой границей между миром простых смертных и тем другим миром, которому не хватало именно человеческого тепла, составляющего необходимое условие понимания его святости. Когда не было службы, синагога пустовала; впрочем, люди никогда не оставались в ней так долго, чтобы создать волнующую атмосферу религиозности. Пустота казалась здесь естественной, а богослужения были как бы неуместны и нарушали ее покой. Семейные религиозные ритуалы были столь же сухими. Кроме немой молитвы моего деда перед каждым приемом пищи, ничто не напоминало детям, что

здесь царит высший порядок, -- разве что лист бумаги на стене столовой, который уверял: "Если пищу пережевывать тщательно, пищеварение улучшится обязательно".

Дело вовсе не в том, что религия утратила свой престиж у племени *бороро*; наоборот, она здесь подразумевалась сама собой. В мужском доме культовые действия выполнялись так же свободно и непринужденно, как и любые другие, будто они были чем-то обыденным; они были направлены на конкретный результат и лишены того трепетно-почтительного отношения, которое произвольно возникает даже у неверующего, когда он переступает порог святыни.

Сегодня после полудня в мужском доме поют песни, готовясь к вечернему ритуалу. В уголке похрапывают или беседуют юноши; двое-трое мужчин напевают, непрерывно вращая трещотки: если кто-то из них хочет закурить или зачерпнуть очередную порцию кукурузной каши, он передает свой инструмент соседу или даже продолжает управлять им одной рукой, а другой производит необходимые манипуляции. Если один из танцоров решает похвалиться своими обновами, все останавливаются и обсуждают увиденное; кажется, все забыли о богослужении, но в какой-то момент в другом углу комнаты пение возобновляется с прерванной ноты.

И все же значение мужского дома еще шире, чем тот центр общественной и религиозной жизни, который я попытался описать. Структура деревни способствует не только утонченному взаимодействию общественных уста-

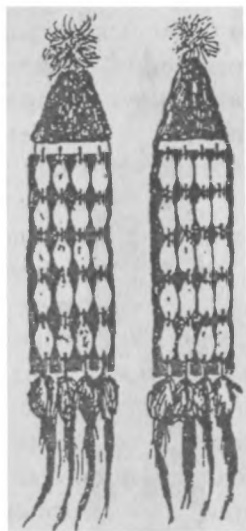


Рис. 39. Церемониальные серьги из коры, украшенные толченым перламутром, пухом и пучками волос



повлений: она также выражает и определяет отношения между человеком и космосом, обществом и сверхъестественным миром, между живыми и мертвыми.



Рис. 40. Роспись *бороро*, представляющая предметы культа

Но, прежде чем приступить к рассмотрению этого нового аспекта культуры *бороро*, я должен приоткрыть завесу и сказать об отношении между умершими и живыми. Иначе было бы трудно понять то особое решение этого всеобщего вопроса, которое поразительно сближает мысль *бороро* со взглядами обитателей американского континента, народами, населяющими леса и равнины северо-восточной части Северной Америки, — племенами *оджибве*, *меномини* и *виннебаго*.

Вероятно, не существует общества, которое не почитало бы своих умерших. Уже при зарождении человеческого рода неандерталец хоронил своих мертвых в примитивных гробницах. Естественно, похоронные практики различны в разных обществах. Но можно ли говорить, что эта разнородность не имеет значения, только потому, что за ней скрывается универсальность переживания? Даже если попытаться свести к единой модели типы поведения по отношению к мертвым, наблюдаемые в разных человеческих обществах, то придется признать прин-

ципиальное различие между полюсами спектра, в пределах которого можно обнаружить множество промежуточных стадий.

Некоторые общества, воздавая почести умершим, умиротворяют их, чтобы они не беспокоили живых; если умершие возвращаются с целью увидеть своих близких, то делают это изредка и в предусмотренных случаях. Их посещения благотворны, поскольку умершие покровительствуют регулярной смене времен года, плодородию полей и плодovitости женщин. Все происходит так, как будто между живыми и мертвыми было заключено соглашение: в обмен на воздаваемые им почести умершие остаются в своем мире, а происходящие время от времени встречи обеих групп преисполнены заботой об интересах живущих.

Повсеместно распространенный фольклорный мотив *благодарного мертвеца* как нельзя лучше иллюстрирует это правило. Богатый герой выкупает труп у кредиторов, которые не хотят допустить погребения, и хоронит умершего в гробнице. Мертвец является во сне своему благодетелю и предрекает ему успех с условием, что выгоды они справедливо разделят поровну. И действительно, герой в скором времени завоевывает любовь

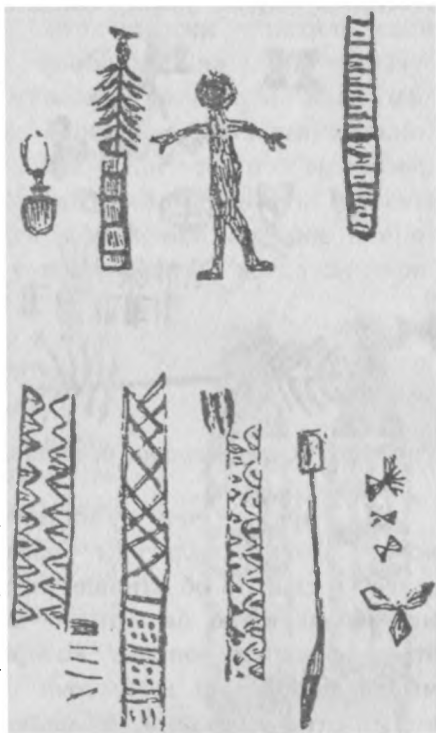


Рис. 41. Роспись *бороро*, изображающая служителя культа, трубки, трещотки и различные ритуальные предметы

принцессы, которую он спасает от многих опасностей при помощи своего покровителя из потустороннего мира. Стоит ли делиться своей любовью с мертвецом? Но принцесса заколдована, она наполовину женщина, наполовину — дракон или змея. Мертвец требует того, что ему причитается, герой соглашается, и мертвый, покоренный такой честностью, довольствуется малым, а герою достается супруга в человеческом облики.

Такому представлению противостоит другое, также отображенное в фольклорном мотиве, который я бы назвал мотивом *предприимчивого рыцаря*. В этом случае герой беден. Его единственное достояние — зернышко пшеницы; хитростью ему удастся обменять зернышко на петуха, петуха — на поросенка, поросенка — на быка, быка — на человеческие останки, которые, в свою очередь, обмениваются на живую принцессу. Как видим, умерший здесь является объектом, а не субъектом. Вместо того, чтобы, как в первом случае, быть партнером, с которым заключается соглашение, он становится орудием спекуляции, основанной на хитрости и обмане. Некоторые общества относятся к своим мертвым подобным образом. Они не только не позволяют им обрести покой, а используют их: иногда в буквальном смысле, как, например, в случае каннибализма и некрофагии, в основе которых лежит стремление присвоить добродетели и силу умершего; иногда же это происходит символически, как в случае, когда члены общества, где чрезвычайно развито соперничество, вынуждены, так сказать, осмелиться призвать на помощь мертвых, стараясь обосновать свои притязания на исключительность ссылкой на предков и генеалогическим мошенничеством. Эти общества в большей степени, чем другие, испытывают беспокойство со стороны мертвых, отношением с которыми они злоупотребляют. Они думают, что мертвые требуют платы за преследования, и чем больше их используют живые, тем они более привередливы и несговорчивы. Но и в случае справедли-

вого распределения выигрыша, и в случае бесстыдной спекуляции в отношениях между живыми и мертвыми невозможно обойтись без “участия” умершего.

Между этими крайними позициями существуют промежуточные формы: индейцы с западного побережья Канады и меланезийцы заставляют всех своих предков являться во время обрядов и свидетельствовать в пользу потомков; в некоторых китайских и африканских культах предков мертвые сохраняют свою самоидентичность, но только на протяжении жизни нескольких поколений; у племен *пуэбло* на юго-западе США умерший тотчас утрачивает свою индивидуальность, но становится носителем какой-нибудь особой функции. Даже в Европе, где мертвые считаются безучастными и безымянными, народные предания сохранили следы верований в существование двух типов умерших: те, которые умерли естественной смертью, становятся покровительствующими предками, а самоубийцы и жертвы убийства или колдовства превращаются в злых, завистливых духов.

Если ограничиться наблюдением развития западной цивилизации, то здесь совершенно очевидно, что в отношениях между живыми и мертвыми позиция спекуляции постепенно уступила место концепции договора, которая затем превратилась в равнодушие, провозглашенное в евангельской заповеди: “предоставь мертвым погребать своих мертвецов”\*.

Однако нет никаких оснований полагать, что такое развитие происходило в соответствии со всеобщим образцом. Скорее, можно было бы допустить, что все без исключения культуры неясно осознавали обе возможности, отдавая предпочтение одной из них и одновременно стараясь с помощью суеверных практик застраховать себя также и с другой стороны (как, впрочем, и мы по сей день продолжаем делать, независимо от того, считаем мы

---

\* Мат. 8, 22.

себя верующими или нет). Оригинальность *бороро* и других народов, которые я привел в качестве примера, заключается в том, что они ясно сформулировали обе возможности и построили систему верований и обрядов, соответствующую каждой из них, а также выработали механизмы, позволяющие переходить от одной возможности к другой в надежде примирить их.

Я выразился бы неточно, если бы сказал, что для индейцев *бороро* не существует естественной смерти: человек для них не индивид, а личность. Он является частью социологического космоса — деревни, которая испокон веку существует бок о бок с физическим миром, состоящим из других живых существ: небесных тел и метеорологических явлений; эта связь сохраняется, несмотря на временный характер конкретных деревень, которые (вследствие истощения почвы) редко остаются на одной и той же территории более тридцати лет. Следовательно, деревню создает не земля и не ее хижины, а та самая, описанная выше, структура, единая для всех деревень. Вполне понятно, что миссионеры, противодействуя традиционному укладу, разрушали всю систему в целом. Что же касается животных, то часть из них, и прежде всего рыбы и птицы, принадлежит к миру людей, а некоторые наземные животные относятся к физическому миру. *Бороро* считают, что их собственная человеческая форма является переходной между формой рыбы, чьим именем они себя называют, и формой *арара*, которой заканчивается цикл их перевоплощений.

Поскольку индейцы *бороро* убеждены в принципиальном противоречии между природой и культурой (и в этом они очень похожи на этнографов), это означает, что они — как социологи, еще более решительные, чем Конт и Дюркгейм, -- относят человеческую жизнь к категории культуры. Следовательно, определение смерти как естественной или противоестественной утрачивает свой смысл. Фактически и по праву смерть является одновременно и

естественной (*природной*), и противоестественной (*противокультурной*). Таким образом, смерть каждого индейца становится утратой не только для его близких, но и для всего общества в целом. Природа нанесла обществу ущерб, который она должна возместить как свой долг — это слово является удачным эквивалентом ключевого для *бороро* понятия *мори*. Когда абориген умирает, деревня организует коллективную охоту, доверенную той половине, к которой не принадлежал умерший; это — поход против природы с целью получить в качестве добычи крупного зверя, лучше всего ягуара; его шкура, клыки и когти будут составлять *мори* умершего.

Когда я прибыл в Кежару, там проходили похороны. К сожалению, речь шла о человеке, умершем в отдаленной деревне, поэтому я не видел двойного погребения, которое заключается в том, что сначала труп кладут в устланную ветвями яму в центре деревни и оставляют его там, пока тело не сгниет; затем скелет обмывают в реке, разрисовывают его и украшают мозаикой из приклеенных перьев, а потом в корзине погружают его на дно озера или реки. Все остальные обряды, при которых я присутствовал, происходили в соответствии с традицией, включая и ритуальную скарификацию<sup>120</sup>, проводимую родственниками умершего на том месте, где должна была находиться его временная могила. К сожалению, коллективная охота произошла за день до моего прибытия или, быть может, в тот же день; но было ясно, что она не увенчалась успехом: для поминальных танцев использовалась старая шкура ягуара. Я даже подозреваю, что наш *irara* был спешно приготовлен вместо отсутствующей дичи. Мне так в этом и не признались, а жаль, поскольку в этом случае я мог бы претендовать на роль *yuaddo* (*uiaddo*), вождя охоты, представляющего душу умершего. От семьи покойного я получил бы нарукавную повязку из человеческих волос и *поари* (*poari*), мистическую свирель, — бамбуковую флейту с резонатором из небольшой, оклеен-

ной перьями тыквы; на ней играли над добычей, а затем привязывали ее к мертвому телу. Я разделил бы, в соответствии с предписаниями, между родственниками покойного мясо, шкуру, клыки и когти убитого зверя, а они дали бы мне взамен ритуальные лук и стрелы, еще одну флейту на память о моих обязанностях и ожерелье из кружочков раковин. Я, вероятно, должен был бы выкраситься в черный цвет, чтобы остаться неузнанным для злого духа, ответственного за смерть и обязанного, по правилам *мори*, воплотиться в убитую дичь и тем самым принести себя в жертву и возместить нанесенный ущерб, — духа, исполненного ненависти и жажды отомстить. Ведь в каком-то смысле эта смертоносная сущность является человеческой. Она действует, используя особую категорию душ, которые зависят непосредственно от нее, а не от общества.

Я уже упоминал о том, что делил хижину с колдуном. *Бари* — это особая категория человеческих существ, которые не принадлежат полностью ни к физической вселенной, ни к обществу; их роль заключается в посредничестве между двумя этими царствами. Возможно — но не наверняка, — все колдуны происходят из *тугаре*; так было в случае моего соседа, поскольку наш дом принадлежал *чера*, а колдун, как положено, жил у своей жены. *Бари* становятся по призванию, часто в результате откровения, главным мотивом которого является договор, который заключается с членами очень сложной общности, состоящей из злых или просто опасных духов, — отчасти это небесные духи (контролирующие астрономические и метеорологические явления), отчасти духи животных или же подземные духи. Эти существа, которые вселяются в души умерших колдунов, ответственны за движение звезд, ветер, дождь, болезни и смерть. В описаниях они предстают в ужасающем виде: волосатые, с продырявленными головами, через которые выходит табачный дым, когда они курят; воздушные чудовища, у которых дождевая вода вытекает из глаз

и поздрей или стекает по непомерно длинным волосам и ногтям; одноногие, с огромными животами, с телами, как у летучих мышей, покрытыми пухом.

*Бари* — это фигура, обособленная от общества. Личная связь, которая соединяет его с духом или многими духами, дает ему привилегии: он пользуется сверхъестественной помощью, когда в одиночку отправляется на охоту, может превращаться в зверя, разбирается в болезнях, обладает даром предвидения. Добытую дичь, первый урожай с полей и огородов нельзя употреблять в пищу, пока колдун не получит своей доли. Эта доля составляет *мори*, дань живых духам умерших, поэтому она играет в системе уравнивающую роль, противоположную поминальной охоте, о которой я говорил.

В свою очередь, *бари* служит своему духу-покровителю (или нескольким духам). Эти духи поселяются в его теле, и *бари*, одержимый духами, впадает в транс и конвульсии. В обмен на свое покровительство дух устанавливает над *бари* постоянный контроль, он является истинным хозяином не только его имущества, но и тела. Колдун должен отчитываться перед ним за сломанные стрелы, разбитые горшки, обрезанные ногти и волосы. Все это нельзя выбрасывать или уничтожать, и *бари* тащит за собой остатки своей прошлой жизни. Старая юридическая поговорка: *Le mort saisit le vif\** — обретает здесь страшный и неожиданный смысл. Связь между колдуном и духом настолько тесная, что в результате никогда не знаешь, кто из них хозяин, а кто — слуга.

Таким образом, мы видим, что для индейцев *бороро* физический мир представляет собой сложную иерархию персонифицированных сил. Их личностная природа обозначена вполне определенно, чего нельзя сказать о других присущих им свойствах — ведь эти силы являются одновременно вещами и сущностями, живыми и мертвы-

---

\* Мертвый хватает живого (франц.). — Прим. перев.



ми. Колдуны образуют в обществе связующее звено между людьми и двойственным миром злых духов, которые одновременно являются и личностями, и предметами.

В отличие от физической вселенной, социальный космос обладает совершенно иными свойствами. Души обычных людей (то есть не колдунов) не отождествляются с силами природы, а составляют общество; но при этом они утрачивают свою самоидентичность, растворяясь в коллективной сущности *aroe*, что, по-видимому, подобно *anaon* древних бретонцев и означает сообщество душ. По существу, это дуальное сообщество, так как после погребения души заселяют две деревни, одна из которых находится на востоке, а другая — на западе; ими управляют два великих героя, божества пантеона *бороро*: на западе — старший, Бакороро, на востоке — младший, Итубор<sup>121</sup>. Следует отметить, что ось восток — запад соответствует течению Риу-Вермелью, поэтому вполне вероятно, что существует еще невыясненная связь между двумя деревнями умерших и вторым делением поселения *бороро* на “верхних” и “нижних”, живущих выше и ниже по течению реки.

Итак, *бари* выполняют функцию посредников между человеческим обществом и миром злых, индивидуалистических, космологических духов (как мы убедились, души умерших *бари* одновременно являются всеми этими духами). Но есть и еще один посредник, в ведении которого находятся отношения между обществом живых и обществом мертвых — обществом благожелательным, соборным и антропоморфным. Это *Хозяин путей душ* — *aroettowaraare*. Он является прямой противоположностью *бари*. Впрочем, оба они друг друга боятся и ненавидят. *Хозяин путей душ* не имеет права принимать даров, однако обязан неукоснительно соблюдать предписанные ему определенные ограничения в еде и чрезвычайную скромность в одежде. Ему запрещено носить украшения и яркие цветные наряды. С другой стороны, между ним и духами не существует какого-то особого договора: духи

всегда рядом с ним и в определенном смысле имманентны ему. Они не овладевают им во время трансов, а являются ему в снах; он пользуется их помощью только во благо другого человека.

В то время как *бари* предрекает болезни и смерть, *Хозяин путей душ* лечит и исцеляет. Вообще-то говорят, что *бари*, этот символ физической необходимости, нередко сам обеспечивает подтверждение своих предсказаний, добывая больных, которые слишком долго тянут с исполнением его мрачных пророчеств. Однако следует отметить, что понимание отношений между жизнью и смертью у индейцев *бороро* существенно отличается от нашего. Однажды мне сказали о женщине, лежащей в горячке в углу хижины, что она мертва, по-видимому, имея в виду, что они ее уже потеряли. Это напоминает образ мысли наших военных, которые словом “потери” обозначают и убитых, и раненых. С точки зрения конкретного результата это одно и то же, но с точки зрения раненого его огромное преимущество в том, что он не принадлежит к мертвым.

И наконец, несмотря на то, что *Хозяин* может, как и *бари*, превращаться в животное, он никогда не становится ягуаром, пожирателем людей, а следовательно, не может быть исполнителем *мори* умерших по отношению к живым. Он выбирает животных-кормильцев: собирающего плоды *арара*, ловца рыбы орла-гарпию, тапира, мясом которого лакомится племя. *Бари* одержим духами; *aroettowaraare* посвящает себя служению на благо людям. Даже открытие собственного избранничества приносит ему огорчения: избранника узнают в первую очередь по сопровождающему его зловонию, безусловно, напоминающему тот смрад, который наполняет деревни во время временного захоронения трупа неглубоко под землей посередине площадки для танцев; в этом случае зловоние связывается с мифическим существом *aije* (*айже*). Это чудовище, живущее в глубине вод; отталкивающее, дурно пахнущее и нежное, оно является посвященному, кото-

рый вынужден сносить его ласки. Эта сцена разыгрывается молодыми людьми во время погребения в виде пантомимы: ее участники, измазанные грязью, обнимают переходного соплеменника, воплощающего молодую душу. Индейцы представляют себе *айже* достаточно подробно, чтобы нарисовать его, и тем же самым словом обозначают трещотки, вращение которых является предзнаменованием появления животного и имитирует его голос.

Нет ничего удивительного, что погребальные церемонии длятся неделями, — ведь они выполняют столь разнообразные задачи. Прежде всего, они охватывают два уровня, о которых мы уже говорили. С точки зрения личности, любая смерть становится поводом для третейского суда между миром природы и обществом. Враждебные силы, которые составляют мир природы, нанесли вред обществу, и этот ущерб должен быть возмещен: именно в этом состоит роль поминальной охоты. Когда умерший отомщен и за него взят выкуп охотничьими трофеями, он должен быть приобщен к миру духов. В этом состоит назначение *roiakuriluo*, величественного погребального песнопения, при котором мне довелось присутствовать.

У жителей селения *бороро* есть время дня, которое наделено особой значимостью: это время заклинания вечера. Когда наступают сумерки, на танцевальной площадке разжигается огромный костер, вокруг которого собираются главы кланов; глашатай громко объявляет каждую группу: *Бадеджеба*, вожди; *О Чера*, клан ибиса; *Ки*, клан тапира; *Бокодори*, клан большого броненосца; *Бакоро* (от имени великого героя Бакороро); *Боро*, клан губной шпильки; *Эвагудду*, клан пальмы *buriti*; *Аропе*, клан гусеницы; *Пайве*, клан ежа; *Аниборе* (смысл неясен)\*.

По мере появления участников глашатай передает им поручения на завтрашний день, что делается тем же

---

\* Специалисты по языку *бороро*, возможно, оспорят или уточнят некоторые из этих переводов; я придерживаюсь здесь указаний аборигенов.

громким голосом, доносящим слова до самых отдаленных хижин. Впрочем, в этот час хижины пусты или почти пусты. С наступлением вечера, когда уже нет комаров, все мужчины выходят из своих семейных домов, куда они вернулись около шести часов. Каждый несет на плече циновку и расстилает ее на утрамбованной земле большой круглой площадки, расположенной с западной стороны мужского дома. Они укладываются на землю, заворачиваясь во фланелевые одеяла, которые окрасились в оранжевый цвет от постоянного соприкосновения с телом. натертым *уруку*, — “Служба защиты индейцев” вряд ли распознала бы в этих одеялах один из своих подарков. На больших циновках располагаются пять-шесть человек, скупно обмениваясь парой слов; некоторые размещаются поодиночке; приходится пробираться среди этих лежащих тел. В ходе переключки вызванные вожди кланов поднимаются один за другим, получают указания и вновь вытягиваются на земле лицом к звездам. Женщины тоже вышли из хижин и группками стоят у порогов. Наконец, разговоры смолкают, и постепенно, ведомые двумя-тремя голосами жрецов, начинаются песнопения, речитативы и хоры, сначала в мужском доме, а потом на самой площадке, которые усиливаются по мере прибывания людей и продолжаются почти всю ночь.

Умерший относился к *чера*, и поэтому обряд совершали *тугаре*. Посреди площадки куча листьев символизировала могилу, справа и слева от нее лежали пучки стрел, перед которыми была расставлена посуда с едой. В обряде принимали участие двенадцать жрецов и солистов; у большинства из них на голове красовались широкие диадемы из ярких разноцветных перьев, у других же длинные перья спускались на бедра из-под прямоугольной, плетеной из соломы пелерины, которая покрывала плечи, завязываясь шнурком на шее.

Одни были полностью обнажены и раскрашены — ровным слоем или кольцами — в красный или черный

цвет; тела других украшали наклеенные полоски из белого пуха; третьи нарядились в длинные юбки из соломы. Индеец, который был воплощением молодой души, являлся в двух разных костюмах, в зависимости от ситуации: сначала он предстал в одеянии из зеленых листьев, с огромной диадемой на голове, которую я уже описывал, и с длинным шлейфом из шкуры ягуара, которая была похожа на королевскую мантию и поддерживалась пажом; во второй раз он появился совершенно нагим, раскрашенным черной краской, с единственным украшением — соломенной штуковиной вокруг глаз, похожей на огромные очки без стекла.

Эта деталь особенно интересна, поскольку известен аналогичный мотив, по которому узнается *Тлалок*, божество дождя в Древней Мексике. Возможно, ключ к этой загадке надо искать у индейцев *пуэбло* из Аризоны и Новой Мексики: согласно их верованиям, души

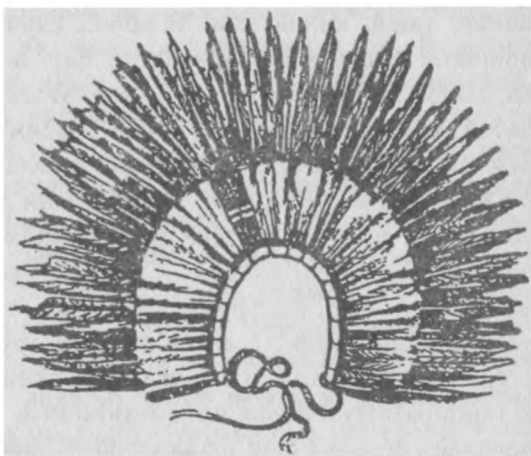


Рис. 42. Диадема из желтых и синих перьев попугая ара, украшенная гербом клана

умерших превращаются в богов дождя; кроме того, у них есть различные поверья, связанные с магическими предметами, защищающими глаза и позволяющими их владельцу стать невидимым. Я не раз замечал повышенный интерес южноамериканских индейцев к очкам, поэтому, отправляясь в мою последнюю экспедицию, взял с собой запас оправ без стекол; они пользовались огромным успехом у индейцев *намбиквара* — видимо, традиционные верования предрасполагали их к этому бесполезному ук-

рашению. О соломенных очках индейцев *бороро* никто никогда не упоминал, но если черная краска служит для того, чтобы сделать выкрашенное ею тело невидимым, то очки, вероятнее всего, выполняют ту же функцию — как в мифах индейцев *пуэбло*. И наконец, *butarico*, духи, ответственные за дождь у индейцев *бороро*, описываются как грозные фигуры — с клыками и длинными крючковатыми руками, — напоминающие богиню воды у индейцев майя.

Первые несколько ночей мы наблюдали танцы различных кланов *тугапе*: *ewoddo*, танец клана пальм, и *paíwe*, танец клана ежа. В обоих случаях танцоры были покрыты листьями с головы до пят, а поскольку их лиц не было видно, создавалось впечатление, что они находятся гораздо выше, на уровне диадемы из перьев, которая возвышалась над костюмом, и казалось, будто танцоры нечеловеческого роста. В руках они держали пальмовые ветви или посохи, украшенные пучками листьев. Исполнялось два вида танцев. Сначала выступали танцоры-мужчины. Они выстраивались, как в кадрили, по обе стороны площадки, а затем бежали друг другу навстречу с криками “хо! хо!” и, кружась, менялись местами. Потом к танцорам-мужчинам присоединились женщины, и тогда началась бесконечная фарандола<sup>122</sup>: шеренги то устремлялись вперед, то кружились, менялись местами, ведомые нагими солистами, которые пятились задом и встряхивали своими погремушками, аккомпанируя пению других мужчин, рассеявшихся вокруг.

Через три дня наступил перерыв в торжествах, во время которого велась подготовка ко второму акту — танцу *mariddo*. Мужчины группами отправлялись в лес за охапками зеленых пальмовых веток. Затем с веток обдирали листья и рубили их на куски длиной около тридцати сантиметров. Сложив вместе два-три куска, индейцы связывали их концы веревкой из увядших листьев

так, что получалась ступенька гибкой лестницы, которая в итоге достигала длины в несколько метров. Таким образом были сооружены две лестницы разной длины, которые затем были свиты в рулоны, больший из которых был высотой около полутора метров, меньший — около метра и тридцати сантиметров. По краям они были украшены листьями, которые привязывались сплетенными из волос шнурами. Оба рулона были торжественно вынесены на середину площади и поставлены рядом. Это и были мужское и женское *mariddo*, привилегия изготовления которых принадлежала клану *Эвагудду*.

Под вечер две группы из пяти-шести мужчин отправились в путь: одна на запад, другая на восток. Я пошел вслед за первой и стал свидетелем их приготовлений, происходивших на расстоянии каких-нибудь пятидесяти метров от деревни в месте, скрытом от глаз публики стеной деревьев. Мужчины обряжались в листья, как прежде танцоры, и укрепляли на головах диадемы. Обе группы изображали души умерших, прибывшие из своих поселений на востоке и на западе, чтобы принять душу вновь прибывшего. Когда все было готово, они со свистом направились в сторону площади, где их уже ожидала восточная группа (ведь одни должны были плыть вверх, а другие вниз по реке, и эти последние управились быстрее).

Ступая робким и неуверенным шагом, они в совершенстве передавали природу теней; я подумал о Гомере и об Одиссее, который с трудом сдерживал призраков, привлеченных кровью. Но вскоре обряд оживился: мужчины хватали то или другое *mariddo* (тяжелые, так как были сделаны из свежих листьев), поднимали его на вытянутых руках и танцевали с этим грузом до тех пор, пока, обессилив, не уступали его сопернику. Сцена уже утратила первичный мистический характер и превратилась в балаган, где молодежь демонстрировала свои мускулы в атмосфере тумачов, пота и грубых шуток. И тем

не менее, эта игра, варианты которой известны у родственных народов — например, бег с бревном у индейцев жес с Бразильского нагорья, — здесь имеет явно религиозный смысл. Аборигены верят, что в этой веселой суматохе они играют с мертвыми и выигрывают у них право оставаться живыми.

Это великое противопоставление мертвых и живых проявляется главным образом во время торжеств, когда жители деревни делятся на актеров и зрителей. Актерами являются преимущественно мужчины, допущенные к тайнам общего дома. Поэтому следует признать, что план деревни имеет более глубокий смысл, чем то социологическое значение, которое мы ему приписали.

Когда кто-то умирает, обе половины попеременно играют роль живых или мертвых, но, вместе с тем, в этом колебательном движении отражается и другая игра, в которой роли разделены раз и навсегда: мужское братство *baitemannageo* является символом сообщества духов, в то время как окружающие дома, которые принадлежат женщинам, не допускающим к участию в священных обрядах, составляют зрительный зал для живых и отделены от запретной для них территории.

Мы уже знаем, что сверхъестественный мир так же дуален, ибо он включает в себя и сферу жреца, и сферу колдуна. Колдун — господин сил небесных, начиная с десятого неба (индейцы бороро верят во множественность небес, возвышающихся одно над другим), и сил подземных, вплоть до самих глубин земли. Таким образом, силы, над которыми властвует колдун и от которых он зависит, расположены по вертикальной оси, в то время как власть жреца, *Хозяина путей душ*, распространяется по горизонтальной оси, соединяющей восток с западом, на которой лежат обе деревни мертвых. Тем не менее, многочисленные данные, подтверждающие факт, что *bari* происходят всегда из половины *тугапе*, а *aroettowaraare* — из поло-



вины *чера*, указывают на то, что данное разделение также отражает эту дуальность. Поразительно, что все мифы индейцев *бороро* представляют героев *тугаре* созидателями,демиургами, а героев *чера* воплощениями мира и согласия. Первые отвечают за существование вещей: воды, рек, рыб, растений и творений рук человеческих; вторые обустроили мир, освободили человечество от чудовищ и определили каждому животному отдельную пищу. Существует даже миф, который гласит, что высшая власть принадлежала когда-то *тугаре*, которые отреклись от нее в пользу *чера*, — будто через противопоставление половин индейское мышление хотело выразить переход от стихийной природы к цивилизованному обществу.

Теперь мы понимаем кажущийся парадокс, который заключается в том, что *чера*, обладающие политической и религиозной властью, называются “слабыми”, а *тугаре* — “сильными”. Последние ближе к физическому миру, первые же — к миру человеческому, который является менее могущественным из двух миров. Общественная иерархия не может полностью заменить собой космическую. Даже у индейцев *бороро* победа над природой означает лишь признание ее превосходства и воздание должного власти судьбы. Впрочем, в такой социологической системе не существует выбора: мужчина не может относиться к той же половине, что его отец и сын (поскольку принадлежит к материнской половине); по мужской линии он может принадлежать к одной половине только со своими дедом и внуком. Если люди *чера* хотят обосновать свое право на власть путем исключительного родства с героями, они должны признать, что отделяются от них одним поколением. По отношению к великим предкам они — внуки, тогда как *тугаре* — сыновья.

Введенные в заблуждение логикой своей системы, не подвергаются ли эти аборигены еще и мистификации другого рода? Я никак не могу избавиться от ощущения,

что ослепительный метафизический котильон<sup>123</sup>, при котором я присутствовал, сводится к довольно мрачному фарсу. Братство мужчин претендует на то, чтобы представлять мертвых и тем самым вызвать у живых иллюзию посещения их душами умерших; женщины не допускаются к ритуалу и вводятся в заблуждение относительно истинной природы этих духов, вероятно, с той целью, чтобы санкционировать разделение, которое закрепляет за женщинами преимущества в гражданском статусе и местожительстве, но оставляет исключительно мужчинам таинства религии. Однако подлинная или притворная наивность женщин выполняет и психологическую функцию: для блага обоих полов необходимо придать эмоциональное и интеллектуальное содержание этому театру марионеток; иначе мужчины, вероятно, не стали бы так старательно дергать за веревочки. Ведь мы поддерживаем в наших детях веру в Деда Мороза не только для того, чтобы обмануть их; их пыл подогревает нас и помогает нам обольщаться и верить — коль скоро они верят, — что добрый, ничем не омраченный мир не так уж не совместим с действительностью. И все же люди умирают и больше никогда не возвращаются; и любой общественный уклад уподобляется смерти в том смысле, что берет и ничего не дает взамен.

Индейцы *бороро* преподают урок моралисту; пусть они расскажут ему, как рассказали мне своим представлением, что две половины деревни стараются жить и дышать благодаря друг другу и ради друг друга, обмениваясь между собой женщинами, вещами и услугами в ревностной заботе о взаимности, жения своих детей и совместно погребая мертвых, убеждая друг друга в том, что жизнь вечна, что мир может быть спасен, что в обществе царит справедливость. Чтобы предоставить свидетельства этим истинам и сохранить незыблемость этих убеждений, их мудрецы создали возвышенную космоло-

гию и вписали ее в план деревни и в расположение хижин. Они сталкивались со множеством противоречий, но не признали ни одного из них, отрицая одно в пользу другого; разделяя и расчленяя группы, соединяя и противопоставляя, они превратили всю свою общественную и духовную жизнь в гербовый щит, в котором симметрия и асимметрия уравновешены точно так же, как на мистических рисунках, которыми индейка *кадиуэу* разрисовывает свое лицо, неосознанно движимая теми же побуждениями. Но что остается от всего этого? Что осталось от разделения на половины, кланы и подкланы перед лицом той очевидности, которая, как нам кажется, выте-

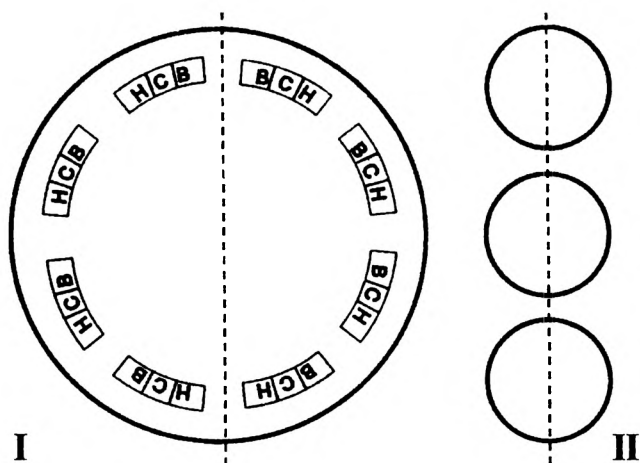


Рис. 43. Схема, иллюстрирующая видимую (I) и реальную (II) социальную структуру деревни бороро: расположение высших (В), средних (С) и низших (Н) ступеней

кает из наших наблюдений? В обществе, структура которого усложнена как бы для удовольствия, каждый клан делится на три группы: высшую, среднюю и низшую, а над всевозможными предписаниями главенствует правило, которое обязывает членов высших групп одной половины вступать в брак с членами высших групп другой,

средних со средними, низших с низшими; а ведь это означает, что под прикрытием братских установлений деревня *бороро* в конечном счете сводится к трем группам, которые всегда заключают браки между собой.

Три общества, не осознавая этого, навсегда останутся отдельными, изолированными, замкнутыми в своей гордыни, скрытой даже от них самих за завесой ложных установлений, и поэтому каждое из этих обществ оказывается бессознательной жертвой сложных хитросплетений, цель которых они уже не в состоянии постичь. Индейцы *бороро* воплотили свою систему в лицемерный спектакль — но все напрасно: как и все остальные, они не смогли опровергнуть ту истину, что представления общества об отношении между живыми и мертвыми сводятся к желанию скрыть, приукрасить или оправдать на уровне религиозного мышления истинные взаимоотношения, существующие между живыми.

**Часть седьмая**  
**Намбиквара**



# Затерянный мир

Этнографическая экспедиция в Центральную Бразилию готовится на перекрестке улицы Реомюр и бульвара Себастополь. Там находятся оптовые склады торговцев швейными изделиями и готовым платьем; можно надеяться, что здесь найдутся вещи, которые окажутся по вкусу прихотливым индейцам.

Через год после моего посещения племени *бороро* у меня были все условия, чтобы стать настоящим этнографом: полученное авансом благословение Леви-Брюля, Мосса и Ривета<sup>124</sup>, выставка моих коллекций в галерее предместья Сен-Оноре, лекции и статьи. Благодаря Анри Ложье, который возглавлял недавно возникшую организацию, занимавшуюся научными изысканиями, я получил средства, достаточные для серьезного исследования. Первым делом надо было запастись всем необходимым; прожив три месяца вместе с индейцами, я хорошо изучил их потребности, удивительно одинаковые на всей территории южноамериканского континента.

В квартале Парижа, который до этого был мне так же неведом, как Амазония, под взглядами чехословацких импортеров я занимался довольно необычным делом. Совершенно не разбираясь в такого рода торговле, я не мог подобрать соответствующих названий, чтобы объяснить, что мне собственно нужно. Мне пришлось использовать критерии индейцев. Я старался выбрать самый мелкий бисер для вышивки, так называемый рокайль, длинные связки которого заполняли ячейки ящиков. Я пробовал

его на зуб, чтобы узнать, насколько он крепкий, лизал его, чтобы определить, не окрашен ли он только сверху и не смывается ли с него краска при первом же полоскании в реке. Я покупал разное количество бисера, подбирая цвета в соответствии с индейскими канонами: сначала белый и черный в равной пропорции, затем красный, намного меньше желтого и, наконец, только из добросовестности, немного голубого и зеленого, которые наверняка будут презрительно отвергнуты. Критерии моего выбора не трудно было понять. Искусные изготовители собственного бисера, индейцы считают, что он тем ценнее, чем меньше по размеру, так как требует большего труда и сноровки. В качестве сырья они используют черную кожицу пальмовых орехов и молочный перламутр речных раковин, добиваясь эффекта в сочетании этих двух цветов. Как все люди, они ценят прежде всего то, что знают, поэтому успех белого и черного обеспечен. Названия красный и желтый относятся у них к одной языковой категории, являясь разновидностями цвета *уруку*, который, в зависимости от качества зерен и степени их зрелости, образует спектр оттенков от киновари до оранжевого; однако красный предпочтительнее, поскольку он ярче и ассоциируется с цветом зрелых зерен и используемых перьев. Синий и зеленый — холодные цвета и, к тому же, представлены в природе прежде всего недолговечными растениями. Эта двойная причина объясняет равнодушие к ним индейцев и неопределенность названий этих двух цветов: в разных языках синий приравнивается либо к черному, либо к зеленому.

Иглы должны быть достаточно толстыми, чтобы их можно было использовать для крепкой нити, но не слишком, учитывая, что бисер, для нанизывания которого они служат, довольно мелкий. Что касается ниток, то я хотел, чтобы они были яркого цвета, лучше всего красного (индейцы красят их *уруку*), и грубоскрученными, чтобы были похожи на нити ручного изготовления. В общем, я



научился избегать непрактичных подделок: уроки, полученные от *бороро*, заставили меня проникнуться глубоким уважением к техникам аборигенов. Образ жизни дикарей подвергает предметы строгому испытанию на прочность; чтобы не потерять авторитет у этих примитивных людей — хотя это и звучит парадоксально, — я выбирал изделия из стали самой лучшей закалки, стеклянные бусы, окрашенные во всей массе, и нитки, в которых не усомнился бы даже шорник английского королевского двора.

Иногда я встречал торговцев, которые с восторгом относились к моим экзотическим требованиям. Один изготовитель крючков для удочек, живущий над каналом Сен-Мартен, уступил мне по сниженной цене целую партию своей продукции. Потом я целый год таскал с собой по лесам несколько килограммов крючков, которые никто не брал, поскольку они были слишком малы для рыбы, достойной амазонского рыбака. Я избавился от них только на боливийской границе. Все эти товары имели двойное применение: они были подарками и предметами обмена на изделия индейцев, а также средством, позволявшим мне получить пропитание и услуги в отдаленных районах, куда редко добираются торговцы. В конце экспедиции, когда мои ресурсы заметно истощились, я сумел продлить свое пребывание в чаще еще на несколько недель, открыв небольшую лавку в поселке добытчиков каучука. Местные проститутки покупали у меня ожерелья, давая по два яйца за штуку, причем еще торговались.

Я намеревался провести в сертане целый год и долго колебался, какой же выбрать маршрут. Не допуская мысли, что мой план может не удалиться, я больше заботился о том, чтобы узнать Америку, чем о том, чтобы глубже понять человеческую природу, и, принимая во внимание исключительность ситуации, решил исследовать бразильскую этнографию и географию, пересекая западную часть плоскогорья от реки Куябы до реки Мадейры. До недав-

них пор это был наименее изученный район Бразилии. В XVIII веке отряды паулистов не смогли продвинуться дальше Куябы, испугавшись неприветливого пейзажа и диких индейцев. В начале XX века полуторакилометровое пространство между Куябой и Амазонкой было еще совершенно недоступной зоной, и, чтобы добраться из Куябы в Манаус на Амазонке или в Белен, проще было доехать до Рио-де-Жанейро и продолжать путь сначала на север морем, а затем на юг по реке от самого ее устья. Только в 1907 году генерал (в то время полковник) Кандидо Мариано да Силва Рондон<sup>125</sup> начал осваивать эту территорию: восемь лет проводились исследования местности и создавалась стратегически важная телеграфная сеть, впервые соединившая федеральную столицу через Куябу с пограничными постами на северо-западе.

Отчет Комиссии Рондона (до сих пор полностью не опубликованный), несколько докладов генерала, путевые заметки Теодора Рузвельта, который сопровождал Рондона в одной из его экспедиций, и, наконец, замечательная книга Рокетт-Пинту (в то время директора Национального Музея), названная им "Рондония" (1912 г.), содержали общие сведения об очень примитивном народе, обнаруженном в этой местности. Но, похоже, с тех пор этот край вновь подвергся полному забвению. Сюда не забредал ни один профессиональный этнограф. Меня соблазняла возможность, продвигаясь вдоль телеграфной линии или того, что от нее осталось, попытаться узнать, кто же, собственно, такие эти *намбиквара* и те загадочные племена, живущие к северу, которых никто не видел с того времени, как Рондон ограничился сообщением о том, что они существуют. В 1939 году мой интерес, который до этого был сосредоточен на племенах побережья и долин больших рек, традиционных путей проникновения в глубинные районы Бразилии, начал смещаться в направлении индейцев плоскогорья. Побывав у индейцев *бороро*, я убедился в том, что племена, культура которых счита-

лась очень примитивной, отличает утонченность и сложность религиозной и социальной жизни. Теперь уже известны результаты исследований ныне покойного немецкого ученого Курта Ункеля<sup>126</sup>, получившего у аборигенов имя Нимуендажу, который после многих лет, проведенных в деревнях *жес* в Центральной Бразилии, доказал, что индейцы *бороро* представляют собой не обособленное явление, а скорее, вариацию темы, общей для всех племен *жес*. Это означает, что почти две тысячи километров саванны Центральной Бразилии заселены разрозненными племенами с единой культурой, для которой характерны язык с многообразием диалектов, принадлежащих к одной языковой группе, а также относительно низкий уровень материальной жизни в противоположность чрезвычайно развитой общественной организации и религиозной мысли. Может быть, именно их следует считать исконными жителями Бразилии, позабытыми в глубине лесов или вытесненными незадолго до их обнаружения на скудные земли воинственными народами, которые прибыли неизвестно откуда, чтобы завоевать побережье и речные долины?

Путешественники XVI века почти по всему побережью встречали представителей великой культуры *тупи-гуарани*, которые занимали территорию, охватывающую почти весь Парагвай и бассейн Амазонки и по форме напоминающую лопнувшее кольцо радиусом три тысячи километров, разомкнутое лишь на парагвайско-боливийской границе. *Тупи*, которые обнаруживают пока не разгаданную связь с астеками, народом, довольно поздно обосновавшимся в Мексике, сами прибыли на эти земли недавно; заселение ими долин Центральной Бразилии завершилось только в XIX столетии. Возможно, они отправились в путь за несколько сот лет до открытия Америки, движимые верой, что где-то существует земля без зла и смерти. По крайней мере, именно таковым было их убеждение, когда, завершая миграцию в конце XIX века, они небольшими группами прибыли на побережье

Сан-Паулу под предводительством своих колдунов, танцами и пением восславляя страну, в которой нет смерти, и длительными постами стараясь заслужить эту награду. Известно также, что еще в XVI веке они ожесточенно боролись с прежними жителями побережья, о которых мы почти ничего не знаем и которые, возможно, и были нашими *жес*.

На северо-западе Бразилии *тупи* сосуществовали с другими народами, *караибскими* или *карибскими*<sup>127</sup>, которые во многом походили на них своей культурой, но отличались языком; они стремились завоевать Антильские острова. Здесь жили и *араваки*<sup>128</sup>; эта загадочная группа была более древней и более утонченной, чем две предыдущие; *араваки* составляли большинство населения Антильских островов и продвинулись вплоть до Флориды; отличаясь от народов группы *жес* высоким уровнем материальной культуры, в особенности своей керамикой и деревянной скульптурой, *араваки* сближались с ними своим социальным устройством. Похоже, *карибы* и *араваки* определили *тупи*, проникнув в глубь континента; в XVI веке они были сосредоточены в Гвиане, в устье Амазонки и на Антильских островах. Небольшие колонии этих племен все еще существуют внутри страны, в частности в бассейне правых притоков Амазонки — Шингу и Гуапоре. Потомки *араваков* встречаются даже в Верхней Боливии. По всей видимости, это они принесли искусство керамики племенам *мбайя-кадиуэу*, так как *гуана*, которые, как я уже упоминал, были покорены этими последними, говорят на диалекте *араваков*.

Я надеялся, что, пройдя по этой наименее исследованной части плоскогорья, встречу на западных окраинах саванны представителей группы *жес*, а добравшись до бассейна Мадейры, смогу обнаружить и изучить оставшиеся племена трех других языковых семей на окраине их великого пути проникновения на континент — в Амазонии.

Мои надежды оправдались лишь частично по причине тех упрощенных взглядов на доколумбовую историю Америки, которые присущи нашей цивилизации. Сегодня, в свете последних открытий и благодаря долгим годам, посвященным изучению североамериканской этнографии, мы лучше понимаем, что западное полушарие следует считать одним целым. Общественное устройство и религиозные верования *жес* повторяют устройства и верования племен из лесов и прерий Северной Америки. Впрочем, уже давно замечена — даже если не делать из этого никаких далеко идущих выводов — аналогия между племенами провинции Чако<sup>129</sup> (например, *гваякуру*<sup>130</sup>) и племенами равнин США и Канады.

Совершая морские путешествия вдоль берегов Тихого океана, представители цивилизаций Мексики и Перу наверняка общались между собой в разные моменты истории. На это почти не обращали внимания, поскольку у исследователей Америки долгое время господствовало убеждение, что проникновение на континент произошло недавно, не раньше пятого-шестого тысячелетия до нашей эры; оно целиком приписывалось азиатским народам, прибывшим сюда через Берингов пролив.

Таким образом, в распоряжении исследователей было всего лишь несколько тысяч лет, и требовалось объяснить, как за это время кочевники сумели расселиться по всему западному полушарию, приспособившись к различным климатическим условиям; как они открыли, освоили и распространили на огромных территориях дикие виды растений, которые в их руках стали табаком, маниоккой, горохом, бататом, картофелем, арахисом, хлопком и главное — кукурузой; и, наконец, как зародились и последовательно развились в Мексике, в Центральной Америке и в Андах цивилизации, дальними потомками которых стали астеки, майя и инки. Чтобы сделать это, надо было сократить период развития каждой из этих цивилизаций до нескольких веков, поэтому доколумбовая история Аме-

рики стала цепью калейдоскопических образов, которые постоянно меняются в зависимости от каприза теоретика. Все это свидетельствовало, что специалисты по ту сторону Атлантики стремились доказать, будто культуре индейской Америки недостает глубины — так же, как и современной истории Нового Света.

Этот взгляд был опровергнут открытиями, которые отодвигают далеко назад время, когда нога человека впервые ступила на континент. Нам известно, что древний абориген был знаком с фауной, которой сегодня уже не существует, и охотился на ленивцев, мамонтов, верблюдов, диких лошадей, архаических бизонов и антилоп, кости которых были найдены вместе с оружием и орудиями труда из камня. Наличие некоторых видов этих животных в таких местах, как долина Мехико, указывает на то, что климатические условия здесь когда-то сильно отличались от нынешних, а для того, чтобы произошли подобные изменения, должны были пройти тысячелетия. Применение радиоактивного метода определения возраста археологических остатков подтвердило эту гипотезу. Таким образом, следует признать, что человек существовал в Америке уже двадцать тысяч лет назад; в некоторых районах он выращивал кукурузу более трех тысяч лет назад. В Северной Америке почти повсюду находят археологические остатки, которым пятнадцать-двадцать тысяч лет. Одновременно возраст основных геологических пластов на континенте, определенный методом измерения остаточной радиоактивности углерода, отодвигается на пятьсот — тысячу пятьсот лет назад от предполагаемой даты. Подобно японским цветам из жатой бумаги, которые распускаются, если их опустить в воду, доколумбовая история Америки внезапно обретает масштаб, которого ей так не хватало.

Правда, теперь мы оказываемся перед лицом проблемы, противоположной той, с которой пришлось столкнуться нашим предшественникам: чем заполнить эти ог-

ромные периоды? Мы понимаем, что миграция народов, которую я пытался только что воссоздать, — это лишь вершина айсберга, и что всем великим цивилизациям в Мексике и в Андах предшествовали другие. В Перу и в различных районах Северной Америки открыты следы первых жителей; это были племена, еще не знающие земледелия; им на смену пришли общества, занимающиеся земледелием и огородничеством, которые, однако, не знали ни кукурузы, ни гончарного ремесла; позднее появляются группы, занимающиеся резьбой по камню и обработкой благородных металлов в более свободном и вдохновенном стиле, чем все, что затем последовало. Мы считали, что вся американская история начинается и заканчивается инками Перу и астеками Мексики, в то время как они так же отдалены от своих истоков, как наш стиль ампира от Египта или Рима, откуда он столько позаимствовал: во всех трех случаях это было тоталитарное искусство, гигантомания на фоне жестокости и нищеты, самовыражение власти, которая утверждает свое могущество, вкладывая огромные средства во что угодно (в войну или в чиновничий аппарат), но только не в то, чтобы усовершенствовать себя. Даже памятники майя кажутся блистательным упадком искусства, которое достигло своей вершины на тысячу лет раньше.

Откуда же пришли основатели? Освободившись от прежней уверенности, мы вынуждены признать, что у нас нет ответа. Перемещение населения в районе Берингова пролива было очень сложным: в недавний период главными действующими лицами здесь были эскимосы, тысячелетием раньше им предшествовали палеоэскимосы, культура которых напоминает культуру древних китайцев или скифов; а на протяжении долгого периода, начиная с восьмого тысячелетия и вплоть до наступления христианской эры, там проживали различные народы. По образцам скульптуры, созданной в первом тысячелетии до нашей эры, мы знаем, что древние жители Мексики

своим физическим типом очень отличались от сегодняшних индейцев: толстые восточные фигуры с лицами, напроць лишенными растительности и слабо выраженными чертами, соседствовали с другим типом лиц, бородатых, с орлиными чертами, чем-то напоминающими профили эпохи Возрождения. Работая с иным материалом, генетики утверждают, что по крайней мере сорок видов дикорастущих или обрабатываемых в доколумбовой Америке растений имеют тот же или подобный хромосомный набор, что и аналогичные им виды в Азии. Следует ли отсюда вывод, что кукуруза, которая фигурирует в этом перечне, происходит из Юго-Восточной Азии? Но возможно ли это, если учесть, что американцы выращивали ее уже четыре тысячи лет назад, в эпоху, когда искусство мореплавания наверняка было очень примитивным?



Рис. 44-45. Древние мексиканцы. Слева — из Юго-Восточной Мексики (Американский музей естественной истории); справа — с побережья Мексиканского залива (*Выставка мексиканского искусства*, Париж, 1952)

Даже если не разделять смелую гипотезу Тура Хейердала о заселении Полинезии американскими аборигенами, после путешествия “Кон-Тики” мы вынуждены признать, что контакты через Тихий океан могли происходить и быть достаточно частыми. Однако в эпоху расцвета вели-



ких цивилизаций в Америке, то есть к первому тысячелетию до нашей эры, острова Тихого океана были еще пусты — по крайней мере, пока не найдено никаких следов, которые бы относились к столь древним временам. Поэтому следовало бы, кроме Полинезии, обратить внимание на Меланезию (быть может, тогда уже заселенную), а также на все азиатское побережье в целом. Сегодня мы уверены, что связь между Аляской и Алеутскими островами, с одной стороны, и Сибирью, с другой, никогда не прерывалась. На Аляске, незнакомой с металлургией, железные инструменты использовались уже где-то в начале нашей эры; керамика одного и того же типа встречается на пространстве от Великих американских озер до Центральной Сибири; это также касается легенд, ритуалов и мифов. Создается впечатление, что в то время, когда Запад жил, замкнувшись в себе, все северные народы от Скандинавии до Лабрадора через Сибирь и Канаду поддерживали между собой тесные контакты. Если кельты могли заимствовать некоторые мотивы своих мифов у этих северных цивилизаций, о которых мы почти ничего не знаем, тогда было бы понятно, почему легенда о Граале выявляет большее сходство с мифами индейцев североамериканских лесов, чем с какой-либо другой мифологической системой. Вероятно, также не случайно, что лапландцы строят конусообразные жилища, точно такие же, как у североамериканских индейцев.

На юге азиатского континента можно встретить другой отголосок американских цивилизаций. Народы, заселяющие южные районы Китая, которых там называют “варварами”, а еще больше — первобытные племена Индонезии обнаруживают чрезвычайное сходство с жителями Америки. Во внутренних районах острова Борнео<sup>131</sup> были собраны мифы, которые неотличимы от наиболее распространенных мифов Северной Америки. Кроме того, специалисты давно обратили внимание на схожесть археологических материалов из Юго-Восточной Азии с мате-

риалами, относящимися к протоистории Скандинавии. Следовательно, три региона: Индонезия, Северо-Восточная Америка и Скандинавия, — представляют собой своего рода тригонометрические точки доколумбовой истории Нового Света.

А нельзя ли предположить, что знаменательное событие в истории человечества — я имею в виду появление неолитической цивилизации, когда получило распространение гончарное дело и ткачество, когда был дан толчок земледелию и скотоводству, а также были сделаны первые шаги в области металлургии, той цивилизации, которая в Старом Свете поначалу умещалась между Дунаем и Индом, — вдохновило менее развитые народы Азии и Америки? Трудно понять происхождение американской цивилизации, если не принять гипотезу интенсивной миграции на обоих побережьях Тихого океана — азиатском и американском, — миграции, совершаемой на протяжении тысячелетий благодаря прибрежному мореплаванию. Когда-то мы отказывали доколумбовой Америке в исторической масштабности, поскольку Америка послеколумбовая была ее лишена. Может быть, нам удастся исправить и другую ошибку, то есть наше устойчивое убеждение, что Америка, в течение двадцати тысячелетий отрезанная от Западной Европы, была отрезана и от остального мира. Все говорит, скорее, о том, что великому безмолвию на просторах Атлантики противостояло оживление у побережий Тихого океана.

Во всяком случае, создается впечатление, что в начале первого тысячелетия до нашей эры американский гибрид уже пустил три сильных, хорошо привившихся ростка с явными отличиями, восходящими к более ранним этапам своей эволюции: сельская культура Хопвела, которая господствовала и распространялась на части территории США к востоку от Великих равнин, перекликается с культурой Чавин в Северном Перу (отголоском которой является Паракас на юге); в свою очередь культура Ча-

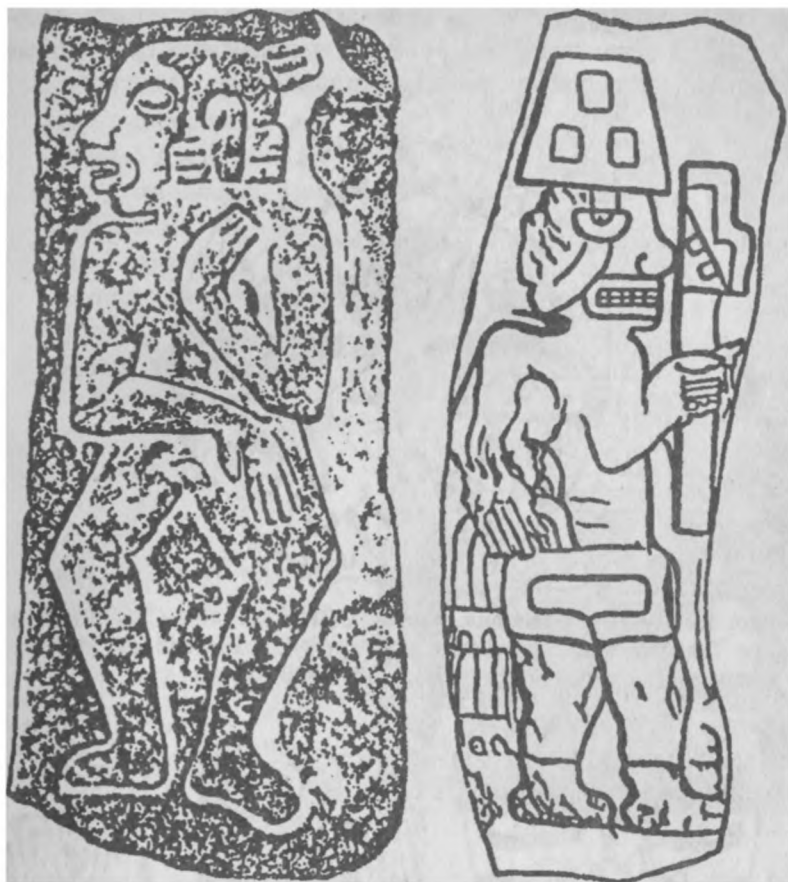


Рис. 46-47. Слева — культура Чавин, север Перу (по определению Телло); справа — культура Монте-Альбан, юг Мексики (барельеф, названный “Танцоры”)

вин похожа на ранние проявления цивилизации *ольмеков* и предвосхищает развитие культуры майя.

Во всех этих случаях мы имеем дело с искусством плавных линий, гибкость, свобода и интеллектуальное стремление к двузначности которых (в культуре Хопвела, как и в культуре Чавин, некоторые мотивы прочитываются по-

разному, как позитив и негатив) только начинает склоняться к угловатой скованности и неподвижности, которые мы привыкли приписывать доколумбовому искусству.



Рис. 48. Культура Хопвелл, восток США. По: Ch. C. Willoughby. The Turner Group of Earthworks (Papers of the Peabody Museum, Harvard University. Том VIII, №3, 1922)



Рис. 50. Культура Хопвелл, восток США. По: К. Moorehead. The Hopewell mound ... (Field Museum, Chicago. Anthropol. series, том VI, №5, 1922)

Иногда я пытаюсь убедить себя, что рисунки *кадиуэу* по-своему продолжают эту давнюю традицию. Не в эту ли эпоху американские цивилизации начинают свое разветвление, причем Мексика и Перу проявляют гораздо большую инициативу и продвигаются вперед огромными шагами, тогда как остальные остаются в переходном состоянии или же отстают настолько, что, казалось, возвращаются в полудикое состояние? Мы никогда точно не узнаем, что происходило в тропической Америке, поскольку в неблагоприятных климатических условиях почти не сохранились археологические материалы; однако обращает на себя внимание то, что общественное устройство у *жес* и даже план деревень *бороро* имеют много общего с тем, что нам удалось воссоздать благодаря археологическим исследованиям доинкских цивилизаций, например, Тиауанако в Верхней Боливии.

То, о чем я писал до сих пор, увело меня в сторону от описания подготовки к экспедиции в западную часть



Рис. 49. Культура Чавин, север Перу (по определению Телло)

Мату-Гросу; однако это было необходимо, ибо я хотел дать читателю возможность окунуться в ту страстную атмосферу, которой проникнуты все американские исследования, и археологические, и этнографические. Это всегда целый клубок проблем: следы, которыми мы располагаем, запутаны и зыбки; прошлое огромных территорий безвозвратно уничтожено; обоснования наших теорий так неустойчивы, что каждое новое открытие на месте заставляет исследователя колебаться: смиренный отказ ведет отчаянный спор с непомерными амбициями. Исследователь знает, что самое важное уже утрачено, что все его усилия сводятся к поверхностным поискам вслепую: а вдруг он все же наткнется на чудом сохранившиеся указания, и, наконец, забрезжит свет? Нет никаких возможностей, а значит, нет ничего невозможного. Ночь, в которой мы продвигаемся наощупь, слишком темна, чтобы мы могли о чем-то говорить с уверенностью, — даже о том, что этой ночи суждено длиться бесконечно.

## Глава 25

# В сертане

В Куябе, куда я возвратился спустя два года, я пытался узнать, какова в действительности ситуация на телеграфной линии, протянувшейся на пять-шесть тысяч километров к северу.

Здесь ненавидят эту линию, и тому есть несколько причин. Со времени основания города в XVIII веке немногочисленные контакты с северными районами поддерживались речным путем в направлении среднего течения Амазонки. Для того, чтобы добыть любимое возбуждающее средство *гуарану*, жители Куябы снаряжали по реке Тапажос экспедиции пирогами, длящиеся более шести месяцев. *Гуарана* — это твердая масса коричневого цвета; ее приготовлением занимаются практически исключительно индейцы *мауэ*, используя в качестве сырья плоды лианы *Paullina sorbilis*. Твердая колбаска из этой массы натирается шершавым языком рыбы *pirarucu*, который хранится в чехле из оленьей кожи. Эти детали очень важны, поскольку использование другой терки или другой шкуры могло бы лишить драгоценное вещество многих его достоинств. Точно так же жители Куябы утверждают, что скрученный в жгуты табак надо разрывать и измельчать руками, а не резать ножом, ибо иначе он выветривается. Порошок *гуараны* высыпают в подсахаренную воду, в которой он не растворяется, оставаясь во взвешенном состоянии, а затем пьют эту смесь, по вкусу напоминающую шоколад. Лично я ни разу не почувствовал какого-либо ее действия, но для жителей Центрально-

го и Южного Мату-Гросу *гуарана* имеет такое же значение, как *матэ* на юге. Достоинства *гуараны*, видимо, оправдывали затраченные усилия.

Прежде чем отправиться в путь на пирогах, на берегу оставляли нескольких человек, которые расчищали площадку в лесу, чтобы посадить там кукурузу и маниоку. Таким образом, члены экспедиции на обратном пути были обеспечены запасом пищи. Но со времени развития парового судоходства *гуарана* попадала в Куябу быстрее и в больших количествах через Рио-де-Жанейро, куда ее морем доставляли каботажные суда из Манауса или Белена. Так что теперь экспедиции по Тапажосу относились к героическому и почти забытому прошлому.

Однако, когда Рондон пообещал, что откроет для цивилизации северо-запад континента, воспоминания об этом прошлом ожили. Подножия плоскогорья — в окрестностях которых два городка, Розариу и Диамантину, расположенные на расстоянии соответственно ста и ста семидесяти километров от Куябы, вели сонную жизнь с тех пор, как истощились запасы рудоносных жил и гравия, — были относительно изучены. Миновав их, надо было продвигаться по суше, преодолевая одну за другой водные преграды притоков Амазонки, поскольку спуск по ним на пирогах был бы опасным предприятием на столь обширных пространствах. Около 1900 года северное плоскогорье еще оставалось мифической страной, утверждали даже, что там находится горная цепь Серра-ду-Норте, которая до сих пор еще изображена на большинстве карт континента.

Эта неизвестность в сочетании с рассказами о недавнем освоении американского *Far West*\* и о золотой лихорадке пробуждала огромные надежды у населения Мату-Гросу и даже у жителей побережья. Продвигаясь вслед за людьми Рондона, которые прокладывали телеграфные про-

---

\* Дальний Запад (англ.). — Прим. перев.



вода, волна эмигрантов хлынула на территории с предполагаемыми богатствами, чтобы воздвигнуть на них нечто вроде бразильского Чикаго. Но им пришлось отступить: мифическая Серра-ду-Норте, как и территории на северо-востоке, где лежат “проклятые земли” Бразилии, которые описал Эуклидис да Кунья в своей книге “*Os Sertões*”\*, оказалась пустынной саванной, одной из самых неблагоприятных зон на континенте. Более того, появление радиотелеграфной связи, которое совпало с завершившейся в 1922 году прокладкой линии, привело к тому, что линия потеряла свою ценность уже в момент ее открытия и стала старомодным памятником ушедшего века. Правда, в 1924 году на ее долю выпал короткий миг славы, когда в Сан-Паулу произошло восстание против федерального правительства, отрезавшее город от центра страны. Благодаря телеграфной линии, Рио поддерживал связь с Куябой через Белен и Манаус. Затем наступил упадок; те энтузиасты, которые получили там работу, остались ни с чем: одни вернулись домой, а о других просто забыли. Когда я прибыл туда, им уже несколько лет не оказывали никакой поддержки. Закрывать линию не хватало смелости, но ею уже никто не интересовался. Телеграфные столбы падали, провода ржавели; у последних оставшихся на станциях людей не было ни решительности, ни средств, чтобы уехать, и они постепенно вымирали, подтачиваемые голодом, болезнями и одиночеством.

Такая ситуация отягощала совесть жителей Куябы еще и потому, что обманутые надежды дали хотя и скромные, но реальные плоды, позволив эксплуатировать персонал линии. Перед отъездом на свою станцию служащие линии должны были выбрать в Куябе *procuradore*, то есть представителя, который будет получать их жалованье и использовать его по их распоряжению. Поручения обычно ограничивались покупкой патронов к ружь-

---

\* “В сертане” (португ.). — Прим. перев.

ям, керосина, соли, швейных иголок, тканей. Все эти товары доставлялись им по безмерно завышенным ценам, которые были результатом махинаций между *procuradore*, ливанскими торговцами и организаторами караванов. В итоге несчастные, заброшенные в сертане люди не могли и думать о возвращении домой, так как через несколько лет их долги многократно превышали их заработки. Всем хотелось навсегда забыть о телеграфной линии, поэтому мой план использования ее как базы не встретил одобрения. Я нашел унтер-офицеров в отставке, прежних товарищей Рондона, но не сумел вытянуть из них ничего, кроме унылого причитания: “*um pais ruim, muito ruim, mais ruim que qualquer outro...*” (“мерзкий край, очень мерзкий, более мерзкий, чем какой бы то ни было”). И, конечно же, мне не следует туда соваться.

Кроме того, существовала проблема индейцев. В 1931 году телеграфная станция в Паресисе, расположенная в относительно посещаемой зоне в трехстах километрах к северу от Куябы и в восьмидесяти километрах от Диамантину, подверглась нападению и была уничтожена неизвестными индейцами, прибывшими из долины Риу-ду-Санге, которая считалась необитаемой. Этих дикарей прозвали *beíços de rau*, “деревянными мордами”, из-за деревянных колец которые они носили на нижней губе и в ушах. С тех пор индейцы время от времени повторяли свои набеги, поэтому пришлось перенести телеграфную сеть на восемьдесят километров к югу. Что же касается кочевников *намбиквара*, которые с 1909 года иногда посещали посты, то их взаимоотношения с белыми складывались по-разному. Сначала они были дружескими, но постепенно ухудшались, и в 1925 году погибло семь служащих, приглашенных индейцами в их деревни. После этого индейцы *намбиквара* и телеграфисты стали избегать встреч друг с другом. В 1933 году недалеко от станции Журуэна была основана протестантская миссия, но, кажется, взаимоотношения миссионеров и индейцев быстро охладели: абориге-

ны были явно недовольны количеством подарков, которые миссионеры дарили им в благодарность за помощь в строительстве домов и посадке огородов. Через несколько месяцев один из индейцев, у которого был сильный жар, пришел в миссию, где ему выдали два порошка аспирина; он их выпил, но потом решил искупаться в реке, с ним случился инсульт, и он умер. А поскольку индейцы *намбиквара* сами слывут ловкими отравителями, они пришли к выводу, что их товарищ был отравлен; в ответ они совершили нападение, зверски убив шестерых членов миссии и двухлетнего ребенка. Спасательная экспедиция из Куябы обнаружила только одну женщину, чудом оставшуюся в живых. Мне повторили ее рассказ, и он в точности совпал с тем, что я позже услышал от организаторов нападения, которые через несколько недель стали моими товарищами и информаторами.

Со времени этого инцидента и нескольких последующих атмосфера на линии была напряженной. Когда я через администрацию почты в Куябе получил возможность связаться с главными постами (на что каждый раз требовалось несколько дней), нас ожидали самые неутешительные вести: здесь индейцы совершили опасную вылазку; там их не видели уже три месяца, что тоже было плохим знаком; в каком-то месте, где они когда-то работали, они вновь стали *bravos* — “дикими”, и т.д. Единственным, как мне показалось, обнадеживающим сообщением было известие, что несколько дней назад три отца-иезуита прибыли, чтобы обосноваться в Журуэне, на границе земли *намбиквара*, в шестистах километрах к северу от Куябы. Во всяком случае, я мог отправиться туда, собрать необходимые сведения, а затем составить план дальнейших действий.

В Куябе я провел месяц, который ушел на организацию экспедиции; раз уж я получил разрешение на поездку, я должен был добраться к цели. Нас ожидали шесть месяцев пути в сухой сезон через плоскогорье, которое

мне описывали как пустынное, лишенное пастбищ и дичи, поэтому необходимо было запастись максимальным количеством провианта не только для людей, но и для мулов; на мулах мы поедем верхом, пока не доберемся до бассейна Мадейры, где заменим их на пироги, поскольку мулов надо кормить достаточным количеством кукурузы, чтобы они осилили такое путешествие. Провиант лучше перевозить на быках, более выносливых и неприхотливых, удовлетворяющихся сухой травой и листьями. Но я должен был учесть, что часть быков сдохнет от голода и усталости, а поэтому необходимо взять с собой достаточное их количество. К тому же, нужны погонщики, которые будут управлять ими, навьючивать и разгружать на каждом этапе, то есть мой отряд увеличится, а значит потребуются дополнительные мулы и припасы, для которых нужны еще быки и т.д. ... Это был замкнутый круг. Наконец, после консультаций со знатоками, старыми телеграфистами и караванщиками, я остановился на количестве в пятнадцать человек, таком же количестве мулов и на тридцати быках. Что касается мулов, то здесь у меня не было выбора: в радиусе пятидесяти километров вокруг Куябы не нашлось больше пятнадцати мулов на продажу, и я скупил всех — по цене от ста пятидесяти до тысячи франков за штуку (по курсу 1938 года) в зависимости от их “красоты”. Как начальник экспедиции я выбрал для себя самое величественное животное — крупного белого мула, купленного у ностальгически настроенного мясника, любителя слонов, о котором я уже рассказывал.

Однако настоящая проблема возникла при подборе людей; костяк экспедиции составлял научный персонал из четырех человек; мы хорошо знали, что наш успех, безопасность и даже жизнь будут зависеть от преданности и умелости команды, которую нам предстояло собрать. Целыми днями мне приходилось отмечать всевозможный сброд из Куябы — всяких прохвостов и авантюристов. Наконец, живущий в пригороде старый

“полковник” порекомендовал мне своего бывшего погонщика из захолустной деревушки, охарактеризовав его как человека бедного, умного и добродетельного. Я познакомился с ним, и он покори́л меня своим естественным чувством собственного достоинства, которое часто встречается у крестьян из глубинных районов страны. В отличие от других, он не умолял меня оказать ему неслыханную милость — то есть в течение года выплачивать ему заработную плату, — а поставил мне свои условия: предоставить ему право самому выбирать людей и быков, а также позволить взять с собой несколько лошадей, которых он надеялся продать на севере за хорошую цену. Я уже купил десяток быков у одного караванщика из Куябы, прельстившись их высоким ростом, но еще более — вьюками и упряжью из шкуры тапира, выполненной в редком, уже почти не встречающемся стиле. Кроме того, епископ Куябы навязал мне своего протеже в качестве повара. Через несколько переходов выяснилось, что это был *veado branco*, “белый олень”, то есть педераст, который страдал от геморроя и не мог сидеть на лошади; он был счастлив, когда покидал нас. Наши превосходные быки (я не знал, что они уже прошли пятьсот километров) не имели на себе ни капли жира. Один за другим они начинали страдать от трения вьюков, которые стирали им кожу. Несмотря на сноровку погонщиков (*arreiros*), у быков лопалась кожа на хребте: в этих местах образовались широкие кровавые раны, в которых копошились черви и сквозь которые проступал позвоночник. Эти похожие на гниющие скелеты животные и стали нашей первой потерей.

К счастью, глава команды Фулженсио — произносилось Фруженсио — сумел заменить их менее статными на вид животными, большинство которых, тем не менее, выдержало путешествие до конца. Что же касается людей, то он подбирал их в своей деревне и близлежащих окрестностях: это были юноши, которых он знал с рожде-

ния и которые с уважением относились и к нему самому, и к его знанию дела. В основном они были выходцами из старых португальских семей, осевших в Мату-Гросу век или два назад и сохраняющих давние традиции.

Как бы ни бедны были эти люди, каждый из них возил с собой вышитое кружевное полотенце — подарок матери, сестры или невесты, — и до конца путешествия ни один не согласился бы вытереть свое лицо чем-либо иным. Когда я в первый раз предложил им порцию сахара к кофе, они с достоинством ответили мне, что они не *viciados*, то есть не развращенные. У меня были с ними определенные трудности, так как по всем вопросам у них — как и у меня — было свое устойчивое мнение. Я едва избежал бунта из-за подбора продуктов: они были уверены, что умрут от голода, если весь груз не будет состоять только из риса и фасоли. В конце концов они согласились на сушеное мясо, хотя были убеждены, что нам всегда будет хватать дичи. Зато они негодовали по поводу сахара, сушеных фруктов и консервов. Эти люди пожертвовали бы ради нас своей жизнью, но обращались с нами бесцеремонно и не согласились бы выстирать чужой носовой платок, так как стирка считалась женским делом. Условия нашего договора были следующими: во время экспедиции каждый получал в пользование верховое животное и ружье; помимо содержания, жалованье составляло пять франков в день по курсу 1938 года. Каждому из них полагалась сумма от полутора до двух тысяч франков, которая скапливалась к концу экспедиции (они не желали получать жалованье во время путешествия) и составляла капитал, позволяющий одному жениться, другому заняться разведением скота. Мы решили, что Фулженсио наймет нескольких молодых полудиких индейцев *пареси*, когда мы будем пересекать территорию, некогда принадлежавшую этому племени; теперь эти индейцы составляли большинство персонала телеграфной линии у границы земель *намбиквара*.

Так постепенно, небольшими группами — два-три человека и несколько быков — в деревнях окрестностей Куябы формировалась команда экспедиции. Общий сбор был назначен на один из дней июня 1938 года у городских ворот, откуда быки и погонщики с частью багажа под предводительством Фулженсио должны были отправиться в путь. Вьючный бык, в зависимости от того, насколько он силен, везет груз весом от шестидесяти до ста двадцати килограммов, разделенный на две равные части и размещенный справа и слева в деревянных ящиках, выстланных соломой и обитых снаружи дубленой кожей. В день быки преодолевают около двадцати пяти километров, но через каждую неделю пути они должны несколько дней отдыхать. Поэтому мы решили, что животные, навьюченные как можно меньше, пойдут впереди, а я поеду вслед на большом грузовике, пока будет позволять дорога, — то есть до Утиарити, станции телеграфной линии, расположенной в пятистах километрах к северу от Куябы, уже на территории *намбиквара*, а вернее, до берега реки Папагайу, поскольку слишком ветхий паром не сможет переправить грузовик через реку. А дальше — полная неизвестность.

Через несколько дней после того, как нас покинула “труппа”\* (караван быков называется *tropa*), наш грузовик с поклажей двинулся в путь. Но не проехали мы и пятидесяти километров, как встретили наших людей с быками, преспокойно расположившихся лагерем в саванне, — а я-то думал, что они уже в Утиарити или на подходе к ней. Здесь я в первый, но далеко не в последний раз вышел из себя. Я должен был пройти еще через множество разочарований, прежде чем понял, что в мире, в котором я оказался, фактор времени уже не имел значения. Это не я руководил экспедицией и даже не Фулженсио — ею руководили быки. Эти неповоротливые

---

\*Игра слов: франц. *troupe* означает и *труппу*, и *толпу*, и *стаю* (*troupeau* — стадо). — Прим. перев.

животные превращались в принцесс на горошине; надо было удовлетворять малейшее их желание, учитывать их настроение, заботиться о том, чтобы они отдыхали. Бык не предупреждает о том, что он устал или перегружен, он не останавливается во время пути, но внезапно падает замертво или в таком изнеможении, что ему потребовался бы месячный отдых для восстановления сил, — и тогда нет иного выхода, как только бросить его. И поэтому мы подчинялись желаниям наших животных. У каждого из них было свое имя, соответствующее окраске, телосложению или темпераменту. Моих животных звали: Piano (музыкальный инструмент), Maça Barro (грязедав), Salino (любитель соли), Chicolate (мои люди, которые никогда не пробовали шоколада, называли так смесь горячего подслащенного молока с яичным желтком), Taruma (пальмовое дерево), Galão (галун или галантный?), Lavrado (желто-красный), Ramalhete (букет), Rochedo (красноватый), Lambari (название рыбы), Açanhaço (голубая птица), Carbonate (мутный алмаз), Galala (?), Morinho (метис), Mansinho (ласковый), Coretto (умелый), Duque (граф), Motor (мотор; погонщик говорил о нем: “хорошо идет”), Paulista, Navigante (мореход), Moreno (бурый), Fugurino (образцовый), Briosio (живчик), Barroso (землисто-серый), Pai de Mel (пчела), Açaça (дикий плод), Bonito (красивый), Brinquedo (игрушка), Pretinho (смуглый).

Вся команда останавливается, когда погонщики считают это необходимым. - Одного за других животных разгружают, разбивается лагерь; если местность безопасна, быков выпускают на равнину, в ином случае их необходимо *pastorear*, то есть пасти и приглядывать за ними. Каждое утро несколько человек обходят окрестности в радиусе двух-трех километров, чтобы проверить, что происходит с каждым из животных. Это называется *campiar*. Пастухи (*vaqueros*) приписывают своим быкам порочные склонности, считая, что из вредности те часто убегают, прячутся, и их нельзя найти целыми днями. Однажды в



течение целой недели я не мог двинуться с места, так как один из моих мулов, как меня уверяли, ушел в кампос, идя сначала боком, а потом пятась, чтобы его *rastos*, следы, не смогли прочесть те, кто его преследовал.

Когда все животные собраны, необходимо осмотреть их раны, смазать их мазями, переместить тюки таким образом, чтобы груз не соприкасался с поврежденными местами. И, наконец, надо их загружать и надевать на них упряжь. Здесь начинается новая драма: за четыре-пять дней быки отвыкли от работы, некоторые из них, почувствовав поклажу, вырываются и становятся на дыбы, сбрасывая старательно уравновешенный груз. Еще хорошо, если высвободившийся бык не помчится рысью через поле, ибо тогда придется снова разбивать лагерь: разгружаться, *pastorear*, *campiar* и т.д., пока не сгонят все стадо для новой загрузки; это может повторяться пять-шесть раз, до тех пор, пока — неизвестно по какой причине — не будет достигнуто полное повиновение.

Поскольку я еще менее терпелив, чем быки, через несколько недель я больше не мог мириться с этим непредсказуемым передвижением. Оставив стадо позади, мы прибыли в Росариу-Уэсти, городок с тысячей жителей, в основном чернокожих, низкорослых, страдающих зобом, которые жили в *casebres*, саманных хижинах огненно-красного цвета, покрытых светлыми пальмовыми листьями, которые расположились вдоль прямых улиц, поросших буйной травой.

Мне вспоминается садик хозяина, такой ухоженный, что напоминал жилую комнату. Земля была утрамбована и подметена, а деревья посажены так аккуратно, словно расставленная в гостиной мебель: два апельсиновых дерева, один лимон, грядочка перца, десять футов маниоки, два или три гибискуса, два куста роз, банановая рощица и грядка сахарного тростника. Кроме того, там разгуливали попугай и три курицы — каждая птица была привязана за лапку к дереву длинной веревкой.

В Росариу-Уэсти праздничные блюда всегда готовились в двух видах: нам подали одну половину курицы в жареном, а другую — в холодном виде, с острым соусом, половину рыбы жареной, половину — вареной. Завершала обед *cachaça*, водка из сахарного тростника, которую пьют, произнося сакраментальные слова: “*cemiterio, cadeia, cacheça não é feito para uma só pessoa*”, что значит: “кладбище, тюрьма и водка (три “с”) не выпадают одному человеку”. Росариу лежит в глубине сертана; его население состоит из бывших сборщиков каучука, золотоискателей и добытчиков алмазов; они могли дать мне полезные советы по поводу дальнейшего пути. В надежде выудить нужную информацию я внимательно слушал рассказы моих гостей, вспоминая свои приключения, в которых смешивались легенды и быль.

Трудно было поверить, что на севере живут *gatos valentes*, отважные кошки, помесь домашних кошек с ягуарами. Но, наверное, стоило кое-что запомнить из той истории, которую рассказал мне мой собеседник и которая отражала стиль и дух сертана.

В Барра-ду-Бугрис жил один *curandeiro*, знахарь, который умел излечивать от укуса змей. Сначала он колол предплечье пострадавшего зубами *sucuri*, питона боа, затем чертил на земле крест ружейным порохом, поджигал его, а больной держал руку над дымом. Наконец, он брал кусок прокопченной ваты от трута *artificio* (кремниевой зажигалки, фитилем для которой служила корпия, набитая в пустой рог), окунал ее в *cachaça* и давал выпить смесь больному. И это все.

Как-то начальник *turma de poaieiros* (отряда сборщиков ипекакуаны — лекарственного растения<sup>132</sup>), присутствовавший при этой процедуре излечения, попросил знахаря, чтобы тот дождался прибытия его людей, которые наверняка захотят сделать “прививку” (по цене 5 мильрейсов, то есть 5 франков по курсу 1938 года). Знахарь согласился. В субботу утром возле *barracão*

(общего дома) слышался вой собаки. Начальник послал *camarada* узнать, что случилось. Как оказалось, собака увидела разъяренную *cascavel*, гремучую змею. Начальник отряда просит знахаря поймать змею, а когда тот отказывается, он, рассердившись, заявляет, что в таком случае “прививка” отменяется. Знахарь подчиняется приказу, протягивает руку к змее, она кусает его, и он умирает.

Тот, кто рассказал мне эту историю, объяснил, что он сам получил прививку от *curandeiro* и потом дал ужалить себя змее, чтобы проверить эффективность профилактической процедуры. Правда, он уточнил, что выбрал неядовитую змею.

Я привожу эту историю как хорошую иллюстрацию той смеси хитрости и простодушия, которая, — особенно в отношении трагических случаев, воспринимаемых как незначительные события повседневной жизни, — характерна для образа мышления, широко распространенного в Бразилии. И пусть вас не сбивает с толку концовка, которая лишь кажется абсурдной. Рассказчик рассуждает так же, как рассуждал глава неомусульманской секты ахмадие<sup>133</sup>, с которым много позже я беседовал, когда он пригласил меня на обед в Лахоре. Секта ахмадие отличается от ортодоксального ислама верой в то, что все пророки, на протяжении веков провозглашавшие себя мессиями (к ним причисляются Сократ и Будда), были таковыми в действительности. Иначе Бог наказал бы их за дерзость. Вероятно, так же думал и мой собеседник из Росариу: если бы магия знахаря не была настоящей, вызванные им сверхъестественные силы изобличили бы его, превратив безвредную змею в ядовитую. Поскольку лечение считалось магическим, пациент проверил его также на основе магии.

Меня уверяли, что дорога, ведущая к Утиарити, не готовит нам неожиданностей, во всяком случае таких, которые приключились с нами два года назад по пути в

Сан-Лоренсу. Тем не менее, на вершине Серры-ду-Томбадор, в месте, называемом Каиша-Фурада, что означает “дырявый ящик”, у нашей машины треснула шестерня зубчатой передачи. Мы находились примерно в тридцати километрах от Диамантину; наши водители пошли туда пешком, чтобы телеграфировать в Куябу, откуда для нас закажут запасные части и доставят их из Рио самолетом, а потом из Куябы грузовиком. Если все пойдет гладко, операция займет дней восемь. За это время быки смогут опередить нас.

Итак, мы находимся на вершине Томбадора; эта скалистая шпора венчает шападу, возвышающуюся на триста метров над бассейном реки Парагвай; по другую ее сторону текут ручьи, питающие притоки Амазонки. В этой неприветливой саванне нам только и оставалось, что спать, мечтать и охотиться. Мы отыскивали несколько хилых деревьев и развесили между ними наши гамаки и противомосkitные сетки. Стоял июнь; сухой сезон длился уже месяц; теперь, кроме редких и слабых августовских дождей *chuvvas de caju* (которых в том году так и не было), до сентября не предвиделось ни капли дождя. Саванна приобрела почти зимний вид: увядшая и засохшая растительность, местами выжженная пожарами, обнажила песчаные залысины, лишь кое-где прикрытые остатками травы. В это время года немногочисленная дичь, встречающаяся на плоскогорье, прячется в островках непроходимых зарослей, называемых *сарое*\*, где она может найти ручей и небольшие, еще зеленые пастбища.

В сезон дождей, с октября по март, когда ливни идут почти ежедневно, днем температура поднимается до 42-44°, ночью немного прохладнее, и лишь под утро бывает внезапное и кратковременное похолодание. Но для сухого сезона характерны резкие смены температуры: от 40° тепла днем до 8-10° ночью.

---

\* Сарão — лес (или кустарник), окруженный полем (португ.). — Прим. перев.

Мы сидели вокруг лагерного костра и, потягивая *matê*, слушали рассказы двух братьев, нанятых нами на службу, и шоферов, которые вспоминали свои приключения в сертане. Они объясняли, что большой муравьед, *tamandua*, беззащитен в кампосе, где он не может удержать равновесие, стоя на задних лапах. В лесу он упирается в дерево хвостом и в состоянии задавить передними лапами любого, кто к нему приблизится. Муравьед не боится и ночного нападения, “так как спит, укладывая голову вдоль тела, и даже ягуар не знает, где находится его голова”. В сезон дождей надо постоянно быть начеку, поскольку по саванне бродят дикие свиньи (*caetetu*) стадами по пятьдесят и более голов; за несколько метров можно услышать скрежет их челюстей (отсюда название этих животных *queixada* — “челюсть”). Услышав этот звук, охотник должен бежать: если он убьет или ранит одно животное, остальные бросятся в атаку, — и тогда ему останется забраться на дерево или на термитник (*cupim*).

Один из присутствующих рассказал, как однажды, путешествуя ночью со своим братом, он услышал крики, но побоялся поспешить на помощь, опасаясь индейцев. Братья решили подождать до утра, хотя крики продолжались. На рассвете они обнаружили охотника, с прошлого дня сидящего на дереве, окруженном дикими свиньями; его ружье лежало на земле.

Однако его судьба не столь трагична, как судьба другого охотника, который издали услышал *a queixada* и нашел себе убежище на *cupim*. Свиньи окружили его, и он стрелял, пока не кончились патроны, а потом защищался ножом, *facão*. Утром его начали искать и обнаружили по большому скоплению *урубу* (птиц, питающихся падалью). На земле остались только его череп и выпотрошенные трупы убитых свиней.

Были и забавные истории. Один из рассказов был о *seringueiro*, сборщике каучука, который встретился с голодным ягуаром; они ходили друг за другом вокруг

лесного массива, пока, в результате ложного маневра человека, не столкнулись нос к носу. Ни один из них не решался двинуться; человек даже не отваживался крикнуть, “и лишь через полчаса, когда его свело судорогой, он сделал произвольное движение, задел приклад своего ружья и только тогда сообразил, что вооружен”.

К несчастью, в этой местности нам докучали насекомые: осы (*maribundo*), комары (*piums*) и тучи маленьких мошек (*borrachudos*), сосущих кровь, а также пчелы, которых называют здесь *pais de mel*\*. Южноамериканские пчелы неядовиты, но страшно назойливы; они падки на пот и пытаются отвоевать себе наиболее лакомые места: уголки губ, глаза и ноздри, где, опьяненные выделениями своей жертвы, они готовы скорее погибнуть, чем улететь, а их раздавленные на коже тела постоянно привлекают все новых желающих. Отсюда их прозвище *lamba-olhos* — глазолизы. Это настоящее бедствие тропического леса, намного хуже инфекций, разносимых комарами и мухами, к которым организм привыкает через несколько недель.

Но там, где пчела, там и мед, который можно собирать, не подвергая себя опасности — опустошая кладовые земляных пчел или находя в дуплах деревьев соты, в крупные ячейки которых могло бы войти яйцо. Каждый вид пчел производит мед, разный по вкусу — я насчитал тринадцать его разновидностей, — но всегда столь насыщенный, что, по примеру индейцев *намбиквара*, мы вскоре научились разводить мед в воде. Эту густую массу можно разводить в разных пропорциях, как бургундские вина, а ее странный вкус ни с чем не сравним. Лишь однажды я обнаружил нечто подобное во время одной из экспедиций в Юго-Восточной Азии: это был экстракт из желез таракана, который продавался на вес и стоил, как золото. Хватало микроскопической

---

\* Отцы меда (португ.). — Прим. перев.

дозы, чтобы насытить его ароматом любое блюдо. Подобный аромат выделяет жужелица, насекомое темного цвета, встречающееся во Франции.

Наконец, прибыл грузовик с запасными частями и механиком, который должен их установить. Мы трогаемся в путь, проезжаем полуразрушенный Диамантину, лежащий в долине, открытой в направлении реки Парагвай, вновь поднимаемся на плоскогорье — на этот раз без приключений — и добираемся до реки Аринус, которая несет свои воды в Тапажос и далее в Амазонку; затем мы сворачиваем на запад к холмистым долинам Сакре и Папагайу, которые тоже вливаются в Тапажос, стекая в нее с шестидесятиметровой высоты. В Пареси мы задерживаемся, чтобы осмотреть оружие, брошенное *beißos de rau*, которых снова видели в окрестностях. Проехав совсем немного, мы проводим бессонную ночь в болотистом месте, обеспокоенные кострами индейского лагеря, дым от которых мы видели на расстоянии нескольких километров на фоне чистого в это время засухи неба. Потребовался еще один день, чтобы объехать водопады и по пути собрать кое-какие сведения в деревне индейцев *пареси*. И вот уже река Папагайу, шириной около ста метров, несет по равнине свои воды, настолько чистые, что даже на большой глубине видно каменистое дно. На другой стороне реки расположилась дюжина саманных хижин телеграфной станции Утиарити. Мы разгружаем грузовик, переносим припасы и багаж на паром, прощаемся с шоферами. На противоположном берегу появляются две обнаженные фигуры — это индейцы *намбиквара*.

# На телеграфной линии

На телеграфной линии Рондона можно легко поверить, что ты находишься на Луне. Представьте себе территорию величиной с Францию, на три четверти неизученную, по которой передвигаются только небольшие группы кочевников, считающиеся одними из самых примитивных народов в мире; и всю эту территорию из конца в конец пересекает телеграфная линия. Проложенная вдоль линии, кое-как расчищенная тропа, *picada*, является единственным ориентиром на протяжении семисот километров. По обеим сторонам освоенных Комиссией Рондона участков к югу и к северу от *picada* начинаются неизведанные земли, если считать, что саму линию можно различить среди густых зарослей. Правда, есть провода, но, став бесполезными сразу после прокладки, они свисают со столбов, которые никогда не заменялись и постепенно рассыхались или становились жертвой индейцев, которые принимают характерное гудение телеграфных проводов за жужжание роя диких пчел. Местами провода тянутся по земле или небрежно свисают со стволов соседних деревьев. И не удивительно, что линия не смягчает, а скорее усугубляет унылое запустение.

Однообразие девственных пейзажей лишает выразительности их первозданную дикость. Ландшафт ускользает от человека, исчезает, не привлекая к себе внимания. В этой бесконечной пустыне *picada* с кривыми силуэтами столбов и соединяющими их дугами провисших проводов кажется набором бессмысленных, брошенных на произ-



вол судьбы, предметов, какие можно увидеть на картинах Ива Танги<sup>134</sup>. Как свидетельства пребывания здесь человека и тщетности его усилий они еще красноречивее, чем их отсутствие, знаменуют тот последний рубеж, который человек пытался преодолеть. Эта по нелепой прихоти предпринятая попытка и постигшая ее неудача лишь подчеркивают пустынную окрестность.

Персонал линии состоит из ста человек; часть из них — это индейцы *пареси*, когда-то завербованные комиссией по устройству телеграфной линии, которых военные обучили обслуживать сеть и обращаться с аппаратурой (что не мешало индейцам по-прежнему использовать на охоте лук и стрелы); другая часть — бразильцы, привлеченные когда-то в эти неосвоенные районы надеждой найти здесь новое Эльдorado или же новый *Far West*. Надежда не оправдалась, ибо по мере продвижения по плоскогорью “формы” алмазов встречаются все реже.

“Формами” называются мелкие камни, особые по своей структуре и цвету, которые предупреждают о наличии алмазов так же, как следы указывают на присутствие зверя. “Если я их нахожу, это значит, что алмаз шел этой дорогой.” Это: *emburradas* (грубые камешки), *pretinhas* (маленькие негрятяночки), *amarelinhas* (желторотые), *figados de gallinha* (куриные печенки), *sangues de boi* (бычья кровь), *feijões-relusantes* (блестящие бусинки), *dentes de cão* (собачьи зубы), *ferragens* (железки), а также *carbonates*, *lacres*, *friscas de ouro*, *faceiras*, *chiconas* и т.д.

Мало того, что здесь нет алмазов; на этих песчаных землях, заливаемых дождем в течение одной половины года и лишенных каких бы то ни было осадков в течение второй, не растет ничего, кроме колючего и кривого кустарника, а дичь встречается крайне редко. Сегодня эти несчастные люди, заброшенные сюда приливом и оставленные отхлынувшей волной — одной из тех человеческих волн, столь характерных для истории Центральной Бразилии, которые в бурном всплеске энтузиазма

выбрасывают в глубь страны горстку беспокойных и нищих искателей приключений, а потом оставляют их там, обрекая на забвение, — полностью отрезаны от цивилизованного мира; благодаря каким-то удивительным свойствам, они приспосабливаются к одиночеству, коротая свой век на маленьких станциях, состоящих из нескольких саманных хижин, которые удалены одна от другой на восемьдесят—сто километров, и это расстояние можно преодолеть только пешком.

Каждое утро на телеграфе происходит эфемерное оживление, начинается обмен новостями: на станции такой-то замечены лагерные костры враждебных индейцев, которые готовятся к уничтожению заставы; на другой станции два индейца *пареси* исчезли несколько дней назад, возможно, став жертвами индейцев *намбиквара*, за которыми на линии закрепились вполне определенная репутация и которые наверняка послали упомянутых *пареси* на *invernada do seu*, “зимовку на небесах”... И тут с юмором висельника вспоминают миссионеров, убитых в 1933 году, или телеграфиста, которого нашли наполовину зарытым в землю, с изрешеченной стрелами грудью и телеграфным аппаратом на голове. Люди на линии с болезненным вниманием следят за индейцами — воплощением ежедневной опасности, изрядно преувеличенной местными фантазиями. Но, тем не менее, набеги небольших кочевых групп стали здесь единственным развлечением и, более того, единственным поводом для контакта с людьми. Во время этих вторжений, случающихся один-два раза в год, бандиты и их потенциальные жертвы обмениваются любезностями на немислимом жаргоне линии, состоящем всего из сорока слов, наполовину заимствованных из языка *намбиквара*, наполовину португальских.

Кроме этих развлечений, которые у обеих сторон вызывают легкий озноб, у каждого начальника станции есть и свой собственный репертуар. Среди них нередок экзальтированный тип: его жена и дети умирают от голо-

да, а он не может прожить без того, чтобы каждый раз, собираясь искупаться в реке, не выстрелить пять раз из винчестера с целью напугать притаившихся в засаде индейцев, якобы желающих его убить; ему мерещится их присутствие по обе стороны реки, и, пытаясь таким образом себя обезопасить, он расходует драгоценные патроны; это называется *quebrar bala* — гнуть пули. Есть тип бывалого человека: он покинул Рио студентом-фармацевтом и в мыслях все еще расточает остроты на Ларгу-ду-Овидор, но поскольку ему уже нечего сказать, он ограничивается мимикой, причмокиванием языком, пощелкиванием пальцами, многозначительными взглядами; в немом фильме его можно было бы принять за шута. Следует еще упомянуть и о типе мудреца: он научился поддерживать биологическое существование своей семьи благодаря стаду косуль, которые приходят к соседнему ручью на водопой; каждую неделю он убивает одну из них, но не больше, — дичь сохраняется, станция тоже, однако уже восемь лет (с тех пор, как постепенно прекратилось снабжение станции с караванами быков) там ничего не ели, кроме мяса косуль.

Отцы-иезуиты, которые опередили нас на несколько недель и обосновались возле станции Журуэна километрах в пятидесяти от Утиарити, составляли в этой картине живописный акцент иного рода. Их было трое: голландец, который молился, бразилец, который намеревался цивилизовать индейцев, и венгр, в прошлом помещик и прирожденный охотник, роль которого заключалась в обеспечении миссии дичью. Вскоре после прибытия иезуитов их навестил пожилой француз, провинциал с гортанным выговором, у которого был такой вид, будто он сохранился со времен царствования Людовика XIV. Судя по тому, с какой серьезностью он рассуждал о “дикарях” — он никогда не называл индейцев иначе, — можно было подумать, что он высадился где-то в Канаде вместе с Картье<sup>135</sup> или Шампленом<sup>136</sup>. Как только он прибыл, с венгром —

которого, похоже, привело к монашеству раскаяние в грехах бурной молодости — случился припадок вроде того, что наши колонизаторы называют “удар бамбуком”. Через стены миссии было слышно, как он поносил своего наставника, который был как никогда верен своему предназначению и усердно исполнял обряд экзорцизма, используя крестное знамение и “*Vado retro, Satanas!*”\*. Венгру, наконец освобожденному от демона, было предписано сидеть на хлебе и воде пятнадцать дней — естественно, символически, так как в Журуэне нет хлеба.

Индейцы *кадиуэу* и *бороро* составляют — хотя и с разных точек зрения — то, что без всякой иронии можно назвать учеными сообществами. У индейцев *намбиквара* сторонний наблюдатель встретит то, что он охотно, хотя и несправедливо, назвал бы детством человечества.

Мы расположились на краю деревни, под прохудившимся навесом из соломы, который в период строительства линии служил для хранения материалов. Таким образом мы оказались в нескольких метрах от стоянки индейцев. Это была небольшая группа в двадцать человек, составляющих шесть семей; они прибыли сюда за несколько дней до нас, совершив одно из своих ежегодных кочевий.

Год *намбиквара* делится на два разных периода. В сезон дождей, с октября по март, каждая группа располагается на небольшой возвышенности над ручьем; аборигены строят там примитивные хижины из ветвей и пальмовых листьев. На выжженных участках галерейного леса, в глубине влажных долин, они возделывают огороды, где сажают в основном маниоку (сладкую и горькую), различные виды кукурузы, табак, иногда фасоль, хлопок, арахис и тыкву. Женщины растирают маниоку на досках, утыканных шипами определенных видов пальмовых деревьев, а если это ядовитые разновидности, то выжимают сок, зак-

---

\* “Изыди, сатана” (лат.). — Прим.перев.

ручивая свежую мякоть в кусочки коры. Огородничество служит источником пропитания только в период оседлой жизни. *Намбиквара* стараются сохранить даже ботву маниоки, закапывая ее в землю, откуда через несколько недель или месяцев выкапывают ее наполовину сгнившей.

С наступлением засухи аборигены покидают деревни и разделяются на кочующие группы. В течение семи месяцев эти группы бродят по саванне в поисках ящериц, пауков, саранчи, мелких грызунов, змей, личинок, а также плодов, зерен, корней или меда диких пчел, — одним словом, всего, что может их спасти от голодной смерти. Лагерь разбивается на один или несколько дней, иногда на несколько недель; он состоит из временных жилищ для каждой семьи, сооруженных из пальмовых листьев и ветвей, воткнутых в песок по полукругу и связанных наверху. В течение дня ветки выдергиваются с одной стороны и втыкаются с другой, создавая постоянный заслон от солнца, ветра или дождя. Все усилия в эту пору направлены на поиски пропитания. Женщины вооружаются палками-копалками, которые служат им для добывания корней и охоты на мелких животных; мужчины охотятся при помощи луков из пальмовых веток, используя стрелы различного типа: у стрел, предназначенных для охоты на птиц, притуплено острие, чтобы они не вонзались в ветви; стрелы для ловли рыбы длиннее, без оперенья и венчаются тремя или пятью расходящимися остриями; стрелы, наконечники которых отравлены ядом *кураре* и закрыты футляром из бамбука, предназначены для средней дичи, а для крупного зверя — ягуара или тапира — используются стрелы с копьевидными остриями, сделанные из толстого куска бамбука с целью вызвать кровотечение, иначе дозы яда на наконечнике стрелы недостаточно.

По сравнению с великолепием “дворцов” индейцев *бороро* нищета, в которой живут *намбиквара*, кажется невообразимой. Представители обоих полов не носят ника-

кой одежды, а их физический тип столь же резко отличает их от соседних племен, как и бедность их культуры. Индейцы *намбиквара* низкого роста: мужчины — около одного метра и шестидесяти сантиметров, женщины — около полутора метров, и хотя у женщин — как и у других индейцев Южной Америки — нет тонкой талии, у них более хрупкое телосложение, меньшие конечности и более тонкие запястья. Кроме того, кожа у *намбиквара* гораздо темнее; многие из них страдают кожными заболеваниями, поэтому их тела покрыты фиолетовыми пятнами; однако у здоровых людей песок, в котором они любят поваляться, придает коже золотистый оттенок и бархатистость, что весьма привлекательно, особенно у молодых женщин. У этих индейцев удлиненная форма головы, тонкие и правильные черты лица, живой взгляд, слегка вьющиеся и более густые, чем у большинства народов монголоидной расы, волосы, цвет которых редко бывает абсолютно черным. Этот физический тип произвел впечатление на первых прибывших сюда европейцев и дал им основание для гипотезы о скрещении индейцев с чернокожими, которые бежали с плантаций, чтобы спрятаться в *quilombos* — колониях взбунтовавшихся рабов. Но если *намбиквара* получили порцию негритянской крови, то это должно было произойти в недавнем прошлом; тогда непонятно, почему у всех *намбиквара* — мы это проверили — нулевая группа крови, что указывает если не на чисто индейское происхождение, то во всяком случае на демографическую изоляцию в течение веков. Сегодня физический тип *намбиквара* уже не кажется нам таким загадочным: он напоминает людей древней расы, останки которых найдены в Бразилии в пещерах Лагоа-Санта, расположенных в штате Минас-Жерайс. Я с изумлением обнаружил здесь лица почти кавказского типа, подобные тем, какие можно увидеть на скульптурах и барельефах, найденных в окрестностях Веракруса и относящихся к самым древним цивилизациям Мексики.

Это сходство тем более поразительно, если учесть скудость материальной культуры *намбиквара*, которая не только не свидетельствовала об их связи с высокоразвитыми культурами Центральной и Северной Америки, но давала повод относиться к ним как к людям каменного века. Наряд женщин ограничивался тонкой нитью бисера из раковин вокруг талии и несколькими нитями таких же бус и браслетов, серьгами из перламутра или пуха, браслетами, выточенными из панциря большого броненосца, иногда узкими повязками из хлопковой ткани (сотканной мужчинами) или из соломы вокруг предплечий и щиколоток. Наряд мужчин был еще скромнее — правда, иногда они прикрепляли к поясу пучок соломы, который прикрывал половой член.

Помимо лука и стрел, вооружение включало в себя нечто вроде сплющенного дротика, который, похоже, имел не только военное, но и магическое предназначение. Я видел, как его использовали для манипуляций с целью остановить ураган, а также бросали в определенном направлении, чтобы поразить *atasu*, злых духов чащи. Тем же словом *намбиквара* называют звезды и быков, которых они очень боятся (в то время как охотно забивают и едят мулов, хотя и те, и другие стали известны им одновременно). Мои наручные часы тоже были *atasu*.

Все имущество индейцев *намбиквара* легко помещается в корзинах, которые женщины носят на спине во время переходов. Корзины плетут из шести волокон расщепленного бамбука: две пары располагают перпендикулярно друг к другу и одну пару — наискось, и таким образом плетение образует сеть с крупными звездообразными ячейками; слегка расширяющиеся сверху, корзины сужаются внизу, по форме напоминая раструб перчатки. Их высота достигает полутора метров, то есть иногда они в один рост с женщинами, которые их носят. На дно укладывается немного маниоковой ботвы, прикрытой листьями, наверх — снаряжение и инструменты: сосуды в

форме тыквы, ножи, сделанные из расщепленных ростков бамбука, грубо отесанные камни или куски железа, полученные путем обмена, закрепленные при помощи воска, смолы и веревочек между двумя дощечками, образующими рукоятку, сверла с каменным или металлическим буром, укрепленным на конце стержня, который вращают между ладонями. У аборигенов имеются металлические топоры, которые они получили от Комиссии Рондона; их собственные каменные топоры теперь служат только как кувалды для формовки предметов из раковин или кости. Гончарное ремесло неизвестно в восточных группах (с которых я начал свои исследования), в других же местах оно очень примитивно. У *намбиквара* нет пирога, они переправляются через реки вплавь, иногда помогая себе связками ветвей как спасательным кругом.

Все эти инструменты примитивны и вряд ли могут называться ремесленными изделиями. В корзине *намбиквара* находится главным образом материал: куски дерева разных размеров, предназначенные в основном для разжигания огня путем трения, воск или смола, мотки растительных волокон, кости, клыки и когти животных, клочки меха, перья, колючки ежа, ореховая скорлупа, речные раковины, камешки, хлопковая ткань и зерна, из которых по мере необходимости изготавливаются предметы. Все это являет взору исследователя столь беспорядочную картину, что он обескуражен этой экспозицией, которая кажется скорее результатом деятельности особой разновидности гигантских муравьев, чем творением человеческих рук. И действительно, *намбиквара*, гуськом идущие через высокие травы, напоминают колонию муравьев, а женщины со своими корзинами на плечах похожи на муравьих, переносящих свои яйца.

У индейцев тропической Америки, которым мы обязаны изобретением гамака, нищету символизирует отсутствие этого или какого-то иного приспособления для сна или отдыха.



*Намбиквара* спят прямо на голой земле. В сухой сезон, когда ночи холодные, они согреваются, прижимаясь друг к другу или пододвигаясь к лагерному костру, который среди ночи гаснет, так что на заре они пробуждаются, измазанные еще теплым пеплом. *Пареси* дали им прозвище *waikoakore* — спящие на голой земле.

Как я уже говорил, группа, соседствующая с нами в Утиарити, а позднее в Журуэне, состояла из шести семей: семья вождя, состоящая из него самого, трех жен и подрастающей дочери, а также пять других семей, каждая из которых включает в себя супружескую пару и одного-двоих детей. Все они были родственниками, потому что *намбиквара* предпочитают жениться на племянницах или двоюродных сестрах — дочерях сестер отца или брата матери, то есть вступают в кросскузенные браки, как их называют этнологи. Кузин и кузен, соответствующих этому определению, с рождения называют словом, обозначающим супруга или супругу, в то время как другие кузены и кузины (дети двух братьев или двух сестер), которых этнологи называют параллельными, считаются братьями и сестрами и не могут вступать между собой в брак. Казалось, что между аборигенами царят сердечные взаимоотношения, однако даже в этой небольшой группе из двадцати трех человек, включая детей, существовали сложности: молодой вождь женился на довольно ленивой девушке, которая не хотела заниматься детьми от первого брака — двумя девочками, одной около шести, другой около двух или трех лет. Кроме старшей девочки, которая заменяла сестричке мать, никто не заботился о младшем ребенке. Его без раздражения передавали из семьи в семью. Взрослые хотели, чтобы я ее удочерил, но дети придумали другой выход, который казался им очень забавным: они привели ко мне девочку, которая только начинала ходить, и недвусмысленными жестами предложили мне взять ее в жены.

Другая семья состояла из уже пожилых родителей и вернувшейся к ним беременной дочери, брошенной му-

жем (на тот момент отсутствующим). Наконец, пара молодых супругов, где жена еще кормила младенца грудью, жила под тяжестью запретов, которые налагаются на молодых родителей. Они были очень грязные, так как им нельзя было купаться в реке, худые, потому что не имели права употреблять в пищу большинство продуктов, и обреченные на бездействие, поскольку родители грудного младенца не могли принимать участие в жизни общины. Мужчина иногда ходил на охоту или в одиночку собирал дикie плоды; женщине приносили еду муж и ее родители.

*Намбиквара* были общительны и спокойно относились к присутствию этнографа с его неизменными блокнотом и фотоаппаратом, но мою работу усложняли языковые проблемы, и прежде всего запрет на собственные имена; чтобы я мог как-то называть каждого из них, необходимо было, по опыту телеграфистов с линии, договориться с индейцами об использовании заимствованных имен, например, португальских: Хулио, Хосе-Мария, Луиза, или же прозвищ: *Lebre* (Заяц), *Assucar* (Сахар). Я был знаком с человеком, которого Рондон или один из его товарищей нарек Кавеньяком<sup>137</sup> из-за его бородки, столь редкой у индейцев, лица которых лишены растительности.

Однажды, когда я играл с детьми, одну из девочек ударила ее подружка; пострадавшая бросилась ко мне искать защиты и под большим секретом начала шептать мне что-то на ухо; сначала я ничего не понял и попросил ее повторить сказанное; тем временем ее противница заметила эту уловку и в гневе прибежала ко мне, чтобы тоже выдать важную тайну. Задав им еще два-три вопроса, я уже не сомневался в том, что произошло: обиженная девочка выдала мне имя своей обидчицы, а та, заметив это, в отместку назвала мне имя первой. С этого момента я без зазрения совести подстрекал детей друг против друга и узнавал их имена. Потом дети, повязанные со мной общей виной, без труда выдали мне имена взрослых. Однако

вскоре взрослые раскрыли наш тайный сговор, дети были наказаны, а я потерял источник информации.

Вторая трудность состояла в том, что язык *намбиквара* включает в себя несколько совершенно не изученных диалектов. Они различаются между собой формами некоторых существительных и глаголов. На линии пользуются разновидностью *pidgin*\*, который мог бы мне пригодиться только в самом начале. Используя добрую волю и живость ума индейцев, я в основном овладел языком *намбиквара*. К счастью, язык содержит магические слова: *kititu* в восточном диалекте, *dige* или *dage* либо *tchore* в других местах; достаточно добавлять эти слова к существительным, чтобы превращать их в глаголы, приставляя к ним в случае необходимости отрицательную частицу. При помощи этой методики можно сказать все, хотя такой “базовый” язык не позволяет выразить какой-то тонкой мысли. Аборигены прекрасно пользуются тем же способом, когда пытаются говорить по-португальски; например, слова “ухо” и “глаз” означают также “слышать” (или “понимать”) и “видеть”, а чтобы выразить противоположное значение, они добавляют слово *acabo* (конец): *orelha acaba* или *olho acaba* (буквально “ухо конец” или “глаз конец”, то есть “не слышу” или “не вижу”).

Язык *намбиквара* звучит немного глуховато, так, как будто говорят с придыханием или пришептыванием. Женщины любят подчеркивать эти особенности и намеренно искажают некоторые слова (так *kititu* становится в их устах *kediutsu*); артикулируя кончиками губ, они издаю нечто вроде бормотания, напоминающего лепет ребенка. Это говорит об определенном рода манерности и жеманности, в чем они прекрасно отдают себе отчет: если я ничего не понял и прошу повторить, они лукаво утрируют свою излюбленную манеру. Наконец, раздосадованный, я отступаю, и тогда они взрываются смехом — шутка удалась!

---

\* *Pidgin* — жаргон (португ.). — Прим.перев.

Вскоре я убедился, что, кроме глагольного суффикса, *намбиквара* используют около десяти других, которые делят живые и неживые предметы на столько же категорий: волосы, шерсть и перья; заостренные предметы и предметы с углублениями; удлинённые, эластичные или жесткие тела; плоды, зерна, круглые предметы, висящие или колеблющиеся вещи; вздутые или наполненные жидкостью тела; кора, кожа и другие покрытия и т.д. Это наблюдение привело меня к аналогии с языковой семьей *чибча*<sup>138</sup>, распространенной в Центральной Америке и северо-западной части Южной Америки. Чибча был языком большой цивилизации на территории нынешней Колумбии, промежуточной между цивилизациями Мексики и Перу, — возможно, язык *намбиквара* был южной ветвью этого языка. Это еще одна причина не доверять внешнему впечатлению. Несмотря на нищету *намбиквара*, вряд ли можно считать примитивным народ, который своим физическим типом напоминает древнейших обитателей Мексики, а структурой языка — язык страны *чибча*. Может быть, изучение их прошлого, о котором мы пока ничего не знаем, и суровой нынешней географической среды их обитания когда-нибудь объяснит судьбу этих блудных детей, которым не достался от истории жирный телец.

## Глава 27

### В семье

Индейцы *намбиквара* пробуждаются на рассвете, разжигают костер, согреваются кое-как после холодной ночи и завтракают скромными остатками вчерашней еды. Потом мужчины группами или поодиночке отправляются на охоту. Женщины остаются в лагере и занимаются приготовлением пищи. Когда солнце начинает подниматься, они идут купаться. Чтобы было веселее, женщины часто купаются с детьми, потом они разводят костер, садятся вокруг на корточки, чтобы согреться после купания, и шутки ради преувеличенно дрожат от холода. Иногда они купаются по несколько раз на день. Их ежедневные занятия не очень разнообразны. Приготовление пищи требует много времени и большого старания: нужно протереть и выжать маниоку, просушить и сварить ее мякоть или же расколоть и сварить орехи *ситари*, которые придают большинству блюд запах горького миндаля. Когда возникает необходимость, женщины и дети отправляются на поиски провизии. Если запасы достаточны, женщины прядут, присев на корточки на земле или же стоя на коленях и подпирая пятками ягодицы; вырезают, полируют и нанизывают бусы из ореховой скорлупы или раковин, делают серьги и другие украшения. Когда они устают от монотонной работы, они ловят друг у друга вшей, прогуливаются или спят.

В самые жаркие часы дня лагерь погружен в тишину; его обитатели молчат или дремлют под скудной тенью своих убежищ. Остаток дня они проводят в непринуж-

денных разговорах; почти всегда веселые и улыбающиеся, индейцы шутят, иногда говорят непристойности, одобряемые взрывами смеха. Работа часто прерывается визитами и разговорами; когда совокупляются две собаки или птицы, туземцы останавливаются и увлеченно наблюдают, затем возвращаются к работе, обмениваясь замечаниями по поводу этого важного события.

Дети бездельничают большую часть дня, девочки иногда занимаются работой по примеру старших, маленькие мальчики не делают ничего или ловят рыбу в ручье. Оставшиеся в лагере мужчины плетут корзины, изготавливают стрелы и музыкальные инструменты, иногда делают кое-что по хозяйству. В целом в семьях царит согласие. К трем-четырем часам дня остальные мужчины возвращаются с охоты, лагерь приходит в движение, разговоры становятся более оживленными, собираются группы, состоящие из членов разных семей. Все едят лепешки из маниоки и то, что было добыто или собрано в течение дня. Когда наступает вечер, женщины идут в лес собирать хворост или рубить ветви для ночного костра. В сумерках угадывается их неуверенная поступь под тяжестью корзины, которая натягивает поддерживающую ее веревку. Чтобы снять ношу, они присаживаются на корточки, отклоняются назад, ставят бамбуковую корзину на землю и освобождают лоб от веревки.

У края лагеря лежат сваленные в кучу ветки, и каждый берет столько, сколько нужно. Семейные группы собираются вокруг своих зажженных костров. Вечер проходит в разговорах, песнях или танцах. Иногда развлечения затягиваются до поздней ночи, но обычно после нескольких ласк и дружеских заигрываний пары соединяются, матери прижимают к себе спящих детей, все утихает, и тишину холодной ночи нарушает только треск поленьев, легкие шаги поддерживающего огонь, лай собак или плач ребенка.

У *намбиквара* мало детей; как я выяснил позднее, нередко попадают бездетные пары; похоже, один или

два ребенка — это обычное явление, и только в исключительных случаях бывает более трех детей. Половые отношения между родителями запрещены до тех пор, пока ребенок не будет отнят от груди, а это часто происходит лишь на третьем году жизни. Мать носит ребенка на бедре, привязывая его широкой перевязью из коры или хлопковой ткани; с корзиной на спине она не смогла бы нести второго ребенка. Условия кочевой жизни и всеобщая нищета заставляют индейцев вести себя очень осмотрительно; если необходимо, женщина, не колеблясь, применяет механическое средство или лекарственные растения для того, чтобы вызвать выкидыш.

Аборигены очень любят своих детей, они ласковы с ними, поэтому дети очень к ним привязаны. Но иногда эти чувства трудно распознать под проявлениями нервозности и непостоянства. Маленький мальчик страдает несварением желудка, у него головная боль, его тошнит, полдня он стонет, потом засыпает. Никто не обращает на него внимания, и целый день он находится в одиночестве. Вечером, когда он уже спит, мать приближается к ребенку, осторожно ловит на нем паразитов, дает другим знаки, чтобы те не подходили, и держит его, словно в колыбели, в своих объятиях.

Бывает, что молодая мать, играя со своим младенцем, шлепает его по спине, младенец начинает смеяться, а она так забывается в своей игре, что ударяет его все сильнее, пока ребенок не начинает плакать; только тогда она прекращает его шлепать и успокаивает малыша.

Я видел, как маленькую сироту, о которой я уже упоминал, чуть не затоптали во время танцев; в разгар всеобщего возбуждения она упала, но никто даже не заметил этого.

Рассерженный ребенок часто бьет свою мать, а она не противится этому. Детей не наказывают, я никогда не видел, чтобы их били или даже угрожали побоями, разве что в шутку. Иногда ребенок плачет, потому что ударил-

ся, поссорился с кем-то, голоден или не хочет, чтобы на нем вылавливали насекомых. Последнее случается довольно редко: похоже, ловля вшей доставляет удовольствие пациенту и развлекает того, кто это делает; к тому же, она считается проявлением заботы и привязанности. Когда ребенок или муж хочет, чтобы его подвергли этой процедуре, он кладет голову женщине на колени, поочередно поворачиваясь то одной, то другой стороной. Женщина ловко разделяет волосы на пряди или просматривает их на свет. Пойманная вошь тут же с хрустом уничтожается. Члены семьи или старшие дети успокаивают плачущего ребенка.

Конечно же, мать с ребенком — это всегда радостная и трогательная сцена. Сквозь перегородку из листьев мать протягивает ребенку какой-то предмет и тут же отдергивает руку, когда ребенок уже готов его схватить: “Хватай спереди! Хватай сзади!”. Или же поднимает ребенка и, захлебываясь от смеха, притворяется, будто хочет его бросить на землю: “*Amdam nom tebu!*” (Я тебя брошу!). “*Nihui!*” (Не хочу!) — тоненьким голоском отвечает ребенок.

Дети отвечают своим матерям чуткой и заботливой любовью — например, следят за тем, чтобы мать получала свою долю с охоты. Ребенок всегда при матери. Пока он не научится ходить, она носит его с собой, потом он ходит рядом с ней. Он находится возле нее в лагере или в деревне, пока отец охотится. Однако через несколько лет становится заметным различное отношение родителей к своему ребенку в зависимости от его пола. Со временем отец начинает проявлять больше интереса к сыну, чем к дочери, так как должен обучить его мужским занятиям; то же самое происходит в отношении матери к дочери. И тем не менее, отношение отца к детям остается таким же нежным и заботливым, как и раньше, он носит свое чадо на плечах и делает для него оружие по размеру его маленькой ручки. Кроме того, отец рассказывает ребенку



традиционные мифы, излагая их в понятной детям форме. “Все умерли! Не было уже никого! Ни одного человека! Ничего не осталось!” Так начинается детская версия латиноамериканской легенды о потопе, который уничтожил прежнее человечество.

В случае полигамии складываются особые отношения между детьми от первого брака и молодыми мачехами. Мачехи устанавливают с детьми такие же дружеские отношения, которые характерны для общества молодых женщин в группе. Хотя группа довольно малочисленна, в ней выделяется особый клан девушек и молодых женщин, которые вместе купаются, вместе ходят в кусты справить естественные потребности, вместе курят, шутят и предаются развлечениям сомнительного свойства: например, плюют друг другу в лица большими порциями слюны. Эти отношения очень тесные, и ими очень дорожат, но они лишены галантности и больше похожи на отношения в компании наших молодых парней. Здесь редко проявляют взаимную заботу и предупредительность, однако результат весьма любопытный: девочки становятся самостоятельными намного раньше, чем мальчики. Находясь рядом с молодыми женщинами, девочки помогают им в работе, в то время как мальчики, предоставленные самим себе, робко пытаются создавать группы подобного типа, но без особого успеха, и охотнее остаются — по крайней мере, в ранней молодости — возле своих матерей.

Дети *намбиквара* не знают игр. Иногда они мастерят какие-нибудь поделки из скрученной или плетеной соломы, но их развлечения сводятся к тому, чтобы драться или строить козни друг другу, подражая при этом взрослым. Девочки, как и женщины, учатся прясть, бездельничают, смеются и спят; мальчики в возрасте восьми-десяти лет учатся стрелять из лука и упражняются в мужских занятиях. Но и мальчики, и девочки очень рано начинают осознавать основную и наиболее драматическую проблему жизни *намбиквара* — проблему пропитания, понимая, что

взрослые ждут от них активности. С огромным энтузиазмом они вместе со взрослыми срывают плоды и собирают дрова. В голодные периоды их часто можно увидеть возле лагеря, где они выкапывают корешки или осторожно ступают по траве с длинной, очищенной от листьев лозой для ловли кузнечиков. Девочки хорошо знают, каково участие женщин в хозяйственной жизни племени, и спешат стать достойными этой задачи. К примеру, встречаю девочку, которая носит щенка на поясе так же, как ее мать носит младшую сестричку. “Ты заботаешься о своем малыше-щенке?” — спрашиваю я. Она отвечает важно: “Когда я буду большой, то буду убивать диких свиней и обезьян, перебью всех, когда он залает”. При этом она делает грамматическую ошибку, которую ее отец подчеркнул со смехом: надо было сказать *tilondage* (большая), вместо мужского рода *ihondage* (большой), который она употребила. Ошибка достаточно любопытна, так как служит примером стремления женщин возвысить хозяйственную деятельность — которая является их исключительной привилегией — и поставить ее на один уровень с мужскими занятиями. Поскольку выражение, которое употребила девочка, буквально означает: “убивать ударом дубины или палки” (здесь — палки-копалки), она, видимо, подсознательно пыталась отождествить возложенное на женщин добывание пищи, ограниченное ловлей мелких животных, с мужской охотой при помощи лука и стрел.

Особо следует обратить внимание на отношения между детьми, чьи родственные связи обязывают их называть друг друга супругами. Иногда они ведут себя как настоящие супруги, оставляют семейный костер, переносят угли в другой конец лагеря и там разжигают свой собственный огонь, после чего укладываются и предаются по мере своих возможностей ласкам на глазах взрослых, которые бросают на эти сцены веселые взгляды.

Рассказ о детях будет неполным, если не сказать о домашних животных, которых здесь очень любят и отно-

сятся к ним, как к детям: их окружают такой же любовью и заботой — вылавливают у них блох, играют с ними, беседуют и ласкают. У *намбиквара* много домашних животных: собаки, петухи, куры (которые развелись здесь от тех, что были привезены Комиссией Рондона), обезьяны, попугаи, всевозможные птицы, а иногда свиньи и дикие кошки, *coati*. По-видимому, собака помогает только женщинам в их ловле мелких животных; мужчины для своей охоты с луком никогда не используют собак. Других животных разводят для удовольствия. Домашних животных не едят, как не едят и яиц, которые куры откладывают в кустах. Однако индейцы без колебания съели бы новую птицу, если бы та засохла после неудачной попытки ее приручить.

Отправляясь в путь, индейцы несут на себе вместе с багажом весь свой зверинец, за исключением тех животных, которые могут идти самостоятельно. Обезьяны, уцепившиеся за волосы женщин, создают на голове живописный живой шлем, продолжением которого является хвост, обвитый вокруг шеи. Попугаи и куры сидят сверху на корзинах, других животных несут на руках. Кормят их очень скромно, но даже в голодные дни они получают свою долю. Взамен вся группа получает прекрасное развлечение.

Теперь перейдем ко взрослым. Отношение *намбиквара* к любви можно охарактеризовать их выражением *tamindige mondage*, что — не совсем изящно, но зато точно — означает: “заниматься любовью — это хорошо”. Я уже обращал внимание на эротическую атмосферу, которой насыщена повседневная жизнь индейцев. Любовные дела вызывают огромный интерес и любопытство аборигенов: они любят разговаривать на эту тему, а реплики, которыми они обмениваются в лагере, полны намеков и скрытого смысла. Обычно половые связи происходят ночью: иногда около лагерного костра, но чаще партнеры удаляются в заросли на расстояние каких-ни-

будь ста метров. Это сразу замечается другими и становится предметом всеобщего оживления, шуток и комментариев, и даже дети охвачены общим возбуждением, причина которого им хорошо известна. Иногда небольшая группа мужчин, молодых женщин и детей бежит вслед за парой и сквозь ветви следит за деталями акта, перешептываясь между собой и едва сдерживая смех. Герои обычно не обращают на это внимания, хотя они предпочли бы избежать подтрунивания и шуток, которыми сопровождается их возвращение в лагерь. Бывает, что по их примеру следующая пара ищет уединения в зарослях.

Однако такие случаи редки, а запреты на половые связи только отчасти объясняют такое положение вещей. В действительности, причина, скорее, в особенности темперамента *намбиквара*. Я никогда не замечал признаков эрекции во время любовных игр — часто довольно смелых, — которым пары предаются публично и очень охотно. По-видимому, желанное удовольствие по своему характеру скорее чувственное, нежели физическое. Может быть, поэтому *намбиквара* не используют чехлы для полового члена, распространенные повсюду в Центральной Бразилии. Ведь по существу чехол служит если не для предотвращения эрекции, то по крайней мере для демонстрации неагрессивных намерений. Народы, которые не носят никакой одежды, не лишены того, что мы называем стыдливостью, они лишь расширяют ее границы. У индейцев Бразилии, так же, как и у жителей отдаленных районов Меланезии, стыдливость связана не со степенью их обнаженности, а, скорее, с разной границей между возбуждением и покоем.

Эти различия — без какого-либо умысла с обеих сторон — могли привести к недоразумениям между индейцами и нами. Трудно было сохранять безучастность при виде одной или двух симпатичных обнаженных девушек, барахтающихся в песке и со смехом извивающихся у моих ног. Когда я шел купаться, на меня нередко напада-

ло с полдюжины женщин — молодых и старых, — пытаюсь отнять у меня мыло, от которого они были без ума. Эта вольность в поведении проявлялась во всем: частенько мне приходилось мириться с перепачканным краской гаммаком, в котором во время сиесты устроилась индейка, раскрашенная с ног до головы *уруку*; иногда, сидя на земле в окружении своих информаторов, я вдруг чувствовал, как чья-то рука тянет подол моей рубашки, — это одна из женщин решила, что проще высморкаться в мою сорочку, чем искать сложенную вдвое наподобие щипцов веточку, обычно используемую в этих случаях.

Чтобы лучше понять взаимоотношения между племенами, необходимо принять во внимание основополагающий для индейцев *намбиквара* принцип *пары* как самой совершенной хозяйственной и психологической единицы. В этих кочевых группах, которые постоянно создаются и распадаются, только пара представляет собой устойчивую реальность (по крайней мере, теоретически); кроме того, лишь супружеские пары могут обеспечить дальнейшее существование общины. *Намбиквара* ведут два типа хозяйства: охота и огородничество, с одной стороны, и собирательство — с другой. Первым занимаются мужчины, вторым — женщины. В то время как группа мужчин, вооруженных луками, идет на весь день на охоту или в дождливую пору работает на огороде, женщины, вооружившись палками-копалками, бродят вместе с детьми по саванне, где собирают, выкапывают, убивают и ловят все, что только может служить пищей: зерна, плоды, ягоды, корни, земляные груши, яйца и всевозможную мелкую живность. В сумерки пара встречается возле костра. В пору, когда созревает маниока и ее хватает для пропитания, мужчина приносит связки корней, женщина перетирает их и готовит лепешки; если охота была удачной, быстро пекутся кусочки дичи и зарываются в горячую золу семейного костра. Но в течение семи месяцев в году маниоки не хватает, а охота в этих бесплодных песках

зависит от удачи, поскольку немногочисленная дичь не покидает тени и пастбищ, расположенных у ручьев и отделенных друг от друга огромными пространствами почти пустынных зарослей кустарника. Все это время семья живет прежде всего за счет того, что соберут женщины.

Я часто разделял с индейцами эти жалкие кукольные трапезы, которые на протяжении полугода дают им единственную надежду спастись от голодной смерти. Если мужчина, молчаливый и усталый, возвращается в лагерь и бросает рядом с собой лук и стрелы, которые он не смог использовать, женщина извлекает из корзины трогательный набор: несколько оранжевых плодов пальмы *buriti*, двух больших ядовитых пауков, несколько маленьких ящериц и их крошечные яйца, летучую мышь, небольшие орешки пальмы *bacaiuva* или *vaguassu*, горстку саранчи. Плоды с мякотью давят в сосуде из тыквы, наполненном водой, орехи разбивают камнями, мелкую живность в перемешку с личинками закапывают в горячую золу — и все это весело съедается; этого нехитрого блюда не хватило бы, чтобы утолить голод одного белого человека, здесь же оно служит пищей для целой семьи.

У *намбиквара* “красивый” и “молодой” обозначаются одним словом, и так же одним — “уродливый” и “старый”. Следовательно, их эстетические суждения опираются на человеческие ценности и прежде всего — на сексуальные. Но природа взаимных симпатий мужчин и женщин довольно сложна. Мужчины считают, что женщины в целом несколько отличаются от них; в зависимости от ситуации, они испытывают по отношению к ним страсть, восхищение или любовь. Даже в самом подборе этих понятий уже содержится оценка. И все же, несмотря на то, что в разделении труда между полами женщинам отведена первостепенная роль (поскольку выживание семьи в значительной мере зависит от того, что соберут женщины), женские занятия представляют собой низший вид деятельности; жизненным идеалом считается модель, опирающаяся на земледелие или охоту: иметь много маниоки и горы

дичи — вот вечная и почти неосуществимая мечта. А все то, что собрано по случаю, расценивается — и вполне оправданно — как признак настоящей нужды. В фольклоре *намбиквара* выражение “есть саранчу”, собранную детьми и женщинами, соответствует нашему “*manger de la vache enragée*”\*. Женщина считается существом ценным и нежным, но второстепенным. В мужских беседах о женщинах говорят с состраданием и благожелательностью и обращаются к ним шутливо-снисходительно. Мужчины часто повторяют: “дети не знают, женщины не знают, я знаю”; о группе *doçi* (женщин), их шутках и болтовне они говорят с любовью, но несколько иронично. Однако это лишь социально обусловленное отношение. Когда мужчина усядется со своей женой возле лагерного костра, он выслушает ее жалобы, запомнит ее пожелания, будет просить ее о помощи в сотне дел, мужское бахвальство уступит место сотрудничеству партнеров, осознающих, какую ценность они друг для друга представляют. Этой двойственной мужской позиции по отношению к женщинам в точности соответствует столь же двойственное поведение женщин. Женщины считают себя кланом и проявляют это всевозможными способами: мы уже отмечали, что они разговаривают не так, как мужчины. Это особенно выражено у молодых женщин, еще не имеющих детей, а также у сожительниц. Матери и пожилые женщины намного меньше подчеркивают эти различия, хотя и у них это проскальзывает. Кроме того, молодые женщины любят общество детей и подростков, они играют и шутят с ними, и именно женщины обращаются с животными с той человечностью, которая свойственна некоторым племенам южноамериканских индейцев. Все это создает вокруг женщин племени особую атмосферу ребячливости, веселья, жеманства и кокетства, атмосферу, в которую мужчины погружаются после возвращения с охоты или с огородов.

---

\* Букв.: “есть сбесившуюся корову” — терпеть нужду, лишения (франц.). — Прим. перев.

Но поведение женщин резко меняется, если дело касается деятельности, которой занимаются исключительно они. Ловко и терпеливо, сидя спина к спине, они занимаются рукоделием в затихшем лагере; во время переходов они стойко несут тяжелые корзины, в которых уместятся припасы и весь семейный скарб, а также связки стрел, в то время как муж шагает впереди с луком и одной-двумя стрелами; с деревянной рогатиной или палкой-копалкой в руке женщины высматривают мелкую живность или плоды на деревьях. Я вижу, как они идут с накинута на лоб перевязью, поддерживающей узкую, в форме колокола, корзину на спине, отмеряя километры характерной поступью: сжатые, слегка покачивающиеся бедра, сомкнутые колени, ступни обращены внутрь и опираются на внешнюю сторону стопы, — отважные, энергичные и веселые женщины.

Этот контраст между психологической позицией и хозяйственными функциями транспонируется на область философии и религии. У индейцев *намбиквара* отношения между мужчинами и женщинами определяются двумя полюсами, вокруг которых сосредоточено их существование: с одной стороны, период оседлой жизни, связанный с сельским хозяйством и основанный на двойной работе мужчин — строительстве домов и огородничестве; с другой стороны, период кочевания, во время которого пропитание обеспечивается в основном тем, что добыто женщинами. Первый период знаменует уверенность и сытое существование, второй — неопределенность и голод. *Намбиквара*, конечно же, по-разному относятся к этим двум формам существования — зимней и летней. О первой они говорят с грустью, сознательно и покорно принимая судьбу и унылые, постоянно повторяющиеся проявления жизни, в то время как вторую они описывают с возбуждением и воспринимают ее как только что открытую.

Однако их метафизические понятия противоречат этим отношениям. После смерти души мужчин вселяются в



ягуаров, а души женщин и детей устремляются в небо и растворяются в нем навсегда. Этим различием объясняется то, что женщин не допускают к самым священным обрядам; когда с началом земледельческого периода изготавливаются бамбуковые флейты, освящаемые жертвоприношениями, мужчины играют на них на таком расстоянии от своих жилищ, чтобы женщины не могли их заметить.

Хотя время было неподходящим, я очень хотел услышать игру на флейтах и приобрести несколько экземпляров. По моей настойчивой просьбе группа мужчин отправилась в путь, поскольку толстый бамбук рос только в отдаленном лесу. Через три или четыре дня меня разбудили среди ночи (путешественники ждали, пока женщины уснут). Они увели меня метров за сто от лагеря и, укрывшись в кустарнике, занялись изготовлением флейт. Когда инструменты были готовы, мужчины стали играть на них. Четыре исполнителя дули в унисон, но поскольку инструменты звучат не совсем одинаково, это производило впечатление какофоний. Мелодия отличалась от напевов *намбиквара*, к которым я привык и которые своим строем и интервалами напоминали наши сельские хоропроводные песни; они также отличались от визгливых звуков носатой окарины<sup>139</sup> с тремя отверстиями, сделанной из двух кусков тыквы, скрепленных воском. В мелодиях флейт, состоящих из нескольких нот, часто встречались хроматизмы, вариации ритма, что обнаруживало их удивительную схожесть с некоторыми пассажами из "Sacre"<sup>140</sup> и особенно с модуляциями деревянных инструментов в части, озаглавленной "Детство старцев".

Горе той женщине, которая в этот момент появилась бы здесь: за свое любопытство или неосторожность она могла быть убита. Так же, как и у индейцев *бороро*, настоящее проклятие висит над женским родом, но, в отличие от женщин *бороро*, у женщин *намбиквара* нет законных привилегий (хотя, кажется, и у *намбиквара* родство передается по материнской линии). В столь слабо

организованном обществе о подобных тенденциях можно только догадываться, а вывод делается на основе самых разнообразных проявлений.

С той же любовью, с которой они ласкают своих жен, мужчины вспоминают о том периоде жизни, символом которого является временное убежище и неизменная корзина, о периоде, когда пищей становится все то, что они с таким усердием ежедневно собирают, срывают и ловят, о жизни среди ветров, холода и дождей, не оставляющей после себя никаких следов, как исчезающие в небе души женщин, в основном и поддерживающих жизнь племени в этот период. Совершенно иначе мужчины воспринимают оседлую жизнь (на ее древность и особый характер указывают оригинальные виды выращиваемых культур); ту же основательность, какая свойственна душам мужчин, этому периоду жизни придают неизменная последовательность сельскохозяйственных работ, постоянный летний дом и обрабатываемый участок, вновь оживающий и плодоносящий, “когда о смерти тех, кто его раньше обрабатывал, уже давно забыли”.

Может быть, точно так же объясняется и необычайная изменчивость, свойственная *намбиквара*, которые быстро переходят от дружелюбия к враждебности? Немногочисленные наблюдатели, которым удалось сблизиться с ними, были этим изумлены. Та же группа из Утиарити пять лет назад напала на миссионеров. Мои информаторы-мужчины описывали мне это нападение с удовольствием и спорили о том, кто нанес самые тяжелые удары. В сущности, я не был на них зол. Я был знаком со многими миссионерами и ценю некоторых из них как людей и ученых. Но американские протестантские миссии, которые в начале тридцатых годов пытались добраться до Центрального Мату-Гросу, — это была особая статья: их члены происходили из крестьянских семейств Небраски или Дакоты, где юношей воспитывали в буквальной вере в ад и котлы с кипящей смолой. Для некоторых миссионерская деятельность становилась своего рода страховым договором.

Успокоенные относительно собственного спасения, они считали, что могут больше ничего не делать, чтобы его заслужить; при исполнении своей миссии они были возмутительно жестоки и бесчеловечны.

Как мог произойти инцидент, спровоцировавший резню? Я понял это, когда сам допустил оплошность, которая могла мне дорого стоить. *Намбиквара* обладают знаниями в области токсикологии. Они изготавливают *кураре* для своих стрел, настаивая красную кожуру, покрывающую корни некоторых разновидностей растений рода *стрихнос*<sup>141</sup>, а затем выпаривая на огне, пока смесь не приобретет консистенцию кашицы; кроме того, они используют в виде порошка другие яды; порцию яда каждый *намбиквара* носит при себе в выдувных трубках из перьев или бамбука, перевязанных нитями или волокнами коры. Эти яды служат для мести за надувательство или на почве ревности. Я еще к этому вернусь.

Кроме ядов, известных науке, которые эти индейцы готовят открыто, без тех особых предосторожностей и магических усложнений, что сопровождают изготовление *кураре* у северных племен, *намбиквара* знают и другие яды, имеющие таинственное происхождение. В таких же трубках, как и те, которые содержат настоящие яды, они носят шарики смолы, выделяемой деревом *bombax*, ствол которого раздут в средней части; туземцы верят, что, бросив такой шарик в противника, они вызовут у него физическое состояние, подобное состоянию дерева: жертва вспухнет и умрет. У *намбиквара* как настоящие яды, так и магические вещества обозначаются одним словом *nande*. Это название имеет более широкое значение, чем то, которые мы связываем с ядами; оно охватывает все виды угрожающих действий и предметы, которые могут служить для таких действий.

Эти пояснения необходимы для понимания того, о чем дальше пойдет речь. В моем багаже было несколько шаров из разноцветной папиросной бумаги, которые наполняют горячим воздухом, подвешивая внизу небольшой факел. В

Бразилии такие шары сотнями запускаются в воздух в праздник св.Иоанна. Как-то вечером мне пришла в голову злополучная идея показать это туземцам. Первый шар, который загорелся на земле, вызвал всеобщий смех, словно публика имела какое-то понятие о том, что должно было произойти. Запуск второго шара удался прекрасно, шар быстро взлетел так высоко, что его пламя казалось одной из звезд, и потом еще долго блуждал над нами, пока совсем не исчез из виду. Но первоначальная веселость сменилась другими чувствами: мужчины поглядывали на меня изучающе и враждебно, а женщины, втянув головы в плечи и прижавшись друг к другу, выглядели напуганными. Слово *nande* повторялось с нажимом. На следующее утро меня посетила делегация мужчин и потребовала показать весь запас шаров, чтобы убедиться, нет ли там *nande*. Все изучалось очень тщательно.

В конце концов, благодаря исключительно доброму нраву индейцев *намбиквара* (вопреки тому, что о них говорили), инцидент был исчерпан; я продемонстрировал подъемную силу горячего воздуха, используя клочки бумаги, запущенные над костром; объяснение было если и не понято, то, во всяком случае, принято. Как обычно, во всем оказались виноваты женщины, “которые ничего не понимают, всего боятся” и во всем видят тысячи несчастий.

Я не строил иллюзий — дело могло кончиться плохо. Однако ни этот инцидент, ни другие, о которых я еще расскажу, ничуть не испортили наших дружеских отношений, которые могли возникнуть только благодаря длительному сосуществованию с *намбиквара*. Вот почему я был потрясен, прочитав недавно в статье одного иностранного коллеги отчет о его встрече с той же самой группой, с которой я жил в Утиарити десятью годами ранее. По приезде этот коллега застал там две миссии: иезуитов, о которых я уже говорил, и американских миссионеров-протестантов. Группа аборигенов едва насчитывала восемнадцать человек, которых наш автор характеризует следующим образом:

“Среди всех индейцев, которых я видел в Мату-Гросу, эту группу составляют наиболее жалкие особи. Один из восьми мужчин был сифилитиком, у другого была язва на бедре, у третьего была повреждена стопа, четвертый был болен какой-то вызывающей шелушение кожной болезнью, а еще один был глухонемым. Лишь женщины и дети казались здоровыми. Поскольку они не используют гамаков и спят на голой земле, они постоянно вывалины в песке. В холодную ночь они разбрасывают костер и спят в горячем пепле... Одежду носят только тогда, когда миссионеры ее принесут и заставят их одеться. Отвращение к купанию является причиной того, что их кожа и волосы покрываются оболочкой пепла и пыли; кроме того, на их тела налипают сгнившие остатки мяса и рыбы, вонь которых в сочетании с кислым запахом пота делает соседство с ними непереносимым. Похоже, их одолевают паразиты, обосновавшиеся в кишечнике, так как их животы раздуты, они постоянно выпускают газы. Общаясь с туземцами, столпившимися в тесной хижине, я был вынужден неоднократно прерывать работу, чтобы подышать свежим воздухом”.

“*Намбиквара*... сварливы и невежливы до грубости. Навещая Хулио в лагере, я часто заставлял его лежащим возле костра; заметив, что я приближаюсь, он поворачивался ко мне спиной и заявлял, что не хочет со мной разговаривать. Миссионеры рассказывали мне, что индеец *намбиквара* будет постоянно просить подарить ему какой-нибудь предмет, а если ему откажут, попытается его украсть. Миссионеры обычно занавешивали вход в хижину ширмой из листьев, чтобы не входили индейцы, но если *намбиквара* желал войти, он вламывался сквозь эту преграду...

Не нужно долго пребывать среди индейцев *намбиквара*, чтобы убедиться в их чувствах глубокой ненависти, недоверия и отчаяния, которые подавляют наблюдателя, хотя и не исключают в целом его симпатии...”\*.

---

\* K.Oberg. Indian Tribes of Northern Mato Grosso, Brazil// Smithsonian Institution, Institute of Social Antropology, изд. №15. — Вашингтон, 1953. — С.84-85.

Я, знавший их в то время, когда десятками их уносили болезни, принесенные сюда белыми, но когда, помимо попыток Рондона, впрочем, всегда гуманных, никто не пытался их поработить, — хотел бы забыть об этом удручающем описании и сохранить в своей памяти лишь тот образ, который я запечатлел в своем блокноте однажды ночью при свете карманного фонарика:

“В темной саванне горят костры лагеря. Вокруг костра, единственной защиты от наступающего холода, за ветхой завесой из пальмовых листьев и ветвей, наспех всаженных в землю со стороны, откуда грозят ветры или дожди, рядом с корзинами, наполненными нехитрым скарбом, составляющим все их земное богатство, прямо на земле, по которой бродят другие группы, столь же враждебные и пугливые, прижавшись друг к другу, лежат супруги, чувствуя, что являются друг для друга помощью и утешением, единственной опорой перед лицом ежедневных трудностей и мечтательной меланхолии, время от времени наполняющей души *намбиквара*. Гость, который впервые находится в лесном лагере вместе с индейцами, ощущает одновременно страх и жалость, глядя на этих людей, лишенных всего, словно раздавленных каким-то неумолимым катаклизмом на этой враждебной земле, — нагих, дрожащих вокруг мерцающих костров. Нужно ходить наощупь среди кустов, чтобы не наступить на руку, плечо или грудь, которые угадываются в теплых отблесках огня. Но эта убогая картина оживлена шепотом и смехом. Пары обнимаются, будто тоскуя об утраченном единстве, ласки не прекращаются. Чувствуется огромная взаимная благожелательность, глубокая беззаботность, наивная и полная обаяния физическая радость, и все это вместе сливается в трогательной и самой что ни на есть подлинной человеческой нежности”.

## Глава 28

### Урок письма

Я хотел получить хотя бы приблизительное представление об общей численности намбиквара. В 1915 году, по мнению Рондона, их было около двадцати тысяч, что наверняка было преувеличением. В то время группы насчитывали по несколько сот членов, а сведения, собранные на линии, указывали на быстрое уменьшение их численности: тридцать лет назад известная часть группы *сабане* состояла из тысячи человек; когда в 1928 году эта группа объявилась на станции Кампус-Новус, в ней насчитывалось сто двадцать семь мужчин плюс женщины и дети. В ноябре 1929 года, когда группа стояла лагерем в местности, называемой Эспирру, разразилась эпидемия гриппа. Болезнь проявлялась в форме отека легких, триста индейцев умерло в течение сорока восьми часов. Группа рассыпалась, оставив на произвол судьбы больных и умирающих. Из некогда известной тысячи *сабане* в 1938 году осталось девятнадцать мужчин с женами и детьми. Чтобы объяснить эту статистику, наверное, следует добавить, что *сабане* на протяжении нескольких лет вели войну с соседями на востоке. В свою очередь, грипп уничтожил большую группу, осевшую в 1927 году недалеко от Трес-Буритис; от нее осталось шесть-семь человек, из которых к 1938 году трое еще были живы. Группа *тарунде*, некогда относившаяся к наиболее многочисленным, в 1936 году насчитывала двенадцать мужчин (плюс женщины и дети), четверо из них к 1939 году были еще живы. Сколько же их всего осталось? По-видимому, не

более двух тысяч индейцев, рассеянных по всей территории. Я не мог и мечтать о систематической переписи из-за постоянных раздоров между общинами и смены стоянок в кочевой период. Тем не менее, я попытался уговорить моих друзей из Утиарити, чтобы они позволили мне посетить их деревню и организовали там нечто вроде встречи с родственными или союзными общинами; благодаря этому, я смог бы оценить нынешнюю численность групп, присутствующих на этом собрании, и сопоставить эти данные с полученными ранее. Я пообещал привезти подарки и товары для обмена. Вождь племени колебался, он не был уверен в приглашенных гостях и боялся, что в этом крае, куда не ступала нога белого человека со времени убийства семи служащих телеграфной линии в 1925 году, ему и его товарищам может грозить опасность. Царящий там хрупкий мир мог быть надолго нарушен.

Наконец, он согласился, но с условием, что мы ограничим наш кортеж и возьмем только четырех быков для перевозки подарков. Но даже и в этом составе нам пришлось отказаться от проторенных троп в глубине долин с буйной растительностью, по которым животные не смогли бы пройти. Мы должны были двигаться по плоскогорью, выбирая путь сообразно обстоятельствам.

Эта очень рискованная экспедиция сегодня кажется мне забавным эпизодом. Едва мы покинули Журуэну, как мой товарищ заметил отсутствие женщин и детей; за нами шли только мужчины, вооруженные луками и стрелами. В литературе, повествующей о путешествиях, такая ситуация предвещает угрозу нападения. Поэтому мы двигались вперед со смешанными чувствами и время от времени проверяли состояние наших револьверов “смит-вессон” (наши спутники произносили это как “смите-вештоне”) и наших карабинов. Но опасения были напрасны: около полудня мы встретили остальных членов общины, которых предусмотрительный вождь отправил накануне, зная, что наши мулы будут идти быстрее, чем женщины, нагруженные корзинами и задерживаемые детворой.



Однако индейцы вскоре сбились с пути -- дорога была не такой простой, как мы себе представляли. Вечером пришлось задержаться в сертане. Нам обещали, что по пути будет достаточно дичи, и индейцы, рассчитывая на наши карабины, не взяли с собой никаких припасов. У нас же был лишь неприкосновенный запас, который невозможно было разделить на всех. Стадо косуль, пасущихся на берегу потока, при нашем приближении бросилось врассыпную. На следующее утро в группе царило всеобщее неудовольствие, демонстративно направленное против вождя как виновника всего происходящего, который был в сговоре со мной. Вместо того чтобы заняться охотой или собирательством, все решили расположиться в тени навесов и предоставить вождю самому позаботиться о разрешении проблемы. Вождь вместе с одной из своих жен куда-то исчез, а вечером они вернулись с тяжелыми корзинами, наполненными саранчой, которую они собирали целый день. Хотя паштет из саранчи не считается особо изысканным блюдом, все ели с аппетитом, и хорошее настроение было восстановлено. Наутро мы вновь двинулись в путь.

Наконец, мы добрались до места встречи. Это была песчаная терраса над ручьем, текущим среди деревьев, между которым находились огороды индейцев. Группы прибывали; к вечеру собралось семьдесят пять человек, представляющих семнадцать семейств, которые расположились в тринадцати укрытиях, гораздо более основательных, чем временные лагеря. Мне объяснили, что в случае дождя все соберутся в пяти круглых хижинах, рассчитанных на несколько месяцев. Создавалось впечатление, что некоторые индейцы никогда не видели белых; их неприветливость и явная нервозность вождя свидетельствовали о том, что вождь оказал на них определенное давление. Ни мы, ни индейцы не чувствовали себя в безопасности; ночь обещала быть холодной; поскольку не было подходящих деревьев для гамаков, мы были вынуж-

дены, как и индейцы, спать на земле. Но никто не сомкнул глаз: всю ночь мы ненавязчиво следили друг за другом.

Было бы неразумно затягивать это приключение. Я уговорил вождя как можно скорее приступить к обмену. И тогда произошло нечто необычное, заставляющее меня мысленно вернуться назад. Читатель, наверное, догадывается, что индейцы *намбиквара* не умеют писать, но они не умеют и рисовать, если не считать попыток украсить свою утварь какими-нибудь точками или зигзагами. Тем не менее, как и в случае с индейцами *кадицузу*, я раздал им листы бумаги и карандаши. Сначала они не знали, что с ними делать. Но в один прекрасный день я заметил, что они все заняты рисованием на бумаге горизонтальных волнистых линий. Что же они хотели изобразить? По всей видимости, они пробовали писать, то есть пытались использовать свой карандаш так же, как и я, а вернее, так, как они могли понять его предназначение, поскольку тогда я еще не показывал им свои рисунки. У большинства из них эти попытки на том и закончились, и только вождь продвинулся дальше. Он потребовал у меня блокнот для записей, и теперь, работая вместе, мы были одинаково экипированы. Он уже не сообщал мне устно сведения, о которых я его просил, а чертил на бумаге волнистые линии и показывал мне их так, будто я должен был прочесть ответ. Он сам почти поверил в эту комедию: начертив линию, он каждый раз долго и внимательно ее разглядывал, словно пытаюсь уловить ее значение, и каждый раз его лицо выражало разочарование. Однако он не признавался мне в своих чувствах; между нами существовала негласная договоренность, что его каракули имеют смысл, и я делал вид, что хочу их расшифровать. Правда, тут же следовал устный комментарий, который освобождал меня от необходимости требовать разъяснений.

Так вот, как только вождь собрал всю свою компанию, он достал из корзины лист бумаги, покрытый волнистыми

линиями, и сделал вид, будто что-то читает; он нарочно медлил, выискивая в “списке” предметы, которые я должен был дать в обмен за предложенные подарки: тому-то нож, *facão*, за лук и стрелы, этому — бусы за его ожерелье. Комедия продолжалась почти два часа. Зачем он все это делал? Может, хотел обмануть самого себя или удивить товарищей, убедив их, что посредничает при распределении товаров, что заключил союз с белым и посвящен в его тайны. Мы торопились с отъездом, поскольку самый опасный момент должен был наступить тогда, когда все привезенные мной сокровища перейдут в другие руки. Поэтому я постарался не усугублять ситуацию, и мы двинулись в путь в сопровождении индейцев.

Наш неудачный визит и мистификация, невольным орудием которой я стал, создали напряженную атмосферу; вдобавок у моего мула были язвы во рту, он страдал от боли, то нетерпеливо вырываясь вперед, то внезапно останавливаясь; мы с ним постоянно ссорились. Я и не заметил, как сбился с пути и оказался один в зарослях.

Что делать? Если верить тому, что пишут в книгах, надо было дать группе сигнал тревоги выстрелом из ружья. Я спешиваюсь и стреляю. Никакого эффекта. После второго выстрела мне показалось, что кто-то отвечает; я стреляю в третий раз, мой мул пугается и пускается рысью, останавливаясь на близком расстоянии. Я снимаю с себя сначала оружие, а потом и фотоаппаратуру и складываю все это под деревом, стараясь запомнить место. Потом бегу, чтобы поймать мула, который вроде бы уже успокоился. Он позволяет мне приблизиться, и когда я уже почти ухватился за повод, убегает; этот трюк он повторяет несколько раз и все дальше увлекает меня за собой. Отчаявшись, я прыгаю и обеими руками цепляюсь за его хвост. Изумленный моим столь необычным поведением, мул подчиняется. Я усаживаюсь в седло и возвращаюсь, чтобы забрать свое снаряжение. Но мы так петляли, что я не могу его найти.

Тогда, раздосадованный этой потерей, я решил догнать группу. Ни мул, ни я не знали, в какую сторону ехать. Если я пытался направить мула, он сопротивлялся, если же я отпускал поводья, он начинал бродить по кругу. Солнце клонилось к закату, у меня уже не было оружия, и в любой момент я мог ожидать залпа стрел. Вероятно, я буду не первым, кто, забравшись в эти края, не вернулся; уж если не я, то мой мул был весьма желанной добычей для людей, которым нечего есть. Предаваясь этим мрачным размышлениям, я ждал, когда зайдет солнце, чтобы поджечь заросли, — хорошо, что хоть спички у меня были. Я уже приготовился осуществить свой замысел, как вдруг услышал голоса: оказалось, что, обнаружив мое отсутствие, двое индейцев *намбиквара* тут же вернулись назад и полдня шли по моим следам; найти мое снаряжение было для них детской игрой. Ночью они доставили меня в лагерь, где меня ожидала моя команда.

Это нелепое происшествие меня окончательно измучило; я плохо спал и старался бороться с бессонницей, вспоминая сцены обмена. Итак, *намбиквара* познакомились с письменностью — правда, не в результате упорного обучения, как это обычно бывает. Символ письменности был воспринят, но ее реальность все еще оставалась недоступной. Этот символ служил скорее социологическим, чем интеллектуальным целям. Речь шла не о познании, усвоении или понимании, а о поднятии престижа и авторитета личности (или функции), о возвышении ее над другими. Абориген, находящийся на уровне каменного века, угадал, что великое, хотя и непонятное ему, средство общения можно использовать в других целях. В конечном счете, на протяжении последнего тысячелетия, и даже еще сегодня, на территории большей части планеты письменность существует как установление в обществах, члены которых в подавляющем большинстве не умеют ею пользоваться. Деревни на взгорьях Читтагонга и в Восточном

Пакистане, которые мне довелось посетить, заселены неграмотными людьми; но в каждой деревне есть писарь, который обслуживает отдельных людей и группу в целом. Все знают о существовании письма и используют его в случае необходимости, но лишь через посредника, с которым общаются устно. Однако писарь — это не просто должностное лицо в группе; власть его знания столь велика, что нередко в одном лице сочетаются функции писаря и ростовщика; умение читать и писать не только помогает ему в его деятельности, но и обеспечивает ему двойную “власть” над другими.

Удивительная это вещь — письменность. Казалось бы, ее появление не может коренным образом изменить условия человеческой жизни, а если и меняет что-то, эти перемены должны носить прежде всего интеллектуальный характер. Владение письмом многократно усиливает способность людей фиксировать сведения. Его можно назвать искусственной памятью, развитие которой должно сопровождаться более ясным пониманием прошлого, а следовательно, способностью лучше организовать настоящее и будущее. Если исключить все критерии отличия варварства от цивилизации, то все равно останется это единственное: отличие народов, знающих письменность, а значит, способных аккумулировать достижения прошлого и быстрее продвигаться к намеченным целям, от народов, ее не знающих и неспособных помнить прошлое, кроме того островка, который ограничен индивидуальной памятью, народов, затерявшихся в текучей истории, всегда лишенной источника и устойчивой осознанной цели.

Однако, ничто из того, что мы знаем о письменности и ее роли в историческом развитии, не свидетельствует в пользу данной концепции. Один из наиболее созидательных периодов в истории человечества начинается с наступлением эпохи неолита — с возникновением земледелия и других видов деятельности, а также с приручением животных. Чтобы прийти к этому, потребовались тысяче-

летние наблюдения, опыт небольших групп и передача результатов их деятельности. Эта гигантская задача выполнялась постоянно и неукоснительно, о чем свидетельствуют успехи дописьменного периода. Если письменность появилась между IV и III тысячелетиями до нашей эры, то ее следует считать косвенным (и, вероятно, промежуточным) результатом неолитической революции, а не причиной. С каким великим изобретением непосредственно связана письменность? В качестве примера ссылаются только на архитектуру. Но вряд ли зодчество египтян или шумеров можно назвать более совершенным, чем творения некоторых племен, населяющих Америку, которые не знали письменности до открытия континента. Напротив, с момента зарождения письменности и вплоть до рождения современной науки западный мир прошел путь в каких-нибудь пять тысяч лет, в течение которых его знание скорее изменялось, нежели возрастало. Не раз говорилось о том, что между стилем жизни греческого или римского гражданина и европейского буржуа XVIII века нет большого различия. В эпоху неолита человечество сделало огромные шаги вперед без помощи письма, тогда как обладавшие письменностью исторические цивилизации Запада долгое время топтались на месте. Разумеется, расцвет науки в XIX и XX веках был бы немыслим без письменности. Но этого необходимого условия явно недостаточно для объяснения данного явления. Задавшись целью установить связь между изобретением письма и некоторыми характерными особенностями цивилизации, следует искать в другом направлении. Единственным явлением, в котором обнаруживается эта связь, является возникновение городов и государств, так называемое объединение значительного количества индивидуумов в рамках политической системы и их разделение на касты и классы. Таково, во всяком случае, типичное развитие государств от Египта до Китая в период появления письменности. По-видимому, задолго до того, как письмен-

ность начала выполнять просветительскую функцию, она служила целям эксплуатации. Эта эксплуатация, позволившая собрать тысячи людей и принудить их к изнурительному труду, лучше объясняет зарождение архитектуры, чем приведенное выше отношение между письменностью и цивилизацией. Если моя гипотеза верна, то следует признать, что первая функция письменности состояла в том, чтобы облегчить установление рабства. Использование письменности в бескорыстных целях для интеллектуального и эстетического удовлетворения является по меньшей мере вторичной функцией, если не сводится в большинстве случаев к средству, способствующему укреплению, обоснованию и маскировке первичной функции.

Но существуют и исключения из правила: в Африке, например, существовали целые державы аборигенов, насчитывающие сотни тысяч подданных; в доколумбовой Америке в государстве инков их количество измерялось миллионами. Но на обоих континентах такие попытки были одинаково кратковременны. Известно, что империя инков образовалась около XII века; солдаты Писарро<sup>142</sup>, возможно, не покорили бы ее с такой легкостью, если бы тремя веками позднее не застали ее в полном упадке. Хотя о древней истории Африки известно очень мало, мы находим здесь подобную ситуацию: крупные политические формации появлялись и исчезали в течение нескольких десятилетий. Таким образом, эти примеры, по-видимому, подтверждают мою гипотезу, а не противоречат ей. Если письменность была недостаточным условием для укрепления знания, то, возможно, она была необходимым условием для укрепления верховной власти. Заглянем в недавнее прошлое: принявшему в XIX веке систематический характер движению современных государств к всеобщему обязательному образованию сопутствует всеобщая воинская обязанность и пролетаризация. Следовательно, борьба с безграмотностью сопровождается усилением контроля над гражданами со стороны власти. Ведь все долж-

ны уметь читать, чтобы государство могло заявить: “Никто не может оправдаться тем, что не знает законов”.

Выйдя за национальные рамки, дело приобрело международный масштаб. Этому способствовал сговор между молодыми государствами, оказавшимися перед лицом необходимости решения проблем, которые волновали нас один или два века тому назад, и заправилами мирового сообщества, обеспокоенными тем, что народы, не обученные мыслить писанными формулами — позволяющими свободно манипулировать и являющимися инструментом убеждения — могут нарушить их стабильность. Получив доступ к знаниям, накопившимся в библиотеках, эти народы становятся жертвами еще больших заблуждений, содержащихся в письменных свидетельствах. Но поздно — игра сделана. Однако в моей деревне *намбиквара* тугодумы оказались самыми мудрыми. Те, кто отказал в солидарности вождю в его попытке сделать ставку на цивилизацию (после моего посещения его покинуло большинство его людей), смутно предчувствовали, что письменность и вероломство проникли к ним одновременно. Спрятавшись от цивилизации в глубине сертана, они обеспечили себе короткую отсрочку. И все же гениальность вождя, который мгновенно понял, какое преимущество дает ему письменность, облегчая контроль над членами племени, и тем самым постиг саму суть этого установления, вызывала восхищение. Этот эпизод заставил меня обратить внимание и на другую сторону жизни *намбиквара* — на политические отношения между индивидуумами и группами. Вскоре мне представилась возможность наблюдать эти отношения воочию.

Когда мы еще находились в Утиарити, среди аборигенов разразилась эпидемия гнойного воспаления глаз. Эта инфекция, вызванная гонококками, поразила их всех, вызывая непереносимую боль и слепоту, угрожая необратимой потерей зрения. В течение нескольких дней община была полностью парализована. Индейцы лечились настоем из какой-то коры, которую капали в глаза, используя



свернутый в трубочку лист. Болезнь распространилась и на нашу экспедиционную группу: сначала на мою жену, которая принимала участие во всех предыдущих экспедициях, занимаясь изучением материальной культуры (она была в столь опасном состоянии, что ее пришлось немедленно эвакуировать), а затем на большинство наших людей и моего бразильского товарища. Вскоре продвижение вперед стало невозможным. Я принял решение разбить лагерь, оставить нашего врача для присмотра за больными, а сам с двумя людьми и несколькими животными отправился на станцию Кампус-Новус, по соседству с которой объявилось несколько других групп индейцев. Я провел там пятнадцать дней, почти ничего не делая; все это время я собирал в одичавших садах недозрелые, горьковатые и твердые как камень плоды гуайявы, мякоть которых не соответствовала их аромату, и кажу, яркие, словно попугаи, терпкие на вкус и содержащие в своих губчатых ячейках вяжущий сок; чтобы добыть себе пищу, достаточно было на заре отойти на пару метров от лагеря в рощу, где можно было легко подстрелить доверчивых диких голубей. В Кампус-Новус я встретил две группы индейцев, прибывшие с севера в надежде получить от меня подарки.

Эти группы были враждебно настроены как по отношению друг к другу, так и ко мне. С самого начала они скорее требовали моих подарков, чем просили о них. В течение первых дней здесь находилась только одна группа, а также индеец из Утиарити, который меня опередил. Думаю, что он проявлял слишком большой интерес к молодой женщине, принадлежавшей к группе хозяев, поэтому отношения между членами группы и их гостем почти сразу же испортились, и последний зачастил ко мне в лагерь, желая находиться в более дружелюбной атмосфере. Мы вместе обедали. Этот факт был замечен, и однажды, когда гость был на охоте, я удостоился визита четырех аборигенов — нечто вроде официальной делега-

ции. Угрожающим тоном они призвали меня подмешать яд в пищу моего гостя; все, что нужно, у них было с собой: четыре маленькие трубочки, наполненные серым порошком и связанные вместе хлопковой нитью. Я был озадачен, поскольку за моим категорическим отказом последовали бы серьезные неприятности; я навлек бы на себя гнев общины, враждебные намерения которой вынуждали меня быть осторожным. Я решил преувеличить свое незнание языка и изобразить полное непонимание. После нескольких попыток, во время которых мне неустанно повторяли, что мой протест был *kakore* (очень плохой) и от него надо как можно скорее избавиться, делегация удалилась, демонстрируя явное неудовольствие. Я предупредил индейца, и он тотчас исчез. Мне довелось встретить его вновь только через несколько месяцев, когда я вернулся в этот район.

К счастью, на следующее утро прибыла другая группа, и индейцы направили свою враждебность на этот новый объект. Встреча между обеими группами произошла в моем лагере, который одновременно был нейтральной территорией и целью их путешествия. Я чувствовал себя уверенно, словно зритель, наблюдающий спектакль из ложи. Пришли только мужчины; вскоре между ними завязался разговор, который скорее напоминал поочередные монологи в жалобном и гнусавом тоне, которого я никогда до этого не слышал. “Мы очень раздражены! Вы наши враги!” — ныли одни, на что другие отвечали приблизительно следующее: “Мы не раздражены! Мы ваши братья! Мы друзья! Мы можем найти общий язык!” и т.д. После того, как закончился этот обмен взаимными претензиями и протестами, был организован совместный лагерь неподалеку от моего. По окончании песен и танцев, во время которых каждая группа занижала мастерство собственного представления в сравнении с тем, что показали соперники: “*Тамаинде* поют хорошо! Мы поем плохо”, — ссора возобновилась, и вскоре тон ее стал более резким. Еще не

совсем стемнело, когда споры вперемешку с песнями переросли в сплошной шум, и уже трудно было понять, что происходит. Бросались в глаза угрожающие жесты, иногда возникали драки, причем некоторые индейцы выступали в них в роли арбитров. Все угрозы сводились к жестикуляции вокруг половых органов. Проявляя свою антипатию, кто-нибудь из них хватался за свой член двумя руками и метил им в противника. Этот жест предвещает нападение с целью сорвать с противника *buriti*, пучок из соломы, прикрепленный к поясу над половыми органами. Эти органы “спрятаны в соломе”, и в драке побеждает тот, кто “сорвет солому”. Такое действие носит, скорее, символический характер, поскольку прикрытия для мужского полового органа сделано из столь хрупкого материала и такое маленькое по размеру, что не может ни закрывать, ни защищать орган. Кроме того, соперники пытаются захватить лук и стрелы неприятеля и спрятать их где-нибудь в стороне. Все эти действия совершались в состоянии чрезвычайного напряжения, бурной, едва сдерживаемой ярости. Иногда такие поединки перерастают во всеобщий конфликт. На этот раз к рассвету все успокоилось. Все еще поддерживая видимость раздражения, противники начали присматриваться друг к другу и, указывая на серьги, браслеты из хлопка, мелкие украшения из перьев, быстро бормотали: “Дай, дай... это красивое!”, — на что хозяин отвечал: “Это некрасивое... старое... потрепанное”.

Этот “осмотр” означал примирение и завершение споров. По существу, он был переходом к другого рода отношениям между группами — к торговому обмену. Хотя материальная культура *намбиквара* очень бедна, продукция каждой группы высоко ценится соседями. Люди с востока нуждаются в глиняных сосудах и семенах, люди с севера считают, что южные соседи изготавливают исключительно ценные ожерелья. Поэтому встреча двух групп, если она проходит мирно, сопровождается обменом подарками — война уступает место торговле.

По правде говоря, трудно было проследить, как происходит обмен; на утро после ссоры каждый занялся своим обычным делом, а предметы или изделия просто переходили из рук в руки; тот, кто что-то дарил, ничем не показывал, что сделал подарок, тот, кто получал, не обращал внимания на свое новое приобретение. Таким образом были обменены откуда-то добытый хлопок и клубки ниток, куски воска и смолы, паста *урукку*, раковины, серьги, браслеты и ожерелья, табак и семена, перья и drank из бамбука, предназначенная для изготовления наконечников для стрел, связки пальмового лыка, кольца, целые горшки или обломки керамики, тыквы. Это таинственное кружение товаров длилось полдня, после чего группы разделились, и каждая пошла в своем направлении.

Таким образом, *намбиквара* полагаются на щедрость партнера. Мысль о том, что можно оценивать, спорить, торговаться, требовать чего-то или выгадывать что-то, совершенно чужда им. Я пообещал одному из индейцев нож, *fasão*, как вознаграждение за передачу сообщения соседней группе. После его возвращения я не спешил ему тут же вручить подаренный предмет, полагая, что он сам придет его забрать. Но он и не подумал явиться, а наутро я не смог его найти: он ушел, очень рассерженный, как сообщили мне его товарищи, и больше я его не встретил. Пришлось передать ему подарок через другого индейца. Ничего удивительного, что при таких обстоятельствах какая-то группа после совершения обмена неудовлетворена своей добычей, а за недели или месяцы, в течение которых каждый оценивает приобретения и вспоминает о собственных подарках, ее разочарование увеличивается, вызывая все большую агрессивность. Часто это становится единственной причиной войны, хотя поводом может быть все что угодно, например, убийство или похищение женщины, которое готовится или за которое следует отомстить, но не похоже, чтобы община была обязана коллективно карать за ущерб, нанесенный одному из ее

членов. Тем не менее, при враждебности отношений между группами эти предлоги охотно используются, особенно если одна из них чувствует свое преимущество над другой. Призыв исходит от одного из воинов, который высказывает свои претензии в том же самом тоне, в каком ведутся разговоры во время встречи. “Эй! Все сюда! Выступаем! Я разгневан! Очень разгневан! Давайте стрелы! Большие стрелы!”

Нарядившись по этому поводу в *buriti* из соломы, раскрасившись красной краской и надев шлемы из шкуры ягуара, мужчины собираются вокруг вождя и танцуют. Обязательно выполняется обряд гадания: вождь или колдун, если он есть в группе, прячет стрелы в укромном месте в зарослях. Стрелы находят на следующее утро. Если они испачканы кровью, то война — дело решенное, если нет — от нее отказываются. Многие походы, начатые таким образом, заканчиваются после нескольких километров пути. Возбуждение и энтузиазм утихают, и войско возвращается домой. Но некоторые походы доводятся до конца и могут оказаться кровавыми. *Намбиквара* атакуют на рассвете, расставив засады в сертане. Сигнал для атаки передается из одной засады к другой при помощи свистка, который туземцы носят на шее. Это приспособление, состоящее из двух бамбуковых трубочек, связанных хлопковой нитью, достаточно точно имитирует голос сверчка и поэтому носит то же самое название. Боевые стрелы похожи на те, что применяются обычно для охоты на крупную дичь, но их наконечники зазубрены. Простые стрелы, отравленные *кураре*, которые обычно служат для охоты, никогда не используются на войне. Раненый освободился бы от такой стрелы прежде, чем яд разойдется по телу.

# Мужчины, женщины, вожди

За Кампус-Новус, на самой высокой точке плоскогорья, расположена застава Вильена. В 1938 году она состояла из нескольких хижин, разместившихся посреди обширного, тянувшегося на несколько сот метров, пустыря, который должен был стать местом (по замыслу строителей миссии) основания Чикаго страны Мату-Гросу. Кажется, теперь там находится военный аэродром; в мое время население составляли две семьи, которые девять лет жили без всякого снабжения и, как я уже рассказывал, поддерживали свое существование благодаря стаду косуль, чьим мясом они экономно питались.

Я встретил там две новые группы. Одна из них насчитывала восемнадцать человек, говорящих на диалекте, близком к тем, которые я уже начал понимать, другая же, состоящая из тридцати четырех человек, использовала неизвестный мне язык, который я и позднее не сумел идентифицировать. Каждую группу возглавлял вождь, причем в первом случае власть вождя была чисто светского характера, в то время как вождь другой, более многочисленной группы, как вскоре выяснилось, оказался еще и колдуном. Его группа носила название *сабане*, другая группа именовалась *тарунде*. Они ничем не отличались друг от друга, кроме языка: индейцы одинаково выглядели и имели одинаковую культуру.

Такие же две группы были и в Кампус-Новус, но если те враждовали между собой, то индейцы из Вильена

жили в согласии. Хотя их лагерные костры были порознь, путешествовали они вместе, ночевали рядом, и казалось, что они объединили свои судьбы. Удивительный союз, если учесть, что аборигены говорили на разных языках, а их вожди могли понять друг друга только при посредничестве одного-двух человек из каждой группы, которые были переводчиками.

Вероятнее всего, они объединились недавно. Я выяснил, что между 1907 и 1930 годами эпидемии, занесенные сюда белыми, в десять раз уменьшили численность индейцев, вследствие чего некоторые группы оказались столь малочисленными, что не могли вести независимого существования. В Кампус-Новус я наблюдал внутренние антагонизмы общества *намбиквара*, видел воздействие дезорганизующих сил. В Вильене, напротив, я присутствовал при попытке реконструкции, так как не было сомнения, что аборигены, среди которых я находился, выработали общий план. Все взрослые мужчины одной из общин называли сестрами женщин другой группы, а те называли этих мужчин братьями. По отношению друг к другу мужчины обеих общин использовали слово, соответствующее нашему понятию “шурин”. Согласно брачным правилам *намбиквара*, такие отношения закрепляли право детей из одной группы быть потенциальными супругами детей из другой группы, и наоборот. Таким образом, в результате перекрестных браков обе группы слились бы уже в следующем поколении.

Правда, на пути осуществления этого далеко идущего плана были определенные препятствия. Еще одна группа — противники *тарунде* — кружила неподалеку, и иногда можно было заметить костры их лагеря, а значит, следовало быть наготове. Поскольку я немного понимал диалект *тарунде* и не знал диалекта *сабане*, я держался поближе к первой группе; вторая, с которой я не мог разговаривать, оказывала мне меньше доверия, поэтому я не могу представить их точку зрения на данный вопрос. Во всяком случае, *тарунде* не были полностью уверены в

искреннем желании их друзей поддерживать этот союз. Они опасались третьей группы, а еще больше того, чтобы *сабане* внезапно не перешли на сторону их противников.

Вскоре одно любопытное происшествие подтвердило обоснованность их опасений. Однажды, когда мужчины отправились на охоту, вождь *сабане* не вернулся в обычное время. Его никто не видел в течение всего дня. Около девяти-десяти часов вечера стемнело, в лагере царила всеобщая растерянность, особенно у костра пропавшего вождя, где его две жены и ребенок, обнявшись, заранее оплакивали смерть супруга и отца семейства. И тогда я решил обойти окрестности лагеря в сопровождении нескольких индейцев. На расстоянии каких-нибудь двухсот метров мы нашли пропавшего, который свернулся калачиком и дрожал в темноте; он был совершенно нагой, то есть без своих бус, браслетов, серег и повязки; при свете моего электрического фонарика мы видели трагическое выражение его лица и необычную его бледность. Он, не сопротивляясь, позволил поддерживать себя по пути в лагерь, где уселся на землю с подавленным видом.

Испуганные соплеменники требовали, чтобы он рассказал им, что с ним случилось. Он сказал, что на него напала гроза, которую *намбиквара* называют *амон* (в этот день действительно была гроза, предвещающая пору дождей), перенесла его по воздуху в названное им место, отдаленное от лагеря примерно на двадцать пять километров (Риу-Ананас), сорвала с него все украшения, а затем вернула тем же путем и оставила там, где мы его нашли. Все отправились спать, обсуждая происшествие, а наутро вождь *сабане* был не только в своем обычном хорошем настроении, но и при всех своих украшениях, что никого не удивило и чему вождь не дал никаких объяснений. В последующие дни среди *тарунде* начала распространяться совершенно иная версия случившегося. Говорили, что под видом своей связи с потусторонним миром вождь вел переговоры с группой индейцев, стоящих лагерем по соседству. Однако это не получило дальнейшего развития, и



официальная версия была, во всяком случае внешне, принята. И все же в разговорах со мной вождь *тарунде* выражал свои сомнения. Обе группы вскоре покинули нас, поэтому я так и не узнал, чем же закончилась эта история.

Это происшествие и мои предыдущие наблюдения стали поводом к размышлению о природе групп *намбиквара*; я думал о том политическом влиянии, которое оказывали на них их вожди. Нет более хрупкой и эфемерной общественной структуры, чем группа *намбиквара*. Если вождь оказывается чересчур требовательным, берет себе слишком много женщин или неспособен найти удовлетворительное решение проблем пропитания в голодный период, то возникает недовольство. Одиночки или целые семьи отделяются от группы и уходят, чтобы присоединиться к другой группе, имеющей лучшую репутацию. Эта другая группа лучше питается, благодаря открытию новых охотничьих угодий или мест собирательства, либо обогатилась украшениями и инструментами в ходе торгового обмена с соседними группами, либо же стала более могущественной после победоносного военного похода. Приходит день, когда привередливый вождь оказывается во главе группы, слишком малочисленной, чтобы преодолевать повседневные трудности и защищать своих женщин от притязаний чужаков. В этом случае у него не будет иного выхода, как сложить свои полномочия и вместе с соплеменниками присоединиться к более удачливой общине. Таким образом, мы видим, что общественная структура *намбиквара* очень неустойчива. Группа формируется и распадается, увеличивается или исчезает. В течение нескольких месяцев ее состав, наличное имущество и структура могут измениться до неузнаваемости. Внутренние политические интриги и конфликты между соседствующими группами задают свой ритм этим изменениям, а взлеты и падения личностей и групп иногда сменяют друг друга с поразительной быстротой.

Тогда по какому принципу происходит разделение на группы? С экономической точки зрения, недостаток природ-

ных ресурсов и потребность в большой территории для добычи пропитания в кочевой период обуславливает разделение на небольшие группы. Весь вопрос в том, каким образом происходит это дробление. В примитивных группах всегда выделяются люди, признанные вождями; именно они составляют ядро, вокруг которого собирается группа. Жизнеспособность группы и ее стабильность зависят от способности каждого из вождей укрепить собственный авторитет и улучшить положение группы. Политическая власть не является следствием общественной необходимости; наоборот, группа обретает свои характерные черты — свое начало, форму, величие, — заимствуя их у своего потенциального вождя, который проявляет себя раньше, чем возникает сама группа.

Я хорошо знал двух таких лидеров: вождя из Утиарити, община которого называлась *ваклетосу*, и вождя *тарунде*. Первый был человеком большого ума, он осознавал свою ответственность, был деятельным и изобретательным. Он умел предвидеть развитие ситуации, планировал маршрут, наиболее соответствующий его намерениям, в случае необходимости рисовал на песке нечто вроде карты. Прибыв в его деревню, мы обнаружили колышки для привязывания наших животных, поставленные высланным им вперед отрядом, хотя я его и не просил об этом.

Это был ценный информатор, который понимал суть проблемы, видел трудности и интересовался работой, но он был поглощен своими функциями, целыми днями пропадал на охоте, производил разведку местности или же осматривал деревья, дающие семена и плоды. Кроме того, его жены часто отвлекали его любовными играми, и он охотно им предавался.

В его поведении прослеживались определенная логика и последовательность, которые были редкостью у *намбиквара*, столь изменчивых и капризных. Несмотря на ненадежность условий жизни и некоторую наивность в выборе средств, это был ценный организатор, чувствую-

щий ответственность за судьбу группы и руководивший со знанием дела, хотя и в несколько спекулятивном духе.

Тридцатилетний вождь *тарунде* тоже был достаточно умен, но несколько по-иному. Он произвел на меня впечатление человека рассудительного и одаренного, постоянно обдумывающего какую-нибудь политическую комбинацию. Вождь *тарунде* не был человеком действия, он, скорее, был созерцателем, наделенным живым умом и воображением. Он осознавал обреченность своего народа, и это понимание придавало его словам оттенок грусти. “Когда-то я делал то же самое, теперь с этим покончено”, — говорил он, вспоминая те счастливые дни, когда его группа была не горсткой людей, неспособных поддерживать древние обычаи, а объединяла несколько сот человек, верных традициям культуры *намбиквара*. Его интерес к нашим обычаям и к обычаям других племен, которых мне довелось наблюдать, ни в чем не уступал моему. Этнографическое сотрудничество с ним никогда не было односторонним; для меня это был обмен информацией, а те сведения, которые я ему давал, он охотно принимал. Надеялся ли он, что эти сведения будут способствовать материальному и интеллектуальному возрождению его группы? Возможно, хотя его мечтательность не способствовала реализации намерений. Впрочем, однажды, когда я расспрашивал его о флейтах Пана, чтобы установить область распространения этого инструмента, он ответил мне, что никогда ее не видел, но хотел бы получить ее рисунок. На основе моего эскиза ему удалось сделать примитивный, но вполне пригодный к использованию инструмент.

Исключительные достоинства этих двух вождей связаны с обстоятельствами, при которых они пришли к власти. Политическая власть у *намбиквара* не передается по наследству. Когда вождь стареет, начинает болеть и чувствует, что неспособен далее выполнять свои сложные функции, он сам выбирает себе преемника: “Этот будет вождем”. Однако автократичность этой власти скорее

кажущаяся, чем реальная. Далее мы увидим, насколько слаб авторитет вождя и в сколь значительной степени в этом и в других случаях зондирование общественного мнения определяет принятие окончательного решения: назначаемый преемник должен быть человеком, пользующимся благосклонностью большинства. Но не только пожелания или возражения группы влияют на выбор нового вождя; это назначение должно также соответствовать планам самого кандидата. Нередко бывает, что предложение принять власть наталкивается на бурное сопротивление: “Не хочу быть вождем”. В этом случае приходится выбирать нового кандидата. В принципе, нельзя сказать, чтобы власть была предметом слишком острого соперничества, а вожди, которых мне довелось знать, больше жаловались на тяжкое бремя ответственности, нежели кичились своим высоким положением. В чем же тогда состоят привилегии вождя, и каковы его обязанности?

Когда около 1560 года Монтень повстречал в Руане трех бразильских индейцев, привезенных сюда каким-то моряком, он спросил одного из них о привилегиях вождя (он сказал “короля”) в его стране; индеец, который сам был вождем, ответил: “Быть первым на войне”. Восхищенный этим исполненным достоинства ответом, Монтень приводит эту историю в одной из глав своих знаменитых “Опытов”. Четыре века спустя я получил тот же самый ответ, что вызвало у меня еще большее удивление и восхищение. Цивилизованные страны не проявляют подобного постоянства в своих политических взглядах! Но более всего поражает то, как переводится с языка *намбиквара* слово, обозначающее вождя. *Уликанде*, по-видимому, означает “тот, кто объединяет” или “тот, кто соединяет”. Эта этимология свидетельствует о том, что абориген осознает то положение вещей, которое мы уже отмечали: вождь воплощает стремление его соплеменников сформировать группу, а не потребность в централизованной власти в уже оформившейся группе.

Личный престиж и способность завоевывать доверие — вот на чем основана власть вождя в обществе *намбиквара*. Оба эти качества совершенно необходимы тому, кто решился возглавить такое опасное предприятие, как кочевая жизнь в засушливую пору. В течение шести-семи месяцев вождь будет нести полную ответственность за руководство группой. Это он готовит выступление в поход, выбирает дорогу, устанавливает этапы и продолжительность стоянок. Он решает, когда идти на охоту или на сбор плодов, а также определяет тактику группы по отношению к соседям. Когда вождь группы является одновременно вождем деревни (если слово “деревня” употреблять в узком значении временного поселения в сезон дождей), его обязанности еще более расширяются. Это он определяет время и место оседлой жизни, руководит огородничеством и выбирает культуры — то есть осуществляет общее руководство деятельностью группы в зависимости от потребностей текущего момента и сезонных условий. Прежде всего следует отметить, что в выполнении своих многочисленных задач вождь не опирается ни на данную ему на определенный период власть, ни на собственный признанный всеми авторитет. Согласие является источником власти, и оно же закрепляет ее правомочность. Предосудительное (разумеется, с точки зрения аборигенов) поведение вождя или проявление злой воли со стороны одного или двух недовольных может разрушить планы вождя и поставить под угрозу существование его маленького сообщества. Однако в этих случаях вождь не располагает какими бы то ни было средствами принуждения. Он может избавиться от нежелательных элементов только тогда, когда сумеет убедить всех в правильности своей позиции. Следовательно, ему приходится прибегать к дипломатии, более характерной для политика, который старается перетянуть на свою сторону колеблющееся большинство, чем для всемогущего властителя. Для него недостаточно только поддерживать сплочен-

ность своей группы. Хотя в кочевой период группа живет изолированно, она не забывает о существовании соседних групп. Вождь должен не только хорошо выполнять свою задачу, но и стараться — и группа в этом смысле на него рассчитывает — выполнять ее лучше, чем другие.

Как ему это удастся? Первым и самым важным инструментом власти является щедрость. Щедрость — существенный атрибут власти у большинства примитивных народов, особенно в Америке; она играет важную роль даже в тех первобытных культурах, где все имущество составляют простейшие предметы. Хотя вождь не пользуется материальными привилегиями, он должен иметь под рукой запасы пищи, инструментов, оружия и украшений, которые — пусть даже самые скромные — приобретают значительную ценность в условиях всеобщей нищеты. Если у отдельного человека, семьи, или же у всей группы появляется какое-то желание или потребность в чем-то, они обращаются к вождю, чтобы тот решил их проблему, поэтому щедрость является тем достоинством, которое желают видеть у нового вождя. Щедрость — та неизменно затрагиваемая струна, от звучания которой зависит степень признания. Учитывая это, можно было не сомневаться, что все подаренное вождю будет полностью роздано. Вожди были моими лучшими информаторами; понимая всю сложность их положения, я всегда их щедро вознаграждал, но редко мой подарок оставался в их руках дольше нескольких дней. Когда после нескольких недель совместного проживания я прощался с группой, аборигены уже были счастливыми обладателями топоров, перочинных ножей, бус и т.д., в то время как вождь обычно оставался таким же бедным, как и в момент моего прибытия. Все, что он от меня получил (а это значительно превышало то, что в среднем доставалось рядовому члену группы), у него уже выманили. Эта всеобщая алчность часто доводила вождя до отчаяния. Но отказавшись дарить, вождь в этой первобытной демократии поставил бы себя в ситуацию, равнозначную вотуму недоверия в со-

временном парламенте. Когда дело доходит до того, что вождь говорит: "Конец подаркам! Конец щедрости! Пусть кто-нибудь другой будет щедрым на моем месте!", — он должен быть действительно уверен в себе, ибо в этот момент его власть подвергается серьезному испытанию.

Изобретательность — это интеллектуальная форма щедрости. Хороший вождь всегда проявляет инициативу и изобретательность. Это он готовит яд для стрел. Это он делает мяч из необработанного каучука для игр, в которые время от времени играют его соплеменники. Вождь должен быть хорошим певцом и хорошим танцором, веселым малым, готовым развлечь компанию и скрасить монотонность повседневной жизни. Эти функции могут привести к шаманству, и действительно некоторые вожди являются также знахарями и колдунами. Но у индейцев *намбиквара* склонность к мистицизму всегда остается на заднем плане, а проявления магических способностей играют роль второстепенных атрибутов власти. Обычно у *намбиквара* светская и духовная власть поделены между двумя людьми; в этом отношении они отличаются от своих северо-западных соседей *тупи-кавахиб*, у которых вождь одновременно является шаманом с присущими ему пророческими снами, видениями, состояниями транса и раздвоения души.

Несмотря на то, что сметливость и изобретательность вождя *намбиквара* направлены на более конкретные задачи, они все равно вызывают восхищение. Он должен хорошо знать местность, по которой перемещаются его и соседние группы, местонахождение охотничьих угодий и рощ, в которых растут дикие плодовые деревья, и благоприятное время для сбора плодов, а также иметь представление о маршрутах передвижения соседних групп, будь то дружественных или враждебных. Он постоянно уходит вперед, чтобы разведать и исследовать местность, и кажется, что он не ведет группу, а скорее кружит вокруг нее.

За исключением одного или двух человек, не обладающих настоящим авторитетом, но готовых к сотрудничеству за вознаграждение, пассивность общины составляет

противоположность динамизму ее лидера. Можно сказать, что группа, отказавшись от определенных привилегий в пользу вождя, ожидает от него заботы о ее интересах и безопасности.

Это отношение хорошо иллюстрирует описанный ранее эпизод, когда во время одного из путешествий мы сбились с пути, оставшись без достаточных запасов провизии: вместо того, чтобы отправиться на охоту, индейцы решили устроить себе отдых, предоставив вождю и его женам заботиться об исправлении ситуации.

Несколько раз я упоминал о женах вождя. Полигамия по существу является его привилегией, моральной и эмоциональной компенсацией за его тяжелый труд и одновременно облегчает этот труд. За редким исключением, только вождь и колдун (также и в том случае, когда эти функции выполняют два человека) могут иметь несколько жен. Но это полигамия особого рода. Это не многоженство в буквальном смысле этого слова, а, скорее, моногамный брак, к которому добавляются отношения другой природы. Первая жена играет ту же роль, что и жена в моногамном браке. Она приспосабливается к правилам разделения труда между полами, заботится о детях, готовит пищу и собирает дикie дары природы. Последующие союзы, хотя и признаны супружескими, но, тем не менее, носят другой характер. Другие жены относятся к более молодому поколению. Первая жена называет их "дочерями" или "племянницами". Кроме того, они не соблюдают правил разделения труда и принимают участие как в мужских, так и в женских занятиях. В лагере они пренебрегают домашними работами и бездельничают, играют с детьми, которые в сущности относятся к их поколению, или же ласкают мужа, в то время как первая жена хлопочет у очага и на кухне. Но когда вождь идет на охоту или в другой мужской поход, его другие жены сопровождают его и поддерживают его физически и морально. Эти женщины с мальчишеским нравом, выбранные из самых красивых и здоровых в группе, являются скорее любовницами, а не женами вождя



Отношения между ними любовно-дружеские, что резко контрастирует с супружеской атмосферой первого брака.

Обычно мужчины и женщины не купаются вместе, но иногда можно увидеть вождя, плещущегося вместе со своими полигамными женами, что всегда сопровождается водными сражениями, шалостями, неисчислимыми шутками и смехом. Вечером они затевают любовные игры, барахтаясь в песке и обнимаясь вдвоем, втроем или вчетвером, либо предаются детским забавам: например, вождь *ваклетосу* и две его младшие жены, вытянувшись на песке в форме трехконечной звезды, ударяли ступнями о ступни друг друга в строго определенном ритме.

Таким образом, полигамная связь — это своего рода надстройка моногамного брака в форме плюралистического любовно-дружеского союза и одновременно атрибут власти, функционально значимый как с психологической, так и с экономической точки зрения. Как правило, женщины живут между собой в согласии, хотя участь первой жены порой кажется незавидной; но она не выражает недовольства, когда, работая, слышит взрывы смеха своего мужа и его молодых любовниц и даже когда бывает свидетельницей весьма открытых проявлений любви. Это разделение ролей не установлено раз и навсегда, и бывает — хотя и реже, — что муж и его первая жена тоже предаются подобным забавам, поскольку радости жизни первой жене не заказаны. Кроме того, более уважительное отношение к ней и возможность влиять на своих более молодых подруг в какой-то мере компенсируют ее меньшее участие в этом любовном товариществе.

Эта система имеет серьезные последствия для жизни группы. Периодически вырывая молодых женщин из нормального цикла браков, вождь нарушает равновесие между количеством юношей и девушек брачного возраста. Жертвами такой ситуации оказываются прежде всего юноши, так как они обречены на длительное безбрачие либо вынуждены вступать в брак с вдовами или старшими женщинами, брошенными их мужьями.

*Намбиквара* разрешают эту проблему и другим способом: путем гомосексуальных отношений, которые они поэтично называют *tamindige kihandige*, то есть обманная любовь. Эти отношения распространены среди мальчиков-подростков и скрываются еще меньше, чем нормальные связи. Партнеры не удаляются в заросли, как это делают взрослые разнополые пары, а располагаются у лагерного костра на глазах у соседей, которых это забавляет. Подобные инциденты становятся поводом для шуток, впрочем, вполне сдержанных; гомосексуальные отношения считаются ребячеством, и на них не обращают внимания. Правда, остается неясным, заканчиваются ли такие игры полным удовлетворением или ограничиваются сентиментальными проявлениями в сочетании с эротическими ласками, характерными для супружеских отношений.

Гомосексуальные отношения разрешены только между теми подростками, которые состоят в кросскузенном родстве и одному из них предписано стать мужем сестры другого, то есть в таких связях брат как бы временно заменяет свою сестру. Когда я пытался что-нибудь выведать у аборигенов по поводу этих связей, я неизменно слышал в ответ: "Это кузены (или шурины) занимаются любовью". В зрелом возрасте кузены продолжают пользоваться полной свободой отношений, и часто можно видеть, как вечером двое-трое мужчин прогуливаются, нежно обнявшись.

Но даже если не учитывать этих суррогатных решений, привилегия полигамии представляет собой серьезную уступку со стороны группы в пользу вождя. Что же означает эта привилегия для самого вождя? Доступ к молодым и красивым девушкам дает ему не столько физическое (в силу приведенных выше причин), сколько эмоциональное удовлетворение. Но прежде всего, полигамный брак и его специфические особенности являются предоставленным в распоряжение вождя вспомогательным средством, позволяющим ему лучше выполнять свою задачу. Если бы он был один, ему было бы трудно делать

больше, чем остальные. Его младшие жены, освобожденные ввиду исключительности своего положения от обычных женских обязанностей, служат ему поддержкой и утешением. Они одновременно вознаграждение за власть и инструмент этой власти. Можно ли считать, что, с точки зрения аборигенов, награда стоит этих трудов? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть его в более общей плоскости и спросить, что мы узнали об источниках и функциях власти от племени *намбиквара* как элементарной общественной структуры.

Остановимся вкратце на этой проблеме. Та реальность, которая наблюдается в обществе *намбиквара*, в сочетании с некоторыми другими фактами заставляет отказаться от устаревшей социологической теории, которая получила новую жизнь в психоанализе. Согласно этой теории, прототипом первобытного вождя был символ Бога-Отца, а элементарные формы государства развивались постепенно, начиная с семьи. На основе простейших форм власти мы выделили решающий шаг, который вносит новый по отношению к биологическим явлениям элемент: этот решающий шаг — *соглашение*, которое одновременно является источником и ограничением власти. Внешне односторонние отношения, выраженные в демократии, автократии или любой другой форме правления, могут возникнуть лишь в группах с более сложной структурой, но они невозможны в простых формах общественной организации, то есть в таких, какие мы пытаемся здесь описать. В подобных простейших формациях политические отношения сводятся к определенному равновесию между талантом и авторитетом вождя, с одной стороны, и численностью, сплоченностью и доброй волей группы — с другой; эти факторы оказывают друг на друга взаимное влияние.

В этой связи я хотел бы показать, какую поддержку оказывает современная этнология тезисам философов XVIII века. Конечно, схема Руссо отличается от тех — казалось бы, противоречащих современным — отношений, которые существуют между вождем и его соплеменниками. Руссо

рассматривал совершенно иное явление: отказ индивидуума от собственной автономии в пользу коллективной воли. Однако нельзя не согласиться, что Руссо и его современники-последователи проявили глубокую социологическую интуицию, когда пришли к заключению, что такие составляющие культуры, как “договор” и “соглашение”, являются не вторичными образованиями, как утверждали их противники (в частности, Юм), а первичными элементами общественной жизни, и невозможно представить такую политическую организацию, в которой бы они не существовали.

Из предыдущих рассуждений вытекает следующее: *соглашение* является психологическим основанием власти; но в повседневной жизни власть проявляется и ограничивается посредством взаимных обязательств вождя и его соплеменников, и потому понятие *взаимность* является вторым основополагающим атрибутом власти. Вождь обладает властью, но должен быть щедрым; он берет на себя ответственность, но может иметь несколько жен. Между ним и группой возникает постоянно поддерживаемое равновесие обязательств и привилегий, услуг и обязанностей.

И только в случае брака происходит нечто большее. Наделяя вождя привилегией полигамии, группа обменивает *индивидуальную безопасность* каждого из ее членов, гарантируемую правилами моногамии, на *коллективную безопасность*, обеспечения которой она ожидает от вождя. Каждый мужчина получает жену от другого мужчины, но вождь получает несколько жен от группы. Взамен он должен гарантировать достаток и безопасность не индивидуумам, дочерей или сестер которых он берет себе в жены, и даже не мужчинам, лишившимся жен вследствие его полигамных прав, но группе в целом — в уплату за возможность не подчиняться обязательному для всех правилу. Приведенные размышления могут быть интересны для теоретических исследований полигамии, но, главное, они подтверждают, что концепция государства как системы гарантий, вызванная к жизни дискуссией на тему плана национальной безопасности (как, например,

план Бевериджа<sup>143</sup> и др.), не является современным изобретением. Это возвращение к первобытному характеру общественной и политической организации.

Такова точка зрения группы по поводу власти. А какова позиция вождя в отношении своих обязанностей? Что побуждает его взяться за это дело, которое далеко не всегда доставляет удовольствие? Вождь племени *намбиквара* знает, что роль его трудна, и чтобы сохранить свое достоинство, он должен не жалеть своих сил. Более того, если он не будет постоянно укреплять свою деятельность, он рискует потерять то, чего достиг в течение месяцев или лет. Это объясняет тот факт, что многие мужчины не желают брать власть в свои руки. Но тогда почему же другие принимают ее и даже стремятся к ней? Трудно судить о психологических мотивациях такого рода вообще, а тем более, когда речь идет о культуре, столь отличной от нашей. Но одно можно утверждать с уверенностью: привилегия полигамии, несмотря на ее привлекательность с сексуальной, эмоциональной и общественной точек зрения, не является достаточным стимулом, определяющим окончательное решение. Полигамный брак служит техническим условием исполнения власти, но с точки зрения личного удовольствия он может играть только второстепенную роль. Должно существовать нечто большее. Когда я пытаюсь воссоздать в памяти особенности характера вождей *намбиквара* и определить неуловимые нюансы их личностей (ускользающие при научном анализе, но приобретающие определенную ценность как живое человеческое свидетельство, основанное на интуитивном ощущении и дружеском расположении), неотвратимо напрашивается следующий вывод: вожди существуют потому, что в любом человеческом коллективе найдутся люди, которые, в отличие от других, любят престиж ради него самого, которых влечет ответственность и которым само занятие общественными делами приносит удовлетворение. Эти индивидуальные особенности развиваются и проявляются во всех культурах, хотя и в разной мере. Но их существование в обществе, столь слабо

пронизанном духом соперничества, как общество *намбиквара*, наводит на мысль, что их возникновение обусловлено не только социальными причинами. Скорее, это тот сырой психологический материал, из которого строится любое общество. Люди неодинаковы даже в среде первобытных племен, подавленных, как считают социологи, авторитетом всемогущей традиции; различия между людьми здесь так же чутко улавливаются и усердно используются, как и в нашей “индивидуалистической” цивилизации.

Это было одно из проявлений того “чуда” о котором говорил Лейбниц, размышляя о судьбах американских ди-карей, обычаи которых, описанные путешественниками прошлого, привели его к выводу, что “никогда не следует считать доказанными гипотезы политической философии”. Что касается меня, то я отправился на другой конец света в поисках того, что Руссо называет “почти незаметным прогрессом начал”. За завесой мудреных правил *кадиуэу* и *бороро* я искал то государство, которое, по еще одному выражению Руссо, “уже не существует, может быть, никогда не существовало и, возможно, никогда не будет существовать, но о котором следует иметь точное представление, чтобы лучше понять наше нынешнее государство”. Мне, которому посчастливилось больше, казалось, что я открыл это государство в умирающем обществе; у меня не было необходимости задаваться вопросом, был ли это след чего-то более древнего: как следствие традиции или вырождения оно являло собой картину одной из самых убогих форм политической и общественной организации, какую только можно себе представить. Я не нуждался в исследовании той особой истории, которая удерживала данное общество в этих первобытных условиях или довела его до таких условий. Достаточно было осмыслить непосредственный социологический опыт, который был у меня перед глазами.

Но именно он, этот опыт, ускользал от моих рассуждений. Я искал общество, сведенное к его простейшей формуле. Общество *намбиквара* было им до такой степени, что я обнаружил в нем просто людей.

**Часть восьмая**  
**Тупи-кавахиб**





## Глава 30

# На пироге

Я покинул Куябу в июне, а сейчас уже сентябрь. Три месяца я путешествую по плоскогорью. Я живу в лагере с индейцами, пока наши животные отдыхают, а во время переходов вспоминаю этапы пути и размышляю о смысле моей экспедиции; неровная иноходь мула не позволяет зажить синякам, к которым мой организм настолько привык, что мне бы чего-то не хватало, если бы каждое утро я не обнаруживал на теле новых болезненных ссадин. Приключение оборачивалось скукой. Неделями перед моими глазами расстилалась все та же суровая саванна, такая сухая, что живые растения с трудом можно было отличить от увядшей зелени, остававшейся повсюду от покинутых стоянок. Черные следы костров среди зарослей казались естественными вехами этого всеобщего кочевья от пепелища к пепелищу.

Мы побывали в Утиарити и Журуэне, потом в Жуине, Кампус-Новус и Вильене; теперь продвигаемся к последним заставам на плоскогорье: Трес-Буритис и Баранди-Мелгасу, которые лежат уже на спуске с плато. Каждый или почти каждый переход сопровождается потерей одного или двух быков: они гибли от жажды, истощения или от *hervado*, то есть отравления ядовитой травой. Несколько из них упало в воду вместе с грузом во время переправы через реку по ветхому мосту, и нам с большим трудом удалось спасти казну экспедиции. Но такое случается редко; ежедневно мы выполняем одни и те же действия: разбираем лагерь, подвязываем гамаки и противомоскитные сетки, размещаем груз и животных так,

чтобы уберечь их от термитов, организуем наблюдение за животными, а наутро, готовясь в путь, все повторяем в обратном порядке. Когда появляется племя индейцев, вступает в силу другая последовательность: перепись, названия частей тела, система родства, родословные, опись имущества. Чувствуешь себя бюрократом в изгнании.

Уже пять месяцев не было дождя, дичь исчезла. Мы счастливы, если нам удастся подстрелить тощего попугая или поймать крупную ящерицу *тупинамбис* (*tupinambis*) и приготовить ее с рисом либо испечь земляную черепаху прямо в панцире или броненосца с его черным и жирным мясом. Чаще всего приходится довольствоваться *харке*, тем самым сушеным мясом, которое приготовил для нас несколько месяцев назад мясник в Куябе: каждое утро мы разворачивали на солнце кишащие червями толстые пласты, чтобы их очистить, а на следующий день находили их в том же состоянии. Правда, однажды кто-то убил дикую свинью: кровавое мясо показалось нам более упительным, чем вино, — каждый из нас поглотил более фунта; тогда я понял, что означает прожорливость дикарей, на которую многие путешественники указывают как на доказательство их примитивности. Достаточно было разделить с ними их рацион, чтобы познать тот ненасытный голод, утоление которого дает нечто большее, чем сытость, — ощущение счастья.

Пейзаж постепенно изменялся: старые кристаллические или осадочные пласты уступали место глинистой почве. Саванна сменилась зоной сухого леса каштановых деревьев (не наших, а бразильских, *Bertholletia excelsa*) и копаиферов, больших деревьев, выделяющих бальзам. Прозрачные ручьи сменяются мутными, с желтой гнилой водой. Повсюду заметны осыпи от подтачиваемых эрозией холмов, у подножия которых образуются болота, заросшие *sapezals* (высокой травой) и *buritizals* (пальмовыми рощами). На склонах холмов мулы продираются сквозь заросли диких ананасов с небольшими плодами желто-

оранжевого цвета с мякотью, усеянной черными зернышками и по вкусу напоминающей что-то среднее между настоящим ананасом и великолепной земляникой. От земли поднимается давно забытый запах горячего шоколадного напитка — но здесь это запах тропической растительности и органического разложения. По этому аромату узнаешь земли, где может расти какао, — так иногда в Верхних Пиренеях ветерок, приносящий с поля запах увядшей лаванды, извещает нас, что в этой земле растут трюфели. От последнего уступа, который круто спускается к телеграфной станции Баран-ди-Мелгасу, начинается прерия. Насколько хватает взгляда, перед нами расстилается долина реки Машаду, а за ней начинается амазонская сельва, которая непрерывно тянется полторы тысячи километров до самой границы с Венесуэлой.

В Баран-ди-Мелгасу прерии, поросшие зеленой травой, были окружены влажным лесом, откуда доносились трубные звуки, издаваемые *жаку* (*jaci*) — птицей-собакой. Здесь достаточно было двух часов, чтобы вернуться из леса в лагерь нагруженными дичью. Мы впали в безумное обжорство: в течение трех дней мы только и делали, что готовили пищу и ели. С этого момента мы ни в чем не будем испытывать недостатка. Тщательно припрятанные запасы сахара и алкоголя таяли на глазах, когда мы дегустировали амазонские блюда, первым из которых надо назвать *tocari*, бразильские орехи, перетертая сердцевина которых сгущается до белого соуса и жирного крема. Вот подробности тех гастрономических упражнений, сохранившиеся в моих записях:

*Колибри (которых португальцы называют beija-flor, целующие цветок), запеченные на вертеле и обожженные горящим виски; хвост каймана, поджаренный на решетке; попугай, запеченный и обожженный виски, рагу из жаку под соусом из плодов пальмы assai; блюдо из tutum (разновидность дикого индюка) и пальмовых почек в соусе из tocari с перцем; жаку в жженом сахаре.*

После этих пиров и не менее необходимых купаний (часто во время пути мы по несколько дней не снимали комбинезонов, которые вместе с башмаками и шлемами были нашей одеждой) я начал готовить план нашего дальнейшего путешествия. С этого момента мы будем передвигаться по рекам, что гораздо лучше, чем заросшие лесные *picadas*, тем более, что в начале пути у нас было тридцать быков, теперь же их осталось только семнадцать, да и те вряд ли смогут идти дальше даже по более легкому маршруту. Мы разделились на три группы. Начальник моей группы с несколькими людьми пойдет по суше в направлении первых поселений сборщиков каучука, где мы надеялись продать лошадей и часть мулов. Другие люди останутся в Баран-ди-Мелгасу вместе с быками, чтобы дать им возможность восстановить силы на пастбищах с *capim-gordura*, травой тростника. Тибурсио, их старый повар, будет возглавлять эту группу, тем более, все его любят и называют — из-за большой примеси африканской крови — *preto na feição, branco na acção* (черный своей кожей, белый по своей ценности), хотя это, между прочим, показывает, что бразильский крестьянин не лишен расовых предрассудков. В Амазонии белая девушка, за которой пытается ухаживать черный, возмущается: “Неужели я похожа на белую стерву, что *урубубу* прилетают, чтобы вцепиться в мои внутренности”. В качестве метафоры здесь используется хорошо знакомая в этих местах картина: издохший крокодил, которого несет река, и черноперый стервятник, совершающий многодневное плавание на его теле.

Когда быки восстановят силы, группа без затруднений вернется в Утиарити, поскольку животные будут свободны от груза, а дожди, которые вскоре начнутся, превратят пустыню в зеленую прерию. Затем научный персонал экспедиции и остальные люди погрузят багаж на пироги и будут сопровождать его до обитаемых районов, где мы расстанемся. Что касается меня, я рассчита-

вал, что по Мадейре доберусь до Боливии, пересеку эту страну самолетом и вернусь в Бразилию через Корумбу, оттуда доеду до Куябы, а затем до Утиарити, где встречу с моей *comitiva*, командой, и на этом экспедиция будет закончена.

Начальник станции Мелгасу одалживает нам две *galiotes* — легкие дощатые лодки — и гребцов. Прощайте, мулы! Остается лишь плыть по течению Риу-Машаду. Забыв об осторожности за долгие месяцы засухи, мы в первый вечер не позаботились о навесе над нашими гамаками, как обычно растянув их между деревьями на прибрежном откосе. Ночью разразилась гроза, грохотавшая, словно стадо лошадей, мчащихся галопом: прежде чем мы проснулись, наши гамаки превратились в ванны; мы на ощупь разворачиваем брезентовое полотнище, чтобы укрыться под ним, ибо натянуть его при таком ливне было невозможно. О сне не могло быть и речи; присев на корточки в воде, поддерживая брезент головами, мы следили лишь за тем, чтобы вода не скапливалась в складках брезента, иначе он промокнет насквозь. Чтобы убить время, мужчины рассказывали разные истории. Я записал рассказ Эмидиу:

У одного вдовца был единственный, уже достаточно взрослый сын. Однажды он зовет его к себе и говорит, что ему пришло время жениться. “Что нужно сделать, чтобы жениться?” — спрашивает сын. “Это очень просто, — отвечает отец, — навести соседей и постарайся понравиться их дочери.” “Но я не знаю, как понравиться девушке.” “А ты играй на гитаре, будь весел, смейся и пой!” Сын выполняет наказ отца. Но его визит как раз совпадает со смертью отца девушки, его поведение оказывается совершенно неуместным, и его выгоняют, швыряя ему вслед камнями. Юноша возвращается к отцу и жалуется; отец объясняет, как следует себя вести в подобных обстоятельствах. Сын снова выбирается к соседям, а в это время там режут борова.

Верный последнему поучению, он плачет: "Как это печально! Он был такой хороший! Его так любили! Лучшего не сыскать!". Возмущенные соседи снова выгоняют его. Юноша рассказывает отцу о своей новой неудаче и получает от него указания относительно того, как вести себя в подобном случае. Во время третьего визита соседи заняты очисткой сада от гусениц. Юноша, постоянно запаздывающий на один шаг, восклицает: "Что за чудесное изобилие! Желаю вам, чтобы эти животные множились на вашей земле! Чтобы вы никогда не испытывали в них недостатка!". И его снова прогоняют. После третьей неудачи отец приказывает сыну построить дом. Сын идет в лес, чтобы срубить дерево для дома. Мимо проходит оборотень; место приходится ему по вкусу, и он тоже решает построить там для себя жилище. Наутро парень возвращается и застаёт начатую постройку. "Видно, бог мне помогает!" — с радостью думает он. Так они вместе строят дом: юноша — днем, оборотень — ночью. И вот дом готов. Парень решает в честь постройки нового дома приготовить себе на обед козулю, а оборотень — труп. Юноша приносит козулю днем, оборотень труп — ночью. Когда наутро появляется отец, чтобы отметить торжественное событие, он видит на столе запеченный труп: "Определенно, сын мой, никогда ничего из тебя не получится..."

Утром дождь все еще продолжается, мы добираемся до станции Пимента-Буэну, вычерпывая воду из наших лодок. Эта станция расположена в устье притока Риу-Машаду, который и дал ей свое название. Там жило около двадцати человек — несколько белых из глубины страны и индейцы различного происхождения, работающие на линии: *кабишана* из долины реки Гуапоре и *тупи-кавахиб* из бассейна Риу-Машаду. Именно у них я получил важные сведения. Часть из них касалась диких индейцев *тупи-кавахиб*, которые, согласно прежним до-

несениям, полностью вымерли (о них речь впереди). Другая информация относилась к неизвестному племени, которое будто бы обитало в нескольких днях пути пирогой по реке Пимента-Буэну. Я тут же решил познакомиться с этим племенем — но как это осуществить? И вот подвернулся благоприятный случай. На станции проездом остановился негр по имени Бахья, странствующий торговец, немного авантюрист, который из года в год совершал длительные путешествия: он ехал до Мадейры, чтобы запастись товаром в прибрежных складах, возвращался пирогой в верховья Машаду и через два дня достигал Пимента-Буэну. Оттуда можно было известным ему путем за три дня перетащить пироги и груз через лес к небольшому притоку Гуапоре, где он мог продать свой товар по выгодной цене, поскольку доступ к этим территориям был затруднен. Бахья подтвердил, что готов проплыть дальше вверх по Пимента-Буэну с условием, что я заплачу товаром, а не деньгами. Для него это была неплохая сделка, потому что амазонские оптовые цены были выше тех, которые я платил за свои покупки в Сан-Паулу. Я уступил ему несколько рулонов красной фланели, которую ненавидел с тех пор, как в Вильене подарил один рулон индейцам *намбиквара*, а на следующий день все они, а также их собаки, обезьяны и прирученные кабаны, обрядились в красную фланель с головы до пят; правда через час, когда все вдоволь повеселились, куски фланели были пренебрежительно брошены в зарослях, и уже никто не обращал на них внимания.

На двух пирогах, одолженных на станции, разместился наш экипаж из четырех гребцов и двоих наших людей. Мы были готовы двинуться навстречу неведомым приключениям.

Нет ничего более притягательного для этнографа, чем возможность стать первым белым, которому суждено проникнуть в общину аборигенов. Уже в 1938 г. эта высшая награда была достижима лишь в нескольких местах на

земле, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки. С тех пор эта возможность стала еще меньшей. Итак, мне тоже доведется пережить опыт путешественников прошлого, которые благодаря такому переломному моменту в истории человечества, как эпоха великих географических открытий, испытали откровение, осознав, что они — лишь часть гораздо большего целого, а также ту истину, что для познания самих себя они должны сначала взглянуть в свой неведомый облик, отраженный в том зеркале, осколок которого, забытый прошедшими столетиями, должен был бросить на меня свой первый и последний отблеск.

Оправдан ли подобный энтузиазм в XX веке? Какими бы малоизвестными ни были индейцы с берегов Пимента-Буэну, мне не доведется испытать потрясения, выпавшего на долю великих авторов: Лери, Штадена, Теве, — которые четыреста лет тому назад ступили на бразильскую землю. Того, что они увидели тогда, уже не увидят наши глаза. Цивилизации, первыми исследователями которых они были, развивались по другим линиям, нежели наша, но, тем не менее, достигли полноты и совершенства, отвечающих их природе. А сегодня мы можем изучать только общества, находящиеся в условиях, которые нельзя и сравнить с существовавшими четыре века назад, — это жалкие осколки, изувеченные временем. Помимо сыгравших свою роль огромной удаленности и самых разнообразных промежуточных событий (иногда удивительно причудливых, если попробовать восстановить их последовательность), они были сокрушены тем чудовищным и необъяснимым катаклизмом, которым стало для этой великой и девственной ветви человечества развитие западной цивилизации, не имеющей права забывать, что это ее второе лицо, не менее истинное и неизбывное.

Если прежних людей уже не было, то, по крайней мере, условия путешествия оставались теми же. После изнурительного перехода через плоскогорье я был захва-



чен очарованием этого плавания по улыбающейся реке, извивы которой не нанесены на карту; мельчайшие детали пробуждали в моей памяти воспоминания, близкие моему сердцу.

Первым делом необходимо восстановить навык, приобретенный три года назад на реке Сан-Лоренсу: знание различных типов и соответствующих достоинств пирог, выдолбленных из цельного ствола дерева или сделанных из досок (в зависимости от формы и величины, они назывались *montaria*, *canoas*, *uba* или *igarite*); привычку целыми часами сидеть на корточках в воде, просачивающейся внутрь сквозь щели в дереве, которую необходимо постоянно вычерпывать небольшим калебасом; необходимость двигаться медленно и осторожно, если захочешь распрямить затекшие члены, чтобы избежать опасности опрокинуть лодку (*aqua não tem cavallos* — “у воды нет волос”, если выпадешь за борт, не за что ухватиться). Наконец, надо было запастись терпением, чтобы при каждом препятствии в речном русле выгружать тщательно уложенные запасы и материалы, переносить их вместе с пирогами по скалистому берегу и повторять эту операцию через каждые несколько сотен метров.

Существуют различные типы препятствий: *seccos* — русло без воды, *cachoeiras* — водовороты, *saltos* — водопады; каждому препятствию гребцы тут же дают название, связанное с особенностями пейзажа: *castanhal\**, *palmas*; с эпизодами охоты: *veado*, *queixada*, *araras\*\**; с личной оценкой: *criminosa* — “преступная”, *enerenca* — непереводаемое существительное, которое означает “безвыходное положение”, *apertada hora* — “тесная долина” (в этимологическом значении — пугающая), *vamos ver* — “посмотрим”...

Впрочем, в отъезде нет ничего особенного. Гребцы начинают подбирать ритмы. Сначала несколько мелких

---

\* Каштановая роща. — Прим. перев.

\*\*Олень, дикая свинья, попугаи араара. — Прим. перев.

всплесков: плюх, плюх, плюх..., потом движения становятся энергичнее, два глухих удара о борт пироги перемежаются со всплеском весел: тра-плюх-тра, тра-плюх-тра..., наконец, налаживается походный ритм, весло погружается, а при следующем движении задерживается, лишь скользя по поверхности воды, но всегда с сопутствующим ударом о борт пироги, который отделяет одно движение от другого: тра-плюх, тра, ш-ш-ш; тра-плюх, тра, ш-ш-ш, тра... Попеременно показывается то голубая, то оранжевая поверхность лопасти весла, они с такой легкостью поднимаются над водой, что кажутся разноцветными бликами, стайкой попугаев ара, порхающих над рекой и сверкающих при каждом повороте своими золотистыми брюшками или лазурными спинками. Воздух потерял прозрачность засушливого периода. На рассвете все расплывается в густой розовой пене утреннего тумана, который медленно поднимается над рекой. Мы уже чувствуем жару, но лишь постепенно начинает появляться скрытый источник тепла. Сначала был просто раскаленный воздух, теперь же солнце внезапно обжигает лицо или руку. Мы начинаем понимать, почему обливаемся потом. Розовая пелена сгущается, приобретая разные оттенки. Появляются голубые островки. Кажется, будто туман стал гуще, а на самом деле он уже рассеялся.

Мы с трудом продвигаемся вверх по реке, гребцы должны отдохнуть. Утро проходит за ловлей рыбы примитивной удочкой на приманку из диких ягод. Улова вполне достаточно для *peixada*, амазонской ухи: *pacus*, желтые от жира, которых едят, держа пальцами за шип, как котлету за косточку; *piracanjubas*, серебристые “золотые рыбки” с красным мясом; *cascudas*, упрятанные в панцирь, как омары, но только черные; пятнистые *piaparas*, *mandi*, *piava*, *curimbata*, *jatuarama*, *matrinchão*; однако приходится остерегаться ядовитых скатов и электрических рыб *purake*, которые ловятся без приманки: их электрический разряд может свалить мула; но говорят, что еще опаснее те

маленькие рыбки, которые проникают в мочевой пузырь, когда кто-то неосторожно мочится в воде.

Иногда сквозь огромную, зеленую, влажную стену густых зарослей на склонах можно наблюдать внезапное оживление стаи обезьян всевозможных видов: *quariba* — ревунов; *coata* с гибкими конечностями; капуцинов; *zog-zog*, которые за час до рассвета будят лес пронзительными криками, — своими огромными миндалевидными глазами, величественной осанкой и шелковистой шубкой с буфами они напоминают монгольского хана. Здесь же многочисленное племя мелких обезьян: *saguin* (у нас уистити); *macaco da noite*, ночная макака, с глазами цвета темного желатина; *macaco de cheirao*, вонючая макака; *gogo de sol*, солнечное горлышко, и т.д. Достаточно выпустить пулю в эту пляшущую толпу, чтобы почти наверняка подстрелить животное; зажатая обезьяна похожа на мумию ребенка со стиснутыми пальчиками, а на вкус она напоминает тушеного гуся.

Около трех часов дня начинается гроза, небо темнеет, дождь заслоняет половину горизонта широкими вертикальными полосами. Дойдет ли он до нас? Полосы превращаются в струи, в промежутках между ними просвечивает ясное небо, сначала золотистое, потом светло-голубое. Только центр горизонта еще закрыт дождем. Но тучи тают, их завеса редет, сначала с правой, а затем и с левой стороны, и, наконец, рассеивается. Остается только беспокойное небо с черно-синими массами туч на белом фоне. Самое время, чтобы до следующей грозы успеть высадиться на берег, там, где лес кажется не очень густым. Мы наскоро расчищаем маленькую поляну ножами — *facão* или *terçado*; затем спешим обследовать оголенные таким образом деревья, чтобы убедиться, нет ли среди них *pau de novato*, дерева новичка, названного так потому, что только наивный мог бы привязать к нему свой гамак: он был бы засыпан роем красных муравьев. Еще мы проверяем, нет ли здесь *pau d'alho*, дерева с

запахом чеснока, или же *cannela merda*\*, название которого говорит само за себя. Если повезет, можно найти дерево *soveira*, ствол которого, надрезанный вокруг, выделяет больше молока, чем корова; оно густое и пенистое, но, если выпить его сырым, коварно покрывает губы вязкой, как резина, пленкой. Есть еще дерево *araça* с фиолетовыми плодами величиной с вишню, по вкусу они напоминают живицу с легким кисловатым привкусом, а если раздавить их в воде, то она кажется газированной. Есть также *inga*, стручки которого наполнены сладким пухом; *bacuri* с плодами, напоминающими райскую грушу; и наконец, *assai*, главное лакомство леса, сок которых, если его выпить свежим, по вкусу напоминает земляничный сироп, а постояв ночь, сворачивается и образует кисловатый фруктовый творог.

Пока одни заняты этими кулинарными заботами, другие развешивают гамаки под навесом из жердей, покрытых легкой крышей из пальмовых листьев. И вот наступает время разговоров у лагерного костра, историй с неизменными привидениями и вампирами: *lobis-homem* — оборотнем, лошадью без головы или старухой с головой скелета. Всегда найдется бывший старатель (*garimpeiro*), все еще тоскующий по той нищей жизни, каждый день которой озарялся надеждой на удачу. “Однажды, занимаясь “писанием” — то есть просеиванием гальки, — я увидел, что в таз для промывания песка попала маленькая крупинка величиной с зернышко риса, но она была подобно самому свету. *Que cousa bounita!*\*\* Вряд ли существует *cousa mais bounita*, более прекрасная вещь... Когда я смотрел на нее, у меня было такое чувство, будто по телу проходит электрический ток!” Начинается спор. “Между Розариу и Ларанжалом на холме есть сияющий камень. Его видно с расстояния нескольких километров,

---

\* *Merda* — дерьмо (португ.). — Прим. перев.

\*\*Что за прекрасная вещь! (португ.). — Прим. перев.

особенно ночью. Наверное, это хрусталь! — Нет, хрусталь не светится ночью, так сверкает только алмаз. — И никто не приходит за ним? — О, что касается таких алмазов, то время, когда их найдут, и имя владельца уже давно predetermined.

Те, кому не хочется спать, бодрствуют до рассвета на берегу реки; заметив следы кабана, *capivara*, или тапира, они пытаются — правда, без особого успеха — охотиться по системе *batuque*, которая состоит в том, чтобы ритмично ударять о землю толстой палкой: пум... пум... пум... Звери будто бы думают, что это падают плоды, и приходят на звук, причем в одном и том же порядке: сначала кабан, потом ягуар.

Часто мы ограничиваемся тем, что на ночь подбрасываем дров в огонь. После обсуждения событий дня и кружки *матэ* не остается ничего другого, как нырнуть в гамак, окутанный противомоскитной сеткой, которая растянута при помощи сложной системы распорок и шнурков. Она похожа одновременно на кокон и на бумажного змея; расположившись внутри, надо аккуратно подобрать края сетки, чтобы они не касались земли, и сложить ее складкой, которая изнутри удерживается тяжестью лежащего под рукой револьвера. Вскоре начинается дождь.

## Глава 31

# Робинзон

Четыре дня мы плыли вверх по реке; водоворотов было так много, что приходилось разгружаться, переносить пироги и груз и снова загружаться — иногда по пять раз в день. Река протекала в скальных породах, нагромождения которых делили ее на несколько рукавов; в середине русла подводные валуны задерживали плывущие по воде деревья с корнями, облепленными землей и мелкими растениями. На этих импровизированных островках растительность быстро оживала, и не оставалось даже намека на то, что они были в беспорядке унесены паводковыми водами. Деревья росли в любом положении, цветы расцветали в струях воды, и уже невозможно было понять, то ли река заполняла этот чудесный сад, то ли ее заполняли разрастающиеся растения и лианы, которые, казалось, освоили все направления, а не только вертикальное. Исчезли привычные границы между землей и водой. Уже не было реки, не было берега — только сплетение букетов, омываемых течением, и почва, расстелившаяся, как пена. Это содружество стихий охватывало даже живые существа; обычно индейцам необходимы обширные пространства, чтобы поддерживать свое существование, но здесь изобилие животных свидетельствовало, что за десятки лет человек так и не покорил природу. В кронах деревьев копошились обезьяны, которых, казалось, было больше, чем листьев; они, будто плоды, свешивались с ветвей. Достаточно протянуть руку, чтобы коснуться блестящих смоляных перьев крупных диких

индюков, *mutum*, с янтарными или коралловыми клювами, сидящих на выступающих из воды валунах, или крыльев жакомина, переливающихся синевой, как лабрадор. Птицы не убегали от нас; живые драгоценности, которые бродили среди потоков лиан и лиственных ручьев, возрождали перед нашими изумленными глазами картины кисти Брейгеля, на которых рай, изображенный как трогательное единение растений, животных и людей, напоминает эпоху, когда в мире живых существ еще не было разлада.

На пятый день узкая пирога, привязанная у берега, указала нам, что мы достигли цели. Индейская деревня находилась в глубине, на расстоянии километра: огород, стометровый в самом длинном месте, на овальном раскорчеванном участке и три общие полукруглые хижины; над каждой посередине возвышается, как мачта, опорный шест. Две главные хижины стояли друг против друга по краям самой широкой части плотно утрамбованной площадки для танцев. Третий дом был расположен в узком конце и соединялся с площадкой тропинкой, ведущей через огород.

Население состояло из двадцати пяти человек и маленького двенадцатилетнего мальчика, говорящего на другом языке; мне кажется, он был военным пленником, но с ним обращались так же, как и с детьми племени. Наряд женщин и мужчин был сведен к минимуму, как и у *намбиквара*, но у всех мужчин были конусообразные рожки на половых членах, наподобие тех, какие использовали *бороро*, либо, такие же, как у *намбиквара*, пучки из соломы над половыми органами. Мужчины и женщины прокалывали губу шпилькой из затвердевшей смолы, похожей на янтарь, и носили бусы из колец или пластинок из блестящего перламутра или из целых полированных ракушек. Предплечья, запястья, икры и щиколотки были перевязаны хлопчатобумажными лентами. Кроме

того, женщины продевали сквозь носовые перегородки узкие полоски затвердевших волокон с нанизанными на них черными и белыми колечками.

Телосложением они разительно отличались от *намбик-вара*: коренастые, с короткими ногами и с очень светлой кожей, что, в сочетании с несколько монгольскими чертами лица, придавало некоторым из них сходство с кавказцами. Индейцы старательно удаляли все волосы на лице: ресницы просто выдергивали, а брови смазывали воском, который затвердевал несколько дней, а затем его счищали вместе с волосками. Волосы на голове спереди были срезаны (или, скорее выжжены) в форме округлой короткой челки, оставляющей открытым лоб. Виски оголялись способом, которого я нигде больше не видел: прядь волос пропускают сквозь петлю в скрученном вдвое шнурке, затем один конец шнурка зажимают в зубах, одной рукой придерживают открытую петлю, а другой рукой натягивают свободный конец шнурка, в результате чего обе нити скручиваются еще туже и, сжимаясь, вырывают волосы.

Об этих индейцах, которые называют себя *мунде*, нет никаких упоминаний в этнографической литературе. Они говорят на забавном языке, в котором слова оканчиваются ударными слогами: *зип, зеп, пеп, зет, тап, кат*, акцентирующими их речь, как удары цимбал. Этот язык похож на теперь уже исчезнувшие диалекты, встречавшиеся в низовьях Шингу, а также на недавно зафиксированные в бассейне правых притоков Гуапоре, исток которой находится неподалеку от территории *мунде*. Насколько мне известно, никто не видел *мунде* после моего визита, кроме одной женщины-миссионера, которая встретила несколько представителей племени незадолго до 1950 года в верховьях Гуапоре, где сохранилось три семьи. Я провел у *мунде* приятную неделю, поскольку они были на редкость простыми, терпеливыми и сердечными хозяевами; они показали мне свои огороды, где росли кукуруза, маниока, батат, арахис, табак, тыквы и различные виды



фасоли и гороха. При раскорчевке они оставляют пальмовые пни, в которых размножаются белые личинки, являющиеся для них лакомством: интересный тип хозяйства, в котором огородничество сочетается с таким своеобразным видом животноводства.

В круглых хижинах стены пропускали сквозь щели рассеянный мерцающий свет. Хижины были выстроены из воткнутых по кругу жердей, согнутых и прикрепленных к шестам, которые были вкопаны наклонно и образовывали внутри дуги-подпорки; между ними висело по кругу с десяток гамаков из хлопчатобумажных веревок. Все жерди соединялись на высоте около четырех метров и привязывались к центральному шесту, проходящему через кровлю. Горизонтальные обручи из веток скрепляли стены и служили опорой для пальмовых листьев, которые были уложены в одну сторону и перекрывали друг друга наподобие черепицы. Диаметр самой большой хижины составлял двенадцать метров: в ней жили четыре семьи, и каждой был отведен участок между опорными вертикальными дугами. В хижине было шесть таких участков, но два из них, соответствующие противоположным дверям, оставались свободными для прохода. Я проводил в такой хижине целые дни, сидя на одной из тех небольших скамеечек, какими пользуются аборигены; они сделаны из пальмовых поленьев, стесанных с одной стороны и положенных плоской частью на землю. Мы ели кукурузные зерна, поджаренные на глиняной плитке, и пили чичу — напиток из кукурузы, нечто среднее между пивом и супом, — из калebas, зачерненных внутри угольным лаком, а снаружи украшенных вырезанными или выжженными линиями, зигзагами, кругами или многоугольниками.

Не зная языка и не имея переводчика, я все же пытался изучить определенные аспекты мышления аборигенов и структуру их общества: состав группы, взаимоотношения и родственные связи, названия частей тела и цветов в соответствии со шкалой, которую всегда носил с

собой. Обозначения родства, частей тела, цветов и геометрических фигур (например, вырезанных на калекбасах) часто имеют общие черты и находятся на стыке лексики и грамматики: каждая группа создает систему, а способ, каким разные языки достигают выбора, разделения или смешивания выражаемых отношений, позволяет выдвигать определенные гипотезы или, по крайней мере, установить характерные черты, различающие сообщества.

Тем не менее, это приключение, начатое с таким энтузиазмом, оставило во мне ощущение пустоты. Я мечтал обнаружить абсолютную первобытность. И разве не оправдали мои надежды эти очаровательные аборигены, которых никто до меня не видел и которых, возможно, никто уже никогда не увидит после меня? В самом конце этого вдохновляющего путешествия я встретил моих дикарей. К сожалению, они были слишком дикими! Поскольку об их существовании я узнал лишь в последнюю минуту, у меня уже не оставалось времени для исследования. Ограниченные средства, которыми я располагал, плачевное физическое состояние моих спутников и мое собственное — которое усугублялось лихорадкой, следствием дождей, — заставили меня ограничиться лишь кратким знакомством, вместо месяцев серьезных исследований. Они были рядом, готовые объяснить мне свои обычаи и верования, а я не знал их языка. Они были так близко, как отражение в зеркале, я мог к ним прикоснуться, но не сумел их понять. Я одновременно был и вознагражден, и наказан. Ведь разве не было заблуждением, и моим собственным, и моей профессии, представление, что не все люди в равной мере интересны просто как люди, что некоторые заслуживают большего внимания, поскольку цвет их кожи и обычаи вызывают у нас удивление? Стоит только их разгадать, и они утратят свою привлекательность — но тогда я мог бы просто оставаться дома. Если же, как в этом случае, они сохраняют свою таинственность — я ничего не извлеку из нее, ибо не в состоянии понять, в чем она заключается.

Между этими крайностями разве не становятся двусмысленными все наши объяснения? В конечном итоге, кто же на самом деле введен в заблуждение той сумятицей, которую создают в уме наших читателей наши заметки, а вернее, едва понятные, незаконченные наброски, сбивающие с толку людей, заставляя их считать эти обычаи само собой разумеющимися, — читатели, которые нам верят, или же мы сами, не имеющие права чувствовать себя удовлетворенными, пока есть повод обвинить нас в легкомыслии?

Пусть же эта земля говорит вместо людей, которые отказались ее объяснить. Пленив меня своими чудесами на той реке, пусть же она не оставляет меня в неведении и даст мне ключ к тайне своей девственности. В чем же заключена эта тайна, скрывающаяся за мимолетными отблесками, которые являются всем и ничем? Я восстанавливаю в памяти и очищаю от посторонней примеси отдельные сцены: может, именно в этом дереве, в этом цветке? Но их можно встретить в любом другом месте. А может быть, все это иллюзия — эта целостность, которая меня захватывает, но каждая частица которой, взятая отдельно, от меня ускользает? Если я должен признавать ее истинной, я хочу, по крайней мере, добраться до ее первичного элемента. Я отбрасываю огромный пейзаж, ограничиваю его, сужая до этого глинистого пляжа и этого стебля травы: ничто не указывает на то, что, расширяя поле видимости, я не узнаю лесок в Меудоне вокруг того клочка земли, который каждый день привычно топчут ноги дикарей, — но я не увижу на нем следов ступней Пятницы.

Путешествие вниз по реке прошло очень быстро. Вдохновленные примером наших хозяев, гребцы отказались от выгрузки. При каждом водовороте они направляли нос пироги в бурлящую массу воды. В течение нескольких секунд мы испытывали чувство, будто нашу пирогу подбрасывает на месте, хотя окружающий пей-

заж стремительно убегал назад. И вдруг все успокаивалось: мы преодолели водоворот и вновь оказались на мертвой воде — и только тогда мы начинали чувствовать головокружение.

Через два дня мы прибыли в Пимента-Буэну — здесь я составил новый план, который требует некоторых пояснений. В конце своей экспедиции в 1915 году Рондон обнаружил несколько групп аборигенов, говоривших на языке *тупи*; ему удалось наладить контакт с тремя из них, другие же проявили непреодолимую враждебность. Самая крупная из этих групп размещалась в верхнем течении Риу-Машаду, в двух днях пути от левого берега, на малом притоке Игарапе-ду-Лейтан (“ручей поросенка”). Это было племя, или клан, *такватип*, племя “бамбука”. Я не уверен, можно ли называть эту группу кланом, поскольку общины *тупи-кавахиб* жили преимущественно в одной деревне, владели строго охраняемыми охотничьими территориями и практиковали экзогамию скорее из желания породниться с соседними общинами, чем в качестве жесткого правила. Общиной *такватип* руководил вождь Абайтара. По ту же сторону реки к северу находилась община, известная лишь по имени своего вождя Питсара. На юге, над Риу-Тамурипа, жила община *ипотиват* (люди лианы), вождя которой звали Каманжара, и далее между этой последней рекой и Игарапе-ду-Какоаль — община *жаботифет* (люди черепахи) во главе с вождем Маира. На левом берегу Машаду, в долине Риу-Муки, проживали *паранават* (люди реки), которые существуют до сих пор, однако на попытки вступить с ними в контакт неизменно отвечают градом стрел; немного южнее, на берегу Игарапе-ду-Итаписи жила еще одна, неизвестная община. По крайней мере, такие сведения я сумел собрать в 1938 году у сборщиков каучука, живших в этих районах со времени экспедиции Рондона, отчеты которого содержат отрывочные сведения о *тупи-кавахиб*.

Беседуя с цивилизованными *тупи-кавахиб* на станции Пимента-Буэну, я дописал в свой список около двадцати названий кланов. Кроме того, исследования Курта Нимуендажу, эрудита и этнографа, проливают свет на прошлое племени. Название *кавахиб* происходит от названия более древнего племени *тупи* — *кабахоба*, часто упоминаемого в документах XVIII и XIX веков; это племя проживало в те времена в верхнем и среднем течении Риу-Топажос. Видимо, оно было изгнано оттуда другим племенем *тупи* — *мундуруку*, и, продвигаясь на запад, распалось на несколько групп, из которых известны только *паринтинтин* в низовьях Машаду и *тупи-кавахиб* немного южнее. Тогда вполне вероятно, что эти индейцы являются последними потомками больших племен *тупи* из нижнего и среднего бассейна Амазонки, родственных племенам побережья, с которыми в период их расцвета познакомились путешественники XVI и XVII веков; их рассказы легли в основу современного этнографического мышления, поскольку именно под их косвенным влиянием политическая и нравственная философия Возрождения вышла на путь, приведший к Французской революции. Возможность проникнуть — да еще, быть может, в качестве первопроходца — в неисследованную деревню *тупи* означала встречу через четыреста лет с Лери, Штаденом, Соаресом де Соузой<sup>144</sup>, Теве и даже с самим Монтенем, который в своих "Опытах", в главе о каннибалах, размышляет по поводу беседы с индейцами *тупи* в Руане. Какое искушение! Когда Рондон наладил контакт с *тупи-кавахиб*, община *такватип* во главе с честолюбивым и энергичным вождем Абайтарой стремилась установить гегемонию над другими общинами. После месяцев, проведенных в одиночестве на почти пустынном плоскогорье, спутники Рондона были поражены растянувшимися на километры (правда, язык сертана охотно пользуется гиперболами) плантациями, которые люди Абайтары разбили на влажных лесных землях или на *игапо*

(*igapos*) — пойменных берегах реки; благодаря этим плантациям индейцы могли кормить путешественников, которые до тех пор жили под постоянной угрозой голода.

Через два года после этой встречи Рондон уговорил *такватип* перенести свою деревню на правый берег Машаду и поселиться в месте возле устья Риу-Сан-Педру (11,5° северной широты и 62,3° западной долготы), еще и теперь обозначенном как *aldeia dos indios*\* на карте мира в масштабе 1:1000000. Это место было гораздо удобнее для наблюдений, снабжения продовольствием и возможности пользоваться помощью индейцев-ребцов, поскольку на этих реках, изобилующих водоворотами, водопадами и ущельями, они показали себя опытными лодчанами на своих легких челноках из коры.

Мне удалось получить описание этой новой, сегодня уже не существующей, деревни. Как и в прежнем поселении в лесу, описанном Рондоном, хижины были прямоугольными, без стен, с двускатной кровлей из пальмовых листьев, низко свисающих по обе стороны, которую поддерживали врытые в землю стволы. Двадцать хижин (примерно четыре на шесть метров) располагались по кругу диаметром двадцать метров, в центре которого стояли две более просторные хижины (восемнадцать на четырнадцать метров); одну из них занимал Абайтара со своими женами и маленькими детьми, вторую — его самый младший женатый сын. Двое старших холостых сыновей жили, как и остальное население, в крайних хижинах и, как все холостые мужчины, получали пищу в жилище вождя. На свободных пространствах между центральными и крайними хижинами размещалось несколько курятников.

Теперь мы уже не встретим таких просторных жилищ *тупи*, которые описали авторы XVI века, и уж тем более такой деревни как при Абайтаре, где было пятьсот—шестьсот жителей. В 1925 году Абайтара был убит. Со смертью

---

\* Деревня индейцев (португ.) — Прим. перев.

этого повелителя верхнего Машаду начался период бурных стычек и насилия в деревне, население которой и так уменьшилось до двадцати пяти мужчин, двадцати двух женщин и двенадцати детей вследствие эпидемии гриппа в 1918–1920 годах. В том же 1925 году четыре человека (среди них убийца Абайтары) стали жертвами убийства из ревности, после чего оставшиеся в живых решили покинуть деревню и отправились к станции Пимента-Буэну, находящейся в двух днях путешествия по реке на пирогах; в 1938 году в живых оставались еще пять мужчин, одна женщина и одна маленькая девочка; они говорили на ломаном португальском и внешне почти не отличались от местного новобразильского населения. Можно было предположить, что история *тупи-кавахиб* закончилась — по крайней мере, на правом берегу Машаду, поскольку оставалась еще не покорившаяся обстоятельствам община *паранават* на левом берегу в долине Риу-Муки.

Однако, когда я в октябре 1938 года прибыл в Палента-Буэну, то узнал, что три года назад на реке появилась неизвестная община *тупи-кавахиб*: их снова видели двумя годами позже. Последний из оставшихся в живых сын Абайтары (который носил имя отца и дальше будет так именоваться в этом рассказе), живущий в Пимента-Буэну, отправился в их деревню, расположенную в глубине леса на расстоянии двух дней пути от правого берега Машаду, куда не вела ни одна тропинка. Тогда же он получил от вождя общины обещание, что тот посетит его вместе со своими людьми в будущем году, то есть примерно в то время, когда я приехал в Пимента-Буэну. Это обещание имело большое значение для аборигенов, живущих на станции, поскольку они страдали от нехватки женщин (одна женщина на пять мужчин) и были крайне взволнованы сообщением Абайтары, который рассказал об излишке женщин в неизвестной деревне. Он сам несколько лет был вдовцом и рассчитывал, что, наладив близкие отношения с родственным племенем, сможет найти себе

супругу. При таких обстоятельствах, и не без труда (ибо он опасался последствий этого предприятия), я уговорил его сообщить мне об условленной встрече и быть моим переводчиком.

Место, где мы должны были повернуть в глубь леса, чтобы добраться до *тупи-кавахиб*, находится в трех днях плавания пирогой от Пимента-Буэну возле устья притока Игарапе-ду-Поркиню, речушки, впадающей в Машаду. Недалеко от притока находится небольшая естественная полянка, защищенная от паводков, поскольку берег здесь поднимается на несколько метров. Мы выгружаем наш багаж: несколько ящиков с подарками для аборигенов, запасы вяленого мяса, сухого гороха и риса. Обустраиваем лагерь тщательнее, чем обычно, поскольку ему предстоит просуществовать до нашего возвращения. День проходит в этих трудах и в организации путешествия. Положение было довольно сложным. Как я уже говорил, мне пришлось расстаться с частью моего отряда. В довершение всех бед, врач экспедиции Жан Велар, у которого начался приступ малярии, вынужден был отправиться в путь раньше нас, чтобы отдохнуть в небольшом поселке сборщиков каучука, расположенном в трех днях плавания на пироге вверх по реке (для продвижения вверх по этим стремительным рекам требуется в два-три раза больше времени). Таким образом, теперь наша группа состояла из моего бразильского коллеги Луиса ди Кастро Фариа, Абайтары, меня самого и еще пяти человек, из которых двое будут сторожить лагерь, а трое пойдут с нами в лес. Поскольку нас было так мало и каждый должен был нести гамак, москитную сетку и одеяло, а кроме того, оружие и снаряжение, не могло быть и речи о том, чтобы взять с собой продукты: пришлось ограничиться небольшим количеством сушеного мяса, кофе и *farinha d'aqua*\*.

---

\* Буквально: водяная мука (португ.). — Прим. перев.



*Фаринья-даква* готовится из маниоки, которая вымачивается в воде (отсюда ее название), а затем, перебродив, застывает в виде твердых, как гравий, гранул; однако, если их снова размочить в воде, они по вкусу напоминают масло. Во всем остальном мы рассчитываем на токари (*tocari*), бразильские орехи, встречающиеся здесь повсюду; один такой *ouriço*, “еж” (плод в шарообразной твердой скорлупе, который может убить человека, сорвавшись с ветки с высоты тридцати—сорока метров), зажатый между ступнями и ловко расколотый ударом секиры (*terçado*), дает нескольким людям пищу, состоящую из тридцати—сорока крупных треугольных орехов с молочно-голубоватой мякотью.

Мы выходим засветло. Сначала проходим через *lageiros*, почти оголенные пространства, где плита скалы плоскогогорья, которая дальше постепенно скрывается под аллювиальной почвой, еще появляется на поверхности, потом через заросли высокой травы *sapezals*. Через два часа мы входим в лес.

## Глава 32

### В лесу

С детства море пробуждает во мне неоднозначные чувства. Берег и та продолжающая его узкая полоса, которую море на время отлива уступает человеку, притягивают меня как вызов нашим намерениям, как неведомый мир, который обещает впечатления и открытия, возбуждающие фантазию. Как Бенвенуто Челлини, к которому я испытываю гораздо большую симпатию, чем к мастерам Кватроченто, я люблю бродить по обнаженной отливом полосе пляжа, идя извилистой тропой вдоль обрывистого откоса, собирая камешки с дырками, потерявшие от времени форму раковины или корни тростника в виде химер и составляя коллекцию из этих обломков. Через какое-то время она уже ни в чем не уступает коллекциям произведений искусства; впрочем, великие творения — это тоже плод труда и, хотя они являются творениями духа, вряд ли принципиально отличаются от того, что любовно создано самой природой. Но я не моряк и не рыбак, и поэтому чувствую себя обворованным этой водой, которая отнимает у меня половину моего мира и даже больше, ибо ее влияние распространяется на побережье, изменяя его пейзаж и придавая ему строгость. Мне кажется, что море уничтожает разнообразие, свойственное земле; правда, оно дарит взору огромные пространства и дополнительные краски, но ценой угнетающего однообразия и отсутствия рельефа, который мог бы таить неожиданности, питающие мое воображение. Кроме того, нам уже недоступны красоты моря. Как стареющий зверь, мех которого загрубел, свалился и

перестал пропускать воздух, не позволяя коже дышать и ускоряя ее увядание, европейские страны забили свое побережье виллами и казино. Берег, вместо того чтобы, как прежде, быть прелюдией пустынного морского пейзажа, становится какой-то линией фронта, где люди постоянно мобилизуют все силы, чтобы обрести свободу, хотя обстоятельства, в которых они позволяют себе ее заполучить, делают эту свободу невозможной. Пляжи, эти удивительные галереи творений природы, где море предлагало нам свои коллекции — результат тысячелетней активности, — сегодня истоптаны толпами и могут служить лишь выставкой-распродажей жалких остатков.

Поэтому морю я предпочитаю горы, и за долгие годы эта привязанность приобрела форму ревнивой любви. Я ненавидел людей, которые разделяли мое пристрастие, ибо они угрожали столь ценному для меня одиночеству; я презирал тех, для кого горы означали прежде всего чрезмерную усталость и заслоненный горизонт, а значит, неспособных переживать волнение, которое они вызывали во мне. Я пожелал бы себе, чтобы все признавали превосходство гор, оставляя их мне в полную собственность. Добавлю, что эта страсть не распространялась на высокие горы; они хотя и давали радость, радость физического напряжения и телесных усилий, но, вместе с тем, разочаровали меня своей двойственностью: было нечто формальное и почти абстрактное в том, что внимание, поглощенное слишком сложной задачей, на лоне природы замыкалось на механике и геометрии. Я любил так называемые “коровьи” горы, а особенно зону на высоте между 1400 и 2200 метрами; эта высота еще не обедняет пейзаж, как это происходит выше, она еще может подталкивать природу к яркой и интенсивной жизни и вместе с тем отбивает желание ее покорять. На высоких террасах сохраняются уголки земли, менее освоенной, чем в долинах, и мы вдруг представляем себе, хотя, наверняка, ошибочно, что первобытный человек знал ее именно такой.

В то время как море представляется мне расплывающейся картиной, горы кажутся сконцентрированным миром. Они таковы в буквальном смысле, поскольку земля, сжатая и уложенная в складки, имеет на них гораздо большую поверхность, чем на такой же гладкой площади. Богатства, которые обещает этот более сконцентрированный мир, исчерпываются намного медленнее: неровный климат и различия, обусловленные высотой, составом и свойством почвы, становятся причиной резких контрастов между отдельными склонами, уровнями, а также временами года. Пребывание в тесном ущелье, склоны которого находятся так близко, что кажутся стенами и позволяют видеть лишь клочок неба, всего несколько часов освещенный солнцем, не угнетало меня, как большинство людей, — наоборот, мне казалось, что этот вертикальный пейзаж живет. Вместо того чтобы позволить мне пассивно созерцать его как картину, детали которой можно без труда различить издали, ничего не добавляя от себя, он побуждал меня к определенного рода диалогу, в котором и он, и я должны были показать себя с лучшей стороны. Физическое усилие, необходимое для преодоления ущелья, было своеобразной уступкой в его пользу, отчего само ущелье становилось для меня реальным. Бунтарский и вместе с тем воодушевляющий горный пейзаж, всегда скрывающий от меня одну половину, чтобы обогатить другую новыми образами при восхождении или спуске, соединяется со мной в каком-то танце, который, я убежден, исполняется тем свободнее, чем лучше мне удастся постичь великие истины, вдохнувшие в него жизнь.

И тем не менее, сейчас я должен признать, что чувствую в себе перемену: эта огромная любовь к горам покидает меня, как волна, откатывающаяся по песку. Мои мысли остались прежними — это горы покидают меня. Те же самые радости приносят мне меньше удовольствия, ибо я слишком долго и слишком упорно их искал. На этих исхоженных тропах даже неожиданности

стали обыденными. Теперь я брожу не среди скал и папоротников, а лишь среди своих призрачных воспоминаний. Горы утрачивают свое обаяние по двум причинам: привыкание лишило их прелести новизны, а главное, удовольствие — с каждым разом все меньшее — оплачивается усилиями, которые возрастают с годами. Я старею, ничто не предупреждает меня об этом, кроме этого размывания контуров моих планов и начинаний, некогда таких реальных. Я еще способен вновь осуществить их, но, независимо от меня, их исполнение не приносит мне той радости, которая так часто и неизменно переполняла меня когда-то. Теперь меня привлекает лес. Я нахожу в нем ту же прелесть, что и в горах, только в более спокойной и уравновешенной форме. Путешествие по пустынной саванне Центральной Бразилии восстановило ценность той сельской природы, которую любили в древности: молодая трава, цветы, влажная свежесть лесной чащи. С тех пор я не мог уже сохранять верность скалистым Севеннам; я понял, что увлечение моего поколения Провансом вначале было хитрой уловкой, и лишь потом мы стали жертвами этого увлечения. Стремясь к открытиям — наивысшей радости, которую отнимает у нас наша цивилизация, — в погоне за новизной мы забываем о предмете, ее порождающем. Мы пренебрегали простой сельской природой, пока могли черпать от другой. Лишенные высших ценностей, мы должны были ограничить наши амбиции достижимым, возвеличить сухость и твердость, ибо теперь только эти формы были нам доступны.

Но в этом вынужденном предпочтении мы забыли о лесе. Такой же тесный, как наши города, он был заселен другими существами, создавшими свое сообщество, отгородившееся от нас тщательнее, чем пустыня, которую мы пробегали в лихорадочном темпе; и это касалось как высоких лесов, так и солнечных ланд\*. Сообщество дере-

---

\* Ланды — редколесная низменность на юго-западе Франции, вдоль побережья Бискайского залива. — Прим. перев.

вьев и растений держит человека на расстоянии и тщательно затирает его следы. Лес, часто труднопроходимый, ожидает от того, кто в него углубляется, почти таких же уступок, каких сурово требуют от туриста горы. Его горизонт, более высокий, чем горизонт больших горных цепей, и быстро закрывающийся, ограничивает мир, делая его столь же обособленным, как мир пустынных дюн. Травы, цветы, грибы и насекомые ведут здесь свою независимую жизнь, создавая особый мир, и необходимы терпение и кротость, чтобы в него проникнуть. Достаточно углубиться в лес на десяток метров, чтобы перестало существовать все, что находится снаружи; один мир сменяется другим, который менее притягателен для глаз, но слух и обоняние — чувства, более близкие душе, — находят в нем удовлетворение. Мы вновь обретаем, казалось бы, навсегда утраченные блага: тишину, свежесть, покой. Близость растительного мира дает нам то, в чем теперь отказывает море и за что горы требуют слишком высокую цену.

Чтобы я убедился в этом, лес, как видно, должен был предстать в своей самой выразительной форме, благодаря чему мне открылись его главные особенности. Ведь между лесом, в который я углубился, идя навстречу с *тупикавахиб*, и лесом наших широт существует различие, которое трудно выразить словами. Издали амазонский лес похож на скопление пузырей, вертикальное нагромождение зеленых шишек: как будто какая-то патология нарушила речной пейзаж. Но стоит лишь проникнуть сквозь оболочку и оказаться внутри, как все меняется: эта беспорядочная масса превращается в величественную вселенную. Изнутри лес уже не кажется земным беспорядком; скорее, можно подумать, что это не менее богатый мир иной планеты, который вдруг сменил земной мир.

Как только глаза привыкают и начинают различать ближайшие пятна, а сознание справляется с первым потрясением, проступают элементы сложной системы. Выде-

ляются ярусы, поднимающиеся один за другим, в которых, несмотря на горизонтальные изломы и переплетения, повторяется одна и та же конструкция: сначала ветви кустов и стебли трав в рост человека; над ними — бледные стволы деревьев и лианы, мгновенно заполняющие свободные пространства; выше стволы исчезают, скрытые листьями и ярко-красными цветами диких бананов *расова*, а затем на мгновение взмывают струями из этой пены и вновь теряются в листве пальм, чтобы появиться еще выше, где расстилаются их горизонтальные ветви, лишенные листьев, но увитые паразитирующими орхидеями и разнообразными выющимися растениями, как суда переплетениями тросов; почти за границей видимости они замыкают этот мир высокими куполами крон, зеленых или же лишенных листьев, но покрытых белыми, желтыми, алыми, оранжевыми или лиловыми цветами. Европейский зритель с восторгом распознает в них весеннее цветение, но в столь непропорциональном масштабе, что величественный, пламенеющий расцвет осени кажется ему единственным подходящим сравнением.

Этим воздушным ярусам соответствуют другие, растилающиеся под ногами путника. Мы заблуждаемся, думая, что ступаем по земле: она скрыта густым покровом кореньев, дерна и мхов, и время от времени нога неожиданно проваливается вглубь, не найдя твердой опоры. А присутствие Лусинды еще более осложняет продвижение.

Лусинда — это маленькая обезьянка, с цепким хвостом, пепельным мехом и сиреневой кожей; этих обезьянок вида *Lagothryx* обычно называют *barrigudo*\* из-за характерного выпуклого брюшка. Я получил ее, когда ей исполнилось несколько недель, от одной индейки *намбиквара*, которая ее кормила изо рта и постоянно носила на собственной голове: обезьянка цеплялась за волосы, заменяющие ей шерсть и загривок матери (обезьянки-

---

\* *Barrigudo* — пузатый (португ.). — Прим. перев.

самки носят своих детенышей на спине). Бутылочка с соской и сгущенное молоко нравились ей гораздо больше, чем то, что давала индеанка, а несколько капель виски, которые тут же вызывали у бедного зверька сонливость, освобождали меня от него на ночь. Однако днем от Лусинды можно было получить лишь одну уступку: она соглашалась оставить в покое мои волосы в пользу левого башмака и висела на нем с утра до вечера, вцепившись всеми четырьмя лапками чуть выше моей ступни. Когда я ехал верхом, эта позиция была возможна, она также была вполне приемлема в пироге. Но при пешем переходе дело обстояло хуже: каждая колючка, каждая низко растущая ветка, каждая лужа вызывали пронзительный крик Лусинды. Напрасно я пытался склонить ее занять место у меня на шее, на плече и даже уцепиться за волосы. Ей был нужен только башмак — единственная защита, единственное безопасное место в этом лесу, где она родилась и когда-то жила; но нескольких месяцев, проведенных среди людей, хватило, чтобы этот лес стал для нее чужим, как будто она была изнежена цивилизацией. Вот так, припадая на левую ногу и чувствуя впивающиеся в меня пальцы при каждом неверном шаге, я старался в зеленом полумраке не потерять из виду спины Абатайры. Наш проводник продвигался вперед быстрыми, короткими шагами, огибая деревья так, что иногда казалось, будто он исчезает за ними, прорубая ножом (*fascão*) просеку сквозь кустарники и лианы, сворачивая то влево, то вправо по неизвестному нам пути, который, тем не менее, вел нас вперед.

Чтобы забыть об усталости, я позволял своим мыслям отвлекаться. В ритме движения в голове складывались короткие стихи, а потом часами прокручивались, как уже безвкусный от слишком долгого жевания кусочек, который ты не решаешься ни выплюнуть, ни проглотить, потому что как-то привык к его компании.



В царящей в лесу атмосфере аквариума родилось это четверостишие:

*В воде среди головоногих растений  
большая раковина затянута илом  
на розовом камне, где пляшут тени  
лунных рыбок из Гонолулу.*

Потом, видимо, по контрасту, мне вспомнился неприглядный пригород:

*Стебельки травы чисто вымыты,  
как намыленные, блестят мостовые,  
деревья в аллее торчат, будто  
кем-то забытые большие метлы.*

А это стихотворение, которое всегда казалось мне незаконченным — хотя вполне соответствовало обстоятельствам, — я до сих пор вспоминаю каждый раз, когда отправляюсь в длительный поход:

*Амазонка, прекрасная амазонка,  
у которой нет правой груди<sup>145</sup>,  
так невероятны твои сказки,  
но так непроходимы твои пути.*

Однажды утром, огибая кустарник, мы внезапно нос к носу столкнулись с двумя индейцами, которые шли в противоположную сторону. Старший, в возрасте около сорока лет, был одет в рваную пижаму, у него были длинные волосы, спадающие на плечи; у младшего волосы были коротко острижены, и он был совершенно голым, если не считать маленького рожка из соломы, надетого на половой член; на спине, в корзинке из зеленых пальмовых листьев, крепко привязанной к телу, он нес орла-гарпию, который был связан, как курица, и представлял собой грустное зрелище, несмотря на свое бело-серое оперение, диадему из торчащих перьев и мощный желтый клюв. Оба туземца держали наготове луки и стрелы.

Из беседы между ними и Абайтарой выяснилось, что это вождь деревни, до которой мы добирались, и его помощник; они опережали других жителей, которые разбредлись по лесу; все шли к Машаду, чтобы отправиться в Пимента-Буэну, как было условлено год назад; орел был подарком для хозяев. Все было не так, как мы задумали, поскольку мы рассчитывали не только встретиться с аборигенами, но и посетить их деревню. Пришлось пообещать, что в лагере над Поркинью их ожидают многочисленные подарки, если они согласятся повернуть назад и сначала принять нас в своей деревне (чего они явно не желали), а потом мы все вместе отправимся в путь по реке. Когда, наконец, мы достигли взаимопонимания, связанный орел был бесцеремонно брошен на берегу ручья, где он, несомненно, должен был погибнуть от голода или стать жертвой муравьев. В течение последующих пятнадцати дней о нем больше не вспоминали, разве что вскользь констатировали факт его смерти: "Орел уже умер". Оба индейца *кавахиб* исчезли в лесу, чтобы предупредить о нашем прибытии своих соплеменников, а мы продолжали путь.

Инцидент с орлом давал повод для размышлений. У нескольких авторов прошлого есть упоминания о том, что *тупи* разводили орлов и кормили их обезьянами, чтобы в соответствующие периоды ощипывать с них перья; Рондон упоминал о существовании этого обычая у *тупи-кавахиб*, а другие наблюдатели — у племен на реках Шингу и Арагуая. Не было ничего удивительного в том, что какая-то группа *тупи-кавахиб* сохранила этот обычай и что орел, считавшийся наиболее ценным их достоянием, мог быть пожертвован в качестве подарка, если наши аборигены действительно решили (о чем я вначале догадывался и в чем затем убедился) навсегда покинуть свою деревню и примкнуть к цивилизации. Но тогда печальная судьба орла вызывала еще большее

недоумение. Однако, как бы там ни было, всей истории колонизации Южной Америки (и любой другой территории) неизменно сопутствует это радикальное отречение от традиционных ценностей, этот распад определенного уклада жизни, когда утрата каких-то его элементов немедленно влечет за собой обесценивание всех остальных. Я стал свидетелем, по-видимому, характерного примера этого явления.

Мы наскоро подкрепились кусочками даже не вымоченного сушеного мяса (*xarque*), запеченного на решетке, дополнив свой обед лесными дарами: орехами *tocari*, плодами дикого какао с белой мякотью, кисловатой на вкус и как бы пенистой, ягодами дерева *pata*, плодами и зернами *saju*. Всю ночь дождь хлестал по навесу из пальмовых листьев над нашими гамаками. На рассвете лес, такой тихий в течение дня, за несколько минут наполнился криками попугаев и обезьян.

Мы снова пустились в путь, и каждый старался не потерять из виду спину идущего впереди, зная, что достаточно отклониться на несколько метров в сторону, чтобы полностью утратить ориентацию, причем никто не услышал бы крика, ибо одна из самых поразительных особенностей леса состоит в том, что он будто погружен в среду, более плотную, чем воздух: сквозь нее проникает только слабый зеленоватый свет, а голос не доносится вообще. Эта неестественная тишина могла бы заразить также и путешественника, если бы напряженное внимание, которое полностью приковано к дороге, и так не вынуждало бы его к молчанию. Такое душевное состояние в сочетании с состоянием физическим вызывает невыносимое чувство подавленности.

Время от времени наш проводник склоняется над невидимой тропой и, приподнимая быстрым движением лист, указывает нам на находящийся под ним заостренный бамбуковый колышек, воткнутый в землю под углом

для того, чтобы ступня врага напоролась на него. Эти приспособления, которые защищают подступы к деревне, *тупи-кавахиб* называют *min*; в прежние времена *тупи* использовали более крупные *min*.

В полдень мы добрались до *castanhul*, каштановой рощи, вокруг которой аборигены, методично обирающие лес, вырубили нечто вроде поляны, чтобы удобнее было собирать падающие плоды. Здесь собралось все население деревни: нагие мужчины носили чехлы на половых членах, как и помощник вож-

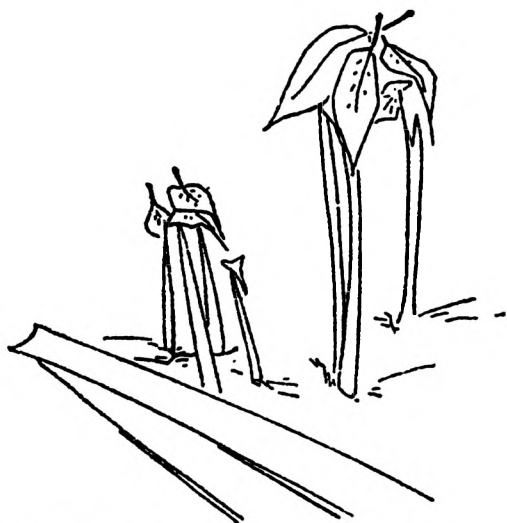


Рис. 51. Бамбуковые колышки охраняют подступы к деревне

дя, женщины были совершенно обнажены, за исключением тканого из хлопка пояса, некогда выкрашенного *уруку* в красный цвет, но выгоревшего от длительной носки.

Группа состояла из шести женщин, семи мужчин, одного подростка и трех маленьких девочек возрастом около года, двух и трех лет. Вероятно, это была одна из тех немногих общин, которые сумели выжить, находясь по меньшей мере тринадцать лет (со времени исчезновения деревни Абайтары) в полной изоляции от внешнего мира. В их числе было двое страдающих параличом нижних конечностей: молодая женщина, опиравшаяся на две палки, и молодой мужчина, который ползал по земле, как безногий калека. Его раздутые колени, вероятно,

наполненные серозной жидкостью, торчали над исхудавшими голеньями; пальцы левой ступни были парализованы, но пальцы правой сохранили способность двигаться. Тем не менее, обоим калекам удавалось передвигаться по лесу и даже преодолевать довольно большие расстояния с кажущейся легкостью. Был ли это полиомиелит или же какой-то другой вирус, который знаменовал собой первый контакт с цивилизацией? При виде этих несчастных, предоставленных самим себе среди дикой природы в наиболее враждебном ее проявлении, с грустью вспоминаются строки Теве, описывающие жизнь *тупи* на побережье в XVI веке. Его восхитил этот народ, "составленный из тех же элементов, что и мы, не затронутый проказой, параличом, летаргией, язвами и нарывами или же иными телесными пороками, видимыми снаружи". В то время он и не подозревал, что он сам и его спутники сделали шаг к тому, чтобы ускорить появление здесь этих болезней.

# Деревня со сверчками

Под вечер мы прибыли в деревню. Она была построена на поляне возвышающейся над долиной реки, которая, как потом оказалось, была Игапоре-ду-Лейтан, левым притоком Машаду, впадающим в нее в нескольких километрах вверх по реке от устья Мукуи.

Деревня состояла из четырех хижин почти квадратной формы, расположенных в один ряд вдоль течения реки. Две большие хижины, судя по гамакам из хлопковых веревок, висевшим между столбами, служили жилищами; две другие (одна из которых была втиснута между жилыми хижинами), видимо, уже давно пустовали и походили на навесы или укрытия. На первый взгляд казалось, что эти жилища были подобны типичным для этого района жилищам бразильцев. В действительности же их конструкция была иной: столбы, поддерживающие высокую двускатную крышу из пальмовых листьев, располагались внутри по кругу, диаметр которого был меньше, чем периметр крыши, поэтому хижина приобретала форму гриба с квадратной шляпкой. Однако эта конструкция была скрыта от глаз из-за наружных вертикальных ограждений, не достигающих крыши. Эти частоколы — ибо так их следовало называть — были сделаны из распиленных вдоль стволов пальмовых деревьев, вкопанных в ряд в землю выпуклой стороной наружу и связанных друг с другом. В главной хижине, помещенной между навесами, в скреплении стволов были вырезаны пятиугольные отверстия-бойницы, а внешняя сторона стен была покрыта красными или чер-

ными рисунками, нанесенными *уруку* или смолой. На этих рисунках, как пояснили индейцы, были поочередно представлены: какой-то персонаж, женщины, орел-гарпия, дети, какой-то предмет в форме отверстия-бойницы, лягушка, собака, крупное не определенное четвероногое, два ряда зигзагов, две рыбы, два четвероногих (ягуары) и, наконец, геометрический узор, состоящий из квадратов, полумесяцев и дуг.

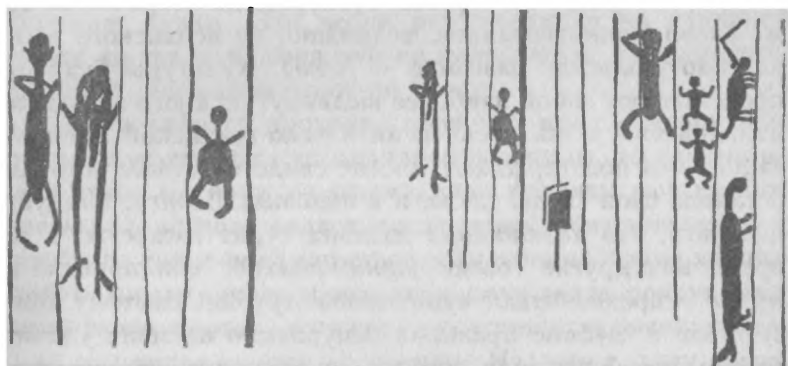


Рис. 52-53. Фрагменты росписи на стене хижины

Эти строения были не совсем похожи на жилища соседних племен. Но, судя по всему, они воссоздавали традиционную форму. Когда Рондон обнаружил *тупи-кавахиб*, их хижины уже были с квадратными или прямоугольными двускатными крышами. Кроме того, строение в форме гриба не имеет аналога в необразильской строительной технике. В то же время, существование таких домов с высокими крышами подтверждено различными археологическими документами, датирующимися доколумбовой эпохой.

Еще одна своеобразная черта *тупи-кавахиб*: они, как и их кузены *паринтинтин*, не выращивают и не употребляют табак. Увидев, как мы выгружаем наш запас табака в жгутах, вождь деревни с иронией воскликнул: *ianeapit* — экскременты... В докладах Комиссии Рондона упоминает-

ся, что во времена первых контактов аборигены в присутствии курящих проявляли такое раздражение, что вырывали у них сигары и сигареты. Однако, в отличие от языка *паринтинтин*, в языке *тупи-кавахиб* есть аналогичное нашему слово *tabak*, заимствованное из древних наречий аборигенов Антильских островов, которые, по видимому, имеют карибское происхождение. Предполагаемое промежуточное звено можно найти в наречиях индейцев, живущих на берегах Гуапоре, где встречается то же слово, заимствованное, возможно, из испанского языка (португальское название — *fumo*). Культуры Гуапоре представляют собой наиболее выдвинутую в юго-западном направлении ветвь древней антильско-гвианской цивилизации (что подтверждают многие свидетельства), которая оставила свои следы также и в низовьях Шингу. Следует добавить, что *намбиквара* издавна курят сигареты, в то время как другие соседи *тупи-кавахиб*: *кепкириват* и *мунде* — предпочитают курительные трубки. Поэтому присутствие в глубине Бразилии некурящего племени удивительно, тем более если принять во внимание, что древние *тупи* в огромных количествах употребляли этот продукт.

Табака не было, зато в нашу честь в деревне собирались устроить то, что путешественники XVI века называли *sahouin* — *kauí*, как говорят *тупи-кавахиб* — то есть попойку: здесь пьют чичу из кукурузы, несколько видов которой аборигены выращивают на выжженных участках земли на краю деревни. Авторы прошлого описывали котлы высотой в человеческий рост, в которых готовился этот напиток, а также то, что девственницы племени обильно плевали в эти котлы, чтобы вызвать брожение. Может быть, у *тупи-кавахиб* не нашлось больших котлов, а в деревне не было других девственниц, но на этот раз просто привели трех маленьких девочек и попросили их добавить в отвар перетертые зерна. До брожения дело вообще не дошло, поскольку замечательный напиток, питательный и одновременно тонизирующий, был употреблен по назначению в тот же вечер.



Осматривая огороды, мы могли заметить вокруг большой клетки, прежде занимаемой орлом и еще заваленной костями, посадки арахиса, фасоли, различных пряностей, дискорея, батата, маниоки и кукурузы. Аборигены дополняют эти основные источники их питания собиранием диких плодов. Например, они используют лесное стручковое растение, стебли которого связывают у верхушки таким образом, что высыпавшиеся зерна образуют небольшие кучки. Эти зерна разогреваются на глиняной плите до тех пор, пока они не полопаются, как *pop-corn*, который они напоминают по вкусу.

Пока *sahouin* проходил сложный цикл помешивания и варки, с которым управлялись женщины, вооруженные для этого ложками из разрезанной пополам высушенной тыквы, я воспользовался последними дневными часами, чтобы получше присмотреться к индейцам. Кроме хлопчатобумажных поясов, женщины носили ленты вокруг запястий и щиколоток, а также ожерелья из клыков тапира или пластинок из костей косули. На лицах были татуировки, сделанные сине-черным соком *женипаны*: на щеках — толстая диагональная линия от мочки уха до уголка губ, отмеченного четырьмя вертикальными черточками, на подбородке — четыре горизонтальные линии, одна над другой, украшенные нанесенной мелкими штрихами бахромой. Волосы, почти у всех короткие, расчесывались при помощи редкого гребня или более тонкого приспособления, сделанного из деревянных прутиков перевязанных хлопковой нитью.

Единственной одеждой мужчин был конусообразный чехол для полового члена, о котором я уже упоминал раньше. Как раз один из аборигенов был занят сооружением себе нового: половинки свежего листа банана *расова* отрываются от центральной жилки, очищаются от корообразной каймы и продольно складываются вдвое; затем обе сложенные половинки (размером примерно семь на тридцать сантиметров) соединяются так, чтобы линии

сгиба находились под прямым углом; получается нечто вроде угольника в две толщины листа по краям и в четыре в том месте, где листья перекрещиваются; эта четырехслойная часть складывается по диагонали, а два двухслойных крыла отрываются; таким образом, в руках изготовителя остается только небольшой равнобедренный восьмислойный треугольник, который заворачивается в рожек при помощи большого пальца; затем выступающие вершины обоих нижних углов срезаются, а бока сшиваются растительной нитью, вдетой в деревянную иглу. Изделие готово, остается только его надеть, протянув крайнюю плоть сквозь отверстие, чтобы чехол не спадал, поддерживаясь натяжением кожи. Такое приспособление носят все мужчины, а если кто-то его потеряет, то тут же заправляет вытянутую часть крайней плоти под пояс, обтягивающий бедра.

Внутри индейских хижин почти ничего не было. Там можно было обнаружить гамаки из хлопчатобумажных веревок, несколько глиняных горшков, валяющихся на земле, миску для высушивания на огне мякоти кукурузы или маниоки, калebasы, деревянные ступки и пестики, деревянные, усаженные колючками терки для маниоки, сита из соломы, резцы, изготовленные из зубов грызуна, веретена, несколько луков длиной около 1,7 метра. Стрелы были нескольких типов: для охоты — с наконечниками из заостренного бамбука; военные — с наконечниками, выточенными из зубов животных, с острыми зазубринами, как у пилы; и, наконец, с несколькими остриями — для рыбной ловли. Кроме того, я заметил несколько музыкальных инструментов: флейты Пана с тринадцатью трубками и одноствольные флейты с четырьмя отверстиями.

Ночью вождь торжественно принес нам *cahouin* и рагу из крупной фасоли с пряностями, которое обжигало нёбо, — это было свежим ощущением после шести месяцев, проведенных среди *намбиквара*, которые не знают ни соли, ни специй и из-за своего нежного нёба вынужде-

ны охлаждать пищу перед употреблением, заливая ее водой. Небольшой калebas был наполнен местной солью — бурого цвета жидкостью, такой горькой, что вождь, который ограничивался наблюдением за нашей трапезой, отхлебнул этой жидкости у нас на глазах, чтобы мы не подумали, что она отравлена. Эта приправа изготавливается из золы дерева *toari branco*. Хотя обед был скромный, достоинство, с которым нам его подали, напомнило мне, что в прошлом у вождей *тупи* всегда был накрыт стол для гостей, как писал один из путешественников.

А вот еще одна поразившая меня подробность: наутро после ночи, проведенной под навесом, я заметил, что мой пояс изъеден сверчками. До сих пор эти насекомые, которых я не встречал, живя у индейцев *каинганг*, *кадиуэу*, *бороро*, *пареси*, *намбиквара*, *мунде*, не доставляли мне никаких неприятностей. И именно у *тупи* мне суждено было стать участником такого же неприятного приключения, которое четыреста лет назад пережили Ив д'Эврё<sup>146</sup> и Жан де Лери. “Если коротко описать этих насекомых..., которые не крупнее наших сверчков и также по ночам тучами слетаются к огню, они без разбора грызут все, что только им попадается. Но прежде всего они набрасывались на воротнички и башмаки из кожи и объедали весь верх так, что владельцы утром находили их совершенно белыми и ободранными.” Поскольку сверчки (в отличие от термитов и других насекомых-разрушителей) удовлетворяются верхним слоем кожи, я обнаружил мой пояс действительно “белым и ободранным”. Он стал свидетельством удивительной, чудесным образом повторившейся через несколько веков встречи между определенным видом насекомых и группой людей.

Как только взошло солнце, один из наших людей пошел в лес, чтобы подстрелить несколько крупных диких голубей, которые порхали по веткам на опушке. Когда вскоре раздался выстрел, никто не обратил на него внимания, но через несколько минут появился один из

индейцев, бледный и очень взволнованный, и пытался нам что-то объяснить. Абайтары поблизости не было, и некому было перевести. Мы услышали, что из леса доносятся приближающиеся крики, а затем со стороны огородов прибежал наш человек, поддерживающий левой рукой правое предплечье, с которого свисала разорванная в клочья ладонь: он оперся на ружье, и оно выстрелило. Мы с Луисом стали советоваться, что тут можно сделать. Три пальца были почти оторваны, а ладонь была настолько изуродована, что, казалось, ампутация неизбежна. Однако нам не хватало смелости на нее решиться и сделать калекой нашего спутника, которого мы наняли вместе с его братом в маленькой деревушке возле Куябы; мы чувствовали на себе огромную ответственность, поскольку он был еще очень молод; к тому же, мы полюбили его за простодушную преданность и ловкость. Ампутация стала бы для него катастрофой — ведь его профессией была работа с вьючными животными, где нужны были здоровые, ловкие руки. Не без страха мы решились на то, чтобы сложить раздробленные пальцы, сделать перевязку имеющимися под рукой средствами и отправиться в обратный путь: Луис сразу по прибытии в лагерь сопроводит раненого в Урупу, где находился наш врач, а мне придется остаться в лагере с индейцами — если они согласятся на это, — ожидая возвращения лодки, которая должна была вернуться за мной через пятнадцать дней (путь вниз по реке занимает три дня, а возвращение в верховье — неделю). Испуганные случившимся, индейцы опасались, что это происшествие негативно повлияет на наши дружеские отношения, поэтому они тут же согласились на мое предложение. Мы углубились в лес, не дожидаясь индейцев, которые тоже начали собираться в дорогу.

Переход оказался совершенным кошмаром, от него осталось не много воспоминаний. Раненый все время стонал и шел так быстро, что мы не могли за ним

угнаться; он опередил даже проводника и ни секунды не колебался в выборе пути, а ведь казалось, что эта тропа замыкается за нами. При помощи снотворного ему удалось ночью заснуть. К счастью, у него не было привычки к лекарствам, так что их воздействие было эффективным. Когда на следующий день мы добрались до лагеря, то обнаружили, что его рука полна червей, и это было причиной невыносимой боли. Но через три дня, когда его осмотрел врач, оказалось, что рука была спасена от гангрены, поскольку черви постепенно выели гниющие части. Ампутация была уже не нужна. Целая серия мелких хирургических операций, в которых Велар проявил свое умение, приобретенное им во время вивисекций и энтомологических исследований, вернула Эмидио руку. В декабре, добравшись до Мадейры, я переправил раненого в Куябу самолетом, чтобы сберечь его силы. Но когда в январе, возвратившись туда, чтобы воссоединиться с большей частью моей группы, я навестил его родителей, то на меня обрушился град упреков — но не по поводу происшествия, причинившего страдания сыну, которое они считали обычным несчастным случаем в сертане. В их глазах я был варваром: я заставил их сына подняться в воздушное пространство, совершить святотатство, немыслимое для христианина.

## Глава 34

# Фарс о Жапиме

Итак, представлю мою новую индейскую семью. Прежде всего, Таперахи, вождь деревни, и его четыре жены: старшая из всех Маруабай, ее дочь от предыдущего брака Кунхатсин, Такваме и, наконец, Ианопамоко, молодая женщина, страдавшая параличом. В этой полигамной семье воспитывалось пятеро детей: Камини и Пвереза, юноши примерно семнадцати и пятнадцати лет, и три маленькие девочки — Паераи, Топекеа и Купекахи. Помощнику вождя Потиену было около двадцати лет, он был сыном Маруабай от предыдущего брака. Еще в семье была пожилая женщина Виракуру, ее двое юных сыновей — Таквари и Карамуа (первый из них был холостым, а второй женат на едва достигшей половой зрелости племяннице матери Пенхане), а также их кузен Валера, молодой человек, разбитый параличом.

В отличие от *намбиквара*, *тупи-кавахиб* не держат в тайне свои имена, но каждое имя у них имеет свое значение, что отмечали еще путешественники XVI века. “Для человеческих имен они заимствуют названия вещей, как мы это делаем для кличек собак и других животных, — замечает Лери, — например, Саригои — это четвероногое животное, Ариньян — курица, Арабутен — бразильское дерево, Пиндо — высокая трава, и тому подобное.”

То же касалось и всех других имен, значение которых разъяснили мне аборигены. Таперахи — это маленькая птичка с белыми и черными перьями; Кунхатсин — белая женщина или женщина со светлой кожей; Такваме и Так-

вари — это слова, производные от *takwara*, разновидности бамбука; Потиен — пресноводная креветка; Виракуру — разновидность блохи (по-португальски *bicho de pe*), Карамуа — растение, Валера — также разновидность бамбука.

Штаден, еще один путешественник XVI века, утверждает, что женщины обычно принимают имена птиц, рыб и плодов, и добавляет, что каждый раз, когда муж убивает пленника, он и его жена берут себе новые имена. Мои друзья тоже следовали этому обычаю: Карамуа носил еще имя Жанаку, поскольку, как мне объяснили, “он уже убил человека”.

Кроме того, аборигены получают новые имена при переходе от детства к юности, а затем — от юности к зрелости. Таким образом, у каждого из них два, три или четыре имени, однако они не любят открывать все свои имена. Эти имена представляют огромный интерес, поскольку каждое племя предпочитает другим определенные названия, происходящие от одного корня и связанные с названием клана. Индейцы деревни, которую я изучал, в большинстве своем принадлежали к клану *миалат* (кабана), но этот клан возник в результате браков с людьми, относящимися к другим кланам: *паранават* (люди реки), *такватип* (люди бамбука) и нескольких других. У индейцев клана *такватип* все имена происходили от эпонима: Такваме, Такваруме, Таквари, Валера (толстый бамбук), Топехи (плод бамбука) и Карамуа (не идентифицированное растение).

Самой поразительной чертой социальной организации наших индейцев была почти полная монополия вождя на женщин группы. Из шести взрослых женщин четыре были его женами. Если учесть, что одна из двух оставшихся, Пенхана, была его сестрой, а вторая, Виракуру, — старой, уже никого не интересующей женщиной, то получается, что Таперахи владеет всеми женщинами деревни. Главной женой в его семье была Кунхатсин, самая молодая (если не считать калеки Ианопамоко) и очень краси-

вая — здесь мнение аборигенов совпадало с мнением этнографа. С точки зрения иерархии, Маруабай была второстепенной женой, а ее дочь занимала более высокое положение.

Главная жена, как кажется, в основном поглощена заботой о муже, тогда как другие заняты работами по дому, кухней и детьми, которые воспитываются вместе и без различия подносятся к любой груди, так что я не мог установить, кто мать. Главная жена сопровождает мужа в дороге, помогает ему принимать гостей, хранит подарки, распоряжается по дому. Эта ситуация противоположна той, которую я наблюдал у *намбиквара*, где главная жена играет роль хранительницы домашнего очага, а молодые наложницы принимают участие в мужских занятиях.

Привилегия вождя в отношении женщин группы, по-видимому, основана на признании его исключительной личностью. Ему приписываются особые свойства характера, ему свойственно впадать в транс, во время которого его иногда приходится сдерживать, чтобы он не совершил убийства (позднее я приведу этому пример), он обладает даром предвидения и другими талантами; наконец, его сексуальный аппетит превышает обычную меру и требует большего количества женщин. В течение двух недель, проведенных в лагере вместе с аборигенами, я часто поражаюсь ненормальнsmу, по сравнению с другими, поведению вождя Таперахи. Казалось, он страдает манией перемещения; самое меньшее три раза в день он переносил свой гамак и навес из пальмовых листьев, предохраняющий от дождя; вслед за ним шли его жены, помощник Поттиен и дети. Каждое утро он исчезал в лесу со своими женами и детьми, как сказали мне индейцы, для совокупления. Через полчаса или час мы видели, как они возвращаются, чтобы начать новое переселение.

Однако привилегия полигамии вождя компенсируется предоставлением женщин товарищам и гостям. Поттиен — это не только помощник, он принимает участие в семей-



ной жизни вождя, нянчит его детей, получает пищу в его доме и пользуется другими милостями. Что касается гостей, то все авторы XVI века описывают исключительную щедрость вождей *тупинамба* по отношению к ним. С момента нашего прибытия, согласно долгу гостеприимства, Абайтаре была предоставлена Ианопамоко, несмотря на то, что она была беременна; она делила с ним гамак и получала от него пищу.

По признанию Абайтары, эта щедрость была не без расчета. Таперахи предлагал Абайтаре забрать Ианопамоко в обмен на его дочку Топехи, которой было около восьми лет: "*karijiraen taleko ehi nipoka*" ("вождь хочет взять мою дочь в жены"). Абайтара не был в восторге от этого предложения, поскольку калека Ианопамоко не могла быть полноценной женой: "Она даже неспособна сходить за водой на реку". Но, кроме того, что такой обмен был неравноценным — взрослая увечная женщина за здоровую и многообещающую девочку, — у Абайтары были другие намерения: за Топехи он хотел получить маленькую двухлетнюю Купекахи, подчеркивая, что она была дочерью Такваме, принадлежавшей, как и он, к клану *такватип*, поэтому он имел право требовать ее на правах дяди. Саму же Такваме, по его плану, следовало уступить другому индейцу со станции Пимента-Буэну. Поскольку с малышкой Купекахи все равно был "помолвлен" Таквари, а Таперахи хотя и терял двух женщин из четырех, но получал третью в лице Топехи, после всех этих обменов брачное равновесие было бы частично восстановлено.

Не знаю, чем закончились эти споры, но все пятнадцать дней нашего совместного проживания они вызывали такое напряжение, что ситуация порой становилась тревожной. Абайтара всерьез добивался своей двухлетней невесты, которая казалась ему наилучшей супругой, несмотря на то, что ему самому было лет тридцать или тридцать пять. Он постоянно преподносил ей мелкие подарки, а когда она бегала над рекой, он не уставал

восхищаться ею и призывал меня по достоинству оценить ее крепкую детскую фигуру: какая это будет прекрасная девушка через двенадцать-тринадцать лет! Несмотря на вдовство, его не пугало столь долгое ожидание; правда, он рассчитывал на Ианопамоко, которая должна была временно замещать ее. Чувства, которые пробуждала в нем девочка, были сочетанием невинных эротических мечтаний о будущем, подлинно отцовской ответственности за это маленькое существо и нежного дружеского отношения старшего брата, у которого поздно появилась сестричка.

Еще одним компенсирующим фактором неравного распределения женщин был левират — обычай наследования жены после смерти брата. В свое время Абайтара женился на вдове своего умершего старшего брата, причем против своей воли. Ему пришлось уступить приказу отца и настойчивости женщины, которая “постоянно крутилась вокруг него”. Кроме левирата, *тупи-кавахиб* практикуют также полиандрию<sup>147</sup>, примером которой было сожительство маленькой Пенханы, худощавой, еще неразвитой девочки, с ее мужем Карамуа и деверями Таквари и Валера, причем этот последний только считался братом двух других. “Он одалживает свою жену брату, потому что брат не ревнует к брату.” Обычно девери и невестки не избегают друг друга, но сохраняют определенную дистанцию. Если между ними устанавливаются более доверительные отношения: они разговаривают, смеются, и деверь кормит невестку, — это верный признак того, что жена одолжена брату. Однажды, когда Таквари получил взаймы Пенхану, мы завтракали вместе. Прежде чем приступить к еде Таквари попросил брата “сходить за Пенханой”. Пенхана не была голодна, поскольку уже позавтракала с мужем, однако она пришла, взяла немного еды и тут же ушла. Точно так же Абайтара уходил от моего костра, забирая с собой еду, чтобы съесть ее вместе с Ианопамоко.

Таким образом, сочетание полигамии и полиандрии решает у *тупи-кавахиб* проблему, которая возникает в результате прерогатив вождя в области брака. Порази-

тельно, что спустя каких-нибудь несколько недель после того, как я расстался с *намбиквара*, я получил возможность убедиться, сколь сильно могут различаться решения индивидуальных проблем у живущих почти рядом групп. Ведь у *намбиквара*, как мы видели, вождь тоже пользуется привилегией полигамии, и в результате у них так же нарушается равновесие между количеством юношей и числом потенциальных жен. Но вместо полиандрии, как у *тупи-кавахиб*, *намбиквара* позволяют юношам заниматься гомосексуализмом. У *тупи-кавахиб* такие отношения считаются оскорбительными, а значит, они их осуждают. Но, как едко заметил Лери по поводу их предков, “поскольку иногда в гневе они называют противника *tyvire* [*тупи-кавахиб* говорят почти так же: *teukuruva*], то есть занимающийся содомией, отсюда можно заключить (ибо я лично не был тому свидетелем), что этот отвратительный грех им знаком”.

У *тупи-кавахиб* система власти вождя отличалась сложной организацией, которая символически еще поддерживалась в нашей деревне, немного напоминая те пришедшие в упадок королевские дворы, где верный подданный соглашается на роль камергера, чтобы спасти престиж и достоинство короля. Видимо, такую функцию выполнял Потиен при Таперахи, поскольку благодаря тому усердию, с которым он служил своему господину, другие члены группы выказывали вождю такое уважение и такую почтительность, что порой создавалось впечатление, будто Таперахи, как некогда Абайтара, управляет несколькими тысячами подданных или вассалов. Во времена Абайтары двор представлял собой по меньшей мере четыре уровня: вождь, личная охрана, низшие офицеры и рядовые. Вождь имел право казнить и миловать. Так же, как в XVI веке, нормальным считалось наказание через утопление, которому подвергались низшие офицеры. Вождь также заботился о своих людях и вел переговоры с чужаками, причем не без тонкого расчета, в чем я вскоре убедился.

У меня был большой алюминиевый котелок, в котором мы варили рис. Однажды утром Таперахи в сопровождении Абайтары, выполнявшего роль переводчика, явился ко мне и попросил подарить ему этот котелок, пообещав взамен ежедневно наполнять его для нас *sahouin* все то время, которое мы здесь пробудем. Я попытался объяснить ему, что эта кухонная принадлежность нам необходима. Пока Абайтара переводил мои слова, я с удивлением наблюдал, что с лица Таперахи не сходит довольная улыбка, будто мои слова полностью соответствовали его желанию. Как только Абайтара обстоятельно изложил ему причины моего отказа, Таперахи, продолжая улыбаться, взял котелок и присоединил его к своему имуществу. Мне ничего не оставалось, как только смириться. Впрочем, верный своему обещанию, Таперахи в течение целой недели приносил мне прекрасный *sahouin* из смеси кукурузы и *tocari*; под него мы готовили обильные обеды, ограниченные лишь необходимостью заботиться о слюноотделительных железах трех маленьких детей. Это событие напоминало фрагмент из сочинения Ива д'Эврё: "Если кто-то из них хочет получить какую-нибудь вещь, принадлежащую другому, он откровенно говорит ему о своем желании, при этом важно, чтобы вещь имела большую ценность для владельца... не получив вещь немедленно, он становится назойливым, однако же взамен готов отдать дарителю все, что тому понравится".

У *тупи-кавахиб* представление о роли своего вождя принципиально иное, чем у *намбиквара*. Когда их умоляешь объяснить, в чем же состоит эта роль, они отвечают: "Вождь всегда полон радости". Необычная энергия, которую во всех обстоятельствах проявлял Таперахи, была лучшей иллюстрацией для этого определения, которое однако не следовало объяснять только личными качествами Таперахи, поскольку — в отличие от *намбиквара* — титул вождя у *тупи-кавахиб* наследуется по мужской линии: Пвереза должен был принять его после своего отца; Пвереза был младше своего брата Камини, но я

464

заметил, что у него были другие преимущества над старшим братом. В прошлом вождь был обязан устраивать пиры, на которых его называли “господином” или “хозяином”. По этому случаю мужчины и женщины украшали свои тела рисунками (с помощью фиолетового сока неизвестного мне растения, который использовался и для росписи гончарных изделий), устраивались танцы, сопровождающиеся музыкой и пением под аккомпанемент четырех или пяти кларнетов, сделанных из стволов бамбука длиной 1,2 м. Они заканчивались вверху маленькой бамбуковой трубкой, для уплотнения обернутой полоской лыка и снабженной обычным язычком, вырезанным с одной стороны. “Господин” приказывал мужчинам состязаться в ношении кларнетистов на плечах, что напоминало соревнования по поднятию *mariddo* у *бороро* или в беге со стволом дерева у *жес*.

Гостей приглашали заблаговременно, чтобы они успели испечь маленьких зверьков: крыс, обезьянок, белок, — связку которых они надевали на шею. Во время игры в “колесо” жители деревни делились на два лагеря: младших и старших. Команды собирались на западном конце круглой площадки, в то время как два метателя занимали позиции на севере и на юге. Они перекачивали друг друга по земле нечто вроде полного серсо\*, диска из разрезанного поперек ствола. Когда цель оказывалась перед стрелками, каждый из них старался попасть в нее стрелой. Очень похожие игры устраивались и аборигенами Северной Америки.

В другой игре стрельба велась по мишени-манекену, причем это было рискованным мероприятием, ибо того, чья стрела попадала в ствол дерева, на котором закреплялась мишень, ожидала роковая судьба, зависящая от магических сил. Такая же судьба выпадала на долю смельчаков, отважившихся сооружать мишень в форме человека, вместо мишени в форме обезьяны или соломенной куклы.

---

\* *Серсо* (франц. *cerceau*) — обруч, который в игре подбрасывают и ловят на палку. — Прим. перев.

Так день за днем собирались обломки культуры, которая некогда пленила Европу и которой, быть может, суждено было исчезнуть с правого берега верхнего Машаду в момент моего отъезда. В тот же день, 7 ноября 1938 года, когда я садился в свой галиот, вернувшийся за мной из Урупы, аборигены отправились в путь в направлении Пимента-Буэну, чтобы присоединиться там к своим товарищам и семье Абайтары.

Однако в самом конце этой печальной ликвидации активов умирающей культуры меня ожидал сюрприз. Это произошло, когда ночь уже опустилась на землю и каждый старался использовать последние отблески лагерного костра, чтобы подготовиться ко сну. Вождь Таперахи, уже лежа в своем гамаке, вдруг начал петь приглушенным и неуверенным, как будто не своим собственным, голосом. Тут же двое мужчин (Валера и Камини) приблизились и присели на корточки у его ног, а вся небольшая группа пришла в возбужденное состояние. Валера выкрикнул что-то призывное, пение вождя стало более выразительным, его голос окреп. Внезапно я понял, что происходит: Таперахи разыгрывал театральное или, точнее, опереточное представление, состоящее из пения и речитатива. Он сам изображал около дюжины персонажей, и каждый из них отличался особым оттенком голоса: пронзительным, плаксивым, раскатистым, гортанным, — а также музыкальной темой, выполняющей функцию настоящего лейтмотива. Мелодии были удивительно похожи на григорианские хоралы. В свое время флейты *намбиквара* напомнили мне "*Sacre*", теперь же мне казалось, что я слушаю какую-то экзотическую версию "*Noces*"<sup>148</sup>.

С помощью Абайтары — настолько поглощенного представлением, что из него трудно было вытянуть хоть слово, — мне удалось в общих чертах понять, о чем идет речь. Это был фарс, героем которого была птица жапим (иволга с черными и желтыми перьями, модуляции ее пения поразительно напоминают человеческий голос), а в

качестве ее партнеров выступали животные: черепаха, ягуар, ястреб, муравьед, тапир, ящерица и т.д.; предметы: палка, пестик, лук; и, наконец, духи, как например призрак Маира. Манера речи настолько соответствовала природе каждого из этих персонажей, что вскоре я сам мог их различать. Интрига вращалась вокруг приключений Жапима, которому угрожали другие животные, но в конце концов он обводил их вокруг пальца и торжествовал победу. Представление, повторяющееся (вернее, продолжающееся) в течение двух ночей, каждый раз длилось около четырех часов. Иногда Таперахи казался вдохновленным, говорил и пел с воодушевлением, так, что со всех сторон раздавались взрывы смеха. Иногда же казалось, что он устал, голос его ослабевал, он переходил от темы к теме, не задерживаясь ни на одной из них. В этом случае один из чтецов или оба вместе приходили ему на помощь, то повторяя свои призывы, которые давали главному актеру мгновения передышки, то подбрасывая ему музыкальную тему либо на время принимая на себя одну из ролей, и тогда можно было слышать настоящий диалог. Получив поддержку, Таперахи развивал новые сюжеты.

По мере того как ночь близилась к концу, все яснее чувствовалось, что это поэтическое творчество постепенно переходит в бессознательную фазу и актером овладевают созданные им образы. Воспроизводимые им самим разные голоса становились для него чужими, каждый из них приобретал характерные краски, и трудно было поверить, что эти голоса принадлежат одному человеку. В конце второго сеанса Таперахи, еще продолжая петь, вдруг выпрыгнул из своего гамака и заметался, требуя *cahouin*, — в него вселился “дух”. Неожиданно он схватил нож и бросился на Кунхатсин, свою главную жену, которой с трудом удалось убежать и спрятаться в лесу, пока другие успокаивали вождя. В конце концов они заставили его снова лечь в гамак, после чего он тут же заснул. На следующий день все было как обычно.

# Амазония

Прибыв в Уруп, откуда уже начинается движение моторных судов, я разыскал своих спутников, которые разместились в просторной хижине на сваях, построенной из жердей, крытых соломой, и внутри разделенной перегородками на несколько помещений. У нас не было другого занятия, кроме продажи оставшихся товаров местному населению или обмена их на цыплят, яйца и молоко (здесь было несколько коров); мы бездельничали и восстанавливали силы, ожидая, пока после дождей повысится уровень воды в реке, что позволит добраться сюда первому в этом сезоне судну, — на это уйдет минимум три недели.

Каждое утро, позавтракав растворенным в молоке шоколадом из наших запасов, мы в течение нескольких часов наблюдали, как Велар извлекает из руки Эмидио обломки костей и укладывает их в нужном порядке. В этом зрелище было нечто омерзительное и в то же время захватывающее; оно вызывало в моем воображении картину леса, живого и полного опасностей. Используя свою левую руку в качестве натуры, я начал рисовать пейзажи из рук, которые проступали на фоне извивающихся тел, переплетенных между собой, словно лианы. После двенадцати набросков (почти все они пропали во время войны и, вероятно, пылятся на каком-нибудь немецком чердаке) я почувствовал облегчение и вновь вернулся к наблюдению вещей и людей.

От Урупы до самой реки Мадейры станции телеграфной линии размещались в поселках сборщиков каучука,



что вносило хоть какой-то смысл в жизнь немногочисленного населения на берегах реки. Здесь эти станции выглядят менее бессмысленными, чем на плоскогорье, а жизнь их обитателей не превращается в кошмар и даже приобретает некоторое разнообразие и оттенки, в зависимости от местных условий. Встречаются, например, огороды, засаженные арбузами — этим теплым розоватым тропическим снегом, или же фермы, на которых разводят черепах, заменяющих семьям традиционную курицу на обед по воскресеньям. В праздничные дни черепаха преподносится даже как *gallinha em molho pardo* (курица под темным соусом), после чего подается *bolo podre* (буквально — “гнилой пирог”), *cha de burro* (“пойло для осла” — кукуруза на молоке) и *baba de moça* (“слюни барышни” — творог, политый медом). Из перебродившего за несколько недель ядовитого сока маниоки с пряностями получается терпкий и густой соус. Вот оно — изобилие: *aqui so falta que não tem* — есть все, кроме того, чего нет.

Все эти блюда — “наивысшее” совершенство, говоря на языке Амазонии, предпочитающем превосходную степень. Здесь, как правило, лекарство или десерт бывают “дьявольски” хорошими или “дьявольски” плохими, водопад — “головокружительным”, зверь — “чудовищным”, а ситуация — “абиссинской”. Речь местных жителей изобилует забавными образцами простонародных искажений — например, невероятных перестановок: *perecisa* вместо *prercisa*, *prefeitamente* вместо *perfeitamente*, *tribucio* вместо *tiburcio*. Иногда в разговоре наступает длительная пауза, прерываемая возгласами: *Sim Senhor!* или *Disparatel\** — в ответ на собственные мысли, самые разнообразные и дремучие, как джунгли.

Немногочисленные странствующие торговцы (*regatão* или *mascate*), чаще всего сирийцы или ливанцы, прибывающие на пирогах, после многонедельного пути приво

---

\* *O gospodui* или *Чушь!* (португ.). — Прим. перев.

зят испорченные сыростью лекарства и старые газеты. В одном из номеров газеты, забытой в хижине сборщиком каучука, я с четырехмесячным опозданием прочитал известие о Мюнхенском соглашении и о мобилизации. Зато фантазия жителей леса гораздо богаче, чем у тех, кто живет в саванне. Здесь есть поэты. Например, семья, в которой отец Сандоваль и мать Мария составляют имена детей из слогов своих собственных имен: для девочек – Вальма, Вальмария и Вальмариса, для мальчиков – Сандомар и Мариваль, а в следующем поколении – Вальдомар и Валькимар. Снобы называют своих сыновей Ньютон и Аристотель и с энтузиазмом принимают столь популярные в Амазонии лекарства: драгоценную настойку, восточный тоник, препарат Гордона, бристольтские пилюли, английскую воду и божественный бальзам; если они и не принимают (с фатальными последствиями) хинин вместо глауберовой соли, то настолько привыкают к лекарствам, что вынуждены глотать целую упаковку аспирина, чтобы успокоить зубную боль. Символично, что небольшой склад, который мы заметили в нижнем течении Машаду, посылал пирогами вверх по реке только два вида товаров: могильные решетки и спринцовки.

Рядом с этой “ученой” медициной существует другая – народная, основанная на *resguardos*, запретах, и *orações*, молитвах. Во время беременности на женщину не распространяются никакие запреты, касающиеся питания. Но после родов в течение первых восьми дней она может есть лишь белое куриное мясо и мясо куропатки. До сорокового дня ей разрешается есть также мясо оленя и некоторых видов рыб (*pacu*, *piava*, *sardinha*), а начиная с сорок первого дня она может вступать в сексуальные отношения и добавить к своей диете мясо дикого кабана и так называемую “белую” рыбу. В течение года остаются под запретом мясо тапира, сухопутной черепахи и красного оленя, *mutum* (индюка), “кожаных” рыб, *jatuarama* и *curimata*, что информаторы комментируют следующим

образом: *Isso e mandamento da lei de Deus, isso e do inicio do mundo, a mulher so e purificada depois de 40 dias. Si não faz, o fim e triste. — Depois do tempo da menstruação, a mulher fica immunda, o homem que anda com ella fica immundo tambem; e a lei de Deus para mulher.* И как резюме: *E uma cousa muita fina, a mulher\**.

А вот находящаяся на грани черной магии *Oração do sapo secco* (Молитва о засушенной жабе), обнаруженная в купленной у лоточников Книге св.Киприана (*Livro de São Cypriano*): надо раздобыть толстую жабу *cururu* или *sapa leiteiro*, в пятницу закопать ее в землю по шею и давать ей раскаленные угли, которые она должна проглатывать; через восемь дней можно пойти поискать ее и убедиться, что она исчезла; но на том месте вырастет “дерево с тремя веточками” трех цветов: белая — веточка любви, красная — отчаяния и черная — скорби. Молитва называется так потому, что засушенная жаба не нужна даже стервятнику. Веточка, отвечающая намерениям молящегося, срывается и хранится в самом укромном месте (*e cousa muita occulta*). Когда закапывают жабу в землю, произносят такую молитву:

*Eu te enterro com palma de chão la dentro  
Eu te prende baixo de meus pes ate como for o possivel  
Tem que me livras de tudo quanto e perigo  
So saltarei voce quando terminar minha missão  
Abaixo de Sao Amaro sera o meu pratetor  
As undas do mar serao meu livramento  
Na polvoro do sal sera meu descanso  
Anjos da minha guarda sempre me acompanham  
E o Santanaz não tera força me prender*

---

\* Таково веление божественного закона, восходящего к началу времен. Женщина очищается только к сороковому дню. Если этого не соблюдать, последствия печальны. — После менструации женщина нечиста, а мужчина, который с ней сожительствует, также нечист; таков закон Бога в отношении женщины. Женщина — это очень тонкая вещь (португ.).

*Na hora chegada no pinda de meio dia  
Esta Orações sera cuvida  
São Amaro voce e supremes senhores  
Das animaes crueis  
Sera o meu protetor Mariterra (?)  
Amen.\**

Здесь же есть еще *Oração da fava* (Молитва о фасоле) и *Oração do morcego* (Молитва о летучей мыши).

На берегах рек, доступных для небольших моторных судов, то есть там, где цивилизация, представленная Манаусом, становится уже не только на три четверти стершимся воспоминанием, но реальностью, до которой можно добраться хотя бы два или три раза в жизни, встречаются настоящие энтузиасты и изобретатели. Таким был начальник почты, который вместе с женой и двумя детьми в глубине леса начал возделывать землю, производить фонографы и бочками заготавливать водку. Но его преследует злой рок. Каждую ночь на его лошадь нападают летучие мыши особого вида, именуемые вампирами. Он сооружает

---

\* Я закапываю тебя на фут в землю,  
Берусь защищать тебя, насколько смогу,  
Полагайся на меня во всем,  
Что называется опасностью.  
Освобожу тебя только тогда,  
Когда исполню свою миссию.  
Мой опекун будет под покровительством  
Святого Амаро,  
Волны моря приносят мне освобождение,  
В прахе земном я обрету покой,  
О ангелы, меня оберегающие, не оставляйте меня,  
И сатана не в силах будет захватить меня.  
Когда наступит полдень,  
Эта молитва будет услышана.  
Святой Амаро, ты и высшие властители  
Свирепых зверей,  
Будете моим покровителем Маритерра (?)  
Аминь (португ.).

для нее попону из палаточной ткани, но лошадь разрывает ее о ветви; он пытается натирать лошадь перцем и даже медным купоросом, но вампиры “все счищают своими крыльями” и продолжают сосать кровь бедного животного. И все же он находит эффективное средство: замаскировывает лошадь под дикого кабана с помощью четырех перекроенных и сшитых друг с другом: кабаньих шкур. Неисчерпаемая фантазия помогает ему забыть об одном крупном разочаровании: о визите в Манаус, во время которого все его сбережения растаяли, перекочевав в карманы врачей, которые вытянули из него все, что могли, хозяина гостиницы, где он остановился, и владельцев магазинов, которые опустошали его дети в сговоре с продавцами. Мне хотелось бы подробнее описать этих достойных сострадания персонажей амазонской жизни, эксцентричных и отчаянных: героев или святых, таких, как Рондон и его спутники, которые засевали карту неизученных территорий названиями из настольного календаря, причем некоторые позволили себя убить, не желая стрелять в нападавших индейцев; авантюристов, спешащих в глубь леса, чтобы отыскать там только им одним известные племена, поживиться их убогим скарбом, а затем погибнуть под их стрелами; мечтателей, которые создают в какой-нибудь забытой всеми долине эфемерные государства; маньяков, в одиночку развивающих деятельность, которая могла бы принести им лавры вице-короля; наконец, жертв алчности, вдохновленных чужой удачей, примером странной судьбы которых являются искатели приключений, бродящие над Риу-Машаду по кромке лесов, населенных *мунде* и *тупикавахиб*. Приведу одну неумело написанную, но не лишнюю пафоса историю, которую я прочел в амазонской газете (вырезка из газеты “*A Pena Evangelica*”, 1938 г.).

*В 1920 году цена на каучук упала, и один из крупных начальников (полковник Раймундо Перейра Бразил) покинул “seringaes”\*, которые здесь, на берегу Игара-*

---

\* *Seringaes* — каучуконосы (от браз. *seringueira* — каучуковое дерево). — Прим. перев.

не-Сан-Томе, остались нетронутыми или почти нетронутыми. Шло время. С юности, с тех самых пор, как я оставил земли полковника Бразила, в моей душе хранились навсегда отпечатавшиеся в ней воспоминания об этих богатых лесах. Я уже поборол апатию, в которую нас повергло неожиданное падение цен на каучук, а поскольку я как-то свыкся с *Bertolletia excelsa*, то вдруг вспомнил "*castanhaes*", которые видел в Сан-Томе.

Однажды в гранд-отеле в Белен-ду-Пара я встретил моего прежнего хозяина полковника Бразила. Он все еще выглядел богатым человеком. Я попросил его позволить мне поработать в "его" каштановых лесах. Он благосклонно дал мне разрешение и добавил: "Все это заброшено и очень далеко, и остались там те, кто не сумел убежать. Не знаю, как они живут, и меня все это не касается. Можешь туда ехать".

Я собрал какие-то скудные припасы, попросил "*aviacão*" (так называется товар, получаемый в кредит) в магазинах Х. Адоньяса, Аделино Г. Бастоса и Гонсальвесы Перейры и Ска, купил билет на пароход компании "*Amazon River*" и отправился в сторону Тапажос. В Итайтубе мы встретились: Руфино Монте Пальма, Мелентино Теллес де Мондос и я. Каждый из нас привел с собой пятьдесят человек. Мы объединились, и это принесло нам удачу. Вскоре мы прибыли к устью Игаране-Сан-Томе. Тут мы встретили тех, кто остался, брошенных на произвол судьбы и отчаявшихся: слабоумных стариков, почти голых женщин, перепуганных и больных рахитом детей. После того как мы построили шалаши, я собрал своих людей и всю местную братию и сказал им: "Вот "*boia*"\* для каждого: патроны, соль и мука. В моей хижине нет ни часов, ни календаря, работа начинается утром, как только сможем различать контуры наших отвердевших ладоней, а час отдыха наступает с приходом ночи, которую

---

\**Boia* — здесь: "пак" (браз.). — Прим. перев.

посылает нам Господь. Кто не согласен с этим, не получит еды и будет довольствоваться похлебкой из пальмовых орехов и солью из почек с толстых побегов "анажи" (после варки почек этого пальмового дерева образуется горько-соленый осадок). У нас запасов на шестьдесят дней, и мы должны использовать эти дни, не теряя ни часа драгоценного времени". Мои партнеры последовали моему примеру, и через шестьдесят дней у нас было тысяча четыреста двадцать бочонков (каждый емкостью сто тридцать литров) каштанов. Мы загрузили пироги и послали их с необходимой командой сопровождающих вниз по реке к Итайтубе. Я вместе с Руфино Монте Пальма и остальной частью группы остался, чтобы затем отправиться туда моторным судном "Santelmo", которого нам пришлось ждать пятнадцать дней. После прибытия в порт Пиментал, вместе с грузом и остальными людьми мы погрузились на галеру "Sertanejo" и в Белене продали пятьсот гектолитров по сорок семь мильрейсов (два доллара тридцать центов). К несчастью, четыре человека из нашей команды умерли в пути. Мы уже никогда туда не возвращались. Но сегодня — поскольку цена поднялась до 220 мильрейсов за гектолитр, что является самым высоким до сего времени курсом, если верить имеющимся у меня документам, — какую же выгоду обещает нам в сезоне 1936-1937 года сбор каштанов, дело надежное и верное — не то что скрытый под землей алмаз с его вечной неопределенностью. Вот так, мои дорогие жители Куябы, работается в каштановых лесах на берегах Пары в штате Мату-Гросу.

Эти люди хоть что-то заработали: за шестьдесят дней три с половиной тысячи долларов на сто пятьдесят или сто семьдесят человек, — но что сказать о сборщиках каучука, агонию промысла которых мне довелось наблюдать в последние недели моего пребывания?

# Серингал

Два вида деревьев, выделяющих латекс: гевея и *castilloa*, — на местном наречии называются серингала (*seringa*) и кауша (*caucha*). Первое из них является более важным, оно растет только вблизи рек, берега которых неясным указом правительства были почему-то отданы в исключительную собственность не землевладельцам, а “предпринимателям.” Эти хозяева серинга (*patrões de seringal*) содержат склады продовольствия и других товаров либо как независимые предприниматели, либо (что чаще всего) в качестве концессионеров предпринимателей или небольших компаний речного транспорта, которые обладают монополией судоходства на данной реке и ее притоках. Сборщики каучука (*seringueiros*) — это их особые “клиенты”, *freguez*. Клиент магазина в той зоне, где он обосновался, обязуется закупать в этом магазине все, что ему необходимо, *avição* (в кредит, не имеет ничего общего с “авиацией”) и продавать все, что он добыл, в обмен на данные ему в кредит на один сезон инструменты и продукты, — что, разумеется, сразу записывается на его счет, — а также за выделение ему участка, называемого *collocação*: это несколько подковообразных тропинок, *estradas*, ведущих от построенной на берегу реки хижины до ближайших основных каучуконосных деревьев, которые предварительно были найдены в лесу другими работниками предпринимателя — лесником (*matteiro*) и помощником (*adjudante*).

Ежедневно ранним утром (считается, что начинать работу надо до рассвета) *seringueiro* обходит участок по



одной из этих тропинок, вооружившись *faca*, кривым ножом, и *coronga*, лампой, прикрепленной к шляпе, как у шахтера. Он делает на *seringas* аккуратный надрез — обязательно в виде “флажка” или “рыбьего плавника”, поскольку неправильно надрезанное дерево может либо остаться сухим, либо быстро истощиться.

К десяти часам утра он успевает надрезать сто пятьдесят — сто восемьдесят деревьев. После завтрака *seringueiro* возвращается, чтобы собрать латекс, вытекший за это время в жестяные сосуды, прикрепленные в стволам деревьев; он выливает их содержимое в мешок, который предварительно сшил из хлопчатобумажного, пропитанного каучуком материала. В пять часов пополудни он возвращается в свою хижину, где начинается третья фаза, так называемое “разбухание” каучукового шара: “молочко” постепенно впитывается в массу, насаженную на горизонтально закрепленный над огнем шест. Дым способствует загустеванию молочка тонкими слоями, которые затем выравниваются постепенным вращением шара вокруг его оси. Шар считается готовым, когда достигает стандартного для данного района веса — от тридцати до семидесяти килограммов. Если деревья истощены, эта процедура может занять несколько недель. Шары (существуют их многочисленные разновидности в зависимости от качества латекса и способа изготовления) укладываются на берегу вдоль течения реки; предприниматель приезжает туда каждый год, чтобы забрать их и на своем складе изготовить из них *pelles de barracha* (“каучуковые кожи”), а затем погрузить их на плоты. На реке у этих плотов всегда одна и та же судьба: они разбиваются в водопадах, у подножия которых их приходится терпеливо восстанавливать, — и так до самого Манауса или Белена. Если немного упростить эту порой довольно сложную систему взаимоотношений, то получается, что *seringueiro* зависит от предпринимателя, а тот в свою очередь — от судоходной компании, которая контролирует главные ли-

нии. Эта система – следствие падения цен, которое началось в 1910 году, когда каучук с азиатских плантаций начал конкурировать с тем, который добывался в Бразилии. В то время как сама добыча каучука превратилась в занятие исключительно для бедняков, речной транспорт стал делом, несравненно более выгодным, поскольку товары продавались в серингалах по ценам, вчетверо превышающим рыночные. Люди более состоятельные забросили добычу каучука, оставив за собой перевозки, которые позволяли им контролировать систему без всякого риска, поскольку *patrão* были вдвойне зависимы от перевозчика: он принимал решение о повышении тарифов и мог отказаться снабжать клиента, а предприниматель, магазин которого пуст, теряет клиентов – они убегают, не заплатив, или умирают на своем участке от голода.

Предприниматель находится в руках перевозчика, клиент находится в руках предпринимателя. В 1938 году цена каучука была в пятьдесят раз ниже, чем в конце великого бума; несмотря на временное повышение курса в период последней мировой войны, сегодняшняя ситуация ничем не лучше. В зависимости от года, сбор одного человека на берегах Машаду составляет от двухсот до тысячи двухсот килограммов.

В самом благоприятном случае доход сборщика позволял ему в 1938 году купить лишь около половины необходимого для жизни количества основных товаров: риса, черной фасоли, сушеного мяса, соли, патронов, уксуса и хлопчатобумажного материала. Недостающее восполнялось охотой, а главное, покупкой в кредит, поэтому долги росли с момента прибытия на место и, чаще всего, – до самой смерти.

Для наглядности приведу пример бюджета семьи из четырех человек, каким он мог быть в 1938 году. Неустойчивые цены на рис можно при необходимости пересчитать по цене золота.

	Цена за единицу в мильрейсах	Общая цена в мильрейсах
4 кг кулинарного жира	10, 500	42
5 кг сахара	5, 500	22, 500
3 кг кофе	5	15
1 литр керосина	5	5
4 куска мыла	3	12
3 кг соли для заготовки солонины	3	9
20 патронов 44 калибра	1, 200	24
4 фунта табака	8, 500	34
5 упаковок папиросной бумаги	1, 200	6
10 коробок спичек	0, 500	5
100 г перца для маринада	3	3
2 головки чеснока	1, 500	3
4 банки сухого молока для младенцев	5	20
5 кг риса	3, 500	17, 500
30 литров “муки” из маниоки	2, 500	75
6 кг <i>charque</i> (сухого мяса)	8	48
	Всего	351

Следует добавить к годовому бюджету хлопчатобумажную материю, отрез которой в 1938 году стоил от тридцати до ста двадцати мильрейсов, обувь – от сорока до шестидесяти мильрейсов за пару, шляпа – от пятидесяти до шестидесяти мильрейсов и, наконец, иголки, нитки, пуговицы и лекарства, употреблявшиеся в невероятных

количествах. Например, порошок хинина (который надо было принимать по одному в день каждому члену семьи) или аспирина стоил один мильрейс. Вспомним, что в то время на Машаду даже самый удачный “сезон” (сбор каучука длится с апреля по сентябрь, поскольку в лесу невозможно работать в дождливую пору) приносил две тысячи четыреста мильрейсов (в 1936 году *finá* продавалась в Манаусе по цене около четырех мильрейсов за килограмм, из которых сборщик получал половину). Если у *seringueiro* нет маленьких детей, если он питается только тем, что добудет на охоте, и “мукой” из маниоки, которую он сам выращивает и перерабатывает, помимо своей сезонной работы, то и тогда его минимальные расходы на питание поглощают весь этот невиданный доход.

Предприниматель, независимо от того, покрывает ли он свои расходы, живет в паническом страхе перед банкротством, которое ожидает его, если клиенты исчезнут, не вернув долги, — поэтому его до зубов вооруженный надсмотрщик приглядывает за рекой. Одна любопытная встреча на реке, которая произошла вскоре после того, как я расстался с *тупи-кавахиб*, осталась в моей памяти как образ серингала; привожу ее по записи из моего путевого дневника от 3 декабря 1938 года: “Сейчас около десяти часов, хмурый дождливый день. Навстречу нашей пироге плывет маленькая моторная лодка (*montaria*), которой управляет худой мужчина; рядом сидят его жена — толстая мулатка с вьющимися волосами — и ребенок лет десяти. Они совсем выбились из сил, рыдая, рассказывает женщина. Они возвращаются из шестидневного плавания по Машадинью, преодолели одиннадцать *cachoeiras* (водопадов), один из которых — Жабур — с *varação por terra* (с переносом лодки по суше); ищут одного из *frequazes*, которых взял *avição* и убежал со своей подружкой, прихватив пирогу и вещи. Он оставил письмо, в котором пишет, что *a mercatoria e muito cara et não tem*

*coragem pagar a conta* (товар слишком дорогой, у него не хватает мужества оплатить счета). Люди, работающие на *Compadre* Гаэтано, напуганные тем, что им придется отвечать, отправились на поиски беглеца, чтобы схватить его и отдать в руки работодателя. У них с собой *rifle*". Словом *rifle* называется карабин – обычно винчестер 44 калибра, – который используется для охоты, а также для других целей.

Спустя несколько недель я увидел на дверях магазина "*Calama Limitada*", расположенного неподалеку от места слияния Машаду и Мадейры, объявление следующего содержания:

**НЕОБЫКНОВЕННО ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ,**  
**содержащий жир, молоко и масло,**  
*будет продаваться в кредит*  
*только по специальному распоряжению хозяина.*  
*Во всех остальных случаях*  
*исключительно за наличные*  
*или в обмен на другой равноценный продукт.*

Там же можно было прочесть другое объявление:

**ПРЯМЫЕ ВОЛОСЫ**  
*Даже у цветных!*  
*Кудрявые или волнистые волосы, даже у цветных,*  
*становятся прямыми в результате постоянного*  
*использования нового препарата*  
*"Alisante"*  
*продажа в магазине "Под большой бутылкой",*  
*улица Уругуаяна, Манаус.*

Вообще-то здесь так привыкли к болезням и нужде, что умеют радоваться малому, и поэтому жизнь серингала не всегда кажется мрачной. Разумеется, давно про-

шли те времена, когда высокие цены на каучук позволяли строить над реками дощатые постоянные дворы, шумные трактиры, в которых *seringueiros* в течение одной ночи могли спустить все, что они наживали годами, а на следующий день начинали все с самого начала, прося снисходительного *patrão* предоставить им *aviação*. Я видел один такой полуразрушенный трактир, известный под названием “Ватикан”, который еще напоминал о былом процветании. Когда-то туда отправлялись по воскресеньям, надев шелковые полосатые костюмы-двойки, мягкую шляпу и лакированные ботинки, чтобы послушать виртуозов, исполняющих сольные арии, прерываемые выстрелами из револьверов различного калибра. Уже давно никто в серингале не покупает шелковых костюмов. Но молодые женщины, которые ведут здесь ненадежную жизнь наложниц *seringueiros*, по-прежнему привносят некий шарм двусмысленности. Это называется *casar na igreja verde* – сочетаться браком в зеленом храме. *Mulegrada* (то есть группа женщин) иногда в складчину устраивает вечеринки, каждая из них платит пять мильрейсов либо дает кофе или сахар, а иногда предоставляет в распоряжение свой барак, чуть больший, чем другие, с фонарем, заряженным на ночь. Девушки церемонно целуют руку хозяевам; грим нанесен на лицо не столько для красоты, сколько для создания видимости здоровья: под слоем пудры и румян женщины скрывают следы язвы, туберкулеза и малярии. Они пришли в туфельках на высоких каблуках из дома *seringueiro*, где, в течение всего остального года растрепанные и в лохмотьях, они живут с “мужем”; но в этот вечер они действительно нарядны, хотя им пришлось пройти в балльных платьях два-три километра по грязи лесных тропинок. И прежде чем надеть свои наряды, они помылись в мутных *igarapes* (ручьях) под дождем, ибо целый день лил дождь. Контраст между этими жалкими проявления-

ми цивилизации и омерзительной действительностью, которая ждет за дверью, потрясает до глубины души.

Неумело скроенные платья подчеркивают типично индейские фигуры: облегающая ткань расплющивает расположенные очень высоко и почти под мышками груди и подчеркивает выступающий живот, но зато оставляет открытыми узкие плечи и худые ноги изящной формы, тонкие запястья и щиколотки. Мужчина в белых полотняных брюках, грубых башмаках и пижамной куртке приглашает на танец свою партнершу (ведь, как я уже говорил, эти женщины не замужем – они сожительницы (*companheiras*), одни из них – *amaziadas*, то есть наложницы, другие – *desoccupadas*, то есть не занятые, всегда к услугам). Мужчина ведет ее за руку в центр площадки (*palangue*), устеленной соломой *babassu* и освещенной *pharolue*, шипящей керосиновой лампой. Минута колебания в ожидании нужного ритма, громко отбиваемого с помощью *caracacha*, коробки с гвоздями, которую встряхивает временно незадействованный танцор, и движение начинается: раз-два-три, раз-два-три... Ноги шаркают по скрипящему от трения полу, опирающемуся на сваи.

Танцуют так же, как и в былые времена. Первым делом – *дешфейтеpa* (*desfeitera*), основанная на повторяющихся ритмах, между которыми мелодия (иногда в сопровождении *violão*\* и *cavaquinho*\*\*) задерживается, чтобы дать возможность “кавалерам” в очередной раз симпровизировать двустушья, содержащие любовные намеки или подтрунивания. “Дамы” должны ответить в тон этим намекам, что, впрочем, дается им не без труда, поскольку они смущаются (*com vergonha*): одни, залившись краской, убегают, другие поспешно проговаривают

---

\* *Violão* – шестиструнная гитара (португ.). – Прим. перев.

\*\**Cavaquinho* – небольшая четырехструнная гитара (португ.). – Прим. перев.

какой-нибудь невыразительный куплет, словно школьницы, оттараторившие вызубренный урок. Вот один из стишков в наш адрес, прочитанный экспромтом однажды вечером в Урупе:

*Um e medico, outro professor, outro fiscal do Museu,  
Escolhe entr'os três qual e a seu.*

(Один – врач, второй – профессор, третий – смотритель музея,

Выбирай, какой из троих будет твоим.)

К счастью, бедная девушка, которой был предназначен этот куплет, не нашлась, что ответить. Если вечеринка длится несколько дней, женщины каждый вечер переодеваются в новые платья.

После каменного века *намбиквара* и XVI века, в котором я оказался у *тупи-кавахиб*, это уже был XVIII век, такой, каким его можно себе представить в маленьких портовых городках на побережье Антильских островов. Я пересек континент, но только теперь, поднявшись из глубины веков, я понял, что приближается конец моего путешествия.



**Часть девятая**  
**Возвращение**



# Апофеоз Августа

Особенно тягостным был этап в Кампус-Новус; разделенный расстоянием в восемьдесят километров со своими товарищами, которые из-за эпидемии не могли двинуться с места, я был вынужден ожидать их на окраине поселка, где население в несколько десятков человек умирало от малярии, лейшманиоза, анкилостомииоза, но главным образом — от голода. Женщина *пареси*, которую я нанял для стирки, прежде чем начать работу, потребовала не только мыла, но и еды; она объяснила, что иначе у нее не будет сил для работы, и это было правдой. Эти люди утратили жизнеспособность; слишком слабые и больные, чтобы сопротивляться, они старались ограничить свои движения и потребности, добиваясь состояния отупения, которое требовало бы от них минимальных физических усилий и одновременно сглаживало бы осознание собственной нищеты.

Эту вызванную климатом угнетающую обстановку усугубляли еще и индейцы. Две враждующие общины, встретившиеся в Кампус-Новус и всегда готовые в нападении, не испытывали ко мне теплых чувств. Мне приходилось быть начеку, а этнографическая работа была практически невозможной. Даже в нормальных условиях полевое исследование было изнуряющей работой: надо вставать засветло и бодрствовать до тех пор, пока не заснет последний индеец, а иногда даже наблюдать за его сном; стараться не привлекать к себе внимания, но быть постоянно присутствующим; все видеть, все замечать, все фиксировать, проявлять оскорбительную бестактность, унижаться, что-

бы выудить информацию у какого-нибудь сопляка, быть всегда наготове, чтобы воспользоваться мгновением благосклонности или невнимательности, уметь на протяжении целых дней подавлять любопытство и, сохраняя сдержанность, пережидать прилив недоброжелательного настроения в племени. Это занятие для исследователя становится причиной бесконечных терзаний: неужели он оставил свое окружение, друзей, удобства, понес значительные убытки, прилагал невероятные усилия и подвергал опасности свое здоровье только для того, чтобы вымаливать прощение за свое присутствие у нескольких десятков обреченных на вымирание несчастных людей, которые в основном заняты ловлей на себе насекомых и сном, но от каприза которых, тем не менее, зависит успех или неудача его экспедиции? Если же, как в Кампус-Новус, аборигены настроены враждебно, то ситуация еще хуже: индейцы не позволяют даже наблюдать за ними, а порой просто исчезают на несколько дней, отправляясь на охоту или на сбор плодов. В надежде на их возвращение и на вознаграждение за столь дорого оплаченное соседство приходится ждать, топтаться на месте, ходить по кругу; в это время начинаешь перечитывать недавние заметки, переписывать и пояснять их; иногда ставишь перед собой какую-нибудь хлопотную и второстепенную задачу, некое жалкое подобие профессионального занятия, — например, измерить расстояние между кострами или пересчитать ветви, которые пошли на строительство покинутых убежищ.

В такие минуты задаешь себе главный вопрос: зачем я здесь? С какой целью? Что это, собственно, такое — этнографическое исследование? Может, это обычная работа, как и любая другая, с той лишь разницей, что контору или лабораторию отделяет от дома расстояние в несколько тысяч километров? А может, это результат более радикального выбора, за которым скрывается вызов всей той системе, в которой человек рождается и в которой происходит его становление? Я покинул Фран-

цию пять лет назад, забросив университетскую карьеру; за это время мои более рассудительные коллеги поднимались все выше по служебной лестнице; те, которые так же, как некогда и я, имели склонность к политике, сегодня были депутатами, а вскоре станут министрами. Я же преодолевал пустыню в поисках остатков каких-то древних сообществ. Кто или что подтолкнуло меня к тому, чтобы перевернуть с ног на голову весь нормальный уклад жизни? Была ли это хитрость, ловкий маневр, позволяющий мне заново сделать карьеру, имея в руках дополнительные козыри, которые должны были бы склонить чашу весов в мою сторону? Или мое решение было свидетельством глубокого антагонизма между мной и моей общественной группой, от которой мне суждено было все более удаляться, что бы там ни случилось? Удивительным и парадоксальным образом моя полная приключений жизнь, вместо того чтобы открыть передо мной другой мир, возвращала меня к моему прежнему миру, в то время как новый мир, о котором я мечтал, ускользал от меня, словно песок сквозь пальцы. Чем менее люди и страны, завоевывать которые я отправился, оправдывали мои ожидания, тем чаще эти обманчивые, хотя и вполне реальные, картины уступали место другим, хранящимся в запасниках моего прошлого, которым я не придавал никакого значения, когда они были еще связаны с окружающей меня действительностью. Путешествуя по землям, где до меня побывали лишь немногие, разделяя убогое существование с народами, нищета которых была ценой — заплаченной прежде всего ими самими — за то, чтобы я мог проникнуть в глубь прошедших тысячелетий, я не замечал уже ни людей, ни окружающих пейзажей. Я грезил о покинутой мною французской деревне, слышал музыкальные или поэтические фрагменты — традиционные символы цивилизации Старого Света. А ведь я должен был убеждать самого себя, что сделал свой выбор вопреки этой цивилизации, поскольку иначе я подверг бы

себя опасности потерять смысл, который мой выбор придавал моей жизни. На плоскогорье Мату-Гросу я неделями был одержим не тем, что меня окружало и чего мне больше никогда не суждено будет увидеть, а избитой мелодией, которую моя память сделала еще банальнее, мелодией этюда номер 3, опус 10, Шопена. Словно в насмешку, мне казалось, что в этой мелодии заключено все то, что я покинул.

Но почему Шопен, к которому я никогда не испытывал особого пристрастия? Воспитанный в культе Вагнера, совсем недавно я открыл для себя Дебюсси, а потом, во второй или в третий раз слушая “Свадебку”, я узнал в Стравинском мир, который показался мне более реальным и важным, чем саванны Бразилии, и который разрушил мое прежнее представление о музыке.

Когда я покидал Францию, именно “Пеллеас”<sup>149</sup> был той духовной пищей, какой я жаждал: так почему же Шопен и его самое банальное сочинение неотвязно преследовали меня в пустыне? Более занятый разгадкой этой проблемы, чем наблюдениями, которые бы оправдали мои труды, я говорил себе, что прогресс в движении от Шопена к Дебюсси, вероятно, кажется более впечатляющим, если его рассматривать в обратном направлении. В тот момент я наслаждался в музыке Шопена теми откровениями, за которые отдавал предпочтение Дебюсси, но, воспринимая их в неразрывном единстве с произведением, еще неуверенно и сдержанно, я не сразу сумел постичь эти откровения и сначала обратил внимание на их наиболее явные проявления. В этом был двойной прогресс: углубляя произведение более раннего композитора, я открывал для себя красоту, недоступную тому, кто сначала узнал Дебюсси. Я любил Шопена за избыток, а не за недостаточность, в отличие от того, для кого развитие музыки остановилось на Шопене. С другой стороны, мне не требовалось полного воодушевления, чтобы пробудить в себе определенные эмоции, достаточно было знака, намека, едва обозначенного контура.

Я проходил мило за милей, но все та же музыкальная фраза звучала в моей памяти, и я не мог от нее избавиться. Мне беспрерывно открывались в ней новые чарующие грани. Свободная в начале, она, казалось, постепенно свивает свою нить, как бы желая сокрыть ее окончание. В конце концов переплетения уже невозможно распутать, и я задавался вопросом, как же она выйдет из положения. Но вдруг какая-то нота все решала, и прояснение оказывалось еще более смелым, чем предшествующие затемняющие усилия, которые вызвали это решение и сделали его возможным. Как только возникала эта нота, все предыдущее развитие обретало новый смысл: поиск не был произвольным – готовилось это неожиданное решение. Может, все это тоже было путешествием – исследованием пустыни моей памяти, пустыни, гораздо большей, чем та, которая меня окружала?

Однажды в полдень, когда все было погружено в сон в гнетущей жаре, я лежал, скрючившись в гамаке под москитной сеткой от “чумы” (как там говорят), густое плетение которой лишь усиливает духоту, и мне представилось, что мучающие меня проблемы могли бы стать темой пьесы. Я уже видел ее во всех подробностях, словно она была написана. Индейцы исчезли: шесть дней подряд с утра до вечера я писал на обороте листов, покрытых вокабулами, набросками, эскизами и генеалогическими схемами, – после чего вдохновение оставило меня посреди работы и больше никогда не возвращалось. Прочитав свою писанину, я пришел к выводу, что не стоит об этом горевать.

Моя пьеса называлась “Апофеоз Августа” и представляла собой новую версию “Цинны”<sup>50</sup>. В центре пьесы – два героя, два друга с детских лет, которые оказались в переломной ситуации, разделившей их судьбы. Один думал, что сделал выбор против цивилизации, но вдруг понял, что пытается лишь более сложным путем к ней вернуться, а значит, этот путь уничтожает смысл и ценность альтернативы, которую он некогда выбрал по собственным убеждениям.

ям. Другой, с детства предназначенный для общественной деятельности и ее привилегий, осознает, что все его усилия вели к пределу, который должен был стать крахом его карьеры. Во взаимном уничтожении оба хотят обрести смысл собственного прошлого, пусть даже ценой смерти.

Пьеса начинается в тот момент, когда сенат, желая наградить Августа титулом, который ставит его выше императора, одобрил апофеоз и готовится причислить его при жизни к лику богов. В дворцовом саду двое стражников рассуждают об этом событии и пытаются предвидеть его последствия со своей собственной точки зрения. Упразднится ли должность стражника? Как можно защищать бога, которому под силу превратиться в насекомое или даже стать невидимым и заставить застыть на месте любого? Они раздумывают о возможности забастовки, и уж во всяком случае им полагается повышение жалованья. Появляется начальник стражи и объясняет им, что они ошибаются. У стражи нет никакой миссии, которая отделяла бы ее от того, кому она служит. У нее нет собственной цели, она отождествляет себя с личностью и интересами своих господ и сияет в лучах их славы. Стража главы государства, который становится богом, будет также божественной. Для нее, так же, как и для него, все будет возможно. Определяя ее истинную природу, можно сравнить ее с детективным агентством: “с острым взором, с тонким слухом, но никто – ни сном, ни духом”.

Затем сцена заполняется людьми, которые выходят из сената, обсуждая происшедшее. Персонажи иллюстрируют то, как воспринимается перевоплощение человека в бога. Крупные дельцы просчитывают новые возможности обогащения. Август, император во всех отношениях, думает только об усилении своей власти, с этого момента не зависящей от интриг и заговоров. Для его жены Ливии апофеоз является вершиной карьеры: “Он заслужил это”. В общем, Французская Академия... Камилла, юная сестра Августа, влюбленная в Цинну, предупреждает брата о его возвращении домой после десяти полных приключе-



ний лет скитаний. Камилла хочет, чтобы Август увиделся с ним, надеясь, что Цинна, как всегда изменчивый и поэтичный, удержит ее брата от окончательного и бесповоротного перехода на сторону порядка. Ливия противится этому, ибо Цинна всегда вносил элемент беспорядка в карьеру Августа, он – “горячая голова”, и ему место только среди дикарей. Август склонен согласиться с этой точкой зрения, но следующие один за другим визиты жрецов и поэтов начинают его тревожить. Все воспринимают причисление Августа к рангу богов как изгнание его из мира. Жрецам выгоден апофеоз, который должен вернуть им власть, поскольку они являются единственными правомочными посредниками между богами и людьми. Люди искусства хотят, чтобы Август превратился в воплощение идеи и перестал быть человеком. Художники предлагают запечатлеть Августа и Ливию в виде спирали или многогранника, чем вызывают негодование императорской четы, которой уже видятся гигантские мраморные статуи, сохраняющие внешнее подобие, но явно приукрашенные. Замешательство становится еще большим, когда являются женщины легкого поведения: Леда, Европа, Алкмена, Даная, – и наперебой предлагают Августу воспользоваться их опытом в постижении божественности.

Наконец, Август встречается с орлом – не с символической птицей, атрибутом божества, а с неприрученным животным, теплым на ощупь и зловонным. Но это и есть орел Юпитера, тот самый, что похитил Ганимеда после кровавого поединка, в котором юноша напрасно пытался защититься. Орел объясняет скептически настроенному Августу, что его уже близкая божественность будет заключаться в отсутствии чувства отвращения, которое свойственно ему, пока он остается человеком. Ощущение божественности – это не какое-то пламенное чувство или могущество совершать чудеса: Август почувствует себя богом лишь тогда, когда научится без отвращения сносить близость дикой бестии, ее выделений и экскрементов, которыми она его покрывает. Гниль, разложение, экскременты

ты — все это покажется ему близким, родным: “Бабочки будут спариваться на твоей голове, и какой-нибудь клочок голой земли будет казаться тебе подходящим ложем, ты не будешь замечать, как это делаешь сейчас, что он утыкан колючками, что он роится насекомыми и бактериями”.

Во втором акте Август, которого слова орла заставляют задуматься над проблемой отношения между природой и обществом, решает вновь увидиться с Цинной, некогда отдавшим предпочтение природе, сделавшим выбор, противоположный тому, что привел Августа к власти. Но Цинна пал духом. Все десять лет своей полной приключений жизни он думал только о Камилле, сестре своего друга, брак с которой зависел только от него самого — Август ему отдал бы ее с радостью. Но он не хотел получить ее по законам, установленным в обществе: он желал завоевать ее вопреки общественному правилу, а не в соответствии с ним. В этом и была причина погони за славой еретика: он хотел заставить общество отдать ему то, что и так ему по праву предназначалось.

Но теперь, когда он вернулся в ореоле чудотворца, ученого, которого снобы буквально разрывают на части, приглашая к себе на обеды, он знает, что столь дорого оплаченная слава основана на лжи. Ничто из того, что, по убеждению других, он узнал, не было реальным знанием; его путешествие — это обман, оно кажется настоящим только тем, кто видит одни лишь тени. Завидуя судьбе Августа, Цинна хотел бы обладать властью, большей, чем он: “Я говорил себе, что ни один человеческий разум, даже разум Платона, не в состоянии познать бесконечное разнообразие всех существующих на свете цветов и листьев, но я познаю это; я познаю чувства опасности, холода, голода, усталости, которых вы все, живущие в наглухо запертых домах с полными закромами, не можете себе даже вообразить. Я питался ящерицами, змеями и саранчой, прикасался к такой пище, сама мысль о которой вызывает тошноту; я делал это с волне-

нием неофита, убежденный в том, что создаю новую связь между собой и космосом”. Но достигнув предела своих усилий, Цинна ничего не обрел. “Я все потерял, — говорит он, — даже самое человеческое стало для меня нечеловеческим. Чтобы заполнить бесконечную пустоту долгих дней, я повторял про себя стихи Эсхила и Софокла. Некоторые из них настолько срослись со мной, что теперь, когда я иду в театр, я не могу увидеть их красоты. Каждая строчка напоминает мне запыленные тропы, выгоревшие травы, глаза, покрасневшие от песка.”

Последние сцены второго акта подчеркивают противоречия, в которых запутались Август, Цинна и Камилла. Камилла боготворит своего избранника, который напрасно старается объяснить ей обман, содержащийся в его истории: “Бессмысленно стараться вложить в свой рассказ всю пустоту, всю ничтожность этих событий — это лишь расцвечивает его все новыми красками и возбуждает фантазию. И все же они — ничто: земля — такая же, как и эта земля, а трава — такая же, как на этом лугу”. Камилла противится такому взгляду, чувствуя, что в глазах любимого она как человеческое существо также является жертвой этой общей утраты интереса к жизни, которым страдает Цинна. Он привязан к ней не как к личности, а лишь как к символу, который остается единственной нитью, связывающей его с обществом. Но Август узнает в речах Цинны слова орла. Он потрясен, однако не решается отступить: слишком много политических интересов связано с его апофеозом. Он не может смириться с мыслью, что для человека дела не существует абсолютной цели, в которой он одновременно обретает награду и покой.

Третий акт начинается в атмосфере кризиса: накануне церемонии божественность затопляет Рим. Стены императорского дворца дают трещины, в которые проникают растения и животные. Будто какой-то катаклизм обрушивается на город, и тот возвращается в свое первоначальное состояние. Камилла порвала с Цинной, и этот

разрыв стал для него последним доказательством поражения, в котором он и так был убежден. Его обида обращается против Августа. Хотя буйство природы кажется ему ничтожным в сравнении с теми радостями, которые сулит человеческое общество, он не желает ни с кем делить вкус этой тщеты. “Это ничто, я знаю об этом, но люблю это ничто, ибо я избрал его.”

Для него непереносима мысль, что Август может обладать всем: природой и обществом, что он достигнет связи с природой не ценой отречения от общества, а получит ее в награду. Поэтому он должен убить Августа, чтобы дать свидетельство неотвратимости выбора. В этот момент Август призывает Цинну на помощь. Как изменить ход событий, которые уже не зависят от его воли, но при этом остаться верным самому себе? Короткий миг духовного подъема рождает решение: да, пусть Цинна убьет цезаря, как намеревался. Каждый из них получит бессмертие, о котором мечтал: Август — официальное, книжное бессмертие памятников и культа, а Цинна — черное бессмертие цареубийцы, благодаря которому он свяжет себя с обществом, не переставая ему противоречить.

Я не знаю точно, как все это должно было разрешиться, поскольку последние сцены не были закончены. Кажется, Камилла, сама того не желая, вызвала развязку: возвратившись к своему прежнему чувству, она убедила брата в том, что он неправильно понял ситуацию и что Цинна лучше, чем орел, исполнил роль посланника богов. И здесь Август находит политический выход. Если ему удастся провести Цинну, он сможет обмануть и богов. Прежде они условились, что стражи не будет, и безоружный Август подвергнется сокрушительному удару друга; но теперь он тайно приказывает удвоить охрану. Цинна даже не доберется до него. Подтверждая судьбу их обоих, Август достигнет своей главной цели: он станет богом, но среди людей, и он простит Цинну, который в очередной раз вкусит горечь поражения.

## Глава 38

# Стаканчик рому

Рассказанная история оправдывается только одним: она служит иллюстрацией того, как может исказиться взгляд путешественника под продолжительным воздействием ненормальных условий жизни. Но возникает вопрос: как этнографу разрешить противоречие, являющееся следствием его выбора? У него в распоряжении его собственное общество; почему же он решает пренебречь им, но в то же время по отношению к другим обществам – выбранным среди наиболее отдаленных и наиболее отличных от собственного – сохранять терпение и преданность, в которых он решительно отказывает соотечественникам? Не случайно, что этнограф редко остается нейтральным по отношению к собственной группе. Если он миссионер или чиновник, то можно сделать вывод, что он таким образом согласился отождествить себя с существующим порядком вещей и посвятил себя его пропагандированию; но если он выполняет свою работу в качестве ученого, представителя университета, то вполне вероятно, что в его прошлом можно найти объективные факторы, свидетельствующие о его непригодности к обществу, в котором он родился. Взяв на себя эту роль, он искал то ли возможности примирить на практике свою принадлежность к определенной группе с той дистанцией, которую он по отношению к ней сохранял, то ли просто способа использовать уже существующее состояние оторванности от группы, чтобы облегчить себе сближение с иными обществами, путь к которым он уже прошел наполовину.

В любом случае, если он честен перед самим собой, он должен будет признать тот факт, что его влечение к экзотическим обществам – тем большее, чем они экзотичнее, – не имеет собственного основания: оно обосновано презрением и даже враждебностью, вызванными в нем традициями, преобладающими в его собственной среде. Этнограф, охотно подрывающий устои своей собственной традиции и революционно настроенный по отношению к ней, выражает уважение, граничащее с консерватизмом, если речь заходит об обществе, резко отличающемся от его собственного. Следовательно, есть в этом нечто большее и нечто иное, чем обычная строптивость. Я знаю этнографов-конформистов, но причина их конформизма во вторичной ассимиляции их собственного общества с теми группами, которые они изучают. Их снисходительность всегда склоняет их к этим последним, и если они оставляют свою прежнюю непримиримую позицию по отношению к своему обществу, то только потому, что делают еще одну уступку иным культурам, трактуя собственное общество так, как следует, по их мнению, трактовать любое общество. Нельзя избежать этой дилеммы: либо этнограф связан со своей группой, и тогда все другие могут пробуждать в нем только мимолетный интерес, никогда не свободный от определенной доли неприятия, либо он способен полностью посвятить себя иным группам, но тогда его объективность будет неполной, поскольку, даже стремясь сохранить объективность, он, желая того или нет, вынужден отдалиться по крайней мере от одной культуры. Тем самым он совершает тот же грех, в котором обвиняет тех, кто отказывает ему в приоритетности его выбора.

Эти сомнения впервые овладели мной во время моего вынужденного пребывания на Антильских островах, описанного в начале этой книги. На Мартинике я посетил завод по производству рома. Это было примитивное и запущенное производство, где применялась та же технология, что и в XVIII веке. В отличие от него, фабрики

пуэрториканской компании, которая обладает чем-то вроде монополии на всю продукцию из сахарного тростника, напоминали огромные резервуары из белой эмали и хромированной арматуры. И тем не менее ром с Мартиники, который дегустируют прямо из старых деревянных бочек с осадком на дне, мягок и ароматен, в то время как ром из Пуэрто-Рико вульгарен и резок на вкус. Не придают ли мягкость напитку именно нестерильность, именно тот осадок, который появляется вследствие архаичной системы производства? Этот контраст представляется мне парадоксом цивилизации, привлекательность которой в сущности связана с осадком, который несет с собой ее течение, причем мы не в состоянии противостоять неизбежной очистке этого осадка. Мы дважды правы, но вынуждены признаться, что заблуждаемся. Мы правы, когда действуем разумно и стараемся увеличить производство, а также снизить собственные затраты, но мы правы и тогда, когда симпатизируем несовершенству, которое стараемся устранить. Жизнь в обществе основана на уничтожении того, что придает ей аромат. Кажется, что это противоречие исчезает, когда мы переходим от рассуждений о собственном обществе к размышлениям о других, отличных от нашего. Поскольку мы вовлечены в жизнь нашего общества, мы так или иначе являемся участниками процесса. Независимо от нашего желания, наше положение обязывает нас действовать определенным образом. Когда речь идет о других обществах, все меняется: объективность, невозможная в первом случае, становится дарованной нам привилегией. Там, где мы зрители, а не актеры в драме происходящих перемен, мы с большей легкостью можем оценивать становление и прошлое, так как это лишь предлог для эстетического созерцания и интеллектуальных размышлений, не отягощающий нас нравственным беспокойством.

Рассуждая таким образом, я в какой-то мере сумел прояснить это противоречие: указал его источники и попытался объяснить, как мы приспособляемся к нему.

Разумеется, я не разрешил его. Но действительно ли это противоречие неизбежно? Так утверждают, чтобы на этом основании нас осудить. Обнаруживая своим выбором склонность, которая влечет нас к общественным и культурным формам, принципиально отличающимся от наших собственных, а значит, заставляет переоценивать одни из них и недооценивать другие, мы якобы расписываемся в своей непоследовательности. Ведь мы можем заявить, что иные общества представляют ценность, только в той мере, в какой они опираются на ценности нашего общества, побудившего нас к поискам. Поскольку мы все еще неспособны освободиться от социальных установлений, которые нас сформировали, наши попытки отстраненного взгляда на различные общества, включая и наше собственное, остаются стыдливым признанием превосходства этого последнего над всеми остальными.

За аргументацией этих благонамеренных апостолов скрывается лишь праздный каламбур: они хотят представить собственную мистификацию как альтернативу мистицизму, который нам ошибочно приписывается. Этнографические или археологические данные свидетельствуют, что некоторые ныне существующие или уже погибшие цивилизации еще могут или могли решать определенные задачи лучше, чем мы, несмотря на то, что мы усиленно старались получить те же результаты. Я ограничусь только одним примером: всего лишь несколько лет назад мы узнали те физические и физиологические принципы, на основе которых одеваются и строят свои жилища эскимосы, и поняли, наконец, что именно эти, долгое время неизвестные нам принципы, а не привычка или особенности организма, позволяют им жить в суровых климатических условиях. Эти принципы настолько естественны, что вполне понятно, почему так называемое усовершенствование одежды эскимосов, введенное путешественниками, оказалось неуместным и бессмысленным. Решение аборигенов было совершенным, и чтобы в этом убедиться, нам не хватало только понимания теории, лежащей в его основе.



Но не в этом заключается основная трудность. Когда мы беремся судить о достижениях социальных групп в контексте целей, сравнимых с нашими, иногда стоит преклонить голову, признавая превосходство этих групп; но, вместе с тем, мы присваиваем право судить, а значит порицать иные цели, не совпадающие с теми, которые апробированы нами. Тем самым мы закрепляем за нашим обществом, его традициями и нормами привилегированное положение: ведь наблюдатель, происходящий из другой общественной группы, может оценивать те же примеры совершенно иным образом. Как же в этих обстоятельствах мы можем утверждать, что наши исследования строго научны? Чтобы занять действительно объективную позицию, мы должны удержаться от всяких суждений такого рода. Придется признать, что из всего спектра доступных возможностей каждое человеческое общество выбрало свой собственный путь, и эти пути несравнимы между собой: каждый из них по-своему правильный. Тогда возникает новая проблема: если в первом случае мы были на грани обскуратизма, порицая то, что нам чуждо, то сейчас нам грозит уклон в сторону эклектизма, запрещающего нам критиковать что-либо в какой бы то ни было культуре, пусть даже это будет жестокость, несправедливость и нищета, против чего, как правило, протестует именно то общество, которое само страдает от тех же пороков. Ведь если мы смиримся с этими бедами, возникающими в другом обществе, у нас не будет права бороться с ними и в своей собственной стране.

Таким образом, за противоречием между двумя позициями этнографа: критической для собственной культуры и конформистской для любой иной, — скрывается другая проблема, перед которой он еще более безоружен. Если он хочет быть причастным к исправлению своего собственного общественного строя, он должен последовательно в любой культуре осуждать условия, подобные тем, с которыми борется у себя, — но тогда он утрачивает свою объективность и беспристрастность. И

наоборот, отстраненность, которой от него требуют принципы нравственности и научной объективности, не позволяет ему критиковать собственное общество, коль скоро он как исследователь не желает никого осуждать, чтобы иметь возможность изучать всех. Оставаясь на позициях своей культуры, он лишается возможности понять других, а желая понять всех, он автоматически отрекается от попытки что-либо изменить.

Если бы противоречие было неизбежным, этнографу не пришлось бы колебаться при выборе альтернативы: он – этнограф и хочет быть им, так пусть же как должное примет увечье, связанное с его призванием. Он избрал иные культуры и должен нести ответственность за результаты этого выбора: его роль заключается лишь в том, чтобы понять эти культуры, но не действовать от их имени, ибо сам факт, что они – иные, уже лишает его права говорить от их имени, так как это привело бы его к отождествлению с ними. Кроме того, он воздерживается от действий в собственном обществе, опасаясь занять ту или иную позицию по отношению к ценностям, которые он мог бы обнаружить в других обществах, то есть опасаясь предубежденности в собственных взглядах. В силе остается только изначальный выбор, лишенный всяческого основания: чистый акт, немотивированный или, если это возможно, обоснованный общими рассуждениями, проистекающими из характера или истории каждого человека. К счастью, мы не находимся в таком положении. Заглянув в пропасть, на краю которой мы стоим, мы можем позволить себе искать выход. Его можно найти, соблюдая определенные условия: умеренность суждений и разделение трудностей на два этапа.

Ни одно общество не совершенно. Каждое изначально попирает нормы, которые провозглашает. Это попрание норм на практике проявляется в определенной дозе несправедливости, равнодушия и жестокости. Как определить эту дозу? Этнографическое исследование в состоя-

нии это сделать. Ведь если при сравнении небольшого количества обществ они кажутся между собой весьма различными, то при расширении поля исследования эти различия блекнут. Тогда обнаруживается, что ни одно общество не является ни безупречным, ни абсолютно плохим в своей основе, каждое из них приносит своим членам определенную пользу с учетом осадка несправедливости, который остается примерно постоянным и, вероятно, представляет собой эквивалент некоей инерции противодействия организационным усилиям.

Такое мнение удивит любителя путевых заметок, находящегося под впечатлением воспоминаний о “варварских” обществах того или иного народа. Однако такая поверхностная реакция не может противостоять реальной оценке фактов и умению выстроить их в свете более широкой перспективы. Возьмем, к примеру, каннибализм, который в практике дикарей более всего нас ужасает и вызывает наибольшее отвращение. Прежде всего следует исключить так называемые чисто алиментационные формы, то есть те, которые обусловлены отсутствием другой животной пищи, кроме человеческого мяса, как это происходит на некоторых полинезийских островах. Любое общество беззащитно перед угрозой постоянного голода; голод может довести людей до поедания чего угодно – недавний пример концентрационных лагерей является тому доказательством.

Остаются формы людоедства, которые можно было бы назвать “позитивными”, – то есть те, которые обусловлены мистическими, магическими или религиозными причинами: съедание частички тела предка или убитого врага для того, чтобы унаследовать его достоинства или же нейтрализовать его власть. Даже если не учитывать тот факт, что такого типа обряды чаще всего совершаются с величайшим тактом и касаются малого количества органической материи, измельченной или смешанной с другой пищей, следует признать, что и в том случае, когда они

приобретают более явные формы, нравственное осуждение таких обычаев предполагает либо веру в телесное воскрешение мертвых, становящееся невозможным вследствие материального уничтожения останков, либо признание существования связи между душой и телом и, соответственно, так называемого мировоззренческого дуализма, сродни тому, во имя которого практикуется ритуальный каннибализм. При этом у нас нет никаких разумных оснований для того, чтобы ставить себя выше этого, тем более, что неуважительное отношение к памяти умершего, в котором мы могли бы упрекнуть каннибалов, явно не большее, а скорее, наоборот, меньшее, чем то неуважение, которое с нашего молчаливого согласия допускается в прозекториях.

Но главное, нам следует убедить самих себя, что стороннему наблюдателю, принадлежащему к другому обществу, некоторые наши обычаи показались бы по своей природе подобными каннибализму, который мы считаем несовместимым с понятием цивилизации. Я имею в виду наши судебные и пенитенциарные традиции. Когда смотришь на них с определенного расстояния, возникает желание противопоставить друг другу два типа обществ: общества, практикующие антропофагию, то есть такие, которые считают необходимым поглощение некоторых индивидов, обладающих грозными силами, поскольку видят в этом единственный способ нейтрализации этих сил и даже возможность их использования; и общества, которые – как, например, наше – взяли на вооружение то, что можно было бы назвать антропоземией (от греческого *etein* – исходить рвотой), и для решения той же самой проблемы избрали противоположный способ, состоящий в том, чтобы выбросить этих опасных индивидов за пределы общественного тела, удерживая их во временной или пожизненной изоляции в специально предназначенных для этого заведениях.

В большинстве так называемых первобытных обществ этот обычай вызвал бы глубокое возмущение, отметил бы нас в их глазах тем же самым клеймом варварства, которым мы бы желали их припечатать ввиду несоответствия их обычаев нашим.

Некоторые общества, кажущиеся нам в определенном смысле жестокими, могут оказаться человечными и открытыми, если взглянуть на них с другой точки зрения. Возьмем индейцев, населяющих равнины Северной Америки, которые отличаются двумя характерными особенностями: они практикуют каннибализм в умеренных формах и одновременно являют собой один из редких примеров примитивного народа, обладающего организованной полицией. Этой полиции (которая одновременно была и органом правосудия) никогда бы не пришло в голову, что наказание виновного должно выражаться в изоляции его от общества. Если абориген нарушал закон племени, то в наказание уничтожалась вся его собственность – хижина и лошади. Но одновременно полиция становилась его должником, ей надлежало организовать коллективное возмещение убытков, которые понес виновный. Полученные подарки, в свою очередь, обязывали виновного выражать свою благодарность группе ответными дарами. Вся община, включая саму полицию, помогала ему собрать подарки, что вновь меняло ситуацию на противоположную, и так до тех пор, пока после серии взаимных услуг нарушение порядка не оказывалось ликвидированным и не восстанавливался прежний порядок. Такие обычаи не только более человечны, чем наши, но и более логичны. Если мы сформулируем вопрос в терминах нашей современной психологии, то “инфантилизация” виновного, лежащая в основе понятия наказания, требует признать за наказуемым право на определенное вознаграждение, при отсутствии которого изначальная процедура теряет эффективность и даже влечет за собой последствия, прямо

противоположные ожидаемым. Наши нормы можно считать верхом абсурдности, ибо мы одновременно относимся к виновному и как к ребенку, чтобы получить основание наказать его, и как к взрослому, чтобы отказать ему в утешении. При этом мы убеждены, что достигли огромного духовного прогресса, поскольку вместо того чтобы поедать некоторых наших ближних, мы предпочитаем калечить их физически и морально.

Такой анализ, если его провести добросовестно и методично, приводит к двум результатам: он привносит элемент умеренности и благожелательности в оценку обществ и стилей жизни, наиболее далеких от наших, одновременно не признавая за ними абсолютных добродетелей, которыми по определению не может обладать ни одно общество. Кроме того, он лишает наши традиции той очевидности, которая покоится на полном незнании других традиций или на половинчатом и тенденциозном знакомстве с ними. Следовательно, этнологический анализ действительно возвышает иные культуры и снижает значимость собственной – в этом смысле он противоречив. Но если мы всерьез задумаемся над происходящим, то придем к убеждению, что это противоречие скорее видимое, чем реальное.

Иногда говорят, что только в западном обществе могли появиться этнографы, и в этом его величие – и единственное преимущество, поскольку все другие отрицаются этнографами, – перед которым мы вынуждены склонить голову, ибо без него нас бы не существовало. Но с тем же успехом можно было бы утверждать обратное: если Запад породил этнографов, то именно потому, что испытывал муки совести, которые вынуждали его сопоставлять собственный образ с образом иных культур в надежде найти в них отражение тех же изъянов или же понять, как именно эти изъяны развились в его недрах. Но даже если действительно сравнение нашего общества

со всеми другими, современными и уже не существующими, подрывает его основы, то подобная судьба ждет и другие общества. Общий знаменатель, о котором я только что сказал, делает видимым множество чудовищных вещей; мы открываем, что это касается и нас, причем не по воле случая, ибо если бы нас не было и если бы мы не держали первенство в этом печальном соревновании, этнография не получила бы у нас широкую дорогу – мы просто не ощущали бы в ней потребности. Этнограф не может оставаться равнодушным к собственной цивилизации и не быть солидарным с ее ошибками, тем более, что само его существование оправдано лишь как попытка искупления – он является символом этого искупления. Но и другие общества также причастны к этому первородному греху; правда, они не так многочисленны и встречаются все реже, по мере того как мы спускаемся вниз по ступеням прогресса. Достаточно сослаться на астеков, открытую рану на теле Америки; их маниакальная одержимость кровью и пытками (в действительности присутствующая всюду, но проявившаяся у них в наиболее “яркой форме”) – пусть даже в какой-то мере оправданная необходимостью привыкания к смерти – ставит их в один ряд с нами не как единственных несправедливых, но как тех, которые были таковыми в нашем понимании, только “сверх меры”.

Однако подобное осуждение нами нас самих не означает, что мы утверждаем совершенство того или иного общества, современного или существовавшего в прошлом в какое-то время и в каком-то месте. Это было бы действительно несправедливо, поскольку, поступая таким образом, мы признавали бы факт, что если бы мы принадлежали в этому обществу, то оно тоже казалось бы невыносимым: мы осуждали бы его по тем же причинам, по которым осуждаем наше собственное. Значит ли это, что мы в конце концов подвергнем остракизму любой

общественный порядок, каким бы он ни был, и восславим то первозданное состояние природы, в которое общественный порядок привнес одну лишь коррупцию? “Не верь тому, кто приходит навести порядок”, – говорил Дидро, который стоял на этой точке зрения. Для него “краткий курс истории” человечества сводился к следующему: “Существовал человек естественный: в него был внедрен человек искусственный, и в глубине разразилась непрерывная война, которая продолжается всю жизнь”. Эта концепция совершенно абсурдна. Кто говорит “человек”, тот говорит “язык”, а кто говорит “язык”, тот говорит “общество”. Полинезийцы Бугенвиля (в “дополнение к путешествию” этого автора Дидро предлагает свою теорию), так же, как и мы, жили в обществе. Утверждая обратное, мы повернулись бы против этнографии, а вовсе не в том направлении, в котором она побуждает нас к исследованиям.

Затрагивая эти вопросы, я все более убеждаюсь, что не существует другого ответа, кроме того, который дал Руссо – некогда скандальный, а ныне совершенно забытый, нелепо обвиненный в восхвалении природного состояния человека. А ведь это заблуждение Дидро, а не Руссо; Руссо утверждал прямо противоположное и первым указал выход из противоречий, среди которых мы до сих пор блуждаем, отправившись вслед за его противниками. Среди философов Руссо был самым выдающимся этнографом, хотя он никогда не путешествовал в далекие страны; его осведомленность была настолько полной, насколько это было возможно для человека его эпохи; в противоположность Вольтеру, он был преисполнен симпатии к обычаям и образу мышления различных народов. Он был нашим учителем, нашим братом, к которому мы были так неблагодарны, но которому я мог бы посвятить каждую страницу этой книги, если бы такая дань оказалась достойной его великой памяти. Чтобы освободиться



от противоречия, неразрывно связанного с положением этнографа, мы должны пройти тот путь, который позволил ему совершить эволюцию от руин, оставленных “Рассуждением о начале и основаниях неравенства”, до великой конструкции “Общественного договора”, тайну которого открывает нам “Эмиль”. Мы обязаны Руссо тем, что мы знаем, каким образом, уничтожив всякий порядок, еще можно открыть принципы, которые позволяют строить новый порядок.

Никогда Руссо не совершал ошибки Дидро, состоящей в идеализации природного человека. У него никогда не было искушения смешивать природное состояние с общественным, ибо он знал, что это последнее неотделимо от человека, но является причиной страдания. Вопрос лишь в том, действительно ли эти страдания неизменно сопутствуют общественному состоянию. А значит, за любыми злоупотреблениями и преступлениями следует искать незыблемые основания человеческого общества.

К этому поиску этнографическое исследование причастно двояким образом. Оно показывает, что в нашей цивилизации до этих оснований невозможно добраться: из всех известных нам обществ наше определенно наиболее удалено от них. С другой стороны, выделяя общие черты большинства человеческих культур, этнография помогает сконструировать тот тип общества, который в чистом виде не присутствует ни в одной из культур, но который определяет направление исследования. Руссо считал, что уклад жизни, который мы сегодня называем неолитическим, является наиболее приближенным к этому идеалу. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Я склоняюсь к тому, что он был прав. В неолитический период человек уже совершил большинство открытий, необходимых для обеспечения своей безопасности. Мы уже рассматривали, почему из этого списка можно исключить письменность; не боясь впасть в примитивизм, мож-

но сказать, что письменность является обоюдоострым оружием, чему свидетельство – открытия современной кибернетики. В эпоху неолита человек сумел защитить себя от холода и голода, высвободил время для развития мышления; он, правда, не умел противостоять болезням, но вовсе не очевидно, что прогресс в области профилактики здоровья был чем-то большим, нежели просто переходом к иным механизмам регулирования: голод и губительные войны удерживали демографическое равновесие с не меньшей беспощадностью, чем эпидемии.

В то время мифов человек не был более свободен, чем сегодня, – он был рабом своей принадлежности к человеческому роду. Поскольку его власть над природой была очень ограничена, его хранила и в определенном смысле освобождала тонкая защитная оболочка грез. По мере того как фантазии преобразовывались в знание, возрастало могущество человека, что, в свою очередь, оставляло нас – если можно так выразиться – “с глазу на глаз” с космосом. И действительно, чем же еще является это могущество, этот источник нашего бесконечного высокомерия, если не субъективным осознанием постепенного слияния человека с физическим миром? Его великие причинно-следственные законы теперь уже не действуют как чуждые, превосходящие нас силы, но при посредстве разума поработают нас, включая в безмолвный мир, действующими лицами которого мы теперь являемся.

Руссо, по-видимому, был прав, считая, что для нашего блага было бы лучше, чтобы человечество придерживалось “золотой середины между инертностью первобытного состояния и неукротимой активностью нашего самолюбия”, что такое состояние было “лучшим для человека”, и для того, чтобы его утратить, был необходим “какой-то роковой случай”, в котором можно распознать исключительное вдвойне – поскольку оно было единственным и запоздалым – возникновение машинной цивилизации. Разумеется,

это срединное состояние уже не является примитивным, поскольку в нем заложена и допускается определенная мера прогресса; понятно также, что ни одно из описанных обществ не соответствует идеальной картине, даже если “пример дикарей, которых находят почти везде в этом девственном состоянии, подтверждает, как кажется, что род человеческий был создан для того, чтобы навсегда остаться в этом состоянии”.

Изучение дикарей дает нечто большее, нежели просто открытие в самом сердце джунглей утопического “природного” человека или идеального общества: оно помогает нам выстроить теоретическую модель человеческого общества, не соответствующего ни одной из существующих доступных для наблюдения реальностей; при помощи этой модели мы можем отличить “то, что первично, и то, что искусственно в нынешней природе человека, и постичь государство, которого уже не существует, может быть, никогда не существовало и, возможно, никогда не будет существовать, но о котором следует иметь точное представление, чтобы лучше понять наше нынешнее государство”. Я уже цитировал эти постулаты, чтобы объяснить смысл моего исследования культуры *намбиквара*, ибо мысль Руссо, всегда опережающая свою эпоху, не отделяет теоретической социологии от лабораторного или полевого этнографического исследования, необходимость которого я так ясно понял. Природный человек не может существовать ни прежде общества, ни вне его. Нам следует определить его статус как имманентный состоянию общества, вне которого жизнь человека немыслима, а затем разработать программу исследований, которые “были бы необходимы для познания природного человека” и выбрать “средства для проведения этих исследований в недрах общества”.

Но эта модель – таков окончательный вывод Руссо – является вечной и универсальной. Другие общества не

могут быть лучше нашего, и даже если мы склонны так думать, мы не имеем в своем распоряжении метода, посредством которого могли бы это доказать. Но все же, познавая глубже эти общества, мы обретаем возможность отстраниться от нашего собственного, но не потому, что оно абсолютно и исключительно порочно, а лишь потому, что только от него нам и следует освободиться; и сделать это позволит существование других обществ. Таким образом мы получаем возможность перейти ко второму этапу, который заключается в том, чтобы, не оставляя ничего от конкретного общества, но используя все, вычленив основные принципы общественной жизни, которые помогут нам реформировать наши собственные обычаи, а не обычаи иных обществ. Обладая этой привилегией, которая одновременно является и ограничением, мы сможем изменить только собственное общество без риска его разрушить, поскольку производимые нами изменения рождаются в нем самом.

Правда, используя эту вневременную и внепространственную модель, мы все же подвергаемся некоторой опасности, заключающейся в недооценке реальности прогресса. Наша позиция сводится к утверждению, что всегда и везде люди пытались решить одну и ту же задачу, определяя себе ту же самую цель, и что в ходе истории менялись только средства достижения этой цели. Сознаясь, что эта позиция не вызывает во мне беспокойства, она кажется мне наиболее согласующейся с фактами, которые открывают перед нами история и этнография, но главное, эта позиция кажется мне плодотворной. Фанатичные сторонники прогресса рискуют ошибиться, недооценивая огромные богатства, накопленные человечеством по обе стороны того узкого пространства, к которому прикован их взор; переоценивая значимость совершенных усилий, они недооценивают значимость тех, которые нам еще предстоит совершить. Если наши далекие предки

никогда не занимались ничем другим, кроме как построением жизнеспособного общества, то те силы, которые их вдохновляли к этому, есть также и в нас. Ничто не решено окончательно, мы можем все начать сначала. То, что было сделано, но сделано плохо, можно переделать. “Золотой век, который наше слепое суеверие помещает позади нас (или перед нами), находится в нас.” Братство людей обретает конкретный смысл: в самом убогом племени мы, как в зеркале, видим отражение нашего образа и находим опыт, который наряду с любым другим опытом может стать нам наукой. Мы можем обрести в этом знании былую свежесть, ибо осознание того, что тысячами веками человечество только повторяло одни и те же попытки, мы достигнем того благородства мыслей, которое, помимо всего сказанного, придает отправной точкой наших размышлений невыразимое величие начал. Поскольку для каждого из нас быть человеком значит принадлежать к определенному классу, определенному обществу, стране, континенту, цивилизации, для нас, европейцев и жителей материка, приключение в самом сердце Нового Света прежде всего означает осознание, что это не наш мир, что мы поступили преступно, уничтожив его, и что это уже необратимо.

Признавшись себе в этом, мы должны приложить все силы, чтобы выразить этот мир в его первозданных проявлениях, мысленно возвратившись в то время, когда наш мир упустил возможность выбора своей миссии.

# Таксила

У подножия гор Кашмира, между Равалпинди и Пешаваром, в нескольких километрах от железной дороги находится район археологических раскопок — Таксила. Я отправился туда по этой железной дороге и, сам того не желая, стал виновником небольшой драмы. Единственное купе первого класса, в которое я сел, было старого образца — четыре спальных, шесть сидячих мест — и напоминало нечто среднее между повозкой для скота, салоном и тюремной камерой (на окнах были защитные решетки). Здесь расположилась мусульманская семья: муж, жена и двое детей. Дама была *purdah\**; нарочито повернувшись ко мне спиной, обернувшись в *burkah\*\**, она сжалась в комок на своей скамейке. Но, несмотря на эти попытки отделиться, соседство со мной казалось крайне неприличным, и семья была вынуждена разделиться: женщина с детьми перешла в женское купе, муж остался на зарезервированных местах, бросая в мою сторону враждебные взгляды. Честно говоря, мне было легче смириться с этим инцидентом, чем с видом зала ожидания на станции, где мне пришлось ждать поезда; этот зал ожидания находился рядом с помещением, где вдоль обшитых коричневым деревом стен стояло два десятка унитазов, будто приготовленных для заседания какого-нибудь энтерологического общества.

---

\* То есть соблюдала религиозное предписание о затворничестве женщины (*purdah* или *pardah*). — Прим. перев.

\*\* *Burkah* (*burka*, *burqa*) — разновидность паранджи, которую носят мусульманки в Индии. — Прим. перев.

Один из тех небольших конных экипажей, называемых *gharry*, в которых приходится сидеть спиной к вознице, рискуя выпасть через поручень при любом толчке, довез меня до археологической стоянки. Наш путь пролегал по пыльной дороге среди саманных хижин, расположившихся в тени эвкалиптов, тамарисков, шелковиц и перцевых деревьев. Апельсиновые и лимонные сады раскинулись у подножья отливающего голубизной холма, на котором росли оливковые деревья. По дороге я обгонял крестьян в одеждах пастельных цветов: белых, розовых, сиреневых и желтых, — и в тюрбанах в форме лепешки. Наконец, я добрался до административных строений, окружающих музей, где по договоренности я мог остановиться на короткое время, необходимое для посещения раскопок, — хотя с тем же успехом я мог бы не предупреждать о своем визите, поскольку “официальная и срочная” телеграмма, которую я выслал накануне из Лахора, попала в руки директора лишь через пять дней из-за наводнений в Пенджабе.

Таксила, которая когда-то носила санскритское название Такшашила — город каменотесов, — занимает двойной амфитеатр глубиной десять километров, образованный сходящимися долинами рек Харо и Тамра-Нала, называвшейся в древности Тиберио-Потамос. Обе долины и разделяющий их горный хребет были постоянно, в течение десяти или двенадцати веков, заселены людьми, начиная от самого древнего из обнаруженных при раскопках поселка, основанного в шестом веке до нашей эры, вплоть до разрушения буддийских монастырей белыми гуннами, которые завоевали царства Кушан и Гуптов между 500 и 600 годами после Рождества Христова.

Поднимаясь вверх по долинам, вы спускаетесь в глубь веков. Бхир Маунд, расположенный у подножья срединного хребта, — самое древнее поселение; несколькими километрами выше находится город Сиркап, который достиг наивысшего расцвета в период парфянского вла-

дычества, а сразу за его стенами – зороастрийский храм Джандиал<sup>151</sup>, который посетил Аполлоний Тианский<sup>152</sup>; еще далее лежат города Кушан, Сирсук, а вокруг на возвышенностях находятся *ступы*<sup>153</sup> и буддийские монастыри Мохра Мораду и Джаулиан Дхармараджика со множеством статуй, которые были выполнены из сырой глины: пожары гуннов обожгли их и тем самым совершенно случайно спасли от разрушения временем.

Около V века до нашей эры здесь был небольшой городок, присоединенный к империи Ахеменидов, впоследствии он стал университетским центром. В 326 г. до н.э., во время своего похода к Джамне Александр Македонский провел несколько недель в том месте, где сегодня находятся руины Бхир Маунд. Через сто лет в Таксиле воцаряется династия Маурьев; Ашока, ко времени правления которого относится самый большой из известных нам *стupa*, способствовал распространению буддизма. После смерти Ашока в 231 году до н.э. империя Маурьев распадается, и ей на смену приходят греческие цари из Бактрии. В восьмидесятих годах до н.э. здесь поселяются скифы, которые вскоре тоже оставляют страну, уступая ее парфянам, владычество которых длится примерно до 30 года н.э.; держава парфян простиралась от Таксилы до Дура-Европоса. Этим периодом датируется посещение Таксилы Аполлонием Тианским. Однако, начиная со второго века до н.э., на северо-западе происходит миграция кушанских племен; они покидают Китай около 170 года до Рождества Христова, доходят до Бактрии, Окса<sup>154</sup>, Кабула и, наконец, достигают Северной Индии, заселяют ее примерно к 60 году, некоторое время соседствуя с парфянами. Начиная с III века н.э., империя кушан постепенно приходит в упадок и спустя двести лет погибает под ударами гуннов. Когда в VII веке китайский паломник Сюань-цзан<sup>155</sup> посетил Таксилу, он нашел лишь жалкие следы былого величия.

В центре Сиркапа, по развалинам которого на земле вычерчивается четырехугольный план с ровными нитками



улиц, возвышается памятник, раскрывающий подлинное значение Таксилы: это так называемый алтарь “двуглавого орла”. На его цоколе видны три барельефных портика: один с фронтоном в греко-римском стиле, второй — в форме колокола в бенгальском стиле, третий соответствует архаическому буддийскому стилю порталов Бхархута<sup>156</sup>. Но мы недооценили бы Таксилу, считая ее местом, где на протяжении нескольких веков сосуществовали только три величайшие духовные традиции Старого Света: эллинизм, индуизм и буддизм, — ибо в Таксиле также представлены и персидский зороастризм, и культуры скифов и парфян, степная цивилизация которых соединилась здесь с греческим вдохновением, благодаря чему были созданы самые прекрасные украшения, когда-либо выходившие из рук ювелиров; воспоминания об этом были еще живы, когда ислам покорил эти земли, чтобы обосноваться на них навсегда. За исключением христианства, здесь встречаются все влияния, пронизывающие цивилизацию Старого Света. Далекие друг от друга источники смешали здесь свои воды. И я, пришлый европеец, предаваясь размышлениям на этих руинах, воплощаю собой единственную традицию, которой здесь недостает. Где же, если не в этом месте, представляющем его микрокосм, человек Старого Света мог бы вслушаться в самого себя, связывая себя с собственной историей?

Однажды мне довелось бродить у самых стен Бхир Маунд, окруженных насыпями вынутаго грунта. Этот небольшой городок, от которого остались только фундаменты, уже не поднимается над уровнем геометрических улочек, по которым я ступал. Мне казалось, что я рассматриваю его план с очень большого расстояния, и эта иллюзия, усиленная отсутствием растительности, еще более углубляла древнюю историю. Быть может, в этих домах жили пришедшие вслед за Александром греческие скульпторы, создатели искусства Гандхары<sup>157</sup>, которые вдохновили древних буддистов на дерзкие попытки изобраа-

жать их бога. Мой взгляд остановился на чем-то блестящем, лежащем у моих ног; это была вымытая дождем серебряная монета с греческой надписью: *MENANDR U BASILEUS SÔTEROS*\*. Чем был бы сегодня Запад, если бы попытка воссоединения средиземноморского мира с Индией увенчалась успехом? Существовали бы христианство и ислам? Прежде всего меня интересовал ислам, и не только потому, что я провел предыдущие месяцы в мусульманской среде. Здесь, перед великими памятниками греко-буддийского искусства, мой взор и мои мысли все еще были заняты воспоминаниями о дворцах Моголов, посещению которых я посвятил последние недели пребывания в Дели, Агре и Лахоре. Поскольку я плохо знал историю восточной литературы, произведения искусства овладевали мной (так же, как это происходило со мной у первобытных народов, к которым я прибывал, не зная их языка), и это была единственная нить, за которую я мог зацепиться в своих размышлениях.

После Калькутты с ее кишасей нищетой и грязными предместьями, которые кажутся лишь транспозицией на человеческий уровень гниющего тропического изобилия, я надеялся, что в Дели обрету безмятежность истории. Я воображал, что буду мечтать при свете луны в старомодном отеле, приютившемся у древних стен, как в Каркассоне или Семюре. Когда мне сказали, что я могу выбирать между старым и новым городом, я без тени сомнения назвал отель в старой части города. Каково же было мое удивление, когда мне пришлось около тридцати километров ехать в такси по какой-то беспорядочной местности; я спрашивал себя, что это: древнее поле битвы, где среди растительности виднелись одни развалины, или заброшенная строительная площадка. Мое разочарование усилилось, когда мы, наконец, приехали в так называемый старый город: как и во всех других местах, это было

---

\* Менандр, Царь-Избавитель. — Прим. перев.

английское поселение. В последующие дни я понял, что здесь мне не удастся найти — как в европейских городах — прошлого, сконцентрированного на малом пространстве. Дели показался мне, скорее, саванной, открытой на все стороны света, в которой памятники рассыпаны, словно игральные кости на ковре. Каждый монарх хотел построить собственный город, опустошая и разрушая уже существующий, чтобы использовать строительный материал. Это был не один Дели, а двенадцать или тринадцать, затерявшихся и отдаленных друг от друга на десятки километров на равнине, где повсюду можно было обнаружить надгробье, памятник или гробницу. Ислам и раньше сбивал меня со следа своим отношением к прошлому, противоположным нашему и противоречивым внутренне. Заботе о создании собственных традиций сопутствовала жажда уничтожения всех предыдущих традиций, каждый монарх стремился творить вечное, уничтожая тленное.

Как образцовый турист я прилежно преодолевал расстояния, посещая памятники архитектуры. Казалось, что каждый из них возведен в пустыне.

Красный Форт<sup>158</sup> — это дворец, сочетающий в себе характерные черты Ренессанса (например, мозаика из *pietra dura*<sup>159</sup>) и только зарождающегося стиля Людовика XV; здесь приходишь к убеждению, что стиль этот возник благодаря монгольским влияниям. Несмотря на великолепие материалов и утонченность отделки, я чувствовал неудовлетворенность. Во всем этом нет ничего от архитектуры, а следовательно, ничего от дворца; скорее, это похоже на ряд шатров, навсегда установленных в саду, который тоже производит впечатление идеализированного табора. Все элементы декора будто созданы руками ткача: мраморные балдахины *jali*\* повторяют драпировку гардин и буквально (а не метафорически) являются “кружевом из камня”. Мраморный царский балдахин — точная

---

\* *Jali work* (инд. *jali network*) — декор, выполненный в мраморе, в виде складчатого полога, покрывала (англ.). — Прим. перев.

копия раскладного драпированного деревянного балдахина, и так же, как его модель, он дисгармонирует с залом для приемов. Даже древний мавзолей Хумаюна<sup>160</sup> производит на посетителей то неприятное впечатление, которое возникает, когда отсутствует самое важное: огромная красивая глыба, где каждая деталь прекрасна, но нельзя уловить органичной связи между частями и целым.

Большая Мечеть XVII века Джама-Масджид<sup>161</sup> гораздо более удовлетворяет западного наблюдателя как своим архитектурным, так и цветовым решением: чувствуется, что она была задумана и построена как единое целое. За четыреста франков мне показали самые старые экземпляры Корана, волосок из бороды Пророка, закрепленный кусочком воска на дне стеклянной шкатулки, наполненной лепестками роз, а также его сандалии. Нищий правоверный, пользуясь моментом, приближается, чтобы тоже взглянуть, но смотритель с негодованием отталкивает его. Потому ли, что он не заплатил четыреста франков, или же вид этих реликвий является слишком большим зарядом магической силы для верующего?

Чтобы склониться перед величием цивилизации, надо посетить Агру. Можно что угодно говорить о Тадж-Махале и его сусальной красоте цветной почтовой открытки, можно иронизировать по поводу нашествия английских молодоженов, которые удостоились привилегии провести свой медовый месяц в правой части храма из розового песчаника, или по поводу старых дев, не менее англосаксонских, которые до самой смерти будут с любовью вспоминать Тадж, сияющий под звездами и отбрасывающий белую тень в воды Джамны, — все это приметы Индии 1900 года; но стоит вдуматься, и начинаешь замечать существование более глубоких связей, чем просто историческая случайность или факт завоевания. Конечно, в 1900-х годах Индия европеизировалась, и свидетельства этого факта сохранились в ее викторианских обычаях и в языке: *lozange* — леденец, *commôde* — унитаза. Однако, с

другой стороны, здесь более отчетливо понимаешь, что эти годы были “индийским периодом” на Западе: чрезмерная роскошь богатых, равнодушие к нищете, мода на томные и жеманные манеры, чувственность, пристрастие к цветам и духам — и так далее, вплоть до тонких усов, локонов и безделушек.

Во время посещения построенного в XIX веке одним миллиардером в Калькутте знаменитого джайнского храма, расположенного посреди парка и окруженного множеством чугунных статуй, покрытых серебром, а также мраморных скульптур работы каких-то бездарных итальянцев, мне показалось, что я узнаю в алебастровом павильоне, инкрустированном мозаикой из зеркал и напоенном запахом духов, картину самого роскошного публичного дома, какой только могли себе представить наши деды в пору своей ранней молодости. Но отмечая про себя этот факт, я не осуждал тех людей, которые возводят храмы, похожие на бордели; если уж порицать кого-то, то скорее нас самих за то, что не нашли в нашей цивилизации другого места для утверждения нашей свободы и достижения пределов нашей чувственности, — а ведь таким местом по самой своей сути должен быть храм. В Индии я вглядывался в экзотический образ нас самих, отраженный в наших собратях-индоевропейцах: они развивались в другом климате, соприкасаясь с другими цивилизациями, но их тайные искушения были так подобны нашим — тем самым, которые в определенные периоды (как, например, в начале века) и у нас всплывали на поверхность.

В Агре нет ничего похожего: там властвуют иные тени, тени средневековой Персии и ученой Аравии, застывшие в формах, которые многие считают слишком традиционными. Однако я не верю, чтобы кто-нибудь из посетивших эти места, если он сохранил в себе хоть немного духовной свежести, не ощутил волнения, переступив границу Таджа — одновременно границу пространства и времени — и оказавшись прямо в мире “Тысячи и

одной ночи”: быть может, во всем этом нет того изящества, которым покоряет мавзолей Итимад-уд-Даула<sup>162</sup>, бесценная жемчужина, белое, желтое, палевое диво; или розовый мавзолей Акбара<sup>163</sup> с его обезьянами, попугаями и антилопами, расположенный на кромке песчаного ландшафта, где бледная зелень мимозы растворяется в валёрах<sup>164</sup> грунта, и только вечером пейзаж оживляется зелеными попугаями, сойками цвета бирюзы, тяжелым полетом павлинов и гомоном обезьян, сидящих под деревьями.

Но так же, как все дворцы, Красный Форт и мавзолей Джахангира<sup>165</sup> в Лахоре, Тадж остается исполненной в мраморе имитацией драпировки из ткани. Угадывается даже каркас, на который натянута обивка. В Лахоре этот же эффект воспроизведен в мозаике: ярусы не составляют единой композиции, а просто повторяются. В чем же заключается более глубокая причина этой скудности, в которой мы обнаруживаем источник сегодняшнего пренебрежения мусульман к пластическим искусствам? В университете в Лахоре я познакомился с одной англичанкой, женой мусульманина, которая руководила факультетом изящных искусств. Посещать ее лекции разрешено только девушкам; скульптура запрещена, музыка – в глубокой конспирации, живопись изучается как искусство для развлечения. Поскольку отделение Индии от Пакистана проходило по линии религиозного раздела, в Пакистане наблюдалось обострение нетерпимости и пуританства. Искусство, как говорят, “ушло в подполье”. Это было не только стремлением сохранить верность исламу, но, может быть, в гораздо большей степени желанием отмежеваться от Индии: уничтожение идолов воскрешает Авраама в совершенно новой политической и национальной ипостаси. Попрание искусства означает отторжение от Индии. Ведь идолопоклонничество (в дословном смысле слова, означающем личное присутствие бога в его изображении), еще живо в Индии – в равной мере и в бедном районе Калигхата<sup>166</sup>, и в базиликах из железобето-

на, высшихся в отдаленных предместьях Калькутты и посвященных недавно возникшим культам; жрецы этих культов, с обритыми головами, босые, в желтых одеяниях, принимают посетителей, сидя у печатных машинок в современных офисах, окружающих святыню, и занимаются распределением поступлений от последнего миссионерского турне в Калифорнии. “Храм XVII столетия”, — говорят мне *business-like*\* жрецы-чичероне (но здание облицовано кафельной плиткой, изготовленной в XIX веке). В этот час святыня закрыта; если я вернусь завтра утром, я смогу со специально указанного места сквозь приоткрытые двери увидеть между двумя колоннами богиню. Здесь, как и в величественном храме Кришны на берегу Ганга, святыня является алтарем бога, который принимает только в праздничные дни; обычное отправление культа состоит в том, чтобы сидеть в коридорах и сплетничать со слугами божьими по поводу предрасположения господина. Поэтому я удовлетворился прогулкой по близлежащим улочкам, заполненным попрошайками, желающими поживиться за счет культа — хорошее оправдание прибыльного дела, — по пути разглядывая олеографии и гипсовые изображения божества. Время от времени мне попадаются более непосредственные знаки: вот красный трезубец и камни, приваленные к кишкообразному стволу фигового дерева, — это Шива; этот алтарь в красных тонах — Лакшми; вот дерево, на ветвях которого висят камешки и лоскуты ткани, — это обитель Рамы-Кришны, исцеляющего бесплодных женщин; а под этим усыпанным цветами алтарем бодрствует бог любви Кришна.

Этому невзыскательному, но удивительно живому религиозному искусству мусульмане противопоставляют своего единственного и официального художника Чаггаи — английского акварелиста, черпающего вдохновение из раджпутских миниатюр<sup>167</sup>. Почему мусульманское искусство

---

\* *Business-like* — деловой, практичный (англ.). — Прим. перев.

пришло в такой упадок? Достигнув своей вершины, оно без всякого перехода шагнуло из дворца прямо на базар. Не является ли это следствием запрета на изображения? Художник, лишенный всякого контакта с реальностью, следует условностям, столь безжизненным, что их нельзя ни омолодить, ни оплодотворить. Их поддерживает золото, иначе они падут. Один эрудит, который сопровождал меня в Лахоре, испытывал крайнее презрение к сикхским фрескам, украшающим Форт: *"Too showy, no colour scheme, too crowded"*\*. И действительно, между ними и фантастическим зеркальным плафоном в Шиш-Махале, который сияет, как звездное небо, — целая пропасть. Но, как это часто кажется, современная Индия в сравнении с исламом вульгарна, кичлива, простонародна и прекрасна.

Кроме фортов, мусульмане строили в Индии только мечети и мавзолеи. Однако форты были обитаемыми дворцами, тогда как от мечетей и мавзолеев веяло пустотой. Здесь вновь обнаруживается трудность, которую испытывает ислам, стараясь выразить понятие одиночества. По исламу, жизнь — это прежде всего общность, и потому умерший навечно остается в рамках сообщества, но — в одиночестве.

Существует разительный контраст между великолепием огромных мавзолеев и небольшими размерами помещенных в них гробниц — крошечных, тесных могил. Для чего предназначены эти залы и окружающие их галереи, которыми пользуются только посетители? Европейская могила соразмерна своему обитателю, мавзолеи встречаются редко, искусство и изобретательность направлены на то, чтобы облагородить саму могилу и сделать ее удобной для умершего.

В исламе гробницу составляют величественный мавзолей, которым мертвец не пользуется, и убогая могила

---

\* "Слишком крикливо, цвета совершенно не сочетаются, слишком много всего" (англ.). — Прим. перев.



(разделенная к тому же на внешний саркофаг и скрытый гроб), в которой покойник подобен узнику. Решение проблемы вечного покоя содержит в себе двойное противоречие: с одной стороны — изысканный и бесполезный комфорт, с другой — отсутствие реального комфорта; первое компенсирует второе. Разве это не символ мусульманской цивилизации, в которой самая изысканная роскошь: дворцы из драгоценных камней, фонтаны с розовой водой, блюда, приготовленные в золотой посуде, курительный табак, смешанный с толченым перламутром, — служит для того, чтобы скрыть грубость обычаев и ханжество, которыми проникнута нравственная и религиозная мысль.

В области эстетики пуританство ислама, смирившись с отказом от выражения чувственности, довольствуется малыми формами: духами, кружевами, вышивками и садами. В области морали поражает та же самая двусмысленность показной терпимости, вопреки очевидному принудительному прозелитизму. И действительно, при столкновении с иноверцами мусульман охватывает тревога, провинциальному стилю их жизни угрожают другие, более свободные и более гибкие традиции, нарушая его равновесие уже самим лишь своим присутствием.

Впрочем, следовало бы говорить не о терпимости, а скорее о том, что эта терпимость в ее нынешних границах является для мусульман постоянным преодолением самих себя. Провозгласив ее, Пророк обрек их на длительный кризис, являющийся следствием противоречия между универсальной локализацией откровения и необходимостью признания большинства религиозных верований. Это “парадоксальная” ситуация в духе Павлова<sup>168</sup>, порождающая, с одной стороны страх, а с другой — уверенность в себе, основанную на вере, что благодаря исламу можно преодолеть этот конфликт. Однако, как сказал в разговоре со мной один индийский философ, напрасно мусульмане гордятся тем, что провозглашают универсальную ценность великих принципов свободы, равноправия и терпи-

мости, поскольку, требуя доверия к себе, они тут же сами его разрушают, утверждая, что только они одни придерживаются этих принципов.

Однажды в Карачи я оказался в обществе мусульманских мудрецов — профессоров и духовенства. Прислушиваясь к тому, как они восхваляли преимущества своей системы, я был потрясен настойчивостью, с какой они возвращались к одному и тому же аргументу “простоты”. Исламское законодательство в вопросах наследования более совершенно, чем индуское, потому что оно проще. Если вы хотите обойти традиционный запрет на ссуду под проценты, то достаточно подготовить договор сотрудничества между банкиром и кредитором, и процент превратится в участие первого в предприятии второго. Что касается аграрной реформы, то здесь мусульманский закон наследования пахотной земли будет действовать лишь до тех пор, пока есть возможность разделить землю, после чего его перестанут применять, чтобы избежать чрезмерного дробления, — ведь этот закон не является догматом веры. “*Here are so many ways and means*” \*...

Весь ислам по сути является методом развития в умах верующих непреодолимых конфликтов, с тем чтобы потом предоставить им спасение в форме простых решений (но уж слишком простых). Одна рука подталкивает верующих к пропасти, другая удерживает их над ее краем. Если, находясь вдали от дома, вы беспокоитесь о целомудрии ваших жен и дочерей, то нет ничего проще: наденьте на них паранджу и держите взаперти. Так появилась современная *burkah*, своим сложным покроем напоминающая ортопедический аппарат: марлевое окошко для глаз, застежки и завязки; грубая материя, из которой это сшито, плотно окутывает тело, скрывая его насколько возможно. Однако в результате вы беспокоитесь еще больше, поскольку теперь достаточно кому-то случайно

---

\* “Здесь так много путей и средств” (англ.). — Прим. перев.

задеть вашу жену, чтобы опозорить вас, и страх лишь усиливается. Разговор по душам с мусульманами позволяет понять две вещи: прежде всего, они одержимы досадебной девственностью своих жен и последующей их верностью в супружестве, а кроме того, *purdah*, то есть затворничество женщин, в какой-то мере действительно создает преграды для любовных интрижек, но, с другой стороны, оно способствует им, создавая женщине ее собственный мир, тайны которого известны только ей одной. В молодости наши герои сами проникали в гаремы, поэтому, женившись, они совершенно обоснованно становятся их стражниками.

Индусы и индийские мусульмане едят руками. Индусы делают это деликатно, легко, подхватывая пищу кусочком *chapati* (так называются большие лепешки, быстро пекущиеся на внутренней стороне глиняной корчаги, вкопанной в землю и на одну треть заполненной углями). У мусульман привычка есть руками становится системой, никто не держит кусок мяса за кость, чтобы откусить мякоть. Пользуясь только правой рукой (левая считается нечистой, потому что служит для омовения интимных мест), человек пытается отделить, оторвать кусок, а когда испытывает жажду, та же жирная рука берется за стакан. Наблюдая эти манеры за столом (которые в общем-то ничем не хуже других, но кажутся западному человеку проявлением вульгарности), я задаю себе вопрос, не является ли этот скорее обычай, чем архаичный пережиток результатом реформы, задуманной Пророком: "Не делайте так, как другие народы, которые едят ножом"? Эта реформа вызвана к жизни той же, по-видимому неосознанной, заботой о систематической инфантилизации; в результате эта реформа подталкивает к гомосексуализму посредством той близости, которая сопутствует ритуалам очищения после еды, когда все моют руки, полощут рот, икают и плюют в одну и ту же посудину, совершенно спокойно сочетая патологический аутичный страх перед

нечистотами с эксгибиционизмом. Впрочем, стремление к единству сопровождается необходимостью выделиться в качестве группы; об этом свидетельствует институт *pardah*. “Пусть ваши женщины будут укрыты покрывалом, чтобы их можно было отличить от других.”

Исламское братство опирается на культурные и религиозные основы, оно не имеет ни экономического, ни социального характера. Поскольку у нас один бог, хороший мусульманин тот, кто делит свой *hooka*\* с подметальщиком улиц. Нищий — действительно мой брат, прежде всего в том смысле, что мы оба по-братски признаем неравенство, которое нас разделяет. Отсюда эти две разновидности, столь знаменательные с социологической точки зрения: мусульманин-германофил и немец-исламист; если бы гвардейский корпус мог быть религиозным, ислам был бы для него идеальной религией: точное следование регламенту (молитвы пять раз в день, при каждой из них необходимо совершить пятьдесят поклонов), парад деталей, идеальная чистоплотность (ритуальные омовения), сближение мужчин в духовной жизни и в отправлении биологических функций — и никаких женщин.

Эти робкие люди одновременно являются людьми действия; запутавшись в противоречивых чувствах, они компенсируют чувство неполноценности традиционными формами сублимации, которые всегда ассоциировались с арабской душой: зависть, гордость, героизм. Но общность религиозной веры и историческая традиция не дают полного объяснения этому стремлению быть всегда среди своих, этой ментальности часовенки, присущей кочевникам (язык *урду* удачно называется языком “табора”), которая послужила истоком возникновения Пакистана. Это актуальный общественный факт, и его следует толковать как драму коллективного сознания, которая заставила миллионы индивидов совершить окончательный вы-

---

\* *Hookah* — кальян (англ.). — Прим. перев.

бор, оставить свою семью, профессию, планы на будущее, край своих предков и их могилы для того, чтобы быть среди мусульман, — и только потому, что они могут чувствовать себя уверенно лишь в этой среде.

Эта великая религия опирается не столько на веру в откровение, сколько на невозможность связи с внешним миром. Перед лицом универсальной благожелательности буддизма и христианского стремления к диалогу мусульмане не осознают собственной нетерпимости, в то время как те, кто несет за нее ответственность, если и не пытаются насильственно заставить других принять свои истины, то оказываются неспособными (и это еще опаснее) вынести существование других только потому, что они — другие. Чтобы защитить себя от сомнений и унижения, им остается лишь одно: “превратить в ничто” другого как свидетеля иной веры и иного поведения. Исламское братство — это обратная сторона нетерпимости мусульман к неверным, в которой они никогда не признаются, поскольку это означало бы признание существования самих неверных.

# Посещение кьенга

Я прекрасно понимаю причины того неприятного чувства, которое у меня возникло от соседства с исламом — в нем я увидел тот мир, из которого сам я был родом: ислам — это Запад Востока. Больше того, я должен был непосредственно столкнуться с исламом, чтобы оценить опасность, угрожающую сегодня французской мысли. Я не могу простить исламу того, что он предстает передо мной как образ моего мира и вынуждает меня констатировать, что Франция находится на пути к тому, чтобы стать мусульманской. Я заметил у мусульман такое же книжное отношение к жизни, то же утопическое мышление и ту же упрямую веру, что достаточно перечеркнуть проблему на бумаге, чтобы тут же от нее избавиться. Прикрываясь юридическим и формалистским рационализмом, мы создаем такую картину мира и общества, в которой все трудности можно оправдать при помощи изворотливой логики, и не отдаем себе отчета, что мир уже не состоит из тех вещей, о которых мы говорим. Так же, как ислам, застывший в созерцании общества, реально существовавшего шесть-семь веков тому назад, проблемы которого он в то время эффективно разрешал, мы все еще неспособны выйти в своем мышлении за рамки минувшей уже полтора века назад эпохи: тогда мы сумели приспособиться к истории, но ненадолго, ибо Наполеон, этот Западный Мухаммед, проиграл там, где Мухаммеду удалось победить. Так же, как мир ислама, революционную Францию постигла судьба, уготованная раскаявшимся революционе-

рам, которые превращаются в консерваторов, испытывающих ностальгию по прежнему положению вещей, некогда заставившему их занять бунтарскую позицию.

Наше отношение к народам и культурам, еще зависящим от нас, подвержено тому же противоречию, от которого по отношению к своим подопечным и остальному миру страдает ислам. Мы не понимаем того, что другие народы не настолько почитают принципы, которые некогда были залогом нашего расцвета, чтобы ради них отречься от своих собственных, — мы воображаем, что нам должны быть бесконечно признательны за то, что мы первыми изобрели эти принципы. Точно так же ислам, который на Ближнем Востоке первым провозгласил терпимость, не может простить немусульманам того, что они не оставляют своей веры и не обращаются в ислам, имеющий огромное преимущество над другими религиями: ведь он относится ко всем религиям уважительно. Парадокс нашей ситуации заключается в том, что нашими оппонентами в данном случае являются мусульмане и что ментальный корень, дающий жизнь обеим ветвям, обуславливает существование слишком многочисленных общих черт, исключающих взаимное противопоставление, — разумеется, в международном плане, поскольку идет спор между двумя буржуазными элитами. Политическое давление и экономическая эксплуатация не имеют права искать оправдания у своих жертв. Но даже если бы сорокапятимиллионная Франция открыла двери, чтобы впустить в страну на равных правах двадцать пять миллионов в большинстве своем неграмотных мусульман, то даже этот шаг не был бы более дерзким, чем тот, который сделала Америка, не желавшая оставаться глухой провинцией англосаксонского мира; когда граждане Новой Англии сто лет назад решили позволить иммиграцию наиболее обездоленных слоев общества из самых отсталых районов Европы и справились с захлестнувшей их волной, они заключили и выиграли пари; ставка в этой игре была не меньшей, чем та, на которую мы не можем решиться.

Рискнем ли мы когда-нибудь сделать то же самое? Могут ли две объединившиеся регрессивные силы изменить курс? Спасем ли мы себя или же, наоборот, сделаем неотвратимым наше поражение, если попытаемся, умножая прежние ошибки, сузить нынешние пределы влияния Старого Света и свести их к тем десяти или пятнадцати векам духовной нищеты, сценой и двигателем которой была западная половина этого мира. Здесь, в Таксиле, в буддийских монастырях, которые под влиянием греков заполнились статуями, я увидел ту мимолетную возможность остаться единым целым, которая некогда была у Старого Света: раскол еще не произошел, еще возможна иная судьба — именно та, которой воспрепятствовал ислам, возведя барьер между Востоком и Западом; не будь этого барьера, Восток и Запад, быть может, не утратили бы связи с общей почвой, в которую уходят их корни. Несомненно, ислам и буддизм, каждый по-своему, противопоставили себя этому восточному фону, тем самым противопоставив себя друг другу. Но, чтобы понять их взаимоотношения, не следует сравнивать ислам и буддизм в их исторической форме на момент их встречи, поскольку у ислама за спиной было около пяти веков, а у буддизма — почти двадцать. Учитывая это различие, следует обратиться к временам их расцвета, хотя цветы буддизма сохраняют свою свежесть как в самых ранних своих памятниках, так и в наиболее скромных нынешних своих проявлениях.

Мне не хочется отделять в своих воспоминаниях деревенские храмы на бирманской границе от стел из Бхархута, относящихся ко II веку до нашей эры, уцелевшие фрагменты которых приходится искать в Калькутте и Дели. Эти стелы, чье время и место изготовления исключают греческое влияние, первыми вызвали у меня изумление: европейцу они кажутся находящимися вне пространства и времени, словно их создатели, обладая машиной уничтожения времени, сосредоточили в своем творении три тысячи лет истории и — оставаясь на равном удалении



от Древнего Египта и от эпохи Возрождения – сумели в одном мгновении запечатлеть эволюцию, начавшуюся в эпоху, которую они не могли знать, и заканчивающуюся в эпоху, которая еще не наступила. Если существует вечное искусство, то вот его творение: оно могло быть создано пять тысячелетий тому назад, а могло возникнуть только вчера. В нем есть нечто, принадлежащее и пирамидам, и нашим зданиям, человеческие фигуры из розового мелкозернистого камня могли бы отделиться от стен и смешаться с толпой. Ни одна скульптура не вызывает такого глубокого чувства покоя и интимности, как эта, с ее невинно-бесстыдными женщинами и материнской чувственностью, которая находит удовольствие в противопоставлении матерей-любовниц и заточенных в монастырях девушек, в отличие от рабынь-любовниц небуддийской Индии. Это спокойная женственность, как бы освобожденная от конфликта полов, что, в свою очередь, выражают и бонзы в храмах, которые из-за своих обритых голов мало чем отличаются от монашек, являя собой нечто среднего пола – наполовину приживалы, наполовину узники.

Если буддизм, подобно исламу, и пытался усмирить развязность первобытных культов, то делал это через объединяющее умиротворение, которое дает человеку обещанное возвращение в материнское лоно; этот окольный путь возвращает эротизм, предварительно освободив его от неистовости и страха. Ислам развился в противоположном направлении – с мужской ориентацией. Сделав женщину узницей, он закрывает доступ к материнскому лону: женский мир мужчина превратил в мир замкнутый. Вероятно, так он надеялся обрести спокойствие; но достичь этого он пытался посредством исключения: исключением женщины из общественной жизни, исключением неверных из духовной общности; буддизм же понимает этот покой как соединение с женщиной и с человечеством, а также как асексуальное представление о божественности.

Невозможно представить себе большего контраста, чем контраст между Мудрецом и Пророком. Ни один из них не является богом – и это единственное, что их объединяет. Во всем остальном они противостоят друг другу: первый – целомудренный, второй – похотливый обладатель своих четырех жен, первый – существо двуполое, у второго – густая борода, первый миролюбив, второй воинственен, первый – образец для подражания, второй – мессия. Но их разделяет 1200 лет, и несчастьем западного сознания является то, что христианство, которое могло бы способствовать их синтезу, возникни оно позднее, появилось слишком рано – не как примирение *a posteriori* двух крайностей, а как переход от одного ко второму – как промежуточное звено, своей внутренней логикой, географией и историей призванное способствовать развитию в направлении ислама, поскольку, уступая во многом другому, ислам (здесь мусульмане празднуют триумф) все же представляет собой более развитую форму религиозной мысли; я даже сказал бы, что по этой причине из всех трех религий именно ислам вызывает наибольшее беспокойство.

Люди создали три великие религии, чтобы освободиться от преследования мертвых, от злых сил, потусторонних миров и страха перед магией. С интервалом в половину тысячелетия они поочередно создали буддизм, христианство и ислам; поразительно, что ни один из этих этапов не знаменует собой прогресс, а скорее свидетельствует о регрессе. Для буддизма не существует потустороннего мира: все сводится к критике, столь радикальной, что ничего более сильного человечество с той поры не смогло придумать. В итоге Мудрец приходит к отрицанию смысла вещей и живых существ: его учение отрицает мир и самое себя как религию. В свою очередь, христианство, делая уступку страху, возвращает загробный мир с его надеждой, угрозой и Страшным Судом. Исламу остается лишь соединить оба мира – земной и духовный. Общественный порядок строится по образу и подобию

сверхъестественного порядка, политика становится теологией. В результате духи и призраки, в которые суеверие так и не сумело вдохнуть жизнь, были заменены более чем реальными властителями мира сего, которым позволили монополизировать и потусторонний мир, что лишь отяготило и так уже непосильную ношу мира земного. Этот пример оправдывает честолюбивое стремление этнографа всегда добираться до первопричины: человек творит великие дела только в начале; истинную ценность имеет только первый шаг, все последующие действия полны нерешительности и сомнений, они направлены лишь на то, чтобы пядь за пядью возвращать себе уже освоенную территорию. Флоренция, которую я посетил после Нью-Йорка, сначала ничем меня не удивила: в ее архитектуре и пластических искусствах я узнавал Уолл Стрит XV века. Сравнивая искусство примитивов и художников сиенской школы с работами флорентийских мастеров, я испытывал разочарование: что же сделали эти последние, кроме того, чего как раз не следовало делать? И все же они оказались достойными восхищения. Величие первых шагов столь несомненно, что даже ошибки, если они совершены впервые, ослепляют нас своей красотой.

Сегодня я устремляю свой взор поверх ислама к Индии Будды, к домусульманскому периоду. Для меня, европейца, Мухаммед стоит между нашими самыми сокровенными помыслами и восточными учениями, как неумелый танцор, нарушающий гармонию танца: он разъединяет руки Востока и Запада, протянутые для взаимного пожатия. Какую чудовищную ошибку я бы совершил, если бы последовал за теми "мусульманами", которые, провозглашая себя христианами и людьми Запада, одновременно возводят на своем Востоке границы между двумя мирами! Оба мира ближе друг к другу, чем каждый из них к своему собственному анахронизму. Эволюционный путь развития противоположен историческому. Ислам рассек цивилизованный мир на две части. То, что кажется ему

современным, принадлежит минувшей эпохе, он живет во времени, смещенном на тысячу лет назад. Он сумел совершить революционный прорыв, но это касалось отколовшейся части человечества, и потому, оплодотворяя действительное, он выхолостил возможное; он способствовал прогрессу, который оказался противоположностью задуманного.

Пусть же Запад возвратится к истокам своего раскола: вклинившись между буддизмом и христианством, ислам обратил нас в свою веру, когда Запад, желая дать ему отпор, позволил себя вовлечь в крестовые походы и тем самым уподобился ему; а ведь если бы не было ислама, христианство могло постепенно слиться с буддизмом, который бы нас еще больше христианизировал, позволив нам выйти за пределы самого христианства. Именно тогда Запад упустил возможность обрести женское начало.

Эти размышления помогли мне лучше понять двусмысленность могольского искусства. Чувство, которое оно пробуждает, больше сродни восприятию музыки и поэзии, нежели архитектуры. Но разве мусульманскому искусству в силу тех же причин не суждено было остаться фантасмагорией? “Греза в мраморе” – говорят о Тадж-Махале. В этом определении из “Бедекера”<sup>169</sup> скрыта глубокая истина. Моголы грезили в своем искусстве, они создали буквально сотканные из сна дворцы, они не строили, а воплощали. Их архитектурные памятники волнуют своей поэтичностью и в то же время производят впечатление пустых раковин или карточных домиков. Это не настоящие дворцы, а скорее макеты, которые кажутся дворцами благодаря своей изысканной уникальности и прочности материалов.

В храмах Индии идол *является* божеством, божество пребывает в своем доме, его реальное присутствие придает храму ценность и грозность, оправдывая культовые предосторожности – например, запираание дверей в дни, когда бог не принимает.

Ислам и буддизм по-разному отреагировали на эту концепцию. Ислам отвергает и уничтожает идолов, мечети пусты, их оживляет только конгрегация верующих. Буддизм заменяет идолов изображениями Будды и, не испытывая сомнений, приумножает их количество, ибо ни одно из них само по себе не является богом, но лишь представляет его, а их многочисленность способствует активности воображения. В сравнении с индуистской святыней, где живут изображения божества, мечеть, в которой находятся только люди, кажется пустой, а буддийская святыня наполнена портретами. Греко-буддийские центры, в которых с трудом, как по плантации шампиньонов, передвигаешься среди статуй, часовенок и пагод, предваряют скромный *кьенг*<sup>170</sup> на бирманской границе, где стоят в ряд одинаковые, серийно изготовленные фигурки.

Однажды, в сентябре 1950 года, я оказался в одной деревушке *могхов*<sup>171</sup> на территории Читтагонга. Несколько дней я наблюдал, как женщины каждое утро приносят пищу для бонз; в часы сиесты я слышал удары гонга, чтение молитв и детские голоса, нараспев повторяющие бирманский алфавит. Кьенг был расположен на краю селения, на небольшом лесистом холме, похожем на те, которые тибетские художники любят изображать на втором плане. У его подножия находилась *jedi* (пагода): в этой бедной деревушке она представляла собой глинобитное строение конусообразной формы с семью концентрическими ярусами, возвышающееся на квадратной площадке, обнесенной бамбуковой изгородью. Прежде чем подняться на холм, мы сняли обувь; нежная, гладкая, мягкая глина была приятной для наших босых ступней. По обе стороны крутой тропинки лежали саженцы ананасов, вырванные накануне крестьянами, обиженными на жрецов за то, что те выращивают фруктовые деревья, хотя мирское население своими приношениями удовлетворяет их потребности. На вершине была небольшая площадка, с трех сторон окруженная крытыми соломой навесами

предназначенными для хранения объемных предметов из бамбука, обтянутого цветной бумагой, которые походили на бумажных змеев и служили для украшения праздничных процессий. С четвертой стороны возвышался храм, стоящий на сваях, как и деревенские хижины, от которых он отличался лишь несколько большими размерами и квадратной надстройкой под соломенной крышей, которая возвышалась над главным зданием. После преодоления болотистого подъема предписанное омовение казалось совершенно естественным и лишенным религиозного значения. Мы вошли внутрь. Свет падал через фонарь, образованный центральной клеткой прямо над алтарем, рядом с которым висели знамена из ткани и лежала циновка; кроме того, лучи проникали сквозь соломенную обшивку стен. Около пятидесяти отлитых из латуни статуэток теснилось на алтаре, рядом висел гонг, на стенах были размещены хромолитографии на религиозные темы, одна из них изображала ритуальное принесение в жертву оленя. Пол, представляющий собой плетение из толстых, разрезанных вдоль стеблей бамбука, блестел, натертый босыми ступнями, и мягко, словно ковер, прогибался под нашими ногами. Здесь царила спокойная атмосфера ови-на, в воздухе пахло сеном. Этот большой и просторный зал, напоминающий заброшенную мельницу, предупредительность двух бонз, стоящих возле своих сенников, покрывающих лежанки, трогательная старательность, с какой была подготовлена встреча, и аксессуары культа, — все это вместе взятое дало мне более яркое, чем когда бы то ни было, представление о том, чем в действительности является святыня. “Вам не обязательно делать то же, что и я”, — сообщил мне мой спутник; он четырехкратно простерся перед алтарем, я же последовал его совету, хотя мною руководило не высокомерие, а скорее чувство такта: мой товарищ знал, что я не являюсь приверженцем его веры, поэтому я боялся переусердствовать с ритуальными жестами и тем самым дал бы ему понять, что

считаю их чистой условностью; но я не чувствовал бы никакой стесненности, если бы мне пришлось их исполнить. Между этим культом и мной не было никакого недоразумения. За всем этим стояло не поклонение идолам или обожествление какого-то сверхъестественного порядка, но лишь воздаяние почести конечным истинам, к которым Мудрец или общество, создавшее свою легенду, пришли двадцать пять веков назад; моя цивилизация могла бы признать эти истины только в случае их подтверждения.

В сущности, разве то, что я узнал от профессоров, которых слушал, философов, которых читал, обществ, которые посетил, и даже от той науки, которой так гордится Запад, — разве все это не было лишь осколками учения, которые, если сложить их вместе, отражают размышления Мудреца, сидящего у подножия дерева? Любое усилие с целью понять разрушает предмет, на который оно направлено, превращая его в предмет совершенно иной природы; этот последний требует от нас нового усилия, которое вновь делает из него нечто иное, — и так до тех пор, пока мы не придем к пониманию вечного присутствия, в котором исчезает различие между смыслом и отсутствием смысла, того самого присутствия, из которого мы вышли. Прошло уже две с половиной тысячи лет с тех пор, как люди открыли и сформулировали эти истины. С того момента в поисках выхода мы открывали одну за другой все двери, но не нашли ничего нового, кроме бесчисленных дополнительных доказательств того вывода, от которого пытались убежать.

Разумеется, я вижу, какую опасность таит в себе поспешное отречение. Эта великая религия неведения основана не на нашей неспособности понять. Она свидетельствует о нашем потенциале и поднимает нас до уровня, на котором мы открываем истину в форме взаимоисключения бытия и познания. В своей великой дерзости она — единственная наряду с марксизмом — сводит мета-

физическую проблему к вопросу человеческого поведения. Ее разлом проявился на социологическом плане, поскольку принципиальное различие между Большой и Малой Колесницей заключается в решении ключевого вопроса. зависит или нет спасение личности от спасения человечества в целом.

Однако исторические ответы индийской нравственной традиции оказываются перед ледящей альтернативой: тот, кто на этот главный вопрос отвечал утвердительно, уединялся в монастыре; а кто с этим не соглашался — удовлетворялся практикой эгоистической добродетели.

Но несправедливость, нищета и страдания существуют и составляют промежуточное звено этого выбора. Мы не одиноки, и не от нас одних зависит, останемся ли мы глухи и слепы по отношению к людям и будем ли мы признавать человечность исключительно в нас самих. Буддизм может остаться непоколебимым, одновременно отвечая на вызов извне. И вполне возможно, что для великого мирового пространства он нашел отсутствующее звено цепи. Если конечный момент диалектики<sup>172</sup>, ведущий к пониманию, является верным, все другие звенья, которые его предваряют и ему соответствуют, также являются верными. Абсолютное отрицание смысла — это вершина серии этапов, каждый из которых ведет от меньшего смысла к большему. Последний шаг, для совершения которого необходимы все другие, в свою очередь подтверждает правомерность этих других. Каждый из них по своему и на свой собственный лад является частью конечной истины. Между марксистской критикой, которая освобождает человека от первых оков и учит его тому, что кажущийся смысл его судьбы исчезает с момента, когда он принимает решение расширить познаваемый предмет, и буддийской критикой, которая совершает окончательное освобождение, — нет ни антагонизма, ни противоречия. Обе делают одно и то же, каждая на своем уровне. Пространство между этими двумя крайними точ-



ками обеспечивает все стадии прогресса познания, которые непрерывное движение человеческой мысли от Востока к Западу, а затем от Запада к Востоку (быть может, только для подтверждения своего происхождения) прошло за два тысячелетия. Верования и предубеждения исчезают, когда речь заходит о реальных отношениях между людьми, нравственность отступает перед историей, текущие формы — перед структурой, а созидание — перед небытием. Достаточно изменить первоначальное направление, чтобы обнаружить симметрию: части накладываются друг на друга, пройденные этапы не уничтожают значимости тех, которые их подготовили, а лишь подтверждают их правомерность.

Изменяясь в своих собственных пределах, человек сохраняет за собой все позиции, которые он уже занимал или еще займет. Он одновременно повсюду, он — толпа, которая идет вперед, заполняя собой все пройденные этапы. Ведь мы живем во многих мирах, и каждый из этих миров более реален, чем тот, который заключен внутри него, и более иллюзорен, чем тот, который его окружает. Одни познают самих себя в действии, другие живут мыслью, но внешнее противоречие, связанное с сосуществованием этих миров, разрешается таким образом, что мы вынуждены выбирать ближайший из них и отказываться от более удаленного — в то время как истина заключена в прогрессирующем расширении значения, но происходящем в направлении, противоположном движению, вплоть до прояснения изначального смысла.

Следовательно, как этнограф я уже не одинок в том, что страдаю от противоречия — которое является противоречием всего человечества и заключает в себе свою первопричину. Противоречие исчезает только тогда, когда я открываю для себя крайность: зачем действовать, если мысль, которая управляет действием, разоблачает отсутствие смысла? Но это открытие становится доступным не сразу: его необходимо осознать, но я не могу враз охва-

тить его мыслью. Понадобится ли для этого двенадцать ступеней, как в Боддхи, будет ли их больше или меньше, все они существуют одновременно, и чтобы дойти до конца, мне придется постоянно переживать ситуации, каждая из которых чего-то от меня требует, я должен отдавать себя людям так же, как отдаю себя познанию. История, политика, мир экономический и социальный, физический мир и даже небо окружают меня концентрическими окружностями, из которых я не могу вырваться мыслью, не отдав каждому из них частичку своей личности. Так камень, ударяясь о поверхность воды, вызывает на ней круги, прежде чем опуститься на дно, — но сначала он должен быть брошен в воду.

Мир зародился без человека и умрет без него. Установления, традиции и обычаи, на описание и изучение которых уйдет вся моя жизнь, — все это только преходящее цветение существующего мира и по отношению к этому миру лишено какого бы то ни было смысла, разве что смысл заключается в том, чтобы позволить человечеству сыграть в этом мире свою роль. Но эта роль не обеспечивает человеку независимого положения и не требует от него заранее обреченных на неудачу усилий, направленных на бессмысленное сопротивление всеобщему уничтожению. Человек сам является машиной — быть может, более совершенной, чем другие, — работающей над разложением первичного порядка и подталкивающей хорошо организованную материю к постоянно возрастающей инертности, которая когда-нибудь станет окончательной. С того времени, как человек начал дышать и питаться, вся его деятельность, от добывания огня вплоть до изобретения атомных и термоядерных устройств, — за исключением воспроизведения себе подобных — была не чем иным, как успешным разрушением миллиардов структур, доведением их до того состояния, в котором они уже не подлежат интеграции. Да, он построил города и обрабатывал землю, но если об этом задуматься, то окажется, что эти действия

сами по себе продуцируют инерцию в таком ритме и в таких пропорциях, которые бесконечно превышают уровень их собственной организации. Что до творений человеческого духа, то они имеют смысл только для самого человека и канут в небытие с той минуты, когда не станет человечества. Цивилизация, рассматриваемая как целое, может восприниматься как необычайно сложный механизм, в котором мы хотели бы видеть шанс для выживания нашего мира, если бы функцией этого механизма не было создание того, что физики называют энтропией, то есть инертностью. Любое произнесенное слово, любая напечатанная строчка создают связи между собеседниками и нивелируют уровень, который ранее характеризовался различием в информации, а значит – большей организованностью. Вместо “антропология” следовало бы писать “энтропология”, то есть дисциплина, изучающая процесс дезинтеграции в его наиболее значительных проявлениях.

И тем не менее – я существую. Разумеется, не как индивидуум, ибо кем является индивидуум, как не постоянно обновляющейся ставкой в борьбе между обществом, сформированным из нескольких миллиардов нервных клеток, помещенных внутри термитника черепной коробки, и моим телом, которое служит ему в качестве робота. Ни психология, ни метафизика, ни искусство не могут дать мне убежища; это мифы, зависимые – также и изнутри – от социологии нового типа, однажды она возникнет и не будет к ним более снисходительна, чем все другие. “Я” не только достойно ненависти, для него нет места между “мы” и “ничто”. И если в конечном итоге я становлюсь на сторону этого “мы”, хотя оно и ведет к иллюзии, то потому, что, кроме уничтожения самого себя – а этот акт упразднил бы возможность любого предпочтения, – у меня есть только один выбор: между этой иллюзией и ничто. Поэтому достаточно самого акта выбора, чтобы он сам взял на себя без ограничений всю тяжесть человеческой судьбы, освобождаясь тем самым от интеллектуальной

гордыни, степень бессмысленности которой можно определить по ее предмету; тем самым я соглашаюсь подчинить ее притязания объективным требованиям освобождения всех тех, у кого нет никакой возможности сделать такой выбор.

Как личность не может существовать отдельно от группы, так и общество не может быть одиноким среди других, тем более, что человек не одинок во вселенной. Когда-нибудь радуга человеческих культур исчезнет в пустоте вследствие нашего безумия; но пока мы здесь и пока существует мир, эта хрупкая дуга, которая соединяет нас с недостижимым, будет существовать, указывая дорогу, противоположную дороге нашего рабства. Ее созерцание, ввиду невозможности преодолеть этот путь, — это единственная благодать, которую человек в состоянии заслужить. Задержать шаг, затормозить импульсы, которые вынуждают человека затыкать одну за другой зияющие щели в этой стене обреченности и тем самым окончательно завершить дело своего собственного заточения, — вот чего жаждет каждое общество, какими бы ни были его верования, политическое устройство и уровень развития. Это для него возможность перевести дух, обрести радость, покой и свободу, это его шанс на жизнь, шанс на освобождение, заключающийся в том, чтобы в те мгновения, на которые роду человеческому удастся прервать, наконец, свою мышиную возню, мысленно отвлечься от общества (прощайте, дикари и путешествия!) и уловить сущность того, чем этот род был и чем он еще является, — в созерцании минерала, более прекрасного, чем все творения рук человеческих, в аромате лилии, более мудрой, чем все наши книги, или во взгляде, исполненном терпения, безмятежности и взаимного прощения, которым в минуты случайного взаимопонимания нам удастся обменяться с кошкой.

*12 октября 1954 г. — 5 марта 1955 г.*

# Примечания

## Часть первая. Конец путешествиям

### Глава 1. Отъезд

<sup>1</sup> *Ресифи* — город и порт на северо-востоке Бразилии, административный центр штата Пернамбуку.

<sup>2</sup> *Зал Плейель (Salla Pleyel)* — концертный зал в Париже; построен в 1838 г. по специальному проекту фирмой “Плейель”, одной из ведущих фирм по производству музыкальных инструментов. На рояле “Плейель” играл Ф. Шопен в своем первом концерте в Париже. Фирму основал в 1807 г. в Париже австрийский и французский композитор и пианист Игнац Иосиф Плейель (1757-1831). Известны также Камилл Плейель (1788-1855), близкий друг Фредерика Шопена, владелец фабрики, издатель и французский композитор, а также его жена Мари Фелисте Дениз (Камилла), пианистка и педагог (1811-1875).

<sup>3</sup> “*Музеум*” — “Национальный музей естественной истории” в Париже; создан в 1791 г. на базе коллекций Ботанического сада.

<sup>4</sup> *Дюма (Dumas) Жорж* (1866-1946), французский психолог, выпускник *Ecole Normale Supérieure*, преподаватель философии, доктор медицинских наук, доктор гуманитарных наук, преподаватель, а позже почетный профессор Сорбонны; автор и редактор многих научных трудов; руководил изданием семитомного “*Nouveau Traite de psychologie*” (“Новый трактат по психологии”), которое было завершено уже после его смерти. Знаменитый “*Traite de psychologie*” (“Трактат по психологии”) написан Дюма в 1923 г.

<sup>5</sup> *Lanque d'oc* — язык населения исторической области на юге Франции (центр г. Тулуза), которая получила название Лангедок (*Lanquedoc*).

<sup>6</sup> Имеется в виду объявленная 22 июня 1940 г. капитуляция Франции, означавшая гитлеровскую оккупацию страны. Ж.Дюма было тогда 74 года.

<sup>7</sup> *Le Quai d'Orsay* — министерство иностранных дел во Франции.

## Глава 2. На корабле

<sup>8</sup> Рабле описывает, как несметное количество дичи: “большая косуля, четыре крупных дрофы, семь стрепетов, двадцать шесть серых куропаток и тридцать две красных, шестнадцать фазанов, девять бекасов, девятнадцать цапель, тридцать два диких голубя, штук десять-двенадцать то ли зайчиков, то ли кроликов, восемнадцать “пастушков”, пятнадцать вепрят, два барсука, три крупных лисицы”, — было приготовлено “на чем-то вроде жаровни, сделанной из двух седел, прежде принадлежавших рыцарям” (Ф.Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Глава XXVI).

<sup>9</sup> Лоуи (Lowie) Роберт Гарри (1883-1957) — американский этнограф.

<sup>10</sup> Метро (Métreaux) Альфред (1902-1963) — швейцарский и французский этнограф, автор книг по этнографии острова Пасхи и Южной Америки.

<sup>11</sup> Леви-Стросс два года (т.е. 1939-1940) воевал с гитлеровцами и после поражения Франции на “линии Мажино” (на границе с Германией, от Бельфора до Лонгюйона, “в девственных лесах”) в 1940 г. вместе со своей армией отступал на юг через департаменты Сарта, Коррез и Аверон до Безье, города на юге Франции, “в Севеннах”, неподалеку от Марселя, где он был демобилизован по причине капитуляции Франции.

<sup>12</sup> “Свободная Франция” — патриотическое движение за освобождение Франции от гитлеровцев, которое сформировал и возглавил генерал де Голль (с 1942 г. — “Сражающаяся Франция”).

<sup>13</sup> Доктрина Монро — внешнеполитическая программа правительства США, с которой в 1823 г. выступил в конгрессе президент США Дж.Монро; провозглашает принцип невмешательства Америки и Европы во внутренние дела друг друга.

### Глава 3. Антильские острова

<sup>14</sup> *Жозефина (Мари Жозефина Роза) Таше де ля Пажери* — креолка с острова Мартиники, которая в шестнадцать лет была выдана замуж за виконта Богарне и в 1779 г. прибыла в Париж, где ей предстояло потерять мужа (Богарне был казнен во время террора) и стать женой Наполеона Бонапарта и французской императрицей.

<sup>15</sup> *Баия* (Салвадор) — город и порт на северо-востоке Бразилии, административный центр штата Баия.

<sup>16</sup> *Сантус* — город и порт на юго-востоке Бразилии.

<sup>17</sup> *Монтань-Пеле (Montagne Pelée, или Mont Pelée — Мон-Пеле)* — действующий вулкан на о. Мартиника.

<sup>18</sup> *Сустель (Soustelle) Жак Эмиль* (р.1912) — французский ученый и общественный деятель; окончил университет в Лионе и *Ecole Normale Supérieure*, агреже философии, доктор словесности. В 1932-1939 гг. проводил научные исследования в Центральной Америке. В 1938-1939 гг. — вице-директор Музея Человека. В 1940 г. был членом комитета по объединению интеллектуалов-антифашистов под знамена генерала де Голля. Автор работ по истории культуры: *La pensée cosmologique des anciens Mexicains* (1940); *L'Art du Mexique ancien* (1966).

<sup>19</sup> *Штейнен (Steinen) Карл фон ден* (1855-1929) — немецкий врач-психиатр, этнолог, профессор Марбургского университета; участвовал в кругосветном путешествии (1879-1881), во время которого изучал психические особенности и болезни различных племен и народов. Основная работа “О первобытных народах Центральной Бразилии” (на которую ссылается Леви-Стросс) написана в 1874 году и посвящена главным образом племенам, живущим в верховьях реки Шингу.

<sup>20</sup> *Мату-Гросу (Mato Grosso)* — штат на Западе Бразилии, административный центр — г. Куяба.

### Глава 4. В поисках силы

<sup>21</sup> *Петит (Petit) Эрнест Эмиль* (р. 1888) — генерал французской армии; в 1938-1944 гг. — глава военной миссии в Парагвае; в 1941 г. — начальник штаба генерала де Голля; в 1942-1945 гг. — военный атташе Франции в СССР; президент Ассоциации Франция — СССР. Удостоен многих наград, учас-

тник Первой и Второй мировых войн. Двойственность его положения состояла в том, что в 1940 г. он все еще оставался официальным представителем Франции, оккупированной Гитлером, и уже был связан с движением де Голля.

<sup>22</sup> *Галион* — старинный испанский и португальский военный трехмачтовый корабль; водоизмещение 1550 т, вооружение по 100 орудий; усиливался отрядом солдат (до 500 человек).

<sup>23</sup> *Галиотиды* (франц. *haliotide*) — морские ушки, моллюски, раковина которых похожа на человеческое ухо.

<sup>24</sup> **Бернье** (Bernier) Франциск (1620-1688) — французский врач, путешественник и философ; автор сочинений “Abrégé de la philosophie de Gassendi” (1678), “Traité du libre et du volontaire” (1685). После визита в Индию опубликовал свой самый известный трактат “Voyages de Bernier, contenant la description des Etats du Grand Mogol, de l’Hindoustan, etc.” (1688).

**Тавернье** (Tavernier) Жан Батист (1605-1689) — французский путешественник, сын географа Габриэля Тавернье, приехавшего из Антверпена в Париж в конце XVI века. Ж.Б.Тавернье начал свои путешествия с Центральной и Южной Европы, затем побывал в Турции и Польше, а далее последовал целый ряд длительных вояжей (1643-1649; 1652-1656; 1657-1662; 1663-1668) в страны Южной Азии, островов Тихого океана и на Мыс Доброй Надежды. Итогом его странствий были опубликованные им сочинения: “Nouvelle relation de l’intérieur du sérail du Grand Seigneur” (1675); “Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier... en Turquie, en Perse et aus Indes” (1676); “Recueil de plusieurs relations et tractés singuliers et curieux” (1679).

**Мануччи** (Mannucci, Manuzzi, Manuzio; по латыни Manutius — Мануций) Теобальдо (Альдо) (1450-1515) — крупнейший итальянский издатель, филолог, специалист по классическим языкам. В 1490 г. основал в Венеции издательский дом, в котором над подготовкой текстов работали выдающиеся ученые того времени.

<sup>25</sup> **Бугенвиль** (Bougainville) Луи Антуан де (1729-1811) — французский путешественник, автор книги “Voyage autour du monde”, опубликованной в 1771 г. (Русское издание: Л.А. Бугенвиль. Кругосветное путешествие. — М., 1962.)



<sup>26</sup> **Лери** (Léry) Жан де (1534-1611) — французский протестантский миссионер, один из первых европейцев, побывавших в Южной Америке с исследовательскими целями; прожил в Бразилии около года (1557-58); вернувшись в Европу, написал книгу “История путешествия в Бразильскую землю” (1578), в которой содержатся сведения о языке и обычаях индейцев *тупинамба*, населяющих тропические леса Амазонки в Восточной Бразилии.

<sup>27</sup> **Теве** (Thevet) Андре (1502-1592) — французский путешественник; в 1555-1557 гг. жил в основанной в Бразилии бежавшими из Франции гугенотами колонии “Антарктическая Франция”; автор книг “Бразилия и бразильцы”, “Особенности Антарктической Франции”, “Универсальная космография” и др.

## **Часть вторая. Путевые записки**

### **Глава 5. Взгляд в прошлое**

<sup>28</sup> *Ecole Normale Supérieure* — Высшее педагогическое училище (в Париже).

<sup>29</sup> **Маргерит** (Margueritte) Виктор (1866-1942) — французский писатель, автор множества романов (20 из них написаны в содружестве с братом Полем Маргеритом).

<sup>30</sup> **Кайзерлинг** (Kyserlihg) Герман (1880-1946) — немецкий писатель и философ-иррационалист, автор “Путевого дневника философа” (1919); проповедовал возвращение к целостности бытия через обращение к восточной мудрости.

<sup>31</sup> **Реймонт** (Reymont) Владислав (1867-1925) — польский писатель, автор романов “Комедиантка” (1896), “Обетованная земля” (1899) и др. Лауреат Нобелевской премии (1924).

### **Глава 6. Как становятся этнографами**

<sup>32</sup> *Мон-де-Марсан* (Mont-de-Marsan) — административный центр департамента Ланды (в 736 км от Парижа).

<sup>33</sup> “*Непосредственные данные сознания*” (1889) — книга Анри Бергсона.

<sup>34</sup> **Ф. де Соссюр**. Курс общей лингвистики (1916).

<sup>35</sup> *Аммониты* — отряд вымерших головоногих моллюсков, многочисленные виды которых сменяли друг друга в течение длительного времени (с юры по мел включительно). Считаются *руководящими* ископаемыми при определении возраста пород.

<sup>36</sup> **Крёбер** (Kroeber) (1876-1960) — американский этнограф, теоретик истории культуры, автор трудов по этнографии индейцев и общим проблемам этнографии.

<sup>37</sup> **Боас** (Boas) Франц (1858-1942) — американский лингвист, этнограф и антрополог; один из основоположников дескриптивной лингвистики; автор работ по языкам и культуре индейцев и эскимосов.

## **Глава 7. Закат солнца**

<sup>38</sup> *Дольмен* (от бретонск. *tol* — стол и *men* — камень) — древнее (3-2 тыс. до н.э.) погребальное сооружение, конструкцию которого составляют вертикально установленные каменные глыбы, покрытые каменной плитой.

## **Часть третья. Новый Свет**

### **Глава 8. Ловушка**

<sup>39</sup> *Наутилусы* (кораблики, аргонавты) — головоногие моллюски со спиральной многокамерной раковиной.

<sup>40</sup> **Медок**, сын короля галлов Оуэна Гуиннида (XII в.), по преданию, совершил путешествие по Атлантическому океану и достиг неведомой западной земли (Америки), населенной необычными людьми. Сообщение об этом плавании сохранилось лишь в поэзии уэльских бардов и, как утверждает М.Стингл, считается малоправдоподобным (М.Стингл. Индейцы без томагавков. — М.: Прогресс, 1984. — С.193).

<sup>41</sup> **Фердинанд II Арагонский** (1452-1516) — король Арагона, Сицилии, Кастилии, Неаполитанского королевства, первый король объединенной Испании, ревностный защитник католицизма.

<sup>42</sup> **Лас Касас** (Las Casas) Бартоломе (1474-1566) — испанский прелат, миссионер, епископ чьяпаса, гуманист, историк, публицист; около пятидесяти лет (1502-1550) прожил в странах Центральной и Южной Америки. Его труды “История Индий” и “Апологетическая история” считаются ценным источником сведений об истории завоевания Америки и о жизни индейцев. (Русское издание: Бартоломе Лас-Касас. История Индий. — М., 1968).

<sup>43</sup> **Овиедо** (Oviedo) Гонсало Фернандес де (1478-1557) — испанский историк, занимавший при дворе испанского короля

официальный пост Генерального хрониста Индии; многие годы провел в Америке (в Никарагуа, на Гаити), изучая ее историю. Автор двадцатитомного труда “Общая и естественная история Индии”.

<sup>44</sup> **Пьер де Айи** (Pierre d'Ailly) (1350-1420) — французский прелат и известный теолог; был духовником Карла VI (1389 г.); епископ Пюи (1395 г.) и Камбре (1396 г.); кардинал (с 1411 г.).

<sup>45</sup> **Педро Мартир де Англерия** (1457-1526) — испанский гуманист, писатель, историк; основоположник историографии открытия и завоевания Америки; автор труда “Декады Нового Света”.

<sup>46</sup> У Рабле: “Это их родство и свойство было весьма странное... я сам был свидетелем, как один безносый старец называл девочку лет трех-четырёх “папаша”, а она́ его — “дочка”.” (Ф.Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Четвертая книга. Глава IX/Перевод Н.М.Любимова. — М.: Правда, 1991. — С.469.).

<sup>47</sup> **Пангве** (*фанг, пахуни*) — народ языковой группы банту, проживающий в Камеруне и Габоне; искусные резчики по дереву и слоновой кости.

<sup>48</sup> **Фаэтоны** — семейство океанических птиц отряда веслоногих.

<sup>49</sup> **Глупыши** — птицы из семейства буревестников.

<sup>50</sup> **Сертан** (португ. *sertão* — букв.: глушь) — районы Бразильского нагорья с целинными землями, почти не заселенные.

<sup>51</sup> **Сахарная Голова** (португ. *Pão de Açúcar* — Пан-ди-Асукар) — гора у входа в залив Гуанабара, на территории г. Рио-де-Жанейро; высота 395 м; ее коническая форма, образованная под воздействием жаркого и влажного климата, напоминает “сахарную голову”.

<sup>52</sup> **Корковадо** (Corcovado) — гора причудливой формы, образовавшейся в результате выветривания кристаллических пород в условиях тропического климата; высота 704 м, находится неподалеку от Рио-де-Жанейро.

## Глава 9. Гуанабара

<sup>53</sup> **Ис** — легендарный бретонский город, который, по преданию, был затоплен наводнением в IV (или V) веке.

<sup>54</sup> **Вильганьон** (Villegaignon) Никола Дюрон — католический монах, возглавивший экспедицию в Америку в 1555 году. В Бразилии основал колонию бежавших из Европы протестантов. Вернулся во Францию в 1557 г.

<sup>55</sup> **Тупинамба** — ветвь индейцев *тупи*; населяют тропические леса Амазонки в Восточной Бразилии. *Тупи* — бразильские индейцы языковой группы *тупи-гуарани*.

<sup>56</sup> **Чересоле** — селение в Пьемонте (Италия), в районе которого в 1544 г. французы одержали победу над испанцами.

<sup>57</sup> **Колиньи** (Coligny) Гаспар де Шатийон (1519-1572) — адмирал Франции, с 1569 г. — глава гугенотов; был убит в Варфоломеевскую ночь.

<sup>58</sup> **Гонневиль** (Gonneville) Бино Памье де (? -1669) — французский аббат, мореплаватель; в 1503 г., отправившись на корабле “L’Espoir” (“Надежда”) в Индию, он попал в шторм и оказался у берегов Бразилии. Гонневиль был первым французом, ступившим на землю этой страны. В Бразилии он прожил шесть месяцев, после чего вернулся в Нормандию, привезя с собой в качестве капитана “L’Espoir” бразильского индейца, который впоследствии женился на одной из его родственниц. Перу аббата Гонневилля принадлежит сочинение “Memoires touchant l’etablissement d’une mission chrestienne dans le troisiéme monde, etc.” (1663).

<sup>59</sup> **Кабрал** (Cabral) Педру Алвариш (ок.1467- ок.1520) — португальский мореплаватель; в 1500 г., совершая торговое плавание в Индию, отклонился от курса и достиг побережья Бразилии, которое принял за остров и назвал Землей Вера-Круш (Землей Истинного Креста).

<sup>60</sup> **Иберийские языки** — здесь: испанский и португальский (*иберы* — древние племена Испании); относятся к иберийско-кавказской языковой группе.

<sup>61</sup> **Кузен** (Cousin) Жан — французский мореплаватель, который, по преданию, открыл Бразилию в 1488 году.

<sup>62</sup> **Пинсон** (Pinson) — испанские мореплаватели, братья:

**Мартин Алонсо** (ок.1440-1493) — один из организаторов и участников первой экспедиции Колумба (1492-1493), командовал каравеллой “Пинта”.

**Висенте Яньяс** (1460- ок.1524) — участник первой экспедиции Колумба, командовал каравеллой “Нинья”; руководитель экспедиции 1499-1500 гг., во время которой были открыты побережья в устьях Амазонки и Ориноко, а также Гвиана (независимо от А.Охеды) и о.Тобаго.

<sup>63</sup> **Штаден** (Staden) Ганс — немецкий путешественник и исследователь; был пленен индейцами и несколько лет провел в одной из деревень *тупинамба*; его книга “Описание двух путешествий Ганса Штадена в Новый Свет” издана в середине XVI века.

<sup>64</sup> **Панорама** (Panorama) — стеклянный павильон-ротонда в Париже.

<sup>65</sup> **Сен-Лазар** — вокзал в Париже.

<sup>66</sup> **Вторая империя** — период правления Наполеона III (2 декабря — 4 сентября 1870).

<sup>67</sup> **Нейи-сюр-Сен** (Neuilly-sur-Seine), **Сен-Дени** (Saint-Denis), **Ле-Бурже** (Le Bourget) — предместья Парижа.

**Копакабана** — район Рио-де-Жанейро, расположен на побережье, славится своими пляжами.

<sup>68</sup> Имеется в виду Бразильская империя (1822-1889 гг.).

<sup>69</sup> **Стукко** (*стук*, *штук*: итал. *stucco*, франц. *stuc*, нем. *stuck*) — гипсовая штукатурка под мрамор.

## **Глава 10. Пересечение тропика**

<sup>70</sup> **Арроб** — мера веса золота в слитках; один арроб равен 15 килограммам.

<sup>71</sup> **Турмалин** — минерал, имеющий ряд разновидностей: *шерл* — черный, *дравит* — бурый, *рубеллит* — розовый, *индиголит* — сине-зеленый; здесь имеется в виду последний.

<sup>72</sup> **Оливин** (перидот) — минерал с желтовато-зеленой (оливковой) окраской.

<sup>73</sup> **Руссо** (Rousseau, прозвище Le Douanier — Таможенник) Анри (1844-1910) — французский живописец-самоучка, представитель примитивизма.

<sup>74</sup> **Шапада** (португ. *chapada*) — плато, характерный рельеф Бразильского нагорья: наложение плоских плит из кристаллических пород, с обрывистыми уступами высотой от 250 до 900 м.

## Глава 11. Сан-Паулу

<sup>75</sup> **Ленфан** (Lenfant) Пьер Шарль (1754-1825) — американский инженер, архитектор и военный; родился во Франции; по его проекту построен г. Вашингтон.

<sup>76</sup> **Кунья** (Cunha) Эуклидис да (1866-1909) — бразильский историк, социолог, писатель.

**Шагас** (Chagas) К. (1879-1934) — бразильский врач, который первым описал *американский трипаносомоз* (болезнь Шагаса).

**Вила Лобос** (Villa-Lobos) Эйтор (1887-1959) — бразильский композитор, фольклорист, дирижер; инициатор создания и первый президент Бразильской академии музыки; автор опер, балетов, 12 симфоний и др. произведений.

<sup>77</sup> **Мейяк** (Meilhac) Анри (1831-1897) и **Галеви** (Алеви, Halévy) Людовик (1834-1908) — французские драматурги, в соавторстве написали либретто ко многим комическим операм и опереттам, самые известные — “Парижская жизнь” и “Прекрасная Елена” Ж.Оффенбаха. Людовик Галеви — сын французского композитора, представителя *большой оперы* Фроменталья Галеви (1799-1862).

<sup>78</sup> **Арпажон** (Arpajon) и **Шарантоне** (Charentonneau) — персонажи парижского *театра бульваров*, простак, деревенщина; имена, по-видимому, происходят от названий бывших деревень, теперь предместий Парижа — Арпажон и Шарантон-ле-Пон.

## Часть четвертая. Земля и люди

### Глава 12. Города и деревни

<sup>79</sup> **Меровинги** (Merovingi) — первая королевская династия во Франкском государстве (кон. 5 в. — 751 г.); названа по имени полубогородительного основателя рода Меровея.

<sup>80</sup> В булле от 4 мая 1493 года папа Александр VI разделил весь мир между двумя монархами, которым особо покровительствовала римская церковь, — королями Испании и Португалии. Пограничная черта проходила в 370 милях от Капвердских островов. Все, что находилось западнее этой линии, в том числе и неоткрытые земли, должно было принадлежать Испании. Однако Бразилию получила во владение Португалия, ссылаясь на экспедицию Кабрала, который “захватил для португальского

короля бразильское побережье и все, что лежало в глубине страны". Выиграть спор за территорию Бразилии португальцам помогла небольшая неточность в папской булле: Испании должны были принадлежать земли, лежащие "к западу и к югу от линии, проведенной и установленной от арктического... до антарктического полюса". По-видимому, Испания не сумела доказать, что Бразилия находится "и к югу" от меридиана.

<sup>81</sup> Миссионерская деятельность римско-католической церкви в Южной и Центральной Америке по размаху не уступала "светской" колонизации. М.Стингл, описывая три этапа миссионерской активности: доминиканский, иезуитский и францисканский, — характеризует деятельность иезуитов как "невиданную по масштабам и жестокости". За короткий срок иезуиты охватили своим влиянием огромные территории: север Аргентины и Уругвая, весь Парагвай и бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул. В 1611 году иезуитский орден получил от испанского короля Филиппа согласие на создание "независимой от колониальных властей иезуитской империи", которая просуществовала 160 лет (в 1767 г. испанский король Карл III изгнал иезуитов из Америки). Аргентинский историк Лугонес утверждает, что за время существования империи "иезуиты получили 10 миллиардов крон от разработок серебряных рудников, а затем от плантаций парагвайского чая *йерба матэ*". Как отмечает М.Стингл, иезуитское государство (Паракариа) "было коммерческим предприятием и ежегодно получало от рабского труда своих индейских овец 900 процентов чистой прибыли" (М.Стингл. Индейцы без томагавков. — М., 1984. — С.367).

### Глава 13. Зоны первопроходцев

<sup>82</sup> *Померания* (лат. *Pomerania*, нем. *Pommern*) — немецкое герцогство (с 1170 г.) на побережье Балтийского моря; с 1815 г. по 1945 г. — прусская провинция, с 1945 г. — северная прибалтийская часть Польши (Поморье).

<sup>83</sup> О явлении синестезии на уровне фонетического строя языка Леви-Стросс пишет в "Структурной антропологии": "Хотя ассоциируемые цвета и не всегда одинаковы для каждой фонемы, складывается все же впечатление, что люди посредством различных терминов создают систему отношений, аналогичную фонологическим структурным свойствам данного языка". И даль-

ше: "... не менее вероятно, что эти однажды принятые сочетания звуков придают особые оттенки семантическому содержанию, которое с ними стало связываться". (К.Леви-Строс. Структурная антропология. — М.: Наука, 1985. — С.86-87.) Там же ссылки на работы Р.О.Якобсона (Reichard G.A., Jakobson R., Werth E. Language and synesthesia), Д.О.Мэзона (Mason D.I. Synesthesia and sound spectra), М.Джуза (Joos M. Acoustic phonetics).

#### Глава 14. Ковер-самолет

<sup>84</sup> *Бетель* — смесь пряных листьев перца бетель с кусочками семян пальмы *арека* и небольшим количеством извести; возбуждает нервную систему, используется как жвачка.

<sup>85</sup> *Парсы* (parsī) — иранцы, выходцы из исторической области Парса; потомки зороастрийцев, говорят на языке гуджарати индоарийской языковой группы, проживают в основном в Бомбее, штат Гуджарат (Индия).

<sup>86</sup> *Ланды* (Landaes) — департамент на юго-западе Франции.

<sup>87</sup> *Мохенджо-Даро* — остатки города 3-2 тыс. до н.э. в провинции Синд в Пакистане; был одним из центров хараппской цивилизации, культуры бронзового века (сер. 3-го — 1 пол. 2-го тыс. до н.э.) в Индии и Пакистане.

<sup>88</sup> *Хараппа* — руины одного из центров древней цивилизации в Пенджабе, которая получила название хараппской.

<sup>89</sup> *Греческие цари с берегов Джамны* — греко-бактрийцы, заселившие северо-западную Индию во 2 в. до н.э.: самый известный из них — царь Менандр (140-115 гг. до н.э.), или Милинда, как он назван в "Милинда-паньха" (в русском переводе "Вопросы Милинды").

<sup>90</sup> *Тар* (Тхар) — пустынная, наиболее засушливая юго-западная часть Индо-Гангской равнины по левобережью Инда; простирается к северо-востоку от Карачи.

<sup>91</sup> *Клее* (Klee) Пауль (1879-1940) — швейцарский живописец и график, один из лидеров экспрессионизма; тяготел к абстрактному искусству, к музыкальности колористических созвучий.

<sup>92</sup> *Бихар* — штат в Индии, расположен в основном на равнине Ганга, адм. центр — Патна.



## Глава 15. Толпы

<sup>93</sup> *Урваши* — в древнеиндийской мифологии апсара, дочь Брахмы (по другой версии, родилась из бедра Нараяны); своей красотой соблазнила многих богов и риши; Митра проклял соблазнительницу: она должна была жить на земле и стать женой смертного Пурураваса. Впервые Урваши упоминается в “Ригведе” (V, 41, 19; X, 95, 17).

<sup>94</sup> *Шатле* (*Châtelet, Théâtre du Châtelet*) — французский театр в Париже на пл. Шатле. С конца XIX века здесь ставились феерии, приключенческие пьесы, мелодрамы; в постановках использовались различные сценические эффекты (морские бои, скачки ковбоев, столкновения поездов и др.). На сцене *Шатле* ставились также балетные спектакли и оперетты.

## Глава 16. Рынки

<sup>95</sup> *Ур* — город в Месопотамии (5 тыс. до н.э. — 4 в. н.э.), в 3-м тыс. до н.э. — город-государство.

<sup>96</sup> *Саки* (в индийских источниках — *шаки*, в китайских — *сэ*) — племена скифов-саков, которые в период со 2 в. до н.э. по 1 в. н.э. прибывали из Ирана и Афганистана через Памир и Гиндукуш и расселялись на севере Индии, создавая индо-сакские государства.

<sup>97</sup> *Кибер* (Kyber, Khuber) — главный горный перевал (Khuber Pass) между Пакистаном и Афганистаном протяженностью 53 км; дорогу построили британцы во время афганских войн (кон. 19 — нач. 20 вв.).

<sup>98</sup> *Bokkhara* (Bukhara) — Бухара. Здесь, вероятно, имеется в виду стиль бухарских ковров, а точнее, особая цветовая гамма: малиновый (гранатовый) в сочетании с темно-синим, ярко-красным и цветом слоновой кости.

<sup>99</sup> *Сампан* (кит. *саньбань*) — деревянное плоскодонное одномоачтовое судно в Юго-Восточной Азии; передвигается с помощью весел и паруса.

<sup>100</sup> *Верша* — плетеная рыболовная снасть в виде воронки (или сачка).

<sup>101</sup> *Манчестер* был (и остается) крупнейшим центром текстильной промышленности Великобритании.

## Часть пятая. Кадзуэу

### Глава 17. Парана

<sup>102</sup> *Мильрейс* — монета в тысячу рейсов; рейс — старая денежная единица в Португалии и Бразилии.

### Глава 18. Пантанал

<sup>103</sup> *Пантанал* (Pantanal) — болотистая низменность в верховьях реки Парагвай; в сезон дождей затопляется.

<sup>104</sup> *Матэ* (слово заимствовано из языка индейцев *кечуа*), или *йерба матэ* — напиток из высушенных и измельченных листьев вечнозеленого деревца *Ilex paraguayensis* (парагвайского чайного дерева), которое также называется *матэ*.

### Глава 19. Налике

<sup>105</sup> *Урубú* — американский гриф.

<sup>106</sup> *Матрилокальный брак*, или матрилокальное поселение (от лат. *mater* — мать, *locus* — место) — распространенный при матриархате обычай проживания супругов в общине жены, который обусловлен наследованием по женской линии.

<sup>107</sup> *Музей Человека* — музей этнографии и антропологии в Париже; основан в 1937 году и первоначально был этнологическим центром с небольшой музейной экспозицией.

<sup>108</sup> *Мать Близнецов* — персонаж мифа *бороро* “Бакороро и Итубори” о героях-близнецах.

<sup>109</sup> *Старец* — Верховное Существо Карускайбе в мифологии *мундуруку*, индейцев андо-экваториальной языковой семьи, заселяющих бассейн северо-западных притоков Амазонки (Бразилия).

### Глава 20. Индейское общество и его стиль

<sup>110</sup> *Гоноэноходи* — верховное божество мифологии *кадиуэу*; о создании людей повествует легенда “Как Гоноэноходи создал разные народы” (см.: Легенды и сказки индейцев Латинской Америки. — Л., 1987. — С.130-131).

<sup>111</sup> Видимо, имеется в виду трактат Ж.-Ж.Руссо “Об общественном договоре...”.

<sup>112</sup> *Санчес-Лабрадор* (Sanchez-Labrador) Хоце (1714-1798) — испанский миссионер, монах-иезуит; семь лет (с 1760 г. по 1767 г.)

прожил среди индейцев *гуайкуру*, основал католическую миссию, изучал язык и обычаи индейцев *мбайя-кадиуэу* и *араваков гуана*; автор трехтомного сочинения “Католический Парагвай”.

## Часть шестая. Бороро

### Глава 21. Золото и алмазы

<sup>113</sup> *Ла-Плата* — залив Атлантического океана у юго-восточного побережья Южной Америки, эстуарий реки Парана. Ла-Плата — морские ворота Аргентины, которую в колониальный период именовали Рио-де-ла-Плата.

<sup>114</sup> *Арапа* — длиннохвостый попугай с ярким оперением, преимущественно ярко-красного цвета.

<sup>115</sup> *Бандейранты* — участники *бандейры* (португ. *bandeira* — знамя), португальских военных экспедиций (XVI-XVIII вв.) от побережья Бразилии в глубь страны, целью которых был захват индейцев и обращение их в рабство, а также поиск серебра, золота и драгоценных камней. Экспедиции сопровождались откровенным насилием, разорением индейских поселений и уничтожением целых племен. Центром формирования отрядов был главный город португальской колонии Сан-Паулу, поэтому бандейрантов называли паулистами.

<sup>116</sup> *Урукү* — растение, из семян которого индейцы делают красную краску для раскрашивания тела.

### Глава 22. Добрые дикари

<sup>117</sup> *Салезианцы* — облаты св. Франциска Сальского (1567-1622); конгрегация основана в 1869 г. Людовиком Бриссоном и утверждена Львом XIII в 1897 г.; ее цель — воспитание молодежи и иностранные миссии.

<sup>118</sup> *Männerbünde* (нем., букв.: мужской союз) — мужское тайное общество, членом которого мог стать лишь тот, кто прошел соответствующую инициацию. Об истории и структуре см.: H.Schurtz. *Alterklassen und Männerbünde* (Berlin, 1902); C.H.Wedgwood. *The Nature and Function of Secret Societies* (“Oceania”, т.I, 1930, 2, с.129-151); W.E. Peuckert. *Geheimkulte* (Heidelberg, 1951).

## Глава 23. Живые и мертвые

<sup>119</sup> Здесь имеется в виду *ритуальная* трещотка, или *ромб* (греч. *rhombo* — трещотка, бубен). Е.М.Мелетинский отмечает, что *ромб* (трещотка, гуделка) имеет эротическую символику и означает “разъединение полов в силу потребности культуры (отпугивание женщин и формирование мужских обществ)”. (Е.М.Мелетинский. Мифология и фольклор в трудах К.Леви-Строса // Приложение к изданию: К.Леви-Строс. Структурная антропология. — М.: Наука, 1985. — С.495.)

<sup>120</sup> *Скарификация* (от лат. *scarifico* — царапаю) — органическое повреждение поверхностных слоев кожи.

<sup>121</sup> В мифологии *бороро* Бакороро и Итубори — братья-близнецы, поэтому, вероятно, определения “старший-младший” относятся к их божественной иерархии (что подтверждается и распределением сфер их господства: запад-восток).

<sup>122</sup> *Фарандола* (франц. *farandole*, от прованс. *farandoulo*) — французский (провансальский) народный хороводный танец.

<sup>123</sup> *Котильон* (франц. *cotillon*) — бальный танец французского происхождения; объединяет вальс, мазурку, польку и др., то есть представляет собой сочетание фигур разных танцев.

## Часть седьмая. Намбиквара

### Глава 24. Затерянный мир

<sup>124</sup> **Ривет** (Rivet) Поль (1876-1958) — французский этнолог, американист, один из основателей Института этнологии при Парижском университете.

<sup>125</sup> **Рондон** (Rondon) Кандидо Мариано да Силва (1865-1958) — бразильский военный и политический деятель, организатор “Службы защиты индейцев”, возглавлял Комиссию телеграфно-стратегических линий (известную как Комиссия Рондона), которая обследовала северо-западную часть Бразилии.

<sup>126</sup> **Ункель** (Unkel) Курт (1883-1945) — немецкий этнограф, исследовал индейские племена района Мату-Гросу, в науке известен под именем Нимуендажу. Автор книг “Индейцы *паликур* и их соседи (1926), “Апинаже” (1939), “Тукуна” (1952) и др. (в скобках указаны даты первой публикации).

<sup>127</sup> *Караибы (карибы)* — индейцы жес-пано-карибской языковой группы, проживающие в Северной, Центральной и Южной Америке.

<sup>128</sup> *Араваки* — индейцы андо-экваториальной языковой группы, населявшие западный район бассейнов рек Амазонки и Ориноко в Южной Америке.

<sup>129</sup> *Чако* — провинция на севере Аргентины, административный центр Ресистенсия.

<sup>130</sup> *Гваякуру* — группа индейских племен, проживающих в провинции Чако.

<sup>131</sup> *Борнео* — прежнее название о. Калимантан.

## **Глава 25. В сертане**

<sup>132</sup> *Ипекакуана* — рвотный корень.

<sup>133</sup> *Ахмадиэ* — мусульманская секта, основанная в 1889 году в Пенджабе Мирзой Гуламом Ахмадом, которого адепты почитают как пророка.

## **Глава 26. На телеграфной линии**

<sup>134</sup> *Танги (Tanguy) Ив (1900-1955)* — французский художник, с 1939 г. жил в США.

<sup>135</sup> *Картье (Cartier) Жак (1491-1557)* — французский мореплаватель, открывший большую часть Канады, куда он совершил три экспедиции.

<sup>136</sup> *Шамплен (Champlain) Самюэль (1567-1635)* — французский исследователь Канады. Во время экспедиций 1615-1616 гг. он прошел по реке Св.Лаврентия до озера Гурон. Основатель города Квебек (1608 г.).

<sup>137</sup> *Кавеньяк (Cavaignac) Луи Эжен (1802-1857)* — французский генерал; в 1848 году как военный министр и глава исполнительной власти руководил подавлением Июньского восстания.

<sup>138</sup> *Чибча* — самоназвание индейцев *муиски*, живших на территории современной Колумбии. К языковой семье *макро-чибча* относятся потомки *чибча-муисков* индейские племена *сутаго*, *тунебо*, *паэс*, *моге*, *куна*, *гуайми*, *пасто* и другие.

## Глава 27. В семье

<sup>139</sup> *Окарина* (итал. *ocarina*) — род свистковой флейты; керамическая свистулька в форме птицы, рыбы и т.п. с вытянутой трубкой (“носиком”).

<sup>140</sup> Имеется в виду “Весна священная” И.Ф.Стравинского, где использованы русские народные обрядовые мелодии.

<sup>141</sup> *Стрихнос* (чилибуха) — род тропических растений, в семенах которых содержится стрихнин, оказывающий возбуждающее, а в определенных дозах — нервно-паралитическое действие.

## Глава 28. Урок письма

<sup>142</sup> **Писарро** (Pizarro) Франциско (1470/75-1541) — испанский конкистадор, участвовал в завоевании Панамы и Перу, разграбил и уничтожил государство инков — Тауантинсуйу; погиб в борьбе с другими конкистадорами.

## Глава 29. Мужчины, женщины, вожди

<sup>143</sup> *Доклад Бевериджа* “Социальное страхование и родственные службы” (Beveridge Report “Social Insurance and Allied Services”) — программа послевоенного восстановления и оздоровления экономики, политики и социального устройства Великобритании, которую в 1942 г. предложил британский экономист Уильям Генри Беверидж (1879-1963).

## Часть восьмая. Тупи-кавахиб

### Глава 31. Робинзон

<sup>144</sup> **Соарес де Соуза** (Soares de Souza) Габриэль (1540-1592) — португалец, который в 1570 году прибыл в Бразилию, где стал владельцем крупных плантаций сахарного тростника. Путешествуя по стране, познакомился с традициями индейцев *тупинамба*, живших в штате Баия, и *такуйя*, расселившихся в бассейне Амазонки; свои наблюдения изложил в книге “Описательный трактат о Бразилии 1587 года”.

### Глава 32. В лесу

<sup>145</sup> У Амазонки, как у большинства рек, текущих с юга на север, крутой левый и пологий правый берег — “нет правой груди”, — тогда как, согласно легенде, греческие амазонки, женщины-воительницы, выжигали у себя левую грудь, чтобы было удобнее стрелять из лука.

### Глава 33. Деревня со сверчками

<sup>146</sup> **Ив д'Эврё** (Yves d'Evreux) (1570-1630) — французский миссионер. О своем пребывании в Бразилии написал книгу "Путешествие в Северную Бразилию, которое совершил в 1613 и 1614 годах отец Ив д'Эврё".

### Глава 34. Фарс о Жапиме

<sup>147</sup> **Полиандрия** — многомужество, редкая пережиточная форма группового брака, при которой у женщины одновременно несколько мужей (как правило, братьев).

<sup>148</sup> "Свадебка" И.Ф.Стравинского.

### Часть девятая. Возвращение

### Глава 37. Апофеоз Августа

<sup>149</sup> Опера К.Дебюсси "*Пеллеас и Мелизанда*" (1902 г.)

<sup>150</sup> "*Цинна*" — пьеса Пьера Корнеля.

### Глава 39. Таксила

<sup>151</sup> **Джандиал** (Jandial) — храм в Таксиле, построенный в скифо-парфянский период; расположен на насыпном холме; ионическими колоннами и пилястрами из массивных блоков песчаника напоминает классические храмы Древней Греции. Вероятно, именно этот храм описал Филострат в своем трактате "Жизнь Аполлония Тианского".

<sup>152</sup> **Аполлоний Тианский** (1 в. н.э.) — древнеримский философ и мистик, неопифагорец.

<sup>153</sup> **Ступа** (пали: *мхупа* — земляной курган) — в индийской архитектуре буддийское символическое и мемориальное сооружение, хранилище реликвий. Самые древние из известных (первые века до н.э.) имеют полусферическую форму, более поздние — башнеобразные.

<sup>154</sup> **Окс** — древнее название р.Амударьи, в среднем и верхнем течении которой в середине 3 в. до н.э. образовалось Греко-Бактрийское государство.

<sup>155</sup> **Сюань-цзан** (кит. Xiuan-tsang) — китайский монах, ученый, переводчик буддийских текстов. В 629 г. тайно отправился в путешествие по Индии, продлившееся семнадцать лет. За это время он собрал целую библиотеку буддийских сутр в монастырях Индии. Вернувшись в Китай, Сюань-цзан описал

свое путешествие, которое сохранилось и известно как “Сию-Цзы” (“Записки о Западных странах”).

<sup>156</sup> *Бхархут* в Центральной Индии был крупнейшим центром буддийского искусства. В период с 200 г. до н.э. по 200 г. н.э. в Бхархуте и Санчи располагались главные буддийские монастырские комплексы.

<sup>157</sup> *Гандхара* — историческая область на северо-западе Пакистана, где в период расцвета Кушанского царства (кон. 1 — 3 вв. н.э.) сформировалась своеобразная греко-буддийская школа изобразительного искусства. Именно в гандхарской школе сложился канон изображения Будды с чертами Аполлона.

<sup>158</sup> *Красный Форт (Лал Кила)* в Дели — крепость, возведенная из красного песчаника, внутри которой среди регулярного сада с фонтанами и бассейнами находятся беломраморные, необыкновенные по роскоши отделки самоцветами, дворцы. Построен Шах-Джаханом в 1639-48 гг.

<sup>159</sup> *Pietra dura* (итал., букв.: твердый камень) — минералы и породы, которые использовались во флорентийской мозаике XVI — XVII вв.: агат, халцедон, кварцит, яшма, гранит, порфир, янтарь и лазурит.

<sup>160</sup> *Хумаюн* (1508-1556) — правитель Могольской империи в Индии, правил в 1530-1540 гг. и с 1555 г. В 1540 г. был изгнан из Дели Шер-ханом.

*Мавзолей Хумаюна* в Дели — сооружение из красного песчаника с беломраморными вставками — был построен в период правления Акбара Джелаль-ад-дина (1542-1605, правил с 1556 г.); для архитектуры этого периода характерно слияние персидского стиля с индусскими и буддийскими традициями, что создавало неповторимый и эклектический стиль.

<sup>161</sup> *Джама-Масджид*, или Мечеть Пятницы, в Гулбарга (штат Карнатака) — одна из красивейших в мире мечетей; построена в период правления Шах-Джахана (1592-1666, правил с 1627 по 1658 гг.).

<sup>162</sup> *Мавзолей Итимад-уд-Даула* в Агре (1628 г.) — возведенное при Джахангире, сыне Акбара, монументальное сооружение из белого мрамора, которое отличается утонченностью и богатством декора; в интерьере — инкрустация из полудрагоценных камней.



<sup>163</sup> *Мавзолей Акбара* в Сикандре, в 9 км от *Агра-форта*, построен из розового песчаника, представляет собой четырехъярусное сооружение с открытыми галереями. Возведен в 1612-1613 гг.

<sup>164</sup> *Валёр* (франц. *valeur*, букв.: ценность) — в живописи и графике оттенок тона, выражающий (во взаимосвязи с другими оттенками) определенное соотношение света и тени.

<sup>165</sup> **Джахангир** (1569-1627) — правитель империи Великих Моголов в 1605-1627 гг.

<sup>166</sup> *Калигхата* (санскр. *kalikata* — Калькутта) — название одной из трех деревень, в районе которых была построена крепость, давшая начало городу; самый старый район Калькутты. В XIX веке здесь возник особый стиль культовой акварельной живописи — *kalighat painting*, для которого характерны резко очерченные линии, яркие краски и упрощенные формы. Такие картинки художники продавали на рыночной площади Калькутты паломникам, посещающим храм Калигхата.

<sup>167</sup> *Раджпутская (раджастханская) школа индийской миниатюры* (XVI-XIX вв.) развилась под влиянием индийской настенной живописи и могольской школы на территории раджпутских княжеств в Раджастхане и Центральной Индии. Сюжеты традиционно связаны с культом Кришны.

<sup>168</sup> Вероятно, имеется в виду принцип формирования условного рефлекса, когда желаемое достигается путем преодоления страха перед болью или наказанием.

#### **Глава 40. Посещение кьёнга**

<sup>169</sup> Словом “Бедекер” называют путеводители по различным странам, которые выпускает в Гамбурге и Штудгарте фирма Бедекера.

**Бедекер** (Baedeker) Карл (1801-1859) — немецкий издатель, основавший в 1827 г. в Кобленце издательство путеводителей.

<sup>170</sup> Кьёнг (khyeng) — деревенский буддийский храм.

<sup>171</sup> *Могхи* (mogh, magh), или *марма* (*marma*) — народность монголоидной расы, проживающая в предгорьях Читтагонга (Бангладеш).

<sup>172</sup> Здесь слово *диалектика* означает искусство рассуждения.

# Библиография

1. Handbook of South American Indians. Ed. by J. Stewart, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 6 vols. 1946-1950.
2. P. Gaffarel. Histoire du Brésil français au 16 siècle. – Paris, 1878.
3. J. de Léry. Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil. N. ed. (par P. Gaffarel), 2 vols. – Paris, 1880.
4. A. Thevet. Le Brésil et les Brésiliens//Les classiques de la colonisation, 2; choix de textes et notes par Suzanne Lussagnet. – Paris, 1953.
5. Y. D'Evreux. Voyage dans le Nord du Brésil fait durant les années 1613-14. – Leipzig et Paris, 1864.
6. L.A. de Bougainville. Voyage autour du monde. – Paris, 1771.
7. P. Monbeig. Pionniers et planteurs de São Paulo. – Paris, 1952.
8. J. Sanchez-Labrador. El Paraguay Catolico. 3 vol. – Buenos-Aires, 1910-17.
9. G. Boggiani. Viaggi d'un artista nell'America Meridionale. – Rome, 1895.
10. D. Ribeiro. A arte dos indios Kadiuéu. – Rio-de-Janeiro, s.d. (1950).
11. K. von den Steinen. Durch Zentral-Brasilien (Leipzig, 1886). Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens (Berlin, 1894).

12. A.Colbacchini. I Bororos orientali. – Turin, 1925.
13. C.Lévi-Strauss. Contribution à l'étude de l'organisation sociale des Indiens Bororo//Journal de la Société des Américanistes. N.s., vol. 28, 1936.
14. C.Nimuendaju. The Apinayé (Antropological Series. Catholic University of America. No 8, 1939). The Serente (Los-Angeles, 1942).
15. E.Roquette-Pinto. Rondonia. – Rio-de-Janeiro, 1912.
16. C.M. da Silva Rondon. Lectures Delivered by... // Publications of the Rondon Commission. No 43. – Rio-de-Janeiro, 1916.
17. Th. Roosevelt. Through the Brazilian Wilderness. – New York, 1914.
18. C. Lévi-Strauss. La vie familiale et sociale des indiens Nambikwara//Société des Américanistes. – Paris, 1948.
19. K.Oberg. Indian Tribes of Northern Mato-Grosso, Brazil. //Smithsonian Institution. Institute of Social Anthropology (publ.), no 15. – Washington, D.C., 1953.
20. C. Lévi-Strauss. Le syncrétisme religieux d'une village mogh du territoire de Chittagong (Pakistan)//Revue de l'Histoire des religions, 1952.
21. Julio C. Tello. Wira Kocha//Inca. Vol. 1, 1923. Discovery of the Chavin culture in Peru//American Antiquity. Vol. 9, 1943.

# Содержание

## Часть первая

Конец путешествиям .....	5
Глава 1. Отъезд .....	7
Глава 2. На корабле .....	15
Глава 3. Антильские острова .....	25
Глава 4. В поисках силы .....	36

## Часть вторая

Путевые записки .....	47
Глава 5. Взгляд в прошлое .....	49
Глава 6. Как становятся этнографами .....	55
Глава 7. Закат солнца .....	70

## Часть третья

Новый Свет .....	81
Глава 8. Ловушка .....	83
Глава 9. Гуанабара .....	94
Глава 10. Пересечение тропика .....	106
Глава 11. Сан-Паулу .....	115

## Часть четвертая

Земля и люди .....	131
Глава 12. Города и деревни .....	133
Глава 13. Зоны первопроходцев .....	149
Глава 14. Ковер-самолет .....	159
Глава 15. Толпы .....	169
Глава 16. Рынки .....	182

## Часть пятая

Кадзуэу .....	193
Глава 17. Парана .....	195
Глава 18. Пантанал .....	206
Глава 19. Налике .....	219
Глава 20. Индейское общество и его стиль ...	229

## Часть шестая

Бороро .....	249
Глава 21. Золото и алмазы .....	251
Глава 22. Добрые дикари .....	271
Глава 23. Живые и мертвые .....	290

## Часть седьмая

Намбиквара .....	313
Глава 24. Затерянный мир .....	315
Глава 25. В сертане .....	331
Глава 26. На телеграфной линии .....	348
Глава 27. В семье .....	361
Глава 28. Урок письма .....	379
Глава 29. Мужчины, женщины, вожди .....	394

## Часть восьмая

Тупи-кавахиб .....	411
Глава 30. На пироге .....	413
Глава 31. Робинзон .....	426
Глава 32. В лесу .....	438
Глава 33. Деревня со сверчками .....	450
Глава 34. Фарс о Жапиме .....	458
Глава 35. Амазония .....	468
Глава 36. Серингал .....	476

## Часть девятая

Возвращение .....	485
Глава 37. “Апофеоз Августа” .....	487
Глава 38. Стаканчик рому .....	497
Глава 39. Таксила .....	514
Глава 40. Посещение кьенга .....	530

## Иллюстрации

Примечания .....	545
Библиография .....	566



Научное издание

Леви-Стросс Клод

## **Печальные тропики**

Ответственный редактор С. В. Плотников

Редактор Л. М. Илюхина

Художественный редактор В. С. Столяров

Технический редактор М. Я. Ильин

Корректор Л. М. Смирнова

Компьютерная верстка В. П. Данилевич

Подписано в печать с готовых диапозитивов 04.05.99.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать офсетная. Бумага типографская.

Усл. печ. л. 30,24. Тираж 5000 экз. Заказ 3564.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции  
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиенический сертификат

№ 77.ЦС.01.952.П.01659.Т.98 от 01.09.98 г.

ООО «Фирма «Издательство АСТ».

ЛР № 066236 от 22.12.98.

366720, РФ, Республика Ингушетия,

г. Назрань, ул. Московская, 13а.

Наши электронные адреса:

WWW.AST.RU.

E-mail: astpub@aha.ru

ТОО «Инициатива».

290008, Украина, г. Львов, а/я 850.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.  
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35—305.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика  
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».  
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79. Заказ 2294.

Ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат  
ППП им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.